

TECNOLOGIA DE MANEJO DE RESÍDUOS

Василий Гроссман

Несколько печальных дней

Повести и рассказы

Москва, «Современник», 1989

OCR – Александр Продан

В книгу одного из крупнейших мастеров русской советской прозы Василия Гроссмана (1905 – 1964) вошли почти все лучшие произведения, созданные писателем за тридцать лет творческой деятельности, ставшие уже библиографической редкостью («Четыре дня», «В городе Бердичеве», «Повесть о любви», «Тиргартен» и др.).

Уважением к человеку, осмыслением глубинных точек человеческой жизни пронизаны впервые издаваемые рассказы. Их отличает ощущение праздничности бытия при всех его теневых сторонах. Достоинство прозы писателя – богатство и пластичность языка, стремление к афористически насыщенному слову, тонкий психологизм, подлинно высокий драматизм повествования. В. Гроссман – автор и посмертно изданного романа «Жизнь и судьба», который по глубине и масштабности является одной из серьезнейших работ последнего времени.

Л. Лазарев

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

О Василии Гроссмани

Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» наши читатели прочитали лишь в прошлом году, через двадцать восемь лет после того, как он был написан, и через двадцать четыре года после смерти автора. Роман этот, находившийся столько лет в заключении (не в метафорическом, а в буквальном смысле этого слова – рукопись была изъята у автора сотрудниками Комитета государственной безопасности) и чудом, благодаря самоотверженности его друзей, уцелевший, стал одним из главных, если не главным литературным событием восьмидесяти восьмого года: номера журнала «Октябрь», опубликовавшего «Жизнь и судьбу», зачитывались до дыр, в библиотеках за ними выстраивались длиннющие очереди, о романе много писали в газетах и журналах, за редчайшим исключением, восторженно, он был у всех на устах. Но большинству читателей романа имя его автора ничего не говорило или, в лучшем случае, было известно понаслышке.

Почти никто из них не знал первой книги романа – «За правое дело», ее стали разыскивать после того, как была прочитана «Жизнь и судьба». В лектории Политехнического музея – дело было осенью прошлого года, через несколько месяцев после публикации романа Гроссмана, – я спросил, кто еще не прочитал «Жизнь и судьбу», – три или четыре человека подняли руку. «А кто читал что-нибудь еще Гроссмана», – задал я второй вопрос, – поднялось тоже три или четыре руки. А в зале было больше двухсот человек...

Так что читателям, в сущности, еще только предстоит открыть для себя писателя, недавно прочитанная книга которого явилась для многих из них потрясением – никакое другое слово тут не годится, не передает произведенного впечатления. Впрочем, нет ничего удивительного, что сегодняшний читатель в массе своей не знает Василия Гроссмана, хотя задолго до того, как им был написан роман о Сталинграде, прославивший его имя, еще в предвоенные годы ему отводилось, по «гамбургскому счету», видное место в ряду самых талантливых советских писателей. Гроссмана в послевоенную пору издавали скупо, с большим трудом: официальная репутация у него была более чем сомнительной. В 1946 году как идейно порочная была осуждена его пьеса «Если верить пифагорейцам». В 1952 году свирепой организованной проработке в печати и на писательских собраниях был подвергнут роман «За правое дело», затем, как я уже говорил, была арестована рукопись романа «Жизнь и судьба». Рассказ «Тиргартен» и повесть «Добро вам!», уже набранные, стоявшие в номере, не пропустила цензура. После смерти писателя вышла в 1967 году единственная его книга – далеко не полный сборник послевоенных повестей и рассказов, по которым к тому же изрядно погулял цензорский карандаш. После этого в течение двух десятилетий – ни строчки. Одно время – в изданиях, приуроченных к тридцатилетию Победы, – даже имя его вычеркивалось, словно и не было такого писателя.

Хочется надеяться, что сборник повестей и рассказов Василия Гроссмана, который держит сейчас в руках читатель, поможет ему составить представление – пусть первоначальное, пусть самое общее (за пределами книги остались роман «Степан Кольчугин», повесть «Народ бессмертен» и превосходные очерки военных лет, роман «За правое дело» – все эти вещи, надо думать, тоже будут в ближайшее время переизданы) – о творчестве автора «Жизни и судьбы», главным образом, о его «малой» прозе...

«...Все мы, нынешняя литературная генерация, выпорхнули на свет из широкого горьковского рукава» – это давняя фраза Леонида Леонова стала уже историко-литературной формулой. Многие она объясняет и в судьбе Василия Гроссмана. В той литературной генерации, которую в годы Советской власти пестовал и направлял Горький, он был одним из последних. В 1932 году к Горькому попала рукопись двух первых произведений Гроссмана – рассказа «Три смерти» и повести «Глюкауф». Сочинения эти Горький подверг довольно суровой критике, однако кончил свой отзыв словами, которые обнадеживали начинающего автора: «Человек он – способный...» Гроссман после этого засел за серьезную переработку «Глюкауфа» и в апреле 1934 года представил в редакцию новый вариант.

Что было дальше, рассказал он сам через много лет: «Помню, что я отнес рукопись в редакцию „Альманаха“ во второй половине дня, а на следующий день мне сообщили, что Горький уже прочел мой роман.

Рукопись была одобрена Горьким и принята им к печати в альманахе «Год XVII». При втором чтении «Глюкауфа» им было сделано несколько замечаний.

В апреле 1934 года в «Литературной газете» был опубликован мой первый рассказ «В городе Бердичеве». Горький прочел этот рассказ и в мае пригласил меня к себе в Горки.

Эта встреча (5 мая 1934 года) навсегда сохранится в моей памяти. Сперва Горький расспрашивал меня о моей работе, затем он заговорил об общих вопросах – о философии, религии, науке. Помню, что говорил он также о том, как по-новому формируется характер

людей в новых советских социальных условиях, приводил примеры.

Эта встреча с Алексеем Максимовичем в большой степени повлияла на дальнейший мой жизненный путь.

В это время я еще не был литератором-профессионалом. Алексей Максимович посоветовал мне всецело перейти на литературный труд».

Так родился писатель. В литературу Василий Гроссман пришел из гущи жизни – провинциальной, шахтерской, заводской, хорошо знал, как живут рабочие, техники, инженеры. Он многое успел повидать в годы своей юности и молодости. Помнил гражданскую войну на Украине, эти впечатления отозвались в ряде его произведений. Родители Гроссмана принадлежали к той низовой интеллигенции (отец – инженер-химик, мать – преподавательница французского языка), которой и в 20-е и в 30-е годы материально жилось очень нелегко, концы с концами сводились с большим трудом, в школе и в университете ему пришлось постоянно подрабатывать себе на жизнь. Он был и пильщиком дров, и воспитателем в трудовой коммуне беспризорных ребят, нанимался на летние месяцы в Среднюю Азию во всевозможные экспедиции. В 1929 году Гроссман окончил химическое отделение физико-математического факультета Московского университета и уехал в Донбасс. Работал в Макеевке старшим лаборантом в Научно-исследовательском институте по безопасности горных работ и заведующим газоаналитической лабораторией шахты «Смолянка-11», затем в Сталино химиком-ассистентом в Донецком областном институте патологии и гигиены труда и ассистентом кафедры общей химии в Сталинском медицинском институте. В 1932 году Гроссман заболел туберкулезом, врачи рекомендовали ему поменять климат, он переехал в Москву, поступил на работу на карандашную фабрику имени Сакко и Ванцетти – был там старшим химиком, заведующим лабораторией и помощником главного инженера. Впечатлениями тех лет навеяно многое в его произведениях – и не только в ранних, как «Глюкауф», «Повесть о первой любви», «Цейлонский графит», но и в романе «За правое дело», в главах, посвященных шахтеру Новикову.

Конечно, подлинный художник наделен особой пронизательностью, он видит и то, что не бросается в глаза людям, у которых нет художественного таланта, что закрыто от них. У художника особая отзывчивость, особое воображение, позволяющие ему проникать в мысли и чувства, взгляды и резоны других людей – иного возраста, среды, воспитания, мировосприятия, ставить себя на их место, вживаться в их жизнь, но этот дар, данный природой, питает биография писателя, пережитое им самим, накопленный жизненный опыт. Гроссман немало успел повидать до того, как стал профессиональным литератором, но очень многое ему пришлось пережить и потом, в годы разгула массовых репрессий (была арестована его жена – О. М. Губер), во время Великой Отечественной войны (на всю жизнь незаживающей раной осталась смерть матери, уничтоженной гитлеровцами в еврейском гетто Бердичева), о терниях его литературной судьбы в послевоенное время я уже говорил.

Великая Отечественная война стала для Василия Гроссмана, как для многих наших людей, особым временем, ни с чем не сравнимой школой постижения народной жизни. Четыре года войны, как говорили в армии, от звонка до звонка, он был фронтовым корреспондентом «Красной звезды». В статье «Памяти павших», опубликованной «Литературной газетой» к пятилетию начала войны, 22 июня 1946 года, Гроссман вспоминал: «Мне пришлось видеть развалины Сталинграда, разбитый зловещей силой немецкой артиллерии первенец пятилетки – Сталинградский тракторный завод. Я видел развалины и пепел Гомеля, Чернигова, Минска и Воронежа, взорванные копры донецких шахт, подорванные домны, разрушенный Крещатик, черный дым над Одессой, обращенную в прах Варшаву и развалины харьковских улиц. Я видел горящий Орел и разрушения Курска, видел взорванные памятники, музеи и заповедные здания, видел разоренную Ясную Поляну и испепеленную Вязьму». Здесь названо еще далеко не все – Гроссман видел и форсирование Днепра, и только что освобожденный нацистский лагерь уничтожения – Треблинку, и агонию Берлина. И всюду –

огонь, дым, пепел...

Три небольшие выписки из фронтовых записных книжек Гроссмана.

«Горящий Гомель. Выбежал человек и кричит: „Пожар!“ Все сидят на мостовой и молча смотрят, он оглянулся и тоже сел – горел весь город.

Огромное здание склада сгорело – на стене сохранилась надпись: «огнеопасно». Гомель горит и когда рушатся дома, странно, точно лес вырастает сквозь рушащиеся стены и крыши – розовые от жара трубы. Их много, тонких, высоких – лес».

Это сорок первый год.

А это запись, сделанная сразу же после сокрушительной немецкой бомбежки Сталинграда:

«Сталинград сгорел. Писать пришлось бы слишком много. Сталинград сгорел. Сгорел Сталинград».

Чуть позднее, преодолев шок первого впечатления, он запишет и некоторые подробности этого ужасного дня:

«Мертво. Люди в подвалах. Все сожжено. Горячие стены домов, словно тела умерших в страшную жару и неуспевших остыть... Среди тысяч громадин из камня, сгоревших и полуразрушенных, чудесно стоит деревянный павильон, киоск, где продавалась газированная вода. Словно Помпея, застигнутая гибелью в день полной жизни».

Так уж случилось, что Гроссман стал очевидцем всей сталинградской эпопеи. Хотя очевидец в данном случае не очень подходящее слово, многое писатель и на себе испытал, например, что такое переправа через Волгу (этот опасный путь ему пришлось проделать не один раз – ведь передать материал в газету да и писать можно было только на левом берегу):

«Жуткая переправа. Страх. Паром полон машин, подвод, сотни прижатых друг к другу людей, и паром застрял, в высоте Ю-88, пустил бомбу. Огромный столб воды, прямой, голубовато-белый. Чувство страха. На переправе ни одного пулемета, ни одной зениточки. Тихая светлая Волга кажется жуткой, как эшафот».

Судя по записным книжкам, Гроссман не раз бывал во многих вошедших в историю местах Сталинградской битвы – на Мамаевом кургане и на Тракторном, на «Баррикадах» и СталГРЭСе, на знаменитом командном пункте Чуйкова, в дивизиях Родимцева, Батюка, Гуртьева, встречался и подолгу разговаривал – и не после, когда все было кончено, а тогда же, в разгар боев, – со многими участниками сражения – и прославившимися военачальниками, и оставшимися безвестными офицерами и солдатами, а нередко видел их в деле.

«Дух армии – великая и неуловимая сила. Она реальность» – эта запись сделана Гроссманом в первую военную зиму. В Сталинграде это наблюдение, многократно подтвержденное всем, что там происходило, было осмысленно им как некий «закон» войны, таящий «разгадку победы и поражения, силы и бессилия армий». Одним из проявлений этого открывшегося писателю «закона» было «чудо», происшедшее в Сталинграде, оно стало возможным, потому что бой шел за «присущую людям меру морали, убежденности в человеческом праве на трудовое и национальное равенство» – так это сформулировано в романе «За правое дело». А в романе «Жизнь и судьба» автор воспринимает историческую драму, разыгравшуюся в Сталинграде, как действие универсальных, всеобъемлющих категорий человеческого бытия. «Закон» войны оказывается лишь частным случаем общего «закона» человеческого существования: жизнь человека невысказана без свободы.

И о чем бы ни писал Гроссман после войны – о маленькой девочке, которая, попав в больницу, впервые сталкивается с неприглядной реальностью трудной, несправедливо устроенной жизни простых людей («В большом кольце»), о судьбе женщины, полжизни проведенной в лагерях («Жилища»), о дружбе и сердечности, испытываемыми жестокими обстоятельствами нашего века («Фосфор»), о Сикстинской мадонне как о самом высоком символе человечности («Сикстинская мадонна») – он судит действительность, человеческие отношения и натуры, руководствуясь этим общим «законом», глубинную суть которого до конца постиг в годы военных испытаний, народной беды и подвига...

Горький ввел Гроссмана в литературу, но художественный мир Гроссмана сформировался под воздействием другого художника. И это не Толстой, о котором вспоминали так или иначе все, кто писал о «Жизни и судьбе». Кумиром Гроссмана был и оставался до конца дней Чехов. Размышляя о назначении искусства, о том, что есть правда в литературе, об отношении художника к окружающему миру, гроссмановские герои не случайно вспоминают именно Чехова. В одной из ранних вещей, написанной в 1936 году «Повести о любви», есть такой эпизод: с героем в одном купе оказываются кинорежиссер, оператор и автор сценария, едущие снимать фильм о Донбассе. Они вдруг затевают спор, каким должен быть этот фильм:

«– Ленты именно нужно вертеть про главное – уголь, сталь, хлеб.

– Жизнь, смерть, любовь, – добавил писатель.

– Да, за жизнь людей, – согласился режиссер. – Человека интересует человек. Законный интерес. Хорошая лента должна идти в глубину: покажите настоящий характер, сумеете передать простое чувство – вот задача.

– А кто орал про конфликты, драматургические узлы, сценические ситуации? – спросил писатель.

– Я – до вчерашнего дня. Сегодня ночью я все понял. Сюжет чеховской «Степи» в том, как мальчика везли в школу учиться, а он в дороге простудился и заболел насморком. А под этим сюжетом – жизнь России, философия и печаль брэнного бытия. Вот так нужно работать.

– Да! Это – настоящее искусство, – сказал писатель».

Этот совершенно неожиданно возникший, как будто бы случайный (в нем нет никакой сюжетной привязки, герой не имеет отношения к литературе – он инженер) разговор исполнен для автора самого серьезного, касающегося его лично содержания, в нем, в сущности, заключена его творческая программа, ориентиром для которой был Чехов.

В этом вагонном разговоре обнаруживает себя сейчас уже едва различимый, а тогда бросавшийся в глаза, даже дерзкий полемический вызов так называемой литературе пятилеток, «производственной» литературе, которая утвердилась в те годы как закономерный и прямой отклик на «социальный заказ» эпохи (разумеется, вульгарно истолкованный), как воплощение «новой», духоподъемной эстетики, на самом деле носившей казенно прагматический характер. Источник вдохновения эта литература искала в процентах перевыполнения планов, тоннах угля и стали, центнерах хлеба, она воспевала ударные темпы и рекорды стахановцев, поэтизировала конвейеры и домны, клеймила разумный инженерный и хозяйственный расчет как проявление консервативного, «старорежимного» мышления, человек занимал ее лишь в качестве самоотверженного или нерадивого добытчика тонн и центнеров, она мало интересовалась и плохо представляла себе, как и чем он живет. Гроссман, пришедший в литературу с производства, хорошо знавший подлинную жизнь людей труда, прекрасно понимал, что эта жизнь никак не вмещается в плоский, одномерный, искусственный мир по одной колодке скроенных сочинений на «производственную» тему. Даже тогда, когда, как в «Цейлонском графите», действие почти

целиком разворачивается на территории фабрики, проходная не отгораживает персонажей от непроизводственных забот и проблем.

Герой для Гроссмана всегда «человек среди людей» (так он напишет в одном из последних произведений). Гроссман изображает его жизнь, чем-то похожую на жизнь других людей и соединенную с ними бесчисленными нитями, но всегда неповторимую, являющую собой особый мир, он ловит движения его души и чувств – осознанные и смутные, затаенные и неожиданные, он вскрывает подоплеку его поступков, его поведения. Проза Гроссмана внешне суховата, ей чужды слишком яркие краски, она чурается подробных описаний, – Гроссман повествует, рассказывает, а не рисует, не изображает, но рассказ его отличается высоким внутренним лирическим напряжением – в этом он следует за Чеховым.

Однако Чехов для Гроссмана не столько школа, хотя на первых порах он усваивал уроки чеховской поэтики, а прежде всего позиция, гражданская и нравственная, – с годами она становилась все более последовательной и далеко идущей, распространяясь на коренные проблемы современного бытия. Знаменателен еще один разговор о Чехове, который ведут гроссмановские герои, – на этот раз в романе «Жизнь и судьба». Речь идет о том, что Гроссману, уже зрелому художнику и человеку, кажется в Чехове самым важным и что ему ближе всего:

«Ведь Чехов поднял на свои плечи несостоявшуюся русскую демократию. Путь Чехова – это путь русской свободы. Мы-то пошли другим путем. Вы попробуйте, охватите всех его героев. Может быть, один лишь Бальзак ввел в общественное сознание такие огромные массы людей. Да и то нет! Подумайте: врачи, инженеры, адвокаты, учителя, профессора, помещики, лавочники, фабриканты, гувернантки, лакеи, студенты, чиновники всех классов, прасолы, кондукторы, свахи, дьячки, архиереи, крестьяне, рабочие, сапожники, натурщицы, садоводы, зоологи, хозяева постоянных дворов, егеря, проститутки, рыбаки, поручики, унтера, художники, кухарки, писатели, дворники, монахини, солдаты, акушерки, сахалинские каторжники...

– Хватит, хватит, – закричал Соколов.

– Хватит? – с комической угрозой переспросил Мадьяров. – Нет, не хватит! Чехов ввел в наше сознание всю громаду России, все ее классы, сословия, возрасты... Но мало того! Он ввел эти миллионы как демократ, понимаете ли вы, русский демократ! Он сказал, как никто до него, даже Толстой не сказал: все мы прежде всего люди, понимаете ли вы, люди, люди, люди! Сказал в России, как никто до него не говорил. Он сказал: самое главное то, что люди – это люди, а потом уж они архиереи, русские, лавочники, татары, рабочие. Понимаете – люди хороши и плохи не оттого, что они архиереи или рабочие, татары или украинцы, – люди равны, потому что они люди. Полвека назад ослепленные партийной узостью люди считали, что Чехов выразитель безвременья. А Чехов знаменосец самого великого знамени, что было поднято в России за тысячу лет ее истории, – истинной, русской, доброй демократии, понимаете, русского человеческого достоинства, русской свободы».

Можно, наверное, спорить о том, во всем ли точна эта характеристика творчества Чехова, но, несомненно, в нем выражен взгляд самого Гроссмана на человека и мир, на то, какой должна быть жизнь, какими качествами измеряться. Он, как мы сказали бы нынче, отдает приоритет общечеловеческим ценностям, он судит суровую, скудную, запутанную, полную противоречий, предрассудков и окаменелых догм действительность, исходя из абсолютной ценности каждой человеческой жизни, из того, что «все мы прежде всего люди» и имеем право на свободу и счастье, на уважение нашего человеческого достоинства.

Это отчетливо проступает даже в ранних рассказах Гроссмана, посвященных свинцовому лихолетью гражданской войны. Преодолевая уже прочно сложившуюся к тому времени традицию поэтизации жестокого, кровавого времени как исторической неизбежности и даже необходимости, Гроссман в рассказе «В городе Бердичеве» противопоставляет разливу

взаимоистребительной ненависти, захлестывающему уже сами основы человеческого существования, великое чудо рождения человека, счастье материнства. В безусловном, безоговорочном гуманизме, в свободе видит он единственно прочный нравственный фундамент людского сообщества.

Рождение ребенка самым неожиданным образом изменило героиню рассказа, боевого комиссара Клавдию Вавилову. То, что совсем недавно целиком ее поглощало, казалось единственно нужным и важным: «Кто проведет беседы о июльских днях? Завхоза надо взгреть за то, что задержал доставку сапог. И потом можно резать самым сукно на обмотки. Во второй роте много недовольных, особенно этот кудрявый, который поет донские песни», – отодвинулось в сторону, мысли о том, что делается в ее батальоне и что должна была бы делать там сейчас она, стали «какие-то ненастоящие». Теперь все ее тревоги, все заботы о новорожденном. Никогда не жалевшая себя ни в боях, ни в походах, никому не дававшая спуска и поблажек, «три раза она уже бегала с ним к доктору. В доме нельзя дверь открыть: то оно простудится, то его разбудят, то у него жар». Жизнь Вавиловой наполнилась новым, прежде неведомым ей смыслом, осветилась неожиданным светом, оказалось, что мимо нее проходило что-то бесконечно важное, бесценное, о чем она, увлекаемая могучим потоком революционных событий, кровавых сражений, и думать не думала...

В «Повести о любви» таким толчком, вдруг перевернувшем жизнь героя, подарившим ему чувство полноты бытия, заставившим по-новому взглянуть на окружающий мир, оказалась пришедшая к нему счастливая любовь. Правда, вместе с ней пришли и заботы – и душевные, и бытовые, он теперь отвечал не только за себя, но и за жену, за ее дочь. Все это было непривычно, непросто, он словно бы заново открывал себя, проверял, что он за человек, чего стоит, на что способен. «...Он подумал, что сейчас проходит школу жизни, такую же трудную и важную, как гражданская война. Теперь он видит, что жизнь ткется из тысячи простых вещей и очень трудно достойно и мужественно шагать по этой простой жизни...» Но новые заботы не были почему-то бременем и обузой, и беззаботность одиночества, былую безытность герой вспоминал без всякого сожаления: только теперь он ощутил настоящий вкус жизни, особую весомость каждого прожитого часа, каждой минуты, увидел, каким просторным бывает небо и какой зеленой молодая трава, каким чудесно таинственным ночной лес – даже луна сияла по-иному, «как живое яркое светило»...

«Все мы прежде всего люди» – это лейтмотив всего творчества Гроссмана. Начав с размышлений о жизни простого человека (это мог быть инженер или кухарка, уборщица или рабочий, комбайнер или врач – все равно заслуживают внимания), о его праве на место под солнцем – такое же, как у других, на равные шансы осуществления себя, на счастье, Гроссман после войны, скосившей десятки миллионов людей, со все большей тревогой думал уже о судьбе рода человеческого, о нависшей реальной угрозе уничтожения – и его, и всего живого на земле, о том, что нужно, чтобы предотвратить эту катастрофу. Поздняя проза Гроссмана («Тиргартен» и «Авель (Шестое июля)», «Дорога» и «Птенцы», «Добро вам!» и «Сикстинская мадонна») нередко носит открытый, выразившийся и жанрово, нравственно-философский характер. Писатель часто пишет о животных – хочет подчеркнуть, что ведет речь о том, что составляет универсальную суть земного бытия, единого мира, образованного всеми обитателями нашей планеты – словесными и бессловесными – и ее природой. Судьба животных выявляет тревожное несовершенство человеческого сообщества, оказавшегося на грани глобальной катастрофы.

Герой рассказа «Авель» Джозеф – самый молодой, самый чистый, самый добрый, в прошлом веке о таких говорили – невинный, член экипажа американского тяжелого бомбардировщика – перед дальним полетом решает выкупаться в ночном океане, в эти блаженные минуты он ощущает свою неразрывную связь с окружающим нас миром: «Капли воды дрожали на ресницах, и в каждой капле растворился крошечный квант звездного света, и, должно быть, оттого, что свет прошел через бездны пространства и времени, а соленые капли, захватившие этот свет, были согреты живым теплом человеческого тела, в душе у юноши

возникло какое-то странное, щемящее и сладостное ощущение... И в эти секунды он почувствовал братскую и сыновнюю, нежную, добрую связь со всем живым, что существовало на земле и в глубинах моря, со слепыми протехами в подземных пещерных водах, со всем живым, чье легкое, доброе дыхание шло через пространство от звезд и мягкой голубоватой прохладой касалось его ресниц». Участие в атомной бомбардировке японского города так потрясло Джозефа, что он теряет рассудок, – сочувливый юноша с ужасом осознал после полета, что они совершили, на что подняли руку – на самую Жизнь...

Что может остановить человека, человечество от того безумного шага, за которым последует конец нашего мира? Только признание абсолютной ценности человеческой жизни, только осознание человеком своей нравственной ответственности перед всем сущим, отвечает Гроссман, только добрая воля и любовь к добру. Как это трудно в наш век не сдающего своих позиций эгоизма – сословно-классового, национального, государственного – и всемогущей техники, соревнующейся с природой, – мы уже без всякого удивления говорим о творениях рук человеческих: быстрее звука, сильнее землетрясения, ярче тысячи солнц. В этих условиях моральная ответственность становится анонимной, плохо различимой, как бы растворяется: кто-то принял решение нанести ядерный удар, кто-то превратил это решение в военный приказ, где-то за тысячи километров от них, получив приказ, нажали кнопку пуска и ракеты с ядерными зарядами полетели к целям, тоже находящимся за много тысяч километров. Все участвуют в ужасном преступлении, но чувствуют ли свою ответственность? В «Авеле», написанном Гроссманом тридцать пять лет назад (хочу на это обратить внимание, потому что рассказ звучит сегодня еще более современно и грозно, чем тогда), один из персонажей, оправдывая свое участие в атомной бомбардировке, рассуждает: «Знаешь, техника освобождает нас в этом деде от моральной ответственности. Раньше ты разбивал голову врагу дубиной и тебя обдавало его мозгом – вот тогда ты отвечал; потом расстояние стало все увеличиваться – на длину копья, полета стрелы, и ты только слышал его крик, потом он отдалился на выстрел из пищали, мушкета, и ты уже не слышал его стонов, только видел, как он падает – пестрый человечек, потом неясный силуэтик, потом точка, потом не стал виден не только человек, но даже линкор, по которому бьешь... кому нести ответственность? Тот, кто видит врага, – наблюдатель, он не стреляет, а тот, кто стреляет, – огневик, – тот не видит, у него только данные – цифры, за что же ему отвечать?»

Размышляя о том, что грозит человечеству, Гроссман докапывается до нравственной сути проблемы, разоблачая софистику технократов, несостоятельность политических резонансов, показывая опасность конформизма и обывательского равнодушия. Все его надежды связаны с человеком – в его освобождении от всех видов гнета, в свободе его мысли и совести видит он точку опоры, на которой может удержаться пошатнувшийся мир. В этом пафос всего, что он писал в послевоенные годы.

Гроссман – беспощадный художник, он видел жизнь и людей такими, какими они есть, без всяких прикрас – со всеми невзгодами, грехами, уродствами, несправедливостями. Но при этом он, сам переживший столько ударов судьбы, столько разочарований, столько горя, всей силой своего замечательного таланта утверждал, что «мир противоречий, длиннот, опечаток, безводных пустынь, мудрых мыслей и дураков, мир страданий, нужды, труда, мир окрашенных вечерним солнцем горных вершин прекрасен». Он был убежден, что «высший дар человеческий есть дар душевной красоты, великодушия и благородства, личной отваги во имя добра». Эти слова Василий Гроссман написал незадолго до смерти в повести «Добро вам!» – наверное, они могут быть самым лучшим эпиграфом ко всему его творчеству.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ

Условия матча были записаны зеленым карандашом на листе бумаги, и лист прикрепили двумя булавками к стене.

«1. Выигравшим считается выигравший раньше другого пять партий.

2. Пьес туше.

3. Выигравший получает звание чемпиона мира».

Игра началась, и оба участника турнира склонились над табуретом в совершенно одинаковых позах: точно сложенные вдвое, они сидели, упершись грудью в колени, ухватив себя за скрипящие, небритые подбородки, и смотрели на шахматную доску. Отличались они друг от друга лишь тем, что Фактарович чесал голову и наворачивал на палец кольца своих черных волос, Москвин же головы не трогал, а почесывал когтистым пальцем босой ноги косточку, выпиравшую из-под синей штанины галифе.

Рыжий старик Верхотурский сидел у окна и читал книгу. Весеннее солнце светило ярко, и соломенные жгуты, в которые был вплетен лук, свисали по стенам комнаты, как косы неведомых блондинок.

Широкий лоб Верхотурского, кисти рук, рот, громкое дыхание – все было большим и тяжелым. Читая, он недоуменно поднимал брови, пожимал плечами и делал кислое лицо. Потом он захлопнул книгу и, подойдя к стене, прочел объявление о турнире. Он был порядочно толст и, читая, упирался животом в стену.

– Вот что, дети Марса, – сказал он, – военкомам не надлежит писать «выигравшим считается выигравший».

Игроки молчали.

– Послушайте, – сказал Верхотурский, – вы слишком рано устроили состязание.

Партию выиграл Москвин.

– Шах, он же и мат, – загоготал он, быстро смешав фигуры.

Фактарович зевнул и пожал плечами.

Потом Москвин рисовал громадный зеленый ноль и при этом давился от смеха, хлопотливо всплескивая руками.

– Очень хочется есть, – сказал Москвин, любясь листом на стене.

– Еще неизвестно, доживем ли мы до еды, – ответил Фактарович.

Они заговорили о происшедшем. Ночью польская кавалерия ворвалась в город. Очевидно, галицийские части открыли фронт. Красных в городе было мало, один лишь батальон чон .

Чоновцы отступили, и город достался полякам тихо, без пулеметного визга и хлопанья похожих на пасхальные яички гранат.

Чон – часть особого назначения.

Они проснулись среди врагов, два бледнолицых от потери крови военкома, приехавшие с

фронта лечить раны, и еще третий, старый человек, с которым они познакомились только вчера. Он совершенно случайно задержался в городе из-за порчи автомобиля. И доктор, у которого жили военкомы, ожидая, пока исправят электрическую станцию и можно будет включить сияющую голубым огнем грушу рентгеновской трубки, ввел его в столовую и сказал:

– Вот, пожалуйста, мой товарищ по гимназии, а ныне верховный комиссар над...

– Брось, брось, – сказал рыжий, и, оглядев диван, покрытый темным бархатом, полку, уставленную китайскими пепельницами из розового мрамора, каменными мартышками, фарфоровыми львами и слонами, он подмигнул в сторону узорчатого, как Кельнский собор, буфета и сказал: – Да-с, ты, видно, не терял времени, красиво живешь.

– Ах какие глупости! – сказал доктор. – Все это теперь можно купить за мешок сахару-рафинада и два мешка муки.

– Брось, брось... – ухмыльнулся рыжий. – Он протянул военкомам свою мясистую большую руку и пробурчал: – Верхотурский. – И оба военкома одновременно кашлянули, одновременно скрипнули стульями, переглянулись и значительно подмигнули друг другу.

Потом пришла в столовую добрейшая Марья Андреевна и, узнав, что Верхотурский – товарищ мужа по гимназии, вскрикнула, точно ее кто-то ущипнул, и заявила, что, пока Верхотурский не поест, не выспится на мягкой постели, она его не отпустит. Ночевал он в одной комнате с мальчиками – так звала Марья Андреевна военкомов.

Утром к ним зашел доктор; он был в мохнатом халате, на его седой бородке блестели капельки воды; щеки, покрытые фиолетовыми и красными веточками жилок, подергивались.

– Город занят польскими войсками, – сказал он.

Верхотурский посмотрел на него и рассмеялся:

Ты огорчен?

– Ты понимаешь ведь, о чем я говорю, – сказал доктор.

– Понимаю, понимаю.

– Вы бы могли переодеться и уйти, может быть это будет лучше всего, черным ходом, а?

– Ну нет, – сказал Верхотурский, – если мы уйдем сегодня, то попадемся, как кролики, на первом же углу. Сегодня мы не уйдем и завтра, вероятно, тоже не уйдем.

– Да, да, может быть, ты и прав, – сказал доктор, – но, понимаешь...

– Понимаю, понимаю, – весело сказал Верхотурский, – я, брат, все понимаю.

Они стояли несколько мгновений молча, два старых человека, учившихся когда-то в одной гимназии, и смотрели друг на друга. В это время вошла Марья Андреевна. Доктор подмигнул Верхотурскому и приложил палец к губам.

– Доктор вам уже сказал, что у нас вы в полной безопасности? – спросила она.

– Именно об этом мы сейчас говорили, – сказал Верхотурский и начал смеяться так, что его живот затрясся.

– Клянусь честью, ты меня не понял, – сказал доктор, – я ведь думал...

– Понял, понял, – перебил Верхотурский и, продолжая смеяться, махнул рукой.

И они остались в комнате, уставленной мешками сахара, крупы и муки. На стенах висели венки лука, длинные связки коричневых сухих грибов. Под постелью Верхотурского стояло корыто, полное золотого пшена, а военкомы, подходя к своим дачным складным кроваткам, ступали осторожно, чтобы не повредить громадных глиняных горшков с повидлом и маринованными грушами, стеклянных банок с малиновым и вишневым вареньем. Они ночевали в комнате, превращенной в кладовую, и, хотя комната была очень велика, в ней негде было повернуться, ибо Марья Андреевна славилась как отличная хозяйка, а доктор имел большую практику в окрестных деревнях.

II

– Положение хуже губернаторского, – сказал Фактарович.

– Да, хуже, – подтвердил Москвин.

Фактарович подошел к окну. Площадь была пуста.

– Как много камней, – удивленно пробормотал он и спросил: – Что же делать?

– А я почему знаю? – ответил Москвин.

– Продолжать шахматное состязание, – предложил Верхотурский.

– Вам смешно, – сказал Фактарович, точно Верхотурский был в лучшем положении, чем он и Москвин.

– Пожалуйста завтракать! – крикнула в коридоре Марья Андреевна.

Они пошли в столовую. Москвин посмотрел на стол: белый хлеб, масло, мед, повидло, большая кастрюля сметаны, на блюде в облаке пара высилась гора лапши, смешанной с творогом, в глубоких тарелках редька, соленые огурцы, кислая капуста.

– Э, как-нибудь, – крикнул Москвин и сел за стол. Он первым справился с лапшой, и Марья Андреевна спросила:

– Вам можно еще?

– Большое спасибо, – сказал он и ударил под столом ногами.

– Большое спасибо – да или большое спасибо – нет? – рассмеялась Марья Андреевна и положила ему вторую порцию,

– Если можно, я тоже съем еще, – сердито сказал Фактарович и подмигнул шумно глотавшему и почему-то очень смущенному Москвину.

В столовую вошел длиннолицый мальчик в очках, лет четырнадцати-пятнадцати. К груди он прижимал толстую книгу в блестящем желтом переплете.

– А, Коля, – сказали одновременно Фактарович и Москвин.

Мальчик пробормотал:

– Здравствуйте.

После этого он споткнулся и, садясь, так захохотал стулом, что Марья Андреевна вскрикнула.

Мальчик ел, глядя в книгу, и ни разу не посмотрел в свою тарелку...

– Вы не боитесь, юноша, угодить себе вилкой в глаз? – спросил Верхотурский.

Мальчик мотнул головой.

– Ах, это несчастье! – сказала Марья Андреевна. – У меня сердце обливалось кровью, пока я привыкла.

– Доктор, доктор, – закричала она, – завтрак давно простыл! – и, обращаясь к Верхотурскому, сказала: – Вы поверите, за тридцать лет не было случая, чтобы он пришел вовремя к столу. Вечно приходится по десять раз подогревать и носить из кухни в столовую. Прислуга его ненавидит за это.

В дверях показался доктор.

– Иду, иду, иду... Помою руки и моментально сажусь за стол.

Москвин и Фактарович рассмеялись.

– Да, – сказал Москвин – мы здесь четвертый день, и каждый раз доктор говорит: «Помою руки и сажусь обедать» – и уходит на час.

Но на этот раз доктор пришел вовремя. Он вошел стремительной походкой, откинул ногой завернувшийся угол дорожки, сорвал листочек с календаря, щелчком сбил осколок яичной скорлупы, поднял с полу бумажку и бросил ее в полоскательницу. Садясь, он ущипнул мальчика за щеку и спросил:

– Ну, как дела, будущий Лавуазье?

Коля, продолжая смотреть в книгу, сказал:

– Глупо.

– Ну так вот, – сказал доктор, потирая руки от предстоящих удовольствий вкусного рассказа и еды. – Ну так вот, могу вам сообщить все новости.

Здесь, в столовой, он смотрел на своих непрошенных гостей с радушием и любовью, так как больше всего в жизни он любил рассказывать во время еды.

Он очень обижался, когда жена, перебивая его, говорила:

– Ешь, ешь, ты меня замучишь этими историями про царя Гороха.

Теперь, радуясь слушателям, он принялся рассказывать. в городе польская кавалерия, по улицам ездят патрули, возле здания городской управы стоят четыре пулемета, у поляков колоссальнейшая артиллерия, танки, в город они придут к вечеру; это основные силы второй армии.

– Ешь, пожалуйста, уже два раза подогревают тебе завтрак. И когда доктор попробовал рассердиться, Марья Андреевна сказала умоляющим голосом, которого он особенно боялся:

– Как тебе не стыдно говорить людям, поневоле живущим в твоём доме, вещи, которые им тяжело слушать? Неужели ты не понимаешь!

Верхотурский поднял голову, поглядел на Марию Андреевну, а Коля крикнул:

– Стыдно, стыдно! – и, схватив книгу, выбежал из столовой.

Доктор поднес руки к вискам и, обращаясь к Верхотурскому, сказал:

– Вот, в собственной семье.

После завтрака доктор надел на рукав перевязь с красным крестом и собрался на визиты.

– Не могу сидеть минуты без дела, – сказал он, – в любые бомбардировки хожу к больным, и черт меня не берет.

В коридоре он долго внушал Поле, что разговаривать с больными следует держа дверь запертой на цепочку и, прежде чем впустить кого-нибудь, нужно позвать Марию Андреевну.

– Ты говори: «Я без хозяйки никого не впущу», – понимаешь ты?

– Та понимаю, боже ж мий, чи я зовсим дурная? – отвечала Поля.

– Никто не говорит, что ты зовсим дурная, а я только объясняю, чтобы ты хорошенько все поняла; кто бы ни просил впустить его, что бы он ни говорил, ты отвечай: «Я без хозяйки никого не впущу». И сейчас же иди за Марией Андреевной, понимаешь?

Поля молчала, и доктор сердито спрашивал:

– Чего же ты молчишь, неужели не понимаешь?

Мария Андреевна сказала, что Москвину следует надеть докторские брюки, ибо в галифе он выглядит подозрительно.

– Но вообще, можете не беспокоиться, – с гордостью проговорила она, – доктор настолько уважаем, что никто не осмелится прийти с обыском в нашу квартиру.

Она ушла хлопотать по хозяйству, а Верхотурский и военкомы остались в столовой.

– Помыть, что ли, посуду? Скука смертная, – сказал Москвин и, пощупав свой живот, покачал головой.

Фактарович икнул и заговорил плачущим голосом:

– Товарищи, я здесь с ума сойду. Я задыхаюсь в этой обстановке. Я ведь сам жил в такой семейке, у своего папаши, мне эта механика известна.

– Брось! – сказал Москвин. – Подумаешь, обстановка! Ты бы посмотрел на моего папаню, когда он в получку возвращался.

– А я вот полежу на этом роскошном диване, – сказал Верхотурский и улегся, подкладывая под затылок подушечки.

Он взял одну подушку в руки и принялся рассматривать ее. На черном бархате была вышита бисером яркая бабочка, сотни разноцветных бисеринок переливались в сложном, тонком узоре, составлявшем расцветку крыльев.

Верхотурский ковырнул пальцем вышивку, потер ладонью бабочкины глаза, сделанные из круглых красных пуговичек, и задумчиво сказал:

– Ну-ну, доложу я вам...

Потом он положил подушечку себе на живот и довольно закричал.

– Пойдем на склад Опродкомарма, поиграем в шахматишки, – предложил Фактарович.

– Только не турнирную, а любительскую, – ответил Москвин.

– Т-рус.

– Я, знаешь, боюсь тебя в один день доконать, у тебя еще рана откроется от огорчения.

– Не бойся за мою рану, товарищ.

Как только они начинали говорить о шахматах, между ними устанавливался этот мальчишеский, сварливый тон. Это повелось еще с того времени, когда они лежали в полевом госпитале и сестра милосердия, глядя на их бумажные лица и прислушиваясь к их слабым голосам, едва слышным сквозь гул орудий, пугалась: ей казалось, что раненые военкомы сошли с ума.

Вдруг с улицы раздался шум, крики. Толкая друг друга, комиссары побежали к окну.

Через площадь мчался толстый лысый человечек, а за ним, придерживая рукой шашку, гнался высокий и тощий солдат. Лысый человек бежал молча, он бодал воздух своей круглой головой, точно проламывал себе дорогу, а серовато-синий солдат мерно перебирал ногами и делал это так неохотно, словно верблюд, которого гонят палкой.

– Стуй, стуй, пшя крев! – кричал солдат.

Но «пшя крев» и не думал останавливаться. Вот он в последний раз повел шеей, боднул невидимое препятствие и скрылся за железной калиткой. И тотчас вслед за ним во двор вбежал тощий солдат.

Площадь вдруг опустела, и три человека, стоя у окна, долго молчали.

– Догонит, сукин кот, – шепотом сказал Москвин.

– Как много камней, – точно силясь понять что-то, проговорил Фактарович.

А Верхотурский молчал, поглаживая подушечку, которую машинально захватил, вскочив с дивана.

Из калитки вышел солдат, держа за шнурки два желтых ботинка. Он оглянулся, точно собираясь ступить в воду, и пошел через площадь. И как только солдат побрел, помахивая ботинками, на площадь выбежал лысый толстяк.

– Пани, пани, мои буты! – кричал он, всплескивая руками и приплясывая вокруг солдата. Его ноги в светлых носках еле касались земли, и было похоже, что человек танцует какой-то веселый, задорный танец.

Солдат пошел быстрее, но толстяк не отставал от него.

– Пани, мои буты! – орал он и старался вырвать ботинки, но солдат, сердито закричав, метко лягнул его по задку. Он шел быстрыми шагами, худой, небритый, подняв ботинки над головой, а маленький толстяк в светлых носках прыгал возле него и пронзительно кричал.

Он уже не боялся ни револьвера, ни кавалерийской сабли, весь охваченный могучим желанием вернуть свои оранжево-желтые ботинки. Так они дошли до середины площади, и солдат начал озираться, не зная, куда идти.

– Пани, мои буты, – с новой силой взвыл толстяк, и кавалерист вдруг повернулся и ударил его сапогом в живот. Толстяк тяжело упал на спину. Кавалеристу, должно быть, стало неловко, что он так жестоко ударил человека. Он воровато оглядел площадь, окна домов – не видел ли кто-нибудь, как ударился упавший нежным, жирным затылком о камни. И солдат увидел, что десятки глаз смотрят на него, он увидел полных ненависти и ужаса людей, стоявших у окон, заставленных горшками, в которых цвели жирные комнатные цветы. Солдат увидел отвращение на лицах этих людей, ставших, как только он поднял голову, задерживать кружевные занавески. Он высоко поднял ботинки и швырнул их лежавшему толстяку. Потом он пошел, не оглядываясь по сторонам, худой, небритый мародер в помятой старой шинели, и скрылся в переулке.

Толстяк оперся на локоть, приподнялся, посмотрел в ту сторону, куда ушел грабитель, вдруг сел и начал надевать ботинок. Из домов выбежали люди, обступили его, все одновременно говоря и размахивая руками. Потом толстяк пошел к одному из домов, победно стуча отвоенными ботинками, а люди шли вслед за ним, хлопали его по спине и хохотали, полные гордости, что маленький человек оказался сильнее солдата.

– Да, картинка, – сказал Москвин.

Верхотурский ударил его по животу, проговорил:

– Вот какие дела, товарищи, – и, почему-то оглянувшись на дверь, сказал: – Белополяков мы прогоним через месяц или три – это мне не внушает сомнений, а вот с этим индивидом нам долго придется воевать, ух как долго!

И военкомы одновременно взглянули ему в лицо, как глядят дети на взрослого, читающего им вслух.

III

Перед обедом произошел скандал. Вернувшись с визитов, доктор вздумал заняться хозяйством. Так всегда случалось, когда в приемной не было больных. И так как доктор не мог оставаться без дела, это доставляло ему прямо-таки физическое страдание, он прошелся по комнатам, поправил криво висевшую картину, попробовал починить кран в ванной комнате и, наконец, решил заняться перестановкой буфета. Умудренный опытом, Коля отказался ему помогать.

Тогда доктор перенес столик красного дерева из коридора в столовую, бормоча:

– Черт знает что... вещи, которым буквально цены нет, почему-то должны гнить в передней.

Потом в столовую забрел Москвин и взялся вместе с доктором передвинуть буфет. Рана мешала ему – он не мог ни приподнять буфета, ни толкать его грудью. Однако он так усердно принялся подталкивать буфет задом, что посуда отчаянно задребезжала.

– Что вы делаете, ведь это хрусталь! – закричал доктор и кинулся открывать дверцу, – оказалось, что одна рюмка разбилась. И, как полагается, в то время когда доктор зачем-то старался приставить длинную ножку рюмки к узорной светло-зеленой чашечке, в столовую вошла Марья Андреевна. Она всплеснула руками и так вскрикнула, что Фактарович, бывший у себя в комнате, а Поля в кухне, прибежали в столовую.

Марья Андреевна не жалела рюмки, ей вообще ничего не было жалко. Доктор всегда жаловался, что она его разоряет тем, что кормит десятки нищих, отдает им совершенно

новые вещи, ворчал, что и ротшильдовских капиталов не хватит, чтобы окупать расходы ее безмерного гостеприимства. Вот и сейчас он узнал на Москвине свои совершенно новые брюки английского шевиота. Но у Марьи Андреевны был стальной характер, доктор знал, что нет во вселенной силы, которая заставила бы ее измениться, и он молча сносил и обедавших на кухне бедняков, и посылки, которые она отправляла своим племянникам и племянницам, примирился он и с комиссарами, которые, приехав просвечиваться, неожиданно поселились на полном пансионе в комнате-кладовой.

Марья Андреевна не любила, когда муж вмешивался в хозяйственные дела. Однажды, – это было двенадцать лет тому назад, – когда доктор зашел в кухню и изменил программу обеда, она бросила в него глубокую тарелку. И теперь, при домашних неладах, она предостерегала мужа:

– Не доводи меня до того, что однажды произошло. – И он тотчас же уступал ей.

Марья Андреевна произнесла:

– Немедленно убрать эту дрянь из столовой! – и ударила ногой по столику.

Доктор потащил столик в переднюю, а Марья Андреевна крикнула ему вслед:

– В передней ему тоже нечего стоять, его нужно выбросить на чердак.

Доктор уволок столик к себе в кабинет – единственная комната, где он чувствовал себя хозяином.

Когда он вернулся, буфет уже стоял на прежнем месте, а Марья Андреевна говорила Фактаровичу:

– Эти перемены властей – просто зарез для меня: больные боятся ходить, – в самом деле, смешно же идти к доктору лечить бронхит или какое-нибудь кишечное заболевание, когда рискуешь быть убитым и изнасилованным буквально на каждом углу. А он от безделья немедленно сходит с ума, я прямо в отчаянии. Он вздумал обклеить спальню какими-то дикими обоями, а когда деникинцы четыре дня обстреливали нас из пушек и мы сидели в погребе, он начал перекидывать запас капусты из одной каморы в другую и возился до тех пор, пока не свалились дрова и мы все едва не погибли. – Она посмотрела на мужа и с тихим отчаянием, протянув руки, сказала: – Вот пришли поляки, и ты уже переставляешь буфет.

Потом она подошла к нему и стала счищать с его рукава паутину, а доктор поднялся на цыпочки и несколько раз поцеловал ее в шею.

Окончательно помирились они за обедом, этим великим таинством, которое Марья Андреевна совершала с торжественностью и серьезностью. Она волновалась перед каждым блюдом, огорчалась, когда Верхотурский отказывался есть, и радовалась, когда Москвин шутя управился с третьим «добавком». Ей все казалось, что обедающим не нравится еда, что курица пережарена и недостаточно молодая.

– Скажите откровенно, – допрашивала она Верхотурского, – вы не едите, потому что вам не нравится? – И на лице ее были тревога и огорчение.

Обедали мирно – доктор не говорил про политику, только рассказал случай из своей практики – про то, как его вызвали ночью в имение к умиравшему помещику, за двадцать верст от города, и как пьяный кучер на полном ходу въехал в прорубь с тройкой лошадей и доктор чудом спасся, выскочив в последнее мгновение из саней.

История эта была очень длинная, и по тому, что Марья Андреевна подсказывала мужу слова, а Коля строил ужасные рожи и незаметно зажал уши, Верхотурский понял, что про пьяного

кучера и прорубь рассказывается, наверное, в сотый раз, и ему сделалось так скучно, точно он прожил в этом доме долгие годы и каждый день слушает про помещика и про то, как некий доктор, который теперь в Харькове профессор и *persona grata*, одному больному вылушил по ошибке здоровый палец, а другому вместо абсцесса вскрыл мочевой пузырь и больной взял да и помер, не очнувшись даже от наркоза.

– Удивительное дело, – сказал Верхотурский, – мы с тобой не виделись около сорока лет, а встретились и начали говорить друг другу «ты». Зачем?

– Юность, юность, – проговорил доктор. – *Gaudeamus igitur*.

– Какого там черта *igitur*, – сердито сказал Верхотурский, – и где этот самый *igitur*! Я вот смотрю на тебя и на себя – точно сорок лет бежали друг от друга.

– Конечно, мы разные люди, – сказал доктор. – Ты занимался политикой, а я медициной. Профессия накладывает громадный отпечаток.

– Да не о том, – сказал Верхотурский и ударил куриной костью по краю стола.

– Речь о том, что ты буржуй и обыватель, – сказал Коля профессорским тоном и покраснел до ушей.

– Видали? – добродушно спросил доктор. – Каков домашний Робеспьер, это в собственной-то семье...

– Конечно, буржуй, – подтвердила Марья Андреевна, – недорезанный буржуй...

– Ну какой же он буржуй? – сказал Москвин. – Доктора – они труженики.

И Москвин стал рассказывать, как на восточном фронте, где он тоже лежал в полевом госпитале – его там ранило осколком в ногу, – колчаковский эскадрон ворвался в деревню и доктор вместе с санитарями и легкоранеными отстреливались, пока не подоспел батальон красной пехоты.

– И как еще пулял, сукин сын, из карабина австрийского, знаешь, короткий такой... – неожиданно обратился он к доктору.

После разговора о том, буржуй ли доктор, все молча ели третье, позванивали ложечками.

– Вы ничего не слышите? – спросил Коля, обращаясь к самовару.

– Нет, – ответил Москвин.

Тогда Коля подошел к окну и раскрыл его. И все сидевшие услышали далекий, страшный крик.

– А-а-а-а... – кричал город.

Синее небо было полно величия и покоя, и казалось диким, что воздух так прозрачен и легок, что весело и нежно светит весеннее солнце и так беспечно переговариваются между собой воробьи, когда над городом навис этот ужасный человеческий вопль, полный смертного отчаяния и страха,

– А-а-а-а... – кричали сотни людей.

– Видите ли, – объяснил доктор, – когда они подходят к дому и начинают стучать в парадную дверь, самооборона бежит по квартирам и предупреждает жильцов, все становятся у окон и кричат. Соседние дома тоже начинают кричать, и в общем кричат целые кварталы. Иногда

это помогает.

– Чудовищно просто, – сказал Верхотурский и, быстро поднявшись, начал ходить по комнате.

– Это ничего, – успокаивающе сказал доктор, – в центре города они себе ничего подобного не позволяют, у нас даже открыта парадная дверь. – Он поглядел на жену и сердито сказал: – Коля, закрой моментально окно, что за дурацкий мальчишка! Ты разве не знаешь, что маму это расстраивает?

Марья Андреевна сидела, закрыв лицо руками, и плакала.

– Боже мой, боже мой, – бормотала она, – когда кончится этот ужас? – Она подняла голову и закричала: – Поля, Поля, убирай со стола! – и, снова закрыв лицо, продолжала плакать.

Она плакала и говорила, что нет у нее сил перенести окружающие ее страдания людей, всхлипывая, рассказала, как ужасно живет еврейская беднота, как погибают от голода беспомощные старики и старухи; рассказала, что закрылись благотворительные сиротские дома и сотни детей ходят по квартирам, просят хлеба; рассказала, как старики-пенсионеры, милые и хорошие люди, работавшие всю свою жизнь, теперь стоят с протянутой рукой; рассказала, как страшно умер старик-генерал, живший в соседнем доме. Она рассказывала, а Поля убирала со стола тарелки, ножи, вилки, плетеную хлебницу, солонки, голубые чашки, в которых подавался компот.

– Вымой клеенку горячей водой, – сказала Марья Андреевна и провела рукой по столу – показала Поле тусклый след, оставшийся от пальцев. И пока Поля мыла клеенку, Марья Андреевна говорила, что помощь, которую она оказывает людям, ничтожна и нет силы, которая могла бы осушить море слез и страданий, принесенных революцией и гражданской войной.

Ее красивая седеющая голова тряслась, как у старухи, все сидели молча, а через стекла вместе с нежным светом садившегося солнца в комнату входил тихий, далекий вой:

– А-а-а-а-а...

– Да, – сказал доктор, – я хочу знать только одно: почему во время революции, которая сделана для счастья людей, в первую очередь страдают дети, старики, беспомощные и ни в чем не виноватые люди? А? Объясните мне это, пожалуйста.

Все вздрогнули от неожиданного звонка и молча переглянулись.

– Я открою, – сказал Коля.

– Ты с ума сошел, – вскрикнула Марья Андреевна и схватила его за рукав.

– Поля, – ласково позвал доктор, – Поля, пойдите к двери.

Звонок взвизгивал, чья-то безумная рука рвала его.

– Что вы девушку посылаете? – сказал Москвин. – Уж лучше я схожу.

– Через цепочку, через цепочку, – закричал ему вслед доктор.

Москвин подошел к двери, подбадривая себя, состроил рожу, спросил невинным голосом:

– Кто там?

И тотчас женский голос закричал:

– Откройте, ради бога, к доктору, к доктору! Ради бога, откройте, к доктору!

Москвин снял цепочку, щелкнул английским замком, но дверь не открывалась.

– Сейчас, сейчас, – сказал он и повернул нижний ключ, но дверь снова не открылась.

– Тьфу ты, черт, что такое? – бормотал он и увидел, что дверь была заперта еще на три железные задвижки и большущий крюк.

– Сейчас отопру, – сказал он и отодвинул задвижки.

– Доктор, доктор! – закричала старая женщина в платке и побежала в столовую.

– К сыну моему, доктор, умоляю вас, скорей! – говорила она, и платок хлопал, как крылья черной птицы.

Она была полна безумия, и казалось, что ее отчаяние могло заразить не только живых людей, но и камни, по которым она бежала сюда.

Но доктор, видевший страшную смерть в тихих комнатах и светлых больничных палатах чаще, чем воины видят ее на поле сражения, остался спокоен.

– Да перестаньте кричать! – сказал он и замахал руками. – Если каждый больной станет так звонить, то на вас звонков не напасешься. И зачем, спрашивается, вы ворвались в столовую?

Женщина посмотрела на него расширенными глазами. Ведь только сумасшедший может говорить про звонок и столовую, когда в мире случилось такое ужасное несчастье! Все спокойные люди были безумны. Кричать и выть должны они, – ведь ее сын погибает.

– Доктор, идемте, доктор, идемте! – исступленно говорила она и тащила его за рукав.

– И я пойду с вами, – сказал Москвин.

– Отлично, веселей будет возвращаться, – сказал доктор. – Вы пойдете в качестве фельдшера.

И Марья Андреевна дала Москвину докторский пиджак с широкой перевязью Красного Креста.

Доктор собирался медленно, а в коридоре он вдруг остановился и начал брюзжать:

– Вы имейте в виду, что во всем городе есть один безумец-врач, который выходит из дому вот в такие дни.

Пустые улицы казались особенно широкими, а дома с закрытыми окнами и наглухо забитыми парадными дверями стояли точно шеренги серых людей, ожидающих казни.

– А-а-а-а... – протяжно кричали привокзальные кварталы.

– Доктор, доктор, скорее, – всхлипывая, говорила женщина и тянула его за рукав.

– Да не могу я с моим миокардитом бегать как козел, – сердился он. – Если вы хотите скорее, нужно было извозчика достать.

А когда они подошли к нужному переулку, Москвин услышал, как за воротами кто-то шепотом говорил:

– Это доктор, доктор, я его узнаю.

Должно быть, самооборона смотрела на них через щели в досках. Наконец они подошли к одной калитке. Москвин остался ожидать во дворе, а доктор с женщиной поднялись по черным железным ступеням кухонной лестницы.

Доктор пробыл в доме недолго, скоро он спустился вниз, и Москвин спросил его:

– Ну как, что с парнем? Доктор пожал плечами.

– Что, пустяки? – обрадовался Москвин.

– Какие пустяки? – удивился доктор. – Но вы себе представляете, чем я могу помочь молодому человеку, которому прикладом раздробили череп и который умер по крайней мере сорок минут назад? А? Как вы думаете, в таких случаях надо беспокоить врача?

Они вышли на улицу, и сверху донесся острый, сверлящий крик, в котором не было ничего живого и человеческого – так кричит железо, когда его сверлят насквозь.

Всю обратную дорогу доктор рассказывал Москвину, когда и кем были построены дома, мимо которых они шли. У него была громадная память, он помнил и знал все: сколько стоил дом, приносил ли он доход; доктор даже знал, как учатся дети домовладельцев и где живут их замужние дочери.

Они не встретили ни одного человека, звуки шагов раздавались громко, как в ночной тишине.

IV

В блюдечко было налито постное масло, ватка служила фитилем; называлась эта конструкция «каганец», и пользовались ею для освещения, взамен электричества. Каганец трещал – должно быть, к маслу была примешана вода, желтый пальчик пламени сгибался и разгибался, читать при его свете было почти невозможно.

Они сидели на своих кроватях и смотрели, как тени мешков, ящиков, банок струились и взвивались по стенам, бесшумно сталкиваясь и вновь разбегаясь.

Фактаровича лихорадило. Он измерял после ужина температуру, и у него оказалось больше тридцати восьми градусов. Лицо его с продавленными щеками было совсем темным. Москвин уговаривал его лечь в постель и взялся ему помочь снять туго сходявшие сапоги.

– Вы слышите, – сказал Фактарович и показал на темное окно, – это они!

Армия входила в город. Могуче рокотали колеса восьмидюймовых орудий, скрежещущие по камням подковы лошадей выбивали искры, и казалось, что ноги коней громадны, как колонны, обросшие густой страшной шерстью. С жестяным криком проехал броневик, его прожектор осветил мрачно шагавшую пехоту, блеск сотен штыков. Броневик проехал, и штыки погасли, исчезли в темноте, но солдаты все шли и шли – был слышен гул их шагов.

Комиссары стояли у окна, всматриваясь в темноту. То там, то здесь вспыхивали огоньки спичек, раздавались выкрики людей, поспешно отбрыкивали подковы легконогих адъютантских лошадок, но эти звуки глохли в гудении тысяч шагающих сапог.

– Подумать только, – сказал Верхотурский, – что парень, с которым я одно время встречался

в варшавском подполье, который когда-то ходил на сходки, таскал за пазухой литературку, теперь вот направляет этой контрреволюционной машиной, борющейся с коммунизмом.

– Борющейся с коммунизмом! – крикнул Фактарович и взмахнул руками. И, может быть, потому, что голова его горела, он заговорил безудержно и громко о великой социалистической революции. И странное дело – хотя за темным окном раздавался равномерный ужасающий гул молча идущих полков, не было сомнения, что сила на стороне этого человека, стоящего у окна большой полутемной комнаты.

Потом Москвин и Фактарович уснули. Москвин похрапывал, а Фактарович скрипел во сне зубами, и Верхотурский вспомнил, как в Лукьяновской тюрьме он четыре месяца провел в камере с товарищем, который скрипел ночью зубами; Верхотурский просился в одиночку, – этот зубовный скрип раздражал и не давал уснуть.

Должно быть, оттого, что он слишком много ел, у него сделалась жестокая изжога, и он почти до утра лежал с открытыми глазами и, сердито щурясь в темноту, думал о вещах, занимавших его вот уже сорок лет. Мысли его не путались, а шли легко и быстро. Он точно записывал их косым, размашистым почерком. То, что он находился в захваченном врагами городишке, не волновало и не беспокоило его. Он знал, что найдет способ наладить положение, как делал это уже десятки раз.

И только когда он вспомнил громадную пустоту сегодняшнего дня, вспомнил дом, полный дорогих и глупых вещей, разговоры за столом, ужин, обед, завтрак, чай, он забеспокоился, начал думать, как страшно было бы вдруг заболеть и пролежать здесь несколько недель.

А за окном стояла полная тишина.

Город, после того как вошли войска, спал глубоким сном, точно больной, измученный днем страданий в жестокой операционной комнате и, наконец, впавший в забытие.

v

Утром город зашумел весь сразу, в домах раскрылись окна, распахнулись парадные двери. Обыватели встречались, удивляясь встрече, всплескивали руками.

– Ну, что слышно в городе? – спрашивали они.

– Говорят, что штаб армии останется у нас постоянно. – И людям не верилось, глядя на военных, мирно ходивших тут же рядом, что вчера при виде этих серо-голубых шинелей они отходили от окон и, млея, ждали, не утихнет ли вдруг шум шагов возле их дома, не ударит ли мрачный завоеватель винтовочным прикладом по двери.

На стенах расклеили приказ № 1, и все узнали, что комендант города – полковник Падральский. Полковник Падральский извещал население, что он хочет покоя и того, чтобы жители, не боясь реквизиций, занимались своими делами. Полковник велел всем сдать холодное и огнестрельное оружие, а в последнем пункте приказа жирным шрифтом извещал, что, если кто-нибудь вздумает стрелять по войскам из окон, он, полковник Падральский, велит сжечь дом, из которого производилась стрельба, «а все мужское население в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет, проживающее в доме, будет расстреляно».

И обыватели согласно приказу полковника занялись своими делами: открыли магазины, перчаточные и шапочные мастерские, сапожные и портняжные заведения, кондитерские и пекарни. И краснощекий ювелир, спрятав под старинный темный комод сверток украденных им часов, рассказывал заказчикам, что его «сделал нищим» худой, небритый разбойник, тот, у которого он отвоевал лишь свои ботинки.

А худой солдат ехал полем; ноги его коня дымились от пыли, лицо солдата было серым после ночного перехода, и он внимательно рассматривал бритый беленький затылок мальчишки, ведущего эскадрон по дорогам этой чужой страны, о которой товарищи шепотом рассказывали много чудесных и страшных историй.

В этот день доктору исполнилось пятьдесят восемь лет, готовился «большой» обед, дом шумел и грохотал с утра. Марья Андреевна, одетая в ярко-голубой халат, повязав голову цветным украинским платком, убирала комнаты. Она снимала паутину и пыль с верха белой голландской печки, такой высокой, что Марья Андреевна, вскрикивая от страха, влезла на стул, поставленный на стол, чтобы дотянуться к верхним изразцам. Это трудное и опасное предприятие напоминало восхождение альпиниста на белоснежную вершину недоступной горы.

Доктор, всплескивая руками, бегал вокруг и кричал:

– Сумасшедшая, в твои годы, с твоим сердцем...

Но Марья Андреевна не обращала на него внимания, у нее была любовь к тяжелым и опасным трудам. Она мастерски натирала воском полы, умело чистила дымоходы, не гнушалась прочищать толстой железной проволокой засорившийся унитаз и делала это так быстро и ловко, что старик дворник с восхищением говорил:

– Ай да барыня! Вот это настоящая барыня!

На кухне было невероятно жарко от громадной, топившейся с раннего утра плиты. Казалось, что мухи, шныряющие в открытое окно, не выдерживая жары, вылетают на улицу отдышаться, а освежившись и набравшись сил, вновь возвращаются к кухонным трудам.

Москвин, сидя на корточках перед плитой, ворошил кочергой уголья, и светлые искры сыпались через решетку. Он так старательно подкладывал сухие березовые поленца, что плита прямо-таки ревела, заполненная белыми и желтыми лоскутьями пламени.

Поля открывала духовку и говорила:

Та годи же, в цэй духовци нэ то що стрюдель, а пасху можно печь.

Она плевала на раскаленное дно духовки, и слюна вспучивалась и вскипала.

Поля была сейчас счастлива. Сирота, ушедшая служить в город, она уже шесть лет работала прислугой, научилась готовить господские блюда, прошла всю хитрую школу горничной и кухарки, умевшей делать тысячи вещей, чтобы хозяева вкусно, тепло и чисто жили. Ночью, лежа на своей дощатой кровати, полуживая от четырнадцатичасовой работы, она мечтала о том, как выйдет замуж и заживет своей, а не чужой жизнью. И теперь ей казалось, что кухня принадлежит ей, что она жена этого веселого молодого парня, который так ловко колет левой рукой дрова и так душевно расспрашивает ее про деревенскую жизнь, шепотом учит неповиновению докторше, жалеет ее загубленную у плиты молодость.

И удивительное дело – Москвина тоже тянуло на кухню. Простой солдатский план, который он сразу же замыслил в вечер своего приезда, увидев девушку, принесшую самовар в столовую, сейчас казался поганым и ненужным.

Он злился, когда Марья Андреевна за столом говорила, что на украденное у нее горничными и кухарками можно построить трехэтажный дом. Он поражался громадности работы, которая была навалена на Полю, – самовары, завтрак, обед, мытье полов, мойка посуды, дрова, вода, беганье к дверям, десятки мелких и мельчайших поручений. А поздно ночью, когда все уже ложились, из спальни раздавался голос Марьи Андреевны:

– Поля, Поля, дай мне, пожалуйста, стакан чаю, я буквально умираю от жажды.

И спустя минуту в коридоре слышалось топание босых ног.

По вечерам он сидел в кухне у открытого окна и разговаривал с Полей. Он учил ее тактике классовой борьбы, советовал, как устроить капкан для хозяйки и заставить заплатить восемьсот миллионов рублей за сверхурочную работу. Потом он рассказывал Поле, как ей будет хорошо и легко жить при социализме, утешал ее, что терпеть осталось недолго – месяцев восемь, десять. А днем, так как ему, рабочему человеку, было тошно видеть свое безделье и ее тяжкие труды, он рубил дрова, топил плиту и очень умело чистил картошку – так ловко, что Поля, глядя на него, хохотала и говорила:

– А боже ж мой, ну чисто як женщина!

Правда, теперь разгоряченный чугуном жаром плиты Москвин поглядывал на босые ноги Поли очень свирепыми глазами, и, когда она подходила к плите, он обнимал ее, они начинали возиться и хохотать.

Оборванная старуха еврейка сидела на кухне, ожидая, пока пройдет хозяйственный пыл Марьи Андреевны и ее позовут в столовую рассказать про харкающую кровью дочь; про зятя, пытавшегося прокормить восемь человек шитьем мужских подштанников и потерявшего зрение, потому что, жалея керосин, этот умник работал в темноте; про заморыша-внука, родившегося без ногтей; про внучку, полгода сидящую дома, так как неудобно большой девочке выйти на улицу в одной рубашке. Старуха знала, что после ее рассказа Марья Андреевна закроет лицо руками и тихо начнет говорить: «Боже, боже», а потом вынесет ей столько мешочков крупы, муки и фасоли, что вся семья три недели не будет бояться голодной смерти. И она даже знала, что докторша снова куда-то уйдет и вернется с детским платьицем. Тогда Цына заплачет и докторша заплачет, потому что они обе старые женщины и не могут забыть детей, умерших двадцать лет назад. Старуха, тихонько покачиваясь, сидела на табурете и вдыхала сладкие, жирные запахи рождающихся пирогов. Москвин и Поля не обращали на нее внимания. Им казалось, что старуха ничего не видит, ничего не понимает, а она, искоса поглядывая на них, бормотала:

– Ну-ну, надо иметь медное желание, чтобы хотеть такую девушку, как эта...

Этот спокойный день был очень длинен. Факторович лежал, его лихорадило, кружилась голова. Читать ему не хотелось – в доме не было книг по философии и политической экономии, а Мережковского, которого принесла ему Марья Андреевна, он с презрением отверг. Лежа с закрытыми глазами, Факторович думал. Этот сытый, спокойный и ласковый дом напоминал ему детство. Марья Андреевна характером очень походила на одну его тетку – старшую сестру отца. И он вспомнил, как год назад, будучи следователем чека, он пришел ночью арестовывать ее мужа – дядю Зему, веселого толстяка, киевского присяжного поверенного. Дядю приговорили к заключению в концентрационном лагере до окончания гражданской войны, но он заразился сыпняком и умер. И Фактарович вспомнил, как тетка пришла к нему в чека и он сказал ей о смерти мужа. Она закрыла лицо руками и бормотала: «Боже мой, боже мой», – совсем так, как это делает Марья Андреевна.

Да, с тех пор он не видел ни отца, ни матери, ни сестер. И сегодня он вспомнил их – может быть, они все умерли уже. Он задремал, и ему снились очень глупые сны.

– Я не хочу больше супа! – плаксивым голосом кричал он и топал ногами, а отец чеканил:

– Кто не ест супа, тот не получит компот.

Потом он снова открыл глаза, над ним стоял Верхотурский и говорил:

– Я вас разбудил. Вы плакали и орали диким голосом.

Да, Фактарович себя скверно чувствовал в течение этого нудного и тяжелого дня. Несколько раз он приподнимал голову и удивленно смотрел на Верхотурского. Тот сидел на мешках, рядом с очкастым парнем Колей, и оживленно с ним говорил.

Вероятно, чтобы не мешать Фактаровичу, они говорили вполголоса, слов нельзя было разобрать.

Верхотурский смеялся, жестикулировал и, видно, рассказывал что-то смешное: Коля, слушая, вытягивал шею и часто ржал. Этот разговор очень занимал Фактаровича: о чем мог так оживленно говорить участник двух заграничных съездов партии с этим мальчишкой?

Но он снова задремал, а когда открыл глаза, Верхотурского и Коли уже не было. Постучалась Марья Андреевна, она пришла насыпать в длинные, похожие на чулки мешочки манную крупу и пшено. Крупа, шурша, сыпалась в мешочки, и Марья Андреевна громко вздыхала. Потом она сказала властным голосом:

– Я вам запрещаю сегодня вставать с постели, обед вам принесут сюда.

Фактарович сварливо ответил:

– Ну, положим, я этого барства не признаю.

– Я отвечаю за ваше здоровье перед вашей матерью, – сказала она и ушла, утряхивая крупу.

Тоска охватила его, это бессмысленное существование было ужасно – больше месяца, как его эвакуировали с фронта, и он таскается по госпиталям, ведет нудные разговоры с врачами, а дни, проведенные в этом паточном доме, его окончательно доконали. Нужно сегодня же устроить совещание с Верхотурским и Москвиным. Нужно принимать срочные меры. Зачем добродетельная дама мучает его своими заботами?

Перед обедом раздался резкий, тревожный звонок. Фактарович подумал, что это пришли звать доктора к тяжелобольному, но через несколько мгновений он услышал громкий мужской голос, хлопанье дверей, стук сапог.

– Цо?... Пся крев! – вдруг раздалось под самой дверью, и в комнату, гремя сапогами, вошел офицер в плаще и каске. Его лицо было совершенно белым, черные наглые усики колечками поднимались над верхней губой.

Сердце Фактаровича остановилось.

– Прошу пана, ваши личны документы! – лающим голосом крикнул офицер.

«Пропало», – подумал Фактарович и, приподнявшись на постели, заикаясь, спросил:

– Позвольте узнать, какое вы имеете право врываться в частную квартиру и проверять документы?

Такой вопрос задал ему в прошлом году петлюровец-агроном, которого он пришел арестовывать.

– Цо то есть право? – заревел поляк, и Фактарович подумал: «Они могут спрятаться в погребе».

Он решил поступить, как птица, желающая хитростью увести охотника от своего гнезда. И как только Фактарович подумал, что нужно спасать Верхотурского и Москвина, он сразу же

успокоился и, подняв глаза, в упор посмотрел на поляка. Тогда он увидел, что лицо офицера обсыпано мукой, а черные колечки усов нарисованы углем.

– Что, намочил в штаны? – спросил поляк и принялся приплясывать вокруг постели.

На этот раз они поссорились. Москвин сообразил, что переборщил, – Фактарович так переволновался, что не мог обедать.

– Вы начали беситься, – сказал им Верхотурский. – Сегодня же вечером вводятся обязательные для коммунистов лекции по историческому материализму. Каждый день три часа.

А на торжественном обеде было много гостей. Верхотурского представили им как одесского юриста, застрявшего в городе при переходе власти, а Москвин сошел за землемера, приехавшего лечиться из деревни. И так как всем было известно, что у доктора постоянно живут в гостях всевозможные родственники и знакомые, а также родственники знакомых и знакомые родственников, все поверили в юриста и землемера.

За обедом рассказывали о страшном вчерашнем дне. Называли убитых, подробно перечисляли, кого и насколько ограбили, пили за здоровье лучшего врача в городе, за самое прекрасное и доброе женское сердце, а владелец аптеки, изрядно глухой старичок, предложил тост за «спокойствие, еще раз спокойствие и снова спокойствие и в общем за quantum satis спокойствия для всех мирных граждан и их семей».

А к концу обеда все развеселились, и оказалось, что даже вчера, в этот страшный и тяжелый день, произошла одна прямо-таки уморительная история.

Несколько богатых купцов, нарядившись в свои лучшие костюмы, отправились вместе с женами встречать поляков. На пустыре, возле вокзала, их нагнали два кавалериста и раздели буквально донага. Усатый доктор-хирург, рассказывая эту историю, помирал от смеха.

– Если б вы только видели мадам Самборскую, если бы вы ее только видели! – мотая головой, говорил он. – Ведь они шли мимо моих окон. Вера Павловна думала, что со мной будет удар, клянусь вам богом, никогда в жизни

я так не смеялся.

– Что они, дети, что ли? – сказал доктор и пожал плечами. – Все знают, что, пока в городе разведка, следует сидеть дома и никуда не выходить. А эти еще сдуру нарядились.

– Вы б уже молчали, – сказал усатый хирург. – Ведь вы единственный врач, который вчера занимался практикой.

– Но ведь это его долг врача, – удивилась Марья Андреевна.

С Верхотурским беседовал доктор Сокол, уроженец Одессы. Сокола беспокоили судьбы оперного театра. Верхотурский, выступавший в этом театре месяца полтора назад на конференции комиссаров 14-й армии, успокоил его.

VI

Первое занятие состоялось после завтрака. Верхотурский начал с опроса учеников. Самым знающим оказался Коля. Со вчерашнего дня он не отходил от Верхотурского, говорил с ним

весь вечер, принес ему толстые тетради, в которые записывал конспекты прочитанных книг. А утром, еще до завтрака, он пришел в комнату, уселся на мешок сахара и молча смотрел на Верхотурского.

Этот мальчик прочел за свой пятнадцатилетний век столько книг, что мог потягаться в учености с человеком, имеющим высшее образование.

Он читал курсы физики Эйхенвальда и Косоногова; читал «Происхождение видов», «Путешествие на корабле „Бигль“, „Основы химии“, проштудировал „Элементы дифференциального исчисления“, прочел несколько десятков книг по геологии, палеонтологии и астрономии. Сейчас он конспектировал первый том „Капитала“, переписывал в тетрадь целые страницы малопонятной ему книги. Его сильно беспокоило, должен ли он посвятить себя науке и подарить человечеству новую теорию строения материи либо вступить в ряды бойцов за коммунизм.

Одинаково прекрасными казались ему величественный путь Фарадея и Менделеева, трагическая дорога Чернышевского и Карла Либкнехта. Кем быть? Ньютоном или Марксом? Это был не шуточный вопрос, и Коля, несмотря на свою ученость, не мог решить его.

Главная беда заключалась в том, что не с кем было посоветоваться. Отец был отсталым человеком, он не знал, что существует классовая борьба и что атомы состоят из электронов. Мать, когда Коля сказал ей, что подумывает уйти в Красную Армию, назвала его юным мечтателем, узнала в нем свою беспокойную душу и обещала снять с него штаны, ботинки и запереть в кладовую.

И вдруг Коля увидел человека, который разительно не походил на окружавших его людей. Орел среди кур! Это был человек, сошедший со страниц книги, это был человек его ночных мечтаний.

Вчера он сказал: «Знаешь, юноша, когда-то я хотел, подобно Лафаргу, покончить с собой, достигнув шестидесятилетия, боялся старческого окостенения, но, глядя на твоего папашу, вижу, что во мне есть еще запасец пороха лет на тридцать». Он не был похож и на Фактаровича, – ни разу он не сказал громкой, напыщенной фразы, от которой Коле сделалось бы совестно и неудобно. То, что он говорил, было всегда просто, до смешного понятно. В нем была громадная сила насмешки. И в нем было еще нечто, чего Коля, несмотря на свою ученость, не мог понять. Ночью, лежа в постели и вспоминая разговор с Верхотурским, он вдруг расплакался – такое необычайное волнение охватило его.

И вот этот человек сидел на табурете, перебирал, подобно четкам, связку сморщенных коричневых грибов и, смеясь, говорил:

– Москвин – человек в теории явно невинный. Факир чудовищно утверждает куновскую ересь, он защищает ее не от испорченности, а лишь в силу той же невинности в теории. Единственным ответившим, что же такое производственные отношения, оказался юный абитуриент, потому начнем с начала.

Никогда Коля не был так горд и счастлив, как в эти мгновенья.

Урок длился около двух часов.

Москвин, красный, точно он все еще сидел перед раскаленной плитой, прислушиваясь к словам Верхотурского, то хмурился, то вдруг начинал улыбаться и кивать головой. Коля, вывалив изо рта язык, быстро писал в общую тетрадь, на первой странице которой было написано синим карандашом: «Абсолютная истина прекраснее всего». Фактарович внимательно смотрел на Верхотурского и временами, делая страдальческое лицо, бормотал:

– Ну, положим, это я знал давным-давно.

– Я у тебя потом спишу, – сказал Коле Москвин.

А после лекции у них началась беседа, и впервые,

пожалуй, в квартире доктора люди оживленно, волнуясь и перебивая друг друга, говорили о предметах, не имеющих никакого отношения к их личным делам, удачам и неудачам.

За обедом Марья Андреевна сердито сказала:

– Поля, ты, видно, влюблена: суп соленый, как рапа, его невозможно в рот взять.

И Факторович, зная застенчивость Москвина, сказал невинным голосом:

– Хорошо, что Москвин не готовил третьего, а то кисель тоже был бы соленым.

Эффект получился внушительный: Поля убежала, а Москвин подавился.

Он так смутился, что не мог поднять головы, сидел красный, со слезами на глазах, и старательно, деловито жевал, точно ел не кисель, а жесткое мясо.

Спас его приход доктора, как всегда опоздавшего к обеду. Доктор не выносил, когда разговор шел без его участия. И сейчас, усевшись, он потер руки, беспокойно посмотрел на Фактаровича и сказал:

– Позвольте, позвольте минуточку, я вам лучше расскажу нечто более интересное.

И он принялся рассказывать. Все давно уже пообедали, Поля убрала со стола, а доктор все выкладывал да выкладывал одну новость за другой.

– Вам нездоровится? – спросил доктор у Фактаровича. – Могу вас порадовать: сегодня заезжал ко мне городской инженер и обещал через два дня пустить станцию, штаб армии дает ему восемь вагонов каменного угля.

В это время кто-то робко постучал в дверь и спросил:

– Доктор, вы скоро? – Это, очевидно, был ходок от ожидавших в приемной больных. Доктор вскочил и убежал.

После обеда Москвин и Фактарович сидели на кроватях. Уныние охватило их. Покачиваясь и зевая, они смотрели друг на друга...

– Эта жирная жратва угробит нас, – убежденно проговорил Фактарович.

– Да, – сказал Москвин, – давай поговорим с Верхотурским – нужно выбираться отсюда.

– Тут, наверное, есть подпольный комитет, но как с ним связаться?

В это время вошел Верхотурский. Он оглядел унылые фигуры товарищей, уселся рядом с Москвиным, обнял его за плечи и сказал:

– Дети мои, может быть, вам и следует еще пожить здесь и полечиться, но мне лично пора прекратить пытку сливочным маслом и цыплятами, труба зовет.

– Мы не останемся, – в один голос крикнули Москвин и Фактарович.

Верхотурский изложил им свой план:

– Я говорил с доктором. «Культура культурой, – сказал я ему, – но если нас обнаружит дефензива, то тебе не поздоровится». Вы знаете, что он горит желанием помочь нам, ему это легко сделать. У него громадные связи, все извозчики его знают. Доктор сегодня был у одного промышляющего контрабандой, он должен вернуться через два дня, и в следующий рейс мы поедем с ним. Вот и все.

– А как же он нас провезет? – усомнился Москвин. – Вдруг начнут документы проверять?

Верхотурский рассмеялся:

– Ну, милый мой, вы не знаете этих бородатых мошенников: они провезут на подводе дредноут, не то что трех добропорядочных людей. – Он снова рассмеялся: – Я вспоминаю, как при налаженной границе возил через Дунай кипы нелегальщины; единственное, чего боялся мой гид, это как бы лодка не утонула от чрезмерного груза.

– Не знаю, – сказал Фактарович, – а по-моему, нужно искать связей с подпольным комитетом, я не верю этой сволочи.

– Что же, Факир, ищите, – ответил Верхотурский, – я вам не запрещаю.

– Буду искать, – сказал упрямо Фактарович, – я не верю этой накипи.

Он ушел из комнаты и в коридоре столкнулся с Колей.

– Верхотурский здесь? – спросил Коля. – Я хочу у него узнать, не ошибся ли я, когда записал...

– Он спит, – перебил Фактарович и отвел Колю к вешалке.

– И я пойду, – умоляюще прошептал Коля и схватил Фактаровича за руку. Потом Коля принес в ванную комнату охапку своей одежды, и Фактарович надел Колину серую курточку, а свою гимнастерку бросил в корзину для грязного белья. Курточка пришлась ему впору – он был узкоплеч и мал ростом.

Взявшись за руки, они вышли через кухонную дверь.

За ужином обнаружилось, что Фактаровича и Коли нет дома. Поля сказала, что видела их, – они ушли вместе. На дворе было уже совсем темно. Марья Андреевна посмотрела на часы, потом на темные окна и схватилась рукой за грудь – у нее начался сердечный припадок. Марью Андреевну уложили на диван, и доктор, стоя над ней, громко шептал, отсчитывая валериановые капли. Вдруг она зарыдала и протянула вперед руки – в дверях стоял Коля. Лицо у него было грязно, рубаха порвана.

– Пей, пей, – плача от радости, закричала Марья Андреевна и протянула сыну приготовленный для нее стакан с валериановыми каплями.

– Оставь меня в покое, пей сама, – сердито сказал Коля и быстро спросил: – Он не пришел?

– Нет, – ответил Москвин и сразу все понял.

Ясное дело – Фактарович попался. Да, Коля подтвердил это. Они вышли на улицу и на углу увидели бегущих людей. «Назад, назад!» – кричали люди. Они не успели убежать, их окружили солдаты и погнали на главную улицу. Там их присоединили к толпе задержанных.

Конный офицер ездил вдоль колонны и хлыстом указывал на некоторых людей, велел им выйти из толпы; указал он и на Фактаровича.

– Учужял, гад! – сказал Москвин.

– Ну, и их увели под конвоем, – рассказывал Коля, – а нас погнали на товарную станцию грузить мешки в вагоны.

– С чем мешки? – спросил доктор.

– Зерно и сахар, – всхлипывая, ответил Коля. – Наверное, сто вагонов.

– Это в обмен на каменный уголь, – сказал Верхотурский.

– Да, в обмен, – подтвердил Коля. – А потом один пьяный, я не знаю, кто он, в коротеньком мундире, вынул шашку и начал резать одному старому еврею бороду, и у того пошла из лица кровь, и он стал кричать, а он начал его бить сапогом. И все стали кричать и плакать, чтобы его отпустили, и тогда они начали бить всех саблями не насмерть, а плашмя, по лицу и по голове. И поднялась паника, а там еще кругом стояли женщины, и они ужасно закричали и заплакали, тогда я проскочил под вагон и убежал. Да, и еще, когда всех начали бить, возле меня стоял один грузчик, и он вдруг страшно закричал и ударил того, коротенького, по морде, и он упал, а я сам видел, как они его зарубили.

– Боже мой, – вдруг вскрикнула Марья Андреевна, – ведь ребенок был на волосок от смерти!

Она обхватила Колю за плечи и, прижав к себе, начала целовать в щеки, а он вырывался и сурово говорил:

– Да оставь ты эти глупые нежности!

– Чего ради вас понесло на улицу? – спросил доктор.

– Просто вышли погулять!

В комнате-кладовой Коля рассказывал секретные подробности Верхотурскому и Москвину.

– Да скажи мне, пожалуйста, куда он хотел идти? – спрашивал Верхотурский.

– К машиностроительному заводу, в рабочие кварталы.

Верхотурский ударил себя обеими руками по ляжкам:

– Вот уж действительно совершенный ребенок! Что же, он хотел в рабочих кварталах стать на углу кварталов и останавливать прохожих: «Простите, вы случайно не член подпольного комитета?» Он тебе не говорил, что собирался делать в кварталах?

– Пойду искать, – решительно сказал Москвин.

– Что?! – гаркнул Верхотурский. – Хватит того, что один уже провалился возмутительно, по-дурацки; не терплю этого картонного героизма, не сообразного ни с какой целью.

– Может, и несообразный, – сказал Москвин, – а я Фактаровича так не оставлю.

– О господи! – вздохнул Верхотурский и принялся убеждать Москвина.

Почти до утра по коридору раздавалось топанье Полининых босых ног, – разволновавшаяся Марья Андреевна принимала лекарства и пила чай. Но Москвин не вышел в коридор, он сидел на кровати, держась руками за голову, и тихо вопрошал:

– Эй, Фактарович, дружба, что же это?

Верхотурский лежал молча, и не было известно, спал

он или думал, глядя в темноту.

VII

Это был тяжелый день. Утром доктор ссорился с женой. Из спальни были слышны их злые голоса.

– Ты превратила наш дом в конспиративную квартиру, – говорил доктор. – Теперь этот человек на допросе укажет, что скрывался у нас, потом найдут этих двоих... Ты понимаешь, что это все значит?

– Это не твое дело, – отвечала Марья Андреевна, – я буду отвечать за все, а не ты.

– Ты нас погубишь, сумасбродка!

– Не смей учить меня! – крикнула Марья Андреевна. – Ни один человек не посмеет сказать, что я ему отказала в помощи, слышишь ты или нет?

Москвин, сидя в столовой, слышал этот разговор. Он ушел на кухню.

– Эх, дурак, не знаешь ты, что такое Фактарович, – бормотал он и ругал доктора.

На кухне тоже был тяжелый день – стирка. Поля, стоя среди мятых холмов грязного белья, терла тяжелые мокрые скатерти на волнистой стиральной доске. Серый столб пара поднимался до самого потолка, воздух в кухне был тяжелый, как мокрая грязная вата. Потное лицо Поли казалось совсем старушечьим, глаза выпуклыми и злыми. Она стирала с пяти часов утра, но вызывавшая ярость и тошноту груда белья не хотела уменьшаться. В дни стирки все боялись Поли, даже Марья Андреевна предпочитала не ходить в кухню и, заказывая обед, робко говорила:

– Варите сегодня что хотите, что-нибудь полегче.

В день стирки кошка сидела в коридоре, вылизывая бока и нервно подергивая лопатками, нахлебник-пес уходил на нижнюю площадку кухонной лестницы и уныло взирал на полено, которым в него метнуло обычно ласковое существо, царившее среди сладких костей и великолепных запахов кухни.

Но Москвин не знал этого, и потому он не мог по-настоящему оценить улыбку нежности, которой встретила его Поля. Мрачно кивнув ей, он пошел к плите и взялся за кочергу, «поднимать давление». Лишь несколько раз искоса поглядев, как мечутся под сорочкой Полины груди, Москвин спросил:

– Что, замучили тебя?

Поля, распрямившись, повела плечами, стряхнула с рук трещавшую мыльную пену, упавшую в серо-голубую, казавшуюся почему-то холодной воду, вытерла пот со лба.

– Шоб воны уже вси повыздыхали, буржуи прокляты, – сказала она и улыбнулась Москвину усталым, нежным ртом. Потом она снова склонилась над корытом.

Это был тяжелый день. Ветер поднимал тучи пыли, она мчалась над улицей, плясала на площади, слепила прохожих, забивалась в уши, в нос, противно скрипела на зубах. И этот

холодный ветер, потушивший жар весеннего солнца, это пьяно пляшущая над площадью пыль вселяли тревогу в сердца.

Сорванные ветром ставни хлопали, и прохожие вздрагивали – им казалось, что снова над городом рвутся снаряды. Их путал шорох ветвей, грохотанье жести на крышах, гневные глаза красноармейца с несорванного плаката: «Шкурник, иди на фронт!» Все говорило о призрачности покоя, обещанного полковником Падральским.

А когда по главной улице поспешно прогрохотали орудия легкой батареи и куда-то поскакали с бело-красными флажками кавалеристы, в городе родился слух, что большевики снова перешли в наступление, что дивизии, переброшенные с южного фронта, разбили поляков.

Верхотурский ходил по комнате, заложив руки за спину. Вот он зацепился ногой за торчащее тугое ухо мешка и так остервенело пнул по мешку ботинком, что поднялось облачко муки и светлым пятном легло на пол.

Верхотурский подошел к стене, сорвал объявление о турнире и, скомкав его, сердито бросил.

– Факир, – сказал он, – за такие вещи надо исключать из партии. Вместо того чтобы спокойно подождать два дня... – и он наступил на объявление.

По всему было видно, что и ему нелегко давалось спокойное ожидание. Лишь когда пришел Коля, Верхотурский перестал ходить по комнате. Почему-то присутствие этого худого, нескладного мальчика успокаивало его.

– Товарищ Верхотурский, сердито сказал Коля, – возьмите меня с собой!

– Ку-уда? – рассмеялся Верхотурский. – Коля, – сказал он и сам удивился своему голосу, – Колюшка, тебе ведь нет еще пятнадцати лет; ей-богу, это получится по Майн Риду, над которым ты смеялся.

Подбородок Коли отвис, углы губ опустились, лицо сделалось от этого совсем длинным, и Верхотурский, глядя на него, проговорил:

– Ты, брат, не знаешь, какая чудесная жизнь лежит перед тобой. – Он закрыл глаза и покачал головой. – Какая жизнь, ах какая жизнь! Наука, музыка, вот эта самая медицина, которую мы здесь, сидя с тобой, освистали. Какие у нас будут врачи, ученые, писатели!... И ты один из них, Коля.

Но лицо Коли не сделалось веселей, хотя он внимательно слушал про чудеса будущей жизни.

– Знаешь что? – сказал Верхотурский. – Ты приезжай ко мне в Москву, как только наладится движение, напиши и приезжай. Условились? – Он обнял Колю за плечи и вдруг поцеловал его в висок. После этого он рассердился и сказал: – Извлеки-ка Москвина из кухни, продолжим наши занятия.

Марья Андреевна весь день ссорилась с мужем и поэтому особенно нежна и внимательна была к Москвину и Верхотурскому.

– Вы будете купаться, – сказала она Верхотурскому, – сегодня стирка и есть горячая вода в колонке.

Марья Андреевна подробно объяснила ему, что ванну не следует делать слишком горячей, что ни в коем случае нельзя становится босыми ногами на каменный пол, что тотчас после ванны нужно лечь и укрыться, ужин ему принесут в постель.

Она погладила его по плечу и сказала:

– Когда я думаю о вас, мне хочется плакать: вы старше доктора на несколько лет, а у вас нет ни семьи, ни уюта, ни дома. Вечный вы странник!

– Ничего, ничего, – утешил ее Верхотурский, – я привык.

Он пошел в ванную комнату, а Москвин отправился с Полей на чердак развешивать белье.

После ванны Верхотурский, войдя в комнату, посмотрел на пустую кровать Фактаровича и сказал:

– Эх, Факир, Факир...

Он сидел, спустив ноги с кровати. Из столовой слышались звуки пианино – это Марья Андреевна играла полонез Шопена.

Тело болело после купанья, голова немного кружилась, а музыка была такой печальной и веселой, такой тонкой и капризной. От нее болело сердце, и ничего, казалось, не могло быть слаще и ненужней этой боли. А может быть, сердце болело оттого, что он не послушался Марьи Андреевны и купался в очень горячей воде?

Верхотурский открыл глаза – перед ним стоял доктор.

– Я на минутку, – сказал он. – Должен сообщить неприятную историю: только что прибежали звать меня к человеку, с которым вы должны были завтра уехать. Он сломал себе ногу, понимаете – вносил кипу товара и упал с лестницы.

– Фу-ты, черт, как глупо! – сказал Верхотурский и, поглядев на доктора, добавил: – Не нужно огорчаться, через два дня, так или иначе, нас здесь не будет.

– Что ты, что ты! Живите здесь хотя два года, – ответил доктор.

Он ушел, а Верхотурский закрыл глаза и слушал музыку. Кажется, никогда в жизни ему не было так грустно, как в этот вечер.

Потом музыка прекратилась, и он лег в постель. Сердце тяжело хлопало, в груди колело, иногда сердце вдруг проваливалось куда-то, и он хватался рукой за спинку кровати; казалось, что он летит.

Да, Верхотурский купался в горячей воде, и вот сердце расшалилось.

Москвин пришел с чердака, когда хозяева уже легли спать.

Войдя, он увидел пустую постель Фактаровича, и холод тревоги охватил его. Весь день он тосковал, охал, не переставал думать о товарище, а вечером совершенно забыл про него. Может быть, Фактаровича вели на расстрел, пока Москвин развешивал белье на чердаке?

Проснулись они одновременно, их разбудила Поля. Какой-то человек стоит под кухонной дверью и спрашивает их. Часы в столовой пробили три раза, было совершенно темно. Москвин побежал на кухню босиком.

Через несколько минут он вернулся.

Верхотурский спросил из темноты:

– Ну, что?

– Идем, идем, – возбужденно зашептал Москвин. – Ждут нас. Лошади, документы – все есть... Фактарович удрал из комендатуры вместе с этим парнюгой из комитета, в деревне нас дожидается. – Он вдруг рассмеялся: – Поля-то ни за что его впустить не хочет – хозяина бережет, он на лестнице нас ждет.

Они оделись в темноте, волнуясь и спеша, – так одеваются матросы, разбуженные в своем доме ночной тревогой, зовущей их в плаванье.

И с тем чувством, с которым моряки, ни разу не оглянувшись на мирные огоньки земли, вдыхают холодный воздух и радостно всматриваются в мрачное и суровое ночное море, в котором им суждено жить и умереть, Верхотурский и Москвин навсегда ушли из теплого докторского дома.

И они не узнали, что произошло после их ухода. Поля зашла в кабинет доктора. Там она долго рылась в стеклянном шкафчике и выбрала из всех баночек с лекарствами самую большую, самую темную склянку, с грозной латинской наклейкой «Kalium Bromatum», высыпала на руку белые кристаллики, помертвев, проглотила соленый, страшный порошок.

Жизнь была не нужна ей – она знала, что больше не увидит ушедшего.

Утром она проснулась, руки и спина болели от вчерашней стирки, глаза опухли – всю ночь она плакала во сне. Долго Поля не могла понять, ушла ли она на тот свет или осталась на этом.

А когда дом проснулся, все зашли в комнату-кладовую и увидели две пустые, смятые постели и третью – аккуратно застеленную.

Коля, чтобы не расплакаться, быстро бормотал:

– Дом Советов, комната сто восемнадцать. – Как только прогонят белополяков, он уедет в Москву, к Верхотурскому.

А доктор стоял перед Марьей Андреевной и, загибая пальцы, говорил:

– Ушли не простившись, не написав записки. Москвин надел мои совершенно новые брюки, которым буквально нет цены, в-третьих... – доктор показал на заплаканное лицо Поли.

– Ах, оставь, пожалуйста, – сказала Марья Андреевна, – ты хочешь, чтобы они тебе, как пациенты, заказывали у ювелира серебряные подстаканники с именной надписью?

Но по всему было видно, что ее огорчил и обидел ночной уход комиссаров.

1935

В ГОРОДЕ БЕРДИЧЕВЕ

Было странно видеть, как темное, обветренное лицо Вавиловой покраснело.

– Что смеешься? – наконец сказала она. – Глупо ведь.

Козырев взял со стола бумагу, поглядел на нее и, замотав головой, снова захохотал.

– Нет, не могу, – сквозь смех сказал он, – ...рапорт... комиссара первого батальона... по беременности на сорок дней.

Он стал серьезен.

– Что же. А кого вместо тебя? Разве Перельмутера, из политотдела дивизии?

– Перельмутер – крепкий коммунист, – сказала Вавилова.

– Все вы крепкие, – промолвил Козырев и, понизив голос, точно говоря о стыдном, спросил:

– И скоро, Клавдия, рожать будешь?

– Скоро, – ответила Вавилова и, сняв папаху, вытерла выступивший на лбу пот.

– Я бы его извела, – басом сказала она, – да запустила, сам знаешь, под Грубешовым три месяца с коня не слезала. А приехала в госпиталь, доктор уже не берется.

Она потянула носом, будто собираясь заплакать.

– Я ему и маузером, окаянному, грозила, отказывается, поздно, говорит.

Она ушла, а Козырев сидел за столом и рассматривал рапорт.

«Вот тебе и Вавилова, – думал он, – вроде и не баба, – с маузером ходит, в кожаных брюках, батальон сколько раз в атаку водила, и даже голос у нее не бабий, а выходит, природа свое берет».

И ему почему-то стало обидно и немного грустно.

Он написал на рапорте «в приказ» и, нерешительно кружа кончиком пера над бумагой, сидел наморщив лоб – как писать?

«Представить с сего числа сорокадневный отпуск», еще подумал и приписал «по болезни», потом сверху вкорякал «по женской», выругался и «по женской» зачеркнул.

– Воюй вот с ними, – сказал он и кликнул вестового.

– Вавилова-то наша, а? – громко и сердито произнес он. – Слышал небось?

– Слышал, – ответил вестовой и, покачав головой, сплюнул.

Они вместе осудили Вавилону и вообще всех женщин, сказали несколько похабств, посмеялись, и Козырев, велел позвать начальника штаба, сказал:

– Надо будет к ней сходить, завтра, что ли, ты узнай, она на квартире или в госпитале, и вообще как это все.

Потом с начальником штаба они до утра ползали по столу, тыкаясь в полотно двухверсток, и говорили скупые, редкие слова – шел поляк.

Вавилова поселилась в реквизированной комнате.

Домик стоял на Ятках – так назывался в городе базар – и принадлежал Хаиму-Абраму Лейбовичу-Магазанику, которого соседи и даже собственная жена звали Хаим Тутер, что значит татарин.

Вавилова въехала со скандалом. Ее привел на квартиру сотрудник коммунотдела, худой

мальчик в кожаной куртке и буденовке. Магазаник ругал его по-еврейски, коммуналщик молчал и пожимал плечами.

Потом Магазаник перешел на русский язык:

– Нахальство у этих сморкачей, – кричал он Вавиловой, точно она должна была вместе с ним возмущаться, – надо только придумать. Уже нет больше буржуев в городе. Только одна комната осталась для советской власти у посадчика Магазаника. Только у рабочего, у которого семь человек детей, советская власть должна забрать комнату. А у Литвака-бакалейщика? У суконщика Ходорова? У первого миллионщика Ашкенази?

Вокруг стояли дети Магазаника, семь оборванных, кудрявых ангелов, и смотрели черными, как ночь, глазами на Вавилову. Большая, точно дом, она была вдвое выше их папы. Им было страшно и смешно и очень интересно.

Наконец Магазаник был оттеснен в сторону, и Вавилова прошла в комнату.

От буфета, плоских перин, таких же темных и дряблых, как груди старух, получивших когда-то эти перины в приданое, стульев с разверстыми отверстиями, продавленных сидений на нее так густо дохнуло жильем, что она поглубже набрала воздуху в грудь, точно ныряя в воду.

Ночью она не могла уснуть. За стеной, точно оркестр из многих инструментов, от гудящего контрабаса до тонких флейт и скрипок, храпела семья Магазаника. Духота летней ночи, густые запахи – все это, казалось, душило ее.

Чем только не пахло в комнате.

Керосином, чесноком, потом, гусиным смальцем, невымытым бельем. Это было жилье человека.

Она щупала свой вздувшийся, налитой живот, иногда живое существо, бывшее в ней, брыкалось и поворачивалось.

Она боролась с ним честно, упорно, много месяцев: тяжело прыгала с лошади, молчаливая, яростная на субботниках, в городах, ворочала многопудовые сосновые плахи, пила в деревнях травы и настойки, извела столько йоду в полковой аптеке, что фельдшер собрался писать жалобу в санчасть бригады, до волдырей ошпаривалась в бане кипятком.

А оно упорно росло, мешало двигаться, ездить верхом; ее тошнило, рвало, тянуло к земле.

Сперва она во всем винила того, печального, всегда молчаливого, который оказался сильнее ее и добрался через толстую кожу куртки, сукно гимнастерки до ее бабьего сердца. Она видела, как он вбежал первым на страшный своей простотой деревянный мосток, как стрекотнул пулеметом поляк и его словно не стало: пустая шинель всплеснула руками и, упав, свесилась над ручьем.

Она промчалась над ним на пьяном жеребчике, и за ней повалил, точно толкая ее, батальон.

После этого осталось оно. Оно было во всем виновато. И вот Вавилова лежала побежденная, а оно победно брыкало копытцами, жило в ней.

Утром, когда Магазаник собирался на работу и жена кормила его завтраком, отгоняя мух, детей, кошку, он, скосив в сторону реквизированной стенки глаза, тихо сказал:

– Дай ей чаю, чтоб ее холера задушила.

Он купался в солнечных столбах пыли, запахах, детском крике, кошачьем мяуканье, ворчанье

самовара. Ему не хотелось идти в мастерскую, он любил свою жену, детей, старуху-мать, он любил свой дом.

Вздыхая, он ушел, и в доме остались только женщины и дети.

Весь день на Ятках кипел котел: мужики торговали белыми, точно вымазанными мелом, березовыми дровами, бабы шуршали венками лука, старухи еврейки сидели над пухлыми холмами связанных за лапки гусей. Торговка выдергивала из этого пышного белого цветка живой лепесток с извивающейся шеей, и покупательницы дули на нежный пух меж лап и щупали жир, желтевший под теплой мягкой кожей.

Темноногие дивчины в цветных хустках носили высокие красные горшки, через край полные земляникой, и испуганно, точно собираясь убежать, глядели на покупателей. С возов торговали желтыми заплаканными комьями масла в пухлых листьях зеленого лопуха.

Слепой нищий, с белой бородой волшебника, молитвенно и трагично плакал, протягивая руки, но его страшное горе никого не трогало – все равнодушно проходили мимо. Баба, оторвав от венка самую маленькую луковку, бросила ее в жестяную мисочку старика. Тот ощупал ее, перестав молиться, сердито сказал:

– Щоб тобі дити так на старость давали, – и снова протяжно запел древнюю, как еврейский народ, молитву.

Народ продавал, покупал, щупал, пробовал, подымая глубокомысленно глаза вверх, точно ожидая, что с голубого, нежного неба кто-нибудь посоветует: покупать ли щуку или лучше взять карпа. И при этом все пронзительно кричали, божились, ругали друг друга, смеялись.

Вавилова прибрала и подмела комнату. Она спрятала шинель, папаху, сапоги. Голова у нее бухла от уличного шума, а в квартире кричали маленькие Тутеры, и ей казалось, что она спит и видит какой-то нехороший, чужой сон.

Вернувшийся вечером с работы Магазилик ошеломленно остановился в дверях: за столом сидела его жена Бэйла и рядом с ней большая женщина в просторном платье, в туфлях-шлепанцах на босу ногу, с головой, повязанной пестрой косынкой: они негромко смеялись, переговариваясь между собой, и примеряли, подымая большие толстые руки, маленькие, игрушечные распашонки.

Днем Бэйла зашла в комнату Вавиловой, та стояла подле окна, и острый женский глаз Бэйлы уловил скраденную высоким ростом Вавиловой полноту живота.

– Я очень извиняюсь, – решительно сказала Бэйла, – но вы, кажется, беременны.

И Бэйла, всплескивая руками, смеясь и причитая, принялась хлопотать вокруг нее.

– Дети, – говорила она, – дети, разве вы знаете, что это за несчастье, – и она тискала и топила на своей груди самого маленького Тутера. – Это такое горе, это такое несчастье, это такие хлопоты. Каждый день они хотят кушать, и не проходит недели, чтобы у этого не было сыпи, а у того лихорадки или нарыва. А доктор Барабан, дай ему бог здоровья, за каждый визит берет десять фунтов пеклеванной муки.

Она гладила голову маленькой Сони.

– И все они живут у меня, ни один не сдохнет.

Оказалось, что Вавилова ничего не знала, ничего не умела, не представляла себе ничего. Она сразу подчинилась великому знанию Бэйлы. Она слушала, задавала вопросы, и Бэйла, смеясь от удовольствия, что комиссарша ничего не знает, рассказывала ей обо всем.

Как кормить, купать, присыпать младенца, что надо делать, чтобы он ночью не кричал, сколько нужно иметь пеленок и распашонок, как новорожденные заходятся от крика, синеют, и кажется, вот-вот сердце разорвется от страха, что дите умрет, как лечить поносы, отчего бывает почесуха, как вдруг ложечка начинает стучать во рту и по этому можно узнать, что режутся зубки.

Сложный мир со своими законами, обычаями, радостями и печальями.

Вавилова ничего не знала о нем. И Бэйла снисходительно, как старшая сестра, ввела ее в этот мир.

– Не путайтесь под ногами, – закричала она детям, – марш на двор. – И когда в комнате остались только они вдвоем, Бэйла, понизив голос до таинственного шепота, заговорила с ней о родах. О, это не простая вещь. Бэйла, как старый солдат, рассказывала молодому новобранцу о великих муках и радостях родов.

– Рожать детей, – сказала она. – Вы думаете, что это просто, как война: пиф-паф и готово, ну нет, извините, это не так просто.

Вавилова слушала ее. Впервые за все время ее беременности ей встретился человек, который говорил об этой тяжелой случайной неприятности, постигшей ее, как о счастливом событии, которое будто бы было самым важным и нужным в жизни Вавиловой.

А вечером вместе с Тутером продолжалось обсуждение. Нельзя было терять времени: после ужина Тутер полез со свечкой на чердак и с грохотом сволок вниз железную люльку и ванночку для купанья нового человека.

– Можете быть спокойны, товарищ комиссар, – блестя глазами и смеясь, сказал он, – вы у нас принимаете дело на полном ходу.

– Молчи, молчи, босяк, – промолвила жена, – недаром тебя люди зовут татаринном.

Ночью Вавилова лежала в постели. Душные запахи уже не давили ее, как накануне. Она привыкла к ним, даже не чувствовала их. Ни о чем не хотелось думать.

Ей казалось, что ржут где-то лошади, и в глазах мелькал длинный ряд рыжих лошадиных голов; у каждой было белое пятно на лбу. Головы беспрерывно шевелились, кивали, фыркали, скалили зубы. Она подумала о батальоне, вспомнила Кирпичева – политрука второй роты. Затишье на фронте. Кто проведет беседы о июльских днях? Завхоза надо взгреть за то, что задержал доставку сапог. И потом можно резать самим сукно на обмотки. Во второй роте много недовольных, особенно этот кудрявый, который поет донские песни. Вавилова зевнула и закрыла глаза. Батальон ушел куда-то далеко-далеко, в розовый коридор рассвета, меж мокрых стогов сена. И мысли о нем были какие-то ненастоящие.

Оно нетерпеливо толкнуло копытцами. Вавилова открыла глаза и приподнялась на постели.

– Девочка или мальчик? – вслух спросила она.

И вдруг почувствовала, как сердце в груди стало большим, теплым, гулко забилося.

– Девочка или мальчик?

Роды начались днем.

– Ой! – рыхло, по-бабьи, вскрикнула Вавилова, почувствовав, как острая, всепроникающая боль вдруг охватила ее.

Бэйла повела ее к постели. Сема весело побежал за акушеркой.

Вавилова держала Бэйлу за руку и тихо, быстро говорила:

– Началось, Бэйла, а я считала, что позже дней на десять. Началось, Бэйла.

Потом боли прошли, и Вавилова решила, что напрасно посылали за акушеркой.

Но через полчаса боли снова начались. Лицо Вавиловой стало совсем темным, и загар на нем лежал как-то особенно мертво: словно случайно наложенная краска. Вавилова лежала стиснув зубы, выражение лица у нее было такое, точно она думала о чем-то мучительном и стыдном и вот-вот быстро подыметесь, закричит: «Что я наделала, что я наделала», – и закроет, в отчаянии, лицо руками.

Дети заглядывали в комнату, слепая бабушка грела на плите большую кастрюлю воды. Бэйла поглядывала на дверь: выражение тоски в лице Вавиловой пугало ее. Наконец пришла акушерка. Ее звали Розалия Самойловна. Она была стриженная, коренастая, краснолицая. И сразу весь дом наполнился ее сварливым, пронзительным голосом. Она кричала на Бэйлу, на детей, на старуху бабушку. Все забегали вокруг нее. В кухне загудел примус. Из комнаты начали вытаскивать стол, стулья, Бэйла быстро, точно туша пожар, мыла пол, сама Розалия Самойловна выгоняла мух полотенцем. Вавилова глядела на нее, и ей казалось, что это приехал в штаб командарм. Он тоже был коренастый, краснолицый, сварливый, и приезжал он тогда, когда на фронте бывал прорыв, все, читая сводки, переглядывались, шептались, точно в штабе лежал покойник или тяжелобольной. И командарм грубо рвал эту сеть таинственности и тишины: криком, руганью, приказами, смехом, точно ему не было дела до оторванных обозов и окруженных полков.

Она подчинялась властному голосу Розалии Самойловны, отвечала на ее вопросы, поворачивалась, делала все, что она ей велела. Порой мутилось сознание, ей казалось, что стены, потолок теряют определенность поверхностей и линий, ломаются, волнами лезут на нее. Она снова приходила в себя от громкого голоса акушерки и видела ее красное, потное лицо, белые хвостики косынки вокруг шеи. Она ни о чем не думала в эти минуты. Хотелось выть диким, волчьим голосом, кусать подушку. Казалось, что кости хрустели и ломались, и клейкий, тошный пот выступал на лбу. Но она не кричала, а лишь скрипела зубами и, судорожно поводя головой, заглатывала воздух.

Временами боль проходила, точно ее совершенно не было, и она, изумляясь, смотрела вокруг себя, слушала шум базара, удивлялась стакану на табурете, картинке на стене.

А когда взбесившийся от стремления жить ребенок начинал снова рваться, она испытывала ужас наступающих схваток и смутную радость – пусть скорее, ведь это неизбежно.

Розалия Самойловна негромко сказала Бэйле:

– Если вы думаете, что я бы себе пожелала рожать в первый раз в тридцать шесть лет, то вы ошибаетесь, Бэйла.

Вавилова не расслышала ее слов, и ей стало страшно оттого, что акушерка заговорила тихим голосом.

– Что, не выживу? – спросила она.

Ответа Розалии Самойловны она не услышала.

А Бэйла стояла у дверей бледная, растерянная и, пожимая плечами, говорила:

– Ну-ну. И кому это нужно, это мучение – ни ей, ни ребенку, ни отцу, чтоб он сдох, ни богу на

небе. Какой умник это придумал на нашу голову?

Много часов продолжались роды.

Магазаник, придя домой, сидел на ступеньках крыльца. Он волновался, точно рожала его Бэйла. Сумерки сгустились, в окнах зажегся свет. Евреи возвращались из синагоги, держа под мышкой свертки молитвенных одежд. В свете луны пустая площадь Яток, домики, улицы казались красивыми и таинственными. Кавалеристы в брюках галифе, звеня шпорами, ходили по кирпичным тротуарам. Девушки грызли подсолнухи и смеялись в сторону красноармейцев. Одна из них скороговоркой рассказывала:

– А я ем цукерки и бумажки на него кидаю, а я ем та бумажки на него кидаю.

– А, – произнес Магазаник, – не мала баба хлопоту, купыла порося, мало мне своего, так вся партизанская бригада тоже должна в моем доме рожать. – Он вдруг насторожился и привстал. Из-за двери раздавался чей-то хриплый мужской голос.

Голос выкрикивал такие крепкие, матерные слова, что Магазаник, послушав, покачал головой и плюнул на землю: это Вавилова, ошалев от боли, в последних родовых схватках, сражалась с богом, проклятой женской долей.

– Вот это я понимаю, – сказал Магазаник, – вот это я понимаю: комиссар рожает, а Бэйла знает только одно: «Ой мама, ой мамочка, ой мама».

Розалия Самойловна хлопнула новорожденного по сморщенному влажному задку и объявила:

– Мальчик!

– Что я сказала! – торжествующе произнесла Бэйла и, приоткрыв дверь, победно крикнула:

– Хаим, дети, мальчик!

И вся семья собралась у дверей, взволнованно переговариваясь с Бэйлой. Даже слепая бабушка ощупью подошла к сыну и улыбалась великому чуду. Она шевелила губами, голова ее дрожала, мертвые руки ощупью ходили по черному платку. Она улыбалась и неслышно шептала. Дети отталкивали ее от двери, и она, вытягивая шею, тянулась вперед: она хотела услышать голос всегда побеждающей жизни.

Вавилова глядела на новорожденного. Она удивлялась тому, что ничтожный комочек красно-синего мяса был причиной этих страшных страданий.

Ей представлялось, что ребенок у нее должен родиться большим, веснушчатым, курносым, с вихрастой рыжей головой, что он сразу начнет озоровать, пронзительно кричать, рваться куда-то. А он был слабенький, точно стебель овса, выросший в погребе, головка у него не держалась, кривые ножки шевелились, точно высохшие, бело-голубые глаза были слепы, и пищал он чуть слышно. Казалось, откройся резко дверь, и он потухнет, как тоненькая, согнувшаяся свечка, прикрепленная Бэйлой над краем шкафа.

И хотя в комнате было жарко, как в бане, она протянула руки и сказала:

– Холодно ведь ему, дайте его сюда.

Человечек верещал, мотая головой. Вавилова, скосив глаза, боясь шевельнуться, следила за ним.

– Ешь, ешь, сынок, – сказала она и начала плакать. – Сынок, сынок, – бормотала она, и слезы

одна за другой набегали на глаза и прозрачными каплями текли по темным щекам, расплываясь по подушке.

Она вспомнила того, молчаливого, и ей стало жаль их обоих острой материнской болью. Впервые она плакала за тем, убитым в бою под Коростенем: он никогда не увидит своего сына.

А этот, маленький, беспомощный, родился без отца, и она прикрыла его одеялом, чтобы он не смерз.

А может быть, она плакала совсем по другой причине. По крайней мере, Розалия Самойловна, закутив папироску и выпуская дым в форточку, говорила:

– Пусть, пусть плачет. Это успокаивает нервы лучше брома. Они у меня после родов всегда плачут.

На третий день после родов Вавилова встала с постели. Она чувствовала, как быстро возвращаются к ней силы, она много ходила, помогала Бэйле по хозяйству. Когда дома никого не было, она тихонько напевала человечку песни, человечка звали – Алеша, Алешенька, Алеша.

– Ты бы посмотрел, – говорила Бэйла мужу, – эта кацапка с ума сошла. Три раза она уже бегала с ним к доктору. В доме нельзя дверь открыть, то оно простудится, то его разбудят, то у него жар. Как хорошая еврейская мать, одним словом.

– Что ты думаешь, – отвечал Магазаник, – если женщина одевает кожаные штаны, она от этого становится мужчиной? – и он пожимал плечами и закрывал глаза.

Через неделю к Вавиловой приехали Козырев и начальник штаба. От них пахло кожей, табаком, лошадиным потом. Алешка спал в люльке, закрытый от мух куском марли. Оглушительно скрипя, точно два новых сапога, они подошли к люльке и смотрели на худенькое личико спящего. Лицо подергивалось во сне, это были просто движения кожи, но из-за этих движений лицо принимало различные выражения – то печали, то гнева, то улыбки.

Военные переглянулись.

– Да, – сказал Козырев.

– Да, действительно, – сказал начальник штаба.

И они сели на стулья и начали рассказывать. Поляки перешли в наступление. Наши части отходят. Это, конечно, временно. Четырнадцатая армия стягивается под Жмеринкой. Идут дивизии с Урала. Украина будет нашей. Надо думать, через месяц наступит перелом. Но пока поляк прет густо.

Козырев выругался.

– Тише, – сказала Вавилова, – не ори, разбудишь.

– Да, у нас мордочка в крови, – промолвил начальник штаба и рассмеялся.

– А ты все со своей прибауткой, – сказала Вавилова и страдающе добавила: – Да ты бы не курил, дуешь, как паровоз.

Военным вдруг стало скучно. Козырев зевнул. Начальник штаба посмотрел на часы и сказал:

– На Лысую Гору бы не опоздать.

«Часики— то золотые», -с раздражением подумала Вавилова.

– Ну, давай прощаться, Клавдия, – произнес Козырев и встал, – я велел тебе муки мешок, сахару да сала доставить, сегодня на двуколке привезут.

Они вышли на улицу. Вокруг лошадей стояли маленькие Магазины. Козырев, кряхтя, полез в седло. Начальник штаба щелкнул языком и с лету вскочил на лошадь.

Доехав до угла, они неожиданно, точно условившись, натянули поводья и остановились.

– Да, – сказал Козырев.

– Да, действительно, – ответил начальник штаба. Они рассмеялись, ударили по лошадям и поскакали на Лысую Гору.

Вечером приехала двуколка. Перетащив в дом мешки с продуктами, Магазины зашел в комнату Вавиловой и таинственным шепотом произнес:

– Как вам понравится новость, товарищ Вавилова, приехал к нам в мастерскую швагер посадчика Цессарского, – он оглянулся и, точно извиняясь перед Вавиловой, удивленно сказал: – В Чуднове поляки, а Чуднов сорок верст отсюда.

Пришла Бэйла. Она немного послушала и решительно сказала:

– О чем говорить. Поляки завтра придут сюда. Так я хочу вам сказать. Поляки не поляки, австрияки, галичане, но вы можете остаться у нас. Кушать вам, слава богу, привезли столько, что хватит на три месяца.

Вавилова молчала. Первый раз в жизни она не знала, что делать.

– Бэйла, – промолвила она и умолкла.

– Я не боюсь, – сказала Бэйла, – вы думаете я боюсь? Дайте мне пять таких, я не испугаюсь. Но где вы видели мать, которая оставляет ребенка, когда ему полторы недели?

Всю ночь под окнами раздавалось ржание лошадей, стук колес, возбуждение, сердитые голоса. От Шепетовки на Казатин шли обозы.

Вавилова сидела возле люльки. Ребенок спал. Она смотрела на желтое личико: в конце концов ничего особенного не произойдет. Козырев говорил, что через месяц они вернуться. Как раз столько времени, сколько она рассчитывала быть в отпуску. А если отрежут надолго? Что же, и это ее не пугает.

Когда Алеша окрепнет, они проберутся через линию фронта.

Кто их тронет: деревенскую бабу с грудным ребенком? И Вавилова представила себе, как она ранним летним утром идет полем – голова у ней повязана цветным платком, а Алеша смотрит вокруг и протягивает ручки. Хорошо! Она запела тоненьким голосом:

– Спи, сыночек, спи, – и, покачивая люльку, задремала.

Утром базар кипел, как всегда. Люди были как-то особенно возбуждены. Некоторые, поглядывая на непрерывную цепь военных повозок, радостно смеялись. Но вот проехали обозы. Улицы были полны людей. У ворот стояли обыватели, «население», как называли их в приказах коменданты. Все возбужденным шепотом переговаривались между собой, оглядывались. Говорили, что поляки уже заняли местечко Пятку в пятнадцати верстах от города. Магазины не пошел на работу. Он сидел в комнате Вавиловой и философствовал

вовсю.

С грохотом проехал в сторону вокзала броневой автомобиль; он был покрыт густым слоем пыли, и казалось, что сталь посерела от усталости и многих бессонных ночей.

– Сказать вам правду, – говорил Магазаник, – так это самое лучшее время для людей: одна власть ушла, другая не пришла. Ни тебе реквизиций, ни тебе контрибуций, ни тебе погромов.

– Это днем он такой умный, – сказала Бэйла, – а когда ночью весь город кричит, гвалт от бандитов, он сидит, как смерть, и трусится от страха.

– Дай поговорить с человеком, – рассердился Магазаник.

Он то и дело выбегал на улицу и возвращался с новостями. Ревком эвакуировался еще ночью, упартком уехал вслед за ним, штаб ушел утром. На вокзале уже пусто. Уехал последний эшелон.

Вдруг на улице послышались крики. Летел аэроплан. Вавилова подошла к окну. Аэроплан был высоко, но можно было ясно различить бело-красные круги на крыльях. Это была польская воздушная разведка. Аэроплан сделал круг над городом и полетел к вокзалу. И тогда со стороны Лысой Горы начали стрелять пушки, снаряды пролетали над городом и откуда-то, издали, за железнодорожным переездом, раздавались звуки разрывов.

Сперва вьюгой выли снаряды, потом тяжело вздыхали орудия, и спустя несколько секунд радостно звенели разрывы. Это большевики задерживали движение поляков к городку. Вскоре поляки начали отвечать: снаряды ложились в разных местах города.

– Ваам! – оглушительно ломался воздух, сыпались кирпичи, дым и пыль плясали над развороченной стеной дома. Улицы стали тихими, строгими, пустынными, точно нарисованными. После каждого разрыва снаряда наступала такая тишина, что делалось страшно. А солнце стояло в безоблачном небе и точно распростертого мертвеца радостно освещало город.

Весь город лежал в подвалах, погребах, охал и стонал от страха, закрывал глаза, сдерживал в беспамятстве дыхание.

Все, даже дети, знали, что бомбардировка эта называется артиллерийской подготовкой и что прежде, чем занять город, войска выпустят еще несколько десятков снарядов. А потом, все знали это, станет неимоверно тихо, и вдруг, звонко цокая копытами по широкой улице, со стороны переезда, промчится конная разведка. И, млея от страха и любопытства, все будут выглядывать из-за ворот, занавесок, щелей в ставнях, на цыпочках, покрываясь испариной, выползая во двор.

Отряд выедет на площадь. Лошади будут приседать и хрипеть, всадники возбужденно перекликаться на изумительном простом человеческом языке, и начальник, радуясь смирению навзничь лежащего, побежденного города, пьяно закричит, бахнет из револьвера в жерло тишины, подымет лошадь на дыбы.

И тогда со всех сторон польются пехотные и конные части, по домам забегают пыльные, уставшие люди, добродушные, но способные к убийству, хозяйственные мужики в синих шинелях, жадные до обывательских кур, полотенец и сапог.

Все знали это, так как город четырнадцать раз переходил из рук в руки и его занимали петлюровцы, денкиинцы, большевики, галичане, поляки, банды Тютюника и Маруси, шальной «ничей» девятый полк. И каждый раз это было, как в предыдущий.

– Поют! – закричал Магазаник. – Поют!

И, забыв о страхе, он выбежал на крыльцо. Вавилова вышла вслед за ним. После духоты темной комнаты Вавилова с особенным наслаждением вдохнула свет и тепло летнего дня. Она (с тем же чувством, как и во время родов) ждала поляков: скорее бы. Разрывы пугали ее, ей казалось, что они разбудят Алешу, она отмахивалась от свиста снарядов, как от мух.

– Ну вас, ну вас, – пела она над люлькой, – вы разбудите Алешу.

Она старалась ни о чем не думать в это время. Ведь было решено: через месяц либо придут большевики, либо они пойдут к ним через фронт.

– Ничего не понимаю, – сказал Магазаник, – посмотрите-ка.

По широкой пустой улице, в сторону переезда, откуда должны были прийти поляки, шел отряд курсантов. Они были одеты в белые холщовые брюки и гимнастерки.

«Пусть красное знамя собой означает идею рабочего люда», – протяжно и как будто печально пели они.

Они шли в сторону поляков.

Почему? Зачем?

Вавилова смотрела на них. И вдруг ей вспомнилось: громадная Красная площадь, несколько тысяч рабочих-добровольцев, идущих на фронт, сгрудились вокруг наскоро сколоченного деревянного помоста. Лысый человек, размахивая кепкой, говорил им речь. Вавилова стояла совсем близко от него.

Она так волновалась, что не могла разобрать половины тех слов, которые говорил человек ясным, слегка картавым голосом. Стоявшие рядом с ней люди слушали, тяжело дыша. Старик в ватнике отчего-то плакал.

Что с ней происходило на площади, под темными стенами, она не знала. Когда-то ночью она хотела рассказать об этом тому, молчаливому. Ей казалось, что он поймет. Но у нее ничего не вышло. А когда они шли с площади на Брянский вокзал, они пели вот эту песню.

И, глядя на лица поющих курсантов, она снова испытала то, что пережила два года назад.

Магазаники видели, как по улице вслед курсантам бежала женщина в папаше и шинели, на ходу закладывая обойму в большой тусклый маузер.

Магазаник, глядя ей вслед, произнес:

– Вот такие люди были когда-то в Бунде, Это настоящие люди, Бэйла. А мы разве люди? Мы навоз.

Проснувшийся Алеша плакал и бил ножками, стараясь развернуть пеленки. И, придя в себя, Бэйла сказала мужу:

– Слышишь, дите проснулось. Разведи лучше примус, надо нагреть молоко.

Отряд скрылся за поворотом улицы.

1934

РАССКАЗИК О СЧАСТЬЕ

Четыре женщины сидели в комнате. Одна из них шила. Три других болтали всякий вздор. Они говорили о ценах, об очередях, девушка, соседка, родила ребенка; жаловались на своих мужей – они теперь стали озорные, их нужно держать крепко в руках. Та, что шила, вздохнула. Она-то не смогла удержать своего мужа, и вот теперь ей приходится шить. Шить. Ведь у нее две девочки – одной шесть лет, а другой четыре. Он, этот чудак, уехал на край света. Он написал ей письмо, звал ее с детьми приехать к нему. Жить в бараке! Нет, она ни о чем не жалеет.

Все говорят, что она поступила правильно.

Во дворе играла шарманка. Опухший, желто-зеленый шарманщик дрожащей рукой протянул в открытое окно ящичек с конвертиками.

– Дамочки, – прохрипел он, – тяните на счастье.

Каждая женщина взяла себе конвертик.

Одной досталось блестящее колечко – настоящее, обручальное, золотое кольцо.

Другая вытянула крошечный кусочек душистого мыла.

Третья получила наперсток, новый алюминиевый наперсток с шапочкой из драгоценного, ярко-зеленого стекла.

А четвертая, та, что шила, нашла в своем конверте листочек бумаги, на нем было напечатано черными уверенными буквами:

«Счастье».

Да, пьяный, оборванный шарманщик протянул швее в окно счастье. Ее бледное лицо стало розовым, так розовеет майская яблоня в свете далекого ночного пожара. Ее усталые глаза на мгновение просветлели. Потом она потрогала бумажку пальцами, сердито смяла ее и сказала:

– Кому нужно счастье? Лучше бы я вытянула кусочек мыла.

И она бросила бумажку на пол.

1934 – 1935

ПОВЕСТИ

КУХАРКА

I

Анна Сергеевна, как многие хозяйки, не любила заниматься кухонными делами.

Приготавливая обед, она даже сердилась, что все получается так вкусно и хорошо, что восхищенные соседки приходят из нижней итеэзовской квартиры за советом: сколько лить водки в паштет и каков рецепт рубленой селедки с сырым яблоком.

Вечером она жаловалась мужу:

– Все очень печально: в девятнадцать лет я декламировала Верлена, в двадцать училась и мечтала сделаться Роденом, а сегодня я кухарка, домашняя хозяйка. Почему это, Андрюша?

Андрей Вениаминович, зевая, отвечал:

– Сознаюсь, Анютка, лично я эти произведения из муки и масла ценю повыше тех глиняных страшилищ.

Тогда она, волнуясь, говорила, что дальше так жить невозможно.

И когда она начинала ходить по комнате, то одергивая скатерть, то перекладывая книги на столе, Андрей Вениаминович переставал зевать – он знал, после перекладывания книг Анна Сергеевна заплачет, трогательно взмахнет руками и вдруг скажет очень тихо:

– Андрюша, я уйду от тебя, так будет лучше.

От этих слов ему делалось душно, ночью, несмотря на усталость, он почти не спал и, вглядываясь в лицо жены, спрашивал:

– Ты не уйдешь от меня, ведь я погибну, понимаешь ты – погибну, брошусь под молот в кузнечном цехе. Скажи, ты все еще думаешь об этом? Пойми, ведь кроме тебя я никого не имею. А? Ведь это любовь, понимаешь, Аня, большая, страшная любовь, а ты говоришь о кухарке. Аня? Что ты молчишь, Аня?

Утром он успокаивался, смеялся над своим ночным страхом, целовал ей руки и убежденно говорил:

– Ты не знаешь жизни, Аня. Работа – это служба, понимаешь ты. Это однообразно, это десятки неприятностей, страх не справиться. Э, да о чем я говорю! С каким наслаждением я бы сегодня не пошел на работу, а побродил с тобой по городу, пошел в музей... Ты не знаешь жизни, Аня.

Он уходил, и Анна Сергеевна, стоя у окна, смотрела, как Андрюша переходит улицу. Если в отдалении появлялся трамвай или автомобиль, она притопывала ногой и тихонько говорила мужу: «Скорей, скорей, скорей». С чувством нежности, любви и жалости она отходила от окна, убирала комнату, шла в распределитель, готовила обед; с этим чувством встречала его вечером, держала полотенце, пока он тер над умывальником ладони.

Через неделю или две, разглядывая в журнале фотографии молодых женщин в кожаных куртках и прочитав, что эти широкоплечие дамы совершают смелые, далекие полеты на планерах, прыгают с парашютом с громадных заоблачных высот, Анна Сергеевна снова начинала тосковать. И опять она трогательно и беспомощно взмахивала руками, тихо говорила:

– Андрюша, я уйду от тебя, так будет лучше.

Однажды, ранней весной, когда ветер бежал по городу, грохоча жестью крыш и вывесок, Анна

Сергеевна принесла из чулана свои книги и, вздыхая, рассматривала подчеркнутые красным и синим карандашом строки. Она долго не могла найти своего диплома, он лежал в нижнем, «тарелочном» отделении буфета.

Кто был причиной плохой жизни? Муж? Она? Сейчас Анне Сергеевне это было безразлично. Она чувствовала, что пришло время совершить нечто важное и что это важное совершится сегодня. Но как совершится это нечто, она не знала...

Тяжелый мартовский снег залетал в открытые двери магазинов, парикмахерских, ложился на каменные ступени лестницы. Лбы трамваев белели, спина милиционера, стоявшего на углу, покрывалась снежной корой, а через несколько минут облака таяли, разрывались, и прохожие глядели на теплое весеннее небо; мрачные краски кирпичных стен теплели, сияющие водяные капли бежали по проводам. А затем облака снова затягивали голубую прорубь, и милиционер на углу поднимал капюшон.

Много раз Анна Сергеевна подходила к окну. Ее настроение не подчинялось радостям и печалям природы. Когда пошел снег и нельзя было прочесть вывесок на противоположной стороне улицы, ей вдруг сделалось весело. Она напевала, укладывая вещи. Когда выглянуло солнце и граненые флаконы на ночном столике вспыхнули зелеными и синими огоньками, Анна Сергеевна расплакалась, глядя на раскрытый чемодан, на холмик чулок и белья.

Андрей Вениаминович пришел с работы, как обычно, в шесть часов. Вероятно, сто раз она повторила вслух фразу, приготовленную к приходу мужа:

– Андрей, я сегодня уезжаю.

Однако Анна Сергеевна ничего не сказала. Андрей Вениаминович сразу увидел все – и ее заплаканное лицо, и чемодан, и беспорядок в неподметенной комнате.

– Аня, что ты наделала! – хрипло крикнул он.

Вечером они сидели, обнявшись; за окном по-прежнему выл ветер, снег лип к стеклам.

– Нужно принимать большие решения завтра же, нет – сегодня, – говорил Андрей Вениаминович, искоса поглядывая на темневший в углу чемодан.

И они решили снять с Анны Сергеевны ярмо кухонных забот, проще говоря – нанять кухарку.

Произошло странное совпадение – оно насмешило Андрея Вениаминовича и обрадовало Анну Сергеевну.

Утром они получили письмо от тетки Андрея Вениаминовича. Тетка писала, что теперь, когда Вера закончила медицинский и уезжает на село, а Коля женился, ей незачем дальше жить в Киеве, она продает мебель и переезжает к Соне в Ленинград. И вот тетя спрашивает, не купит ли у нее Андрюша шкаф, отделанный редким деревом – птичий глаз. Кроме того, тетя сообщала, что рассчитывает кухарку – женщину кристальной честности. «Очень жалко отпускать из нашей семьи такого человека», – писала она.

Анна Сергеевна прежде всего пошла на почту. Ей было хорошо: весна, новая жизнь, молодость – все улыбалось ей, и она тоже улыбалась жизни и весне.

– Ну вот, – сказал Андрей Вениаминович, – эту женщину нужно выписать. Пятьдесят рублей на дорогу окупятся в первые два-три месяца. Не нужно только ее развращать бесконтрольностью.

Андрей Вениаминович составил телеграмму тете и уехал на завод. Анна Сергеевна, убрав комнату, отправилась за покупками – ей хотелось в эти последние дни особенно вкусно

кормить мужа.

Анна Сергеевна должна была перейти улицу и выбирала, озираясь, удобное место.

– Разрешите, я помогу переправе, – сказал молодой военный.

Она хотела рассердиться, но военный сделал смешное лицо и взял ее за руку.

– Клянусь вам, я не нахал, я рыцарь.

Придя на почту, Анна Сергеевна перечла телеграмму и там, где было написано «Привет Андрей», вписала: «Крепко целуем дорогую Аня Андрей».

– Четыре сорок, – сердито сказала девица. Анна Сергеевна потянулась к сумочке и обмерла: сумочка исчезла – сумочка с деньгами, с красивой пудреницей, на которой палехский мастер нарисовал извлечение русалки из воды! Сумочки не было ни на левой, ни на правой руке, ее не было под мышкой...

Анна Сергеевна подумала, что ее обокрал военный. Она взмахнула в отчаянии руками, и в плетеной кошелке что-то прыгнуло, как живая рыба. Да, переправляясь через ручей, она положила сумку в кошелку. И ей снова стало весело и легко.

II

В купе, кроме Марьи Шевчук, ехали две старушки и толстая женщина с ярко покрашенным ртом, а из мужчин – моряк и небритый молодой человек в серых брюках. Этот небритый был подозрителен Марье, и каждый раз, глядя на его потрепанные летние брюки, она трогала ногой стоявший под лавкой сундучок.

Когда поезд тронулся, женщина с покрашенными губами раскрыла фанерную коробку и разложила на столике еду. Небритый сердито покашлял и вытащил из кармана книгу.

Старухи заговорили о докторгах.

– Он гремит по всему Одессу, – рассказывала одна про одесского доктора-чародея.

– Травой лечит? – спросил небритый.

– Да, травой. Он этой травой все чахотки вылечивает, а одышку в момент прямо.

– А от ослабления главной жилы он не лечит? – спросил небритый.

– Вот вы смеетесь, гражданин, – обиделась старушка, – а я вам говорю, к нему из военных санаториев ходят.

– Закатить бы его на пятерку для перековки медицинских знаний, – сказал небритый, перелистывая книгу.

Старушка вздохнула и, поглядев на моряка, сказала:

– Спит матросик, спит родимый, надо за его вещами присмотреть.

После этого старухи заговорили о том, как опасно спать в поезде. Услышав разговор о кражах, нахлынул народ с боковых мест и из соседних купе, все принялись рассказывать

страшные случаи: как крючком, заброшенным в открытое окно, воры вытащили вместо чемодана старика бухгалтера; как парень перед сном защелкнулся на железную цепь, прикрепленную к его корзине, а утром пассажиры увидели, что парень с цепью лежали на полке нетронутыми, а корзины нет. Рассказывали про воров на костылях и про мазуриков-интеллигентов, носящих круглые очки. Все приняли участие в разговоре, одна только Марья сидела молча. Руки Марьи лежали на коленях, и она чувствовала тяжесть этих больших кистей с кривыми коричневыми пальцами; она не могла отмыть их перед отъездом ни мылом, ни керосином, ни крепким щелоком. На скуластом лице Марьи выступили бледно-розовые пятна, глаза блестели, – никто бы не сказал, что этой широкоплечей, крепкогрудой женщине сорок лет.

«Добра, паразитка», – думала она о красноротой женщине. Что бы та ни говорила, Марья насмешливо повторяла про себя: «Все брешет, паразитка».

А поезд шел вперед. Вдоль полотна железной дороги стояли голые рощи, черные тонкие деревья устало шевелили худыми ветвями, в уже оттаявших мутных болотцах покачивался коричневый, умерший камыш, и дальше до самого горизонта лежала ничем не прикрытая тяжесть земли.

Пассажиры принялись устраиваться на ночь, разговоры затихли. Толстая женщина постелила на нижней полке клетчатое одеяло, взбила большую, жидкую подушку.

– Ах, боже, зачем я согласилась поехать бесплэцкартным! – бормотала она и толкнула Марью ногой. – Мне предстоит ужасная ночь.

Она снова застонала, выпрямила ноги, и Марье пришлось отодвинуться на край скамейки. Через несколько минут лежавшая затихла, а затем спокойно и негромко захрапела. Страшная злоба охватила Марью, она пошла в коридор и стала у окна.

Марью волновала громадность этих вечерних полей, темные избы, ветрянки, овражки, рощицы... Вот пробирается старичок с пустой торбой за плечами, такой равнодушный, что даже не повернул головы в сторону поезда. Глядя на эти быстро мелькавшие сквозь дым картины, легко, почти мгновенно исчезающие, Марья перестала сердиться на толстую женщину, перестала тревожно думать о Москве.

Ей вспомнился муж. Он был худой, кашлял, а она большая, сильная. На вечерках ни один парень не мог ущипнуть ее, пальцы скользили, точно тело ее было из чугуна. И этот вызывавший в ней тошноту человек, лентяй и хвостун, был хозяином ее жизни.

Однажды он замахнулся на нее колуном, Марья рванула за топориче и, мельком взглянув в лицо мужа, увидела его растерянные глаза, и чувство покорности вдруг рухнуло. Она ударила его по лицу, он упал, пополз, увертываясь от ударов. Прибежавшая соседка закричала:

– Марийко, скаженна, ты ж его убьешь!

Несколько дней он все молчал, смотрел на жену «як змей», а потом ночью привел каких-то военных, – она не помнит, при гетмане это было или при банде, – и они ее высекли шомполами, она долго после этого могла спать только на животе. А через четыре месяца она родила глухонемого Михейку. Муж ушел с бандой. Через год земляк, бывший в Миннице кучером, приехал в село и рассказал, что Мыкыта умер от чахотки. Родственники мужа решили, что в чахотку его вогнала Марья, и ей не стало житья в деревне – все называли ее паскудой и злодиячкой.

Она ожесточилась, стала злой и вспыльчивой; бабы боялись ее: у колодца, на мельнице ей всегда уступали дорогу, этой широкоплечей женщине, умевшей одинаково ловко и быстро орудовать иглой, лопатой и топором. У нее остался Михейка. Он был лучше всех детей,

худенький хлопчик с веселыми глазами. Он не слышал, когда она говорила: «Дытына ты моя ридна, горенько ты мое!» Но он все понимал и плакал вместе с ней, когда она пела старинную грустную песню:

Ой, верба, верба, где ты зроста -

Що твое лыстячко вода знесла.

Она повезла сына в город, и доктор взялся его лечить. Марья, оставив мальчика в больнице, вернулась в село. Через несколько дней она заболела сыпняком. Лежала она одна, разговаривая с печкой и отбиваясь от бандитов, они день и ночь ломали ей кости, вязали руки...

Когда Марья, пошатываясь от слабости, пришла в городскую больницу, ей сказали, что сына отослали в детский дом; там подтвердили: действительно, был глухонемой мальчик, но его направили на эвакупункт.

Марья ходила в совнархоз, земотдел, милицию, но следов сына не отыскала. Она вернулась в деревню, продала соседям горшки, ухваты, ведра и уехала в Киев, нанялась в кухарки.

Старуха хозяйка была довольна работницей, – Марья не ходила в клуб, отказывалась посещать собрания, не брала выходных дней. По вечерам она сидела перед остывшей, покрытой газетой плитой и дремала.

Что ждало ее в Москве?

Она думала: имеет ли хозяйка маленьких детей, дадут ли складную кровать или придется спать на полу...

Марья вернулась в вагон – все происходило по закону ее жизни: люди сладко спали, только она должна была сидеть на краешке скамьи, вставать, смотреть в окно, снова садиться, для нее не хватило места.

Долго тянулась бессонная ночь в жестком, переполненном людьми вагоне.

III

Вокруг большого стола по вечерам собирались жильцы, их жены, матери и дети.

Здесь, в этой огромной кухне коммунальной квартиры, обсуждали жизнь пролетарского государства. Здесь Дмитриевна три года тому назад темным старушечьим пальцем показывала на горку мерзлой картошки и лоскутья тощего пайкового мяса, и десять человек в суровом молчании слушали ее речь. Здесь обсуждали постановление правительства о борьбе с прогулами. Здесь спорили о закрытых распределителях и выпивали по случаю отмены хлебных карточек.

Вот в эту кухню втащила Марья свой деревянный сундук.

– Здравствуйте вам, – сказала она и поклонилась.

– Здравствуйте, – ответили три молодых.

– Здравствуй, голубушка, – пропели старухи.

Все пять женщин, молодые и старые, переглянулись, усмехнулись, подмигнули друг другу, рассмеялись, застучали ложками и ножами, враз заговорили между собой, точно Марья не было рядом с ними и точно им не хотелось узнать, замужняя ли, вдова, со стиркой белья, есть ли дети, какое жалованье, имеет ли московский паспорт, каковы ее взгляды на жизнь, отношение к мужчинам, можно ли с ней ладить в общем хозяйстве.

Но самым интересным было поглядеть на отношения домашней работницы с Анной Сергеевной. Да, на эти комичные и дикие отношения, сохранившиеся только на одном крошечном участке жизни огромной страны.

Пока Марья распутывала платок, связанный узлом на спине, в кухню вошла Анна Сергеевна, смущенная и приветливая.

– Идемте в комнату, голубушка, вам нужно помыться, выпить чаю, отдохнуть, – сказала она и увела Марью.

Оставшиеся на кухне женщины снова переглянулись, захохотали и в один голос спросили у говорившей басом старухи:

– А, Ильинишна, чего скажешь?

Ильинишна оглядела их веселыми серыми глазами, тряхнула головой и сказала уже не басом, а совершенно обычным женским голосом:

– Чего я скажу? Ничего я не скажу.

Анна Сергеевна усадила Марью за стол, налила ей чаю, и Марья, прикрывая рот рукой, покашливала, оглядывая комнату.

– Как вы ехали? – спросила Анна Сергеевна. – Спали в дороге?

– Ничего доехала, спасибо, – ответила Марья и вдруг, спохватившись, принялась развязывать узелок платка, передала Анне Сергеевне столбик монеток, завернутый в мягкую рублевую бумажку. – Це сдача от билета, – сказала она.

Анна Сергеевна машинально начала пересчитывать монеты, ведь Андрей Вениаминович вечером объяснял ей, как нужно вести себя с работницей. «Главное, сверяй ежедневно счета, – говорил он. – Меня тоже на работе проверяют, и я проверяю других. И еще имей в виду: если недостает нескольких копеек – это не так страшно, она могла забыть какую-нибудь петрушку, но если окажется хоть копейка лишняя – значит, дело плохо: ворует!»

– Четыре рубля тридцать, – сказала Марья.

– Да, да, знаю, это я просто так, – сказала Анна Сергеевна и рассыпала монеты по столу, показывая свое равнодушие к деньгам.

И действительно, она не любила денег.

«Тебе бы быть женой писателя или танцора из мюзик-холла, – говорят, они зарабатывают по три тысячи в месяц», – сердился Андрей Вениаминович, рассматривая какой-нибудь пестрый горшочек для цветов или каменного пеликана, купленного женой на Петровке.

Потом Анна Сергеевна читала сопроводительное письмо, привезенное Марьей. Тетушка

называла Марью золотым человеком, требующим, однако, умелого обращения. Иногда на нее находит какой-то «бзик», она молчит. Тетушка рекомендовала в такие периоды ее не трогать.

Читая это место письма, Анна Сергеевна испуганно поглядывала на Марью, – тетушка, точно цирковой дрессировщик, давала советы, как обращаться с аллигатором или свирепым медведем.

А Марья пила чай и ела хлеб с маслом, стараясь бесшумно глотать, отчего глотала особенно громко.

Когда поезд въехал в громадный, остекленный туннель Киевского вокзала и в полутьме мимо окон забегали носильщики и гулко кричащие, размахивающие руками люди, Москва показалась Марье враждебной, насмешливой; акающий выговор москвичей резал слух. Ей хотелось поскорей уйти от треска трамваев, спрятаться в какой-нибудь темный чуланчик возле кухни и смотреть оттуда на мир с привычным чувством обиды и недоброй насмешки. Ведь жила она в Киеве, ни разу не побывав на Крещатике и на Фундуклеевской, не зная даже, что Киев стоит на Днепре; она лишь ходила на базар, где у знакомых баб покупала продукты. Эти бабы да молочница, приходившая через день, были ее связью с миром.

– Ну вот, – деловито сказала Анна Сергеевна, – вам тетя, вероятно, говорила: семья у нас небольшая – муж и я. Мы оба служим, то есть я на днях начинаю. Готовить вы, конечно, умеете.

И она изложила свою хозяйственную программу: не сильно крахмалить белье, хозяин не любит луку, но склонен к баранине с чесноком, духовка вполне хороша, в ней можно печь не только ватрушки, но и хлеб. В закрытый распределитель нужно ездить трамваем, но в последнее время к нему приходится прибегать все реже, с хлебом теперь легко, нет карточек, никаких очередей.

Анна Сергеевна рассказывала обо всем Марье и переживала разные чувства. Вот она снимала с себя груз кухонных забот. Но все эти дела она сваливала на плечи женщины с мрачными черными глазами. Анне Сергеевне казалось, что Марья рассмеется и скажет: «Ну нет, милая моя, это вы бросьте».

И еще одно чувство было у Анны Сергеевны: ей делалось грустно при расставании с миром, в котором она прожила последние годы. Ведь это были годы любви и радости. А теперь все эти постывшие ей и все же милые занятия перейдут к чужой женщине.

– Вы устали с дороги, отдохните немного, а я пойду позвоню по телефону, – сказала Анна Сергеевна.

Вернувшись, Анна Сергеевна застала Марью за уборкой комнаты. Посуда уже была вымыта, стулья стояли на местах, пепел и табачная пыль стерты с письменного стола.

Марья подмела комнату и, собрав сор на фанерную дощечку, вопросительно посмотрела на хозяйку.

– Мусорное ведро на кухне, возле отлива, – сказала Анна Сергеевна.

Пока Марья ходила на кухню, Анна Сергеевна, вдруг охваченная радостью, запела:

Мы молодая гвардия рабочих и крестьян...

Дмитриевна, старуха хитрая и неискренняя, говорила с Марьей каким-то особенно нежным голосом, улыбаясь, но на второй же день заявила всем соседям, что Марья «холуйская душа и темный мужик». Мужчины, глядя на Марью, говорили: «Да, вот это да», а Крюков, молодой мастер, почетный человек в своем цехе, холостяк и франт, входя на кухню, страшно пялил на Марью глаза и начинал так оглушительно кашлять, хватаясь руками за грудь, что женщины смеялись и говорили:

– Наш Алеша ни одной не пропустит.

Верочка, невестка Дмитриевны, не любившая своей свекрови, сказала мужу:

– Привязалась к этой кухарке. Я уже вижу, так ее и сверлит. Вот увидишь, доведет до скандала.

И тихий Гриша, желтоглазый парень, – о нем почти каждый день писали в заводской газете, и портрет его висел в главной конторе, – с тоской поглядывая на жену, сказал:

– Ну вас всех к монаху, не мешай ты мне!

Он учился на первом курсе вечернего втуза и постоянно сидел за книгой.

Хорошо отнеслись к Марье Ильинишна и ее старик. Его, несмотря на сорокалетний слесарский стаж, все называли «Саша Платонов».

Ильинишна пользовалась в квартире большим уважением. Она работала наладчицей на фабрике и была большим знатоком в сложных и запутанных делах наладки многообразных станков.

Ильинишна чувствовала себя хозяйкой на фабрике, дома, в магазине, в трамвае, уверенной в своей силе и полезности. Саша Платонов, женившись на ней, удивился и не поверил себе, что есть на свете такие люди, как его жена, и жил с ней вот уже тридцать пять лет, все продолжая удивляться, недоверчиво и восхищенно покачивая головой.

– Трудящаяся женщина, – сказала Ильинишна о Марье.

– Да, – сказала Платонов, – видать, приличная женщина.

В квартире жила еще семья Александры Петровны, работавшей в заводском парткоме. У Александры Петровны были две дочери от первого брака, рослые молчаливые комсомолки, а со вторым мужем она имела худенького пятилетнего мальчика Вову. Муж Александры Петровны, всегда небритый, курчавый молодой человек, ссылаясь на ночную редакционную работу, часто возвращался домой под утро, и все знали, что она не спит и мучается ревностью.

– Да, отсталый слой, – сказала Александра Петровна о Марье. А муж ее, Иосиф Абрамович, выйдя утром мыться в кухню, удивленно спросил у Марьи:

– Откуда ты, прелестное дитя?

Марья, стараясь ни на кого не глядеть, односложно отвечала на все вопросы и работала так усердно, что Анна Сергеевна сказала мужу:

– Ты знаешь, за те несколько дней, что она здесь, соседки изменили ко мне отношение. Я для них раньше была как бы своей, а теперь они глядят на меня как на эксплуататора.

– Да, неприятно, – согласился Андрей Вениаминович, – я уже просил, чтобы нас перевели в итеэровский корпус, обменяли с кем-нибудь.

– Это все пройдет, когда я начну работать, – сказала Анна Сергеевна. – Их злит, что я не работаю, детей нет, а держу прислугу.

– Вот поэтому я хочу перебраться в итеэровский дом, – сказал Андрей Вениаминович. – Мне этот контроль совершенно не нужен.

А Марья исступленно чистила и терла все, начиная от сапог хозяина и кончая ручками дверей и ступеньками парадной лестницы.

Марья думала, что жившие в квартире – по большей части люди вредные. Она довольно точно определила их отношение к себе. «Хай вона згорить, стара зараза», – думала Марья про Дмитриевну; ее невестку Веру, строившую из себя королеву, Марья называла очень обидным словом, его даже написать неудобно. Александру Петровну Марья назвала про себя «якась дрынза»; слово «дрынза» происходило от брынзы, ненавистного Марье сыра, которым ее часто кормила киевская хозяйка. Кашляющего франта Крюкова Марья определила как «лядачего курваля», и даже к черноокому Вове она отнеслась неодобрительно и прозвала его «малпеня» .

Обезьянка.

Но больше всего Марье не нравилась Ильинишна. Ильинишна не строила из себя барыни, не скрывала своих темных, с исковерканными пальцами рук, но Марья видела, как хозяин стукнул каблуками желтых ботинок, здороваясь с Ильинишной, и та сказала ему: «А, здоров, здоров!» Марья видела ее спокойствие, властность, уверенность и не могла понять, почему такая «старая затрухана ведьма» чувствует, себя хозяйкой.

Убедившись, что москвичи не лучше украинцев, Марья почувствовала удовлетворение. Она сердилась, встречая людей бесспорного добродушия, – такие люди вызывали беспокойство, наводили тоску. Вот таким человеком был продавец из мясной лавки. Его розовые щеки поросли рыжим пухом, и казалось, что кто-то по ошибке прикрепил эту ребячью голову к громадному туловищу с могучими, ловкими ручищами.

На второй день после приезда Марья пошла в мясную.

– Цю костьку я не возьму, – сказала Марья и бросила мясо на прилавок; она всегда сурово блюла хозяйский интерес.

– А какого вам? – грозно спросил парень и занес топор, точно собираясь отрубить Марье голову.

– Без костки, – ответила Марья, мужественно глядя на топор.

– Гриб, гражданочка, бывает без костей, – сказал парень, и женщины у прилавка хихикнули.

А парень гоготнул таким веселым смехом, что Марья почувствовала: вот-вот и она улыбнется.

Потом он дал Марье отличный кусок мяса и, отвечая уже другой покупательнице, смеясь, сказал:

– Это не жилы, мамаша, это мускулы.

Он показал, как телята занимаются физкультурой, и все, даже старухи, засмеялись.

Когда Марья возвращалась домой, сидевший на углу чистильщик ботинок с головой, обмотанной бабьим платком, зашевелился, издал воркующий звук, протянул к ней руки:

– Давай я тебе ботинки почищу.

Марья плюнула в его сторону и сказала:

– Штоб тоби повылазило, турецкая морда.

Она сразу решила, что продавец мяса и чистильщик стоят друг друга: оба они бабники.

V

Анна Сергеевна отправилась в нижнюю квартиру звонить по телефону. На днях она звонила своей гимназической подруге Шуре Храбрецовой, и та сказала, что встретила на Петровке «всю жизнь не угадаешь кого» – их старого приятеля Петю Кондрашова.

– Какого Петю, неужели саратовского? – обрадовалась Анна Сергеевна.

– Ну да, господи, а какого же? Изменился ужасно, но я сразу же узнала, и если бы ты видела его лицо, когда я сказала, что ты уже пятый год замужем! Он теперь занимает крупный пост, очень крупный! Я записала, конечно, номер его телефона...

Анна Сергеевна сразу поняла, что Петя Кондратов и есть нужный ей человек. В тот же день она позвонила ему, и женский голос ответил, что товарищ Кондратов уехал на два дня в Ленинград. Через три дня тот же голос сказал: товарища Кондрашова вызвали в Нарком-тяж. После третьего звонка секретарша узнала голос Анны Сергеевны и ответила насмешливо:

– Товарищ Кондрашов сейчас на правлении.

«Эта дура, очевидно, предполагает, что у нас роман, – подумала Анна Сергеевна и решила: – Позвоню еще раз, нет – два раза и, если не дозвонюсь, буду устраиваться через Ваню Харитонову или Бобку Орлова».

Наконец Анне Сергеевне повезло. Она позвонила Кондрашову, номер телефона она уже помнила и звонила держа перед собой бумажку, но не глядя на нее. Анна Сергеевна ожидала услышать скверный голос секретарши и растерялась, когда вдруг раздалось низкое, мужское:

– Да-а?

– Могу ли я товарища Кондрашова? – запинаясь, спросила она.

– Я вас слушаю, – сказал голос.

– Это говорит Бородаева, Анна Сергеевна.

– Кто? – сердито спросил голос.

Анна Сергеевна растерялась и, чувствуя, что не может сказать двух слов, что сейчас повесит трубку, поняв вдруг, как она одичала за годы сладкого житья с Андрюшей, плачущим голосом крикнула:

– Ну, господи, гимназистка Аня Оболенская!

И тотчас ей ответил голос, который она сразу же узнала:

– Аничка, вы? Неужели вы? – и после короткой паузы: – Если бы вы только знали, как я рад! – Потом вдруг послышался первый, раздраженный голос: – Я занят. Двери, пожалуйста, закройте, – и второй голос сказал: – Извините, Аня, это тут случайно секретарша заболела, но, знаете, сознаюсь, я немного растерялся. Скажите ваш адрес, я приеду.

Он по несколько раз переспрашивал название улицы, номер дома, квартиры, и она терпеливо повторяла:

– Квартира сто семьдесят четыре, семьдесят четыре, четыре, четыре, ну вот так, – и у нее уже создалось чувство превосходства над ним, точно он был непонятливый ребенок.

Кондратов сказал:

– Я боюсь адрес перепутать и не найти вас, вы себе не представляете даже, как я хочу вас видеть.

– Жду вас, – сказала Анна Сергеевна, повесила трубку, рассмеялась, поблагодарила соседку и побежала вверх, быстро перебирая ногами и глядя на блестящие носки своих новых торгсиновских туфель.

Все складывалось как нельзя лучше, все шло отлично.

Да, этот мрачный юноша ходил к ее покойному брату, а на нее не обращал внимания, папа относился к нему неодобрительно. Неожиданно он озадачил Анну Сергеевну, сказав, что ходит к ним не ради разговоров с братом.

– Вы влюблены в меня? – спросила она, улыбаясь.

– Да, – ответил он.

Вскоре он ушел в Красную Армию. Анна Сергеевна рассказывала Андрюше про гимназиста, пошедшего из-за несчастной любви на войну и погибшего в сражении. Ей нравилось вспоминать о Кондрашове, это было романтично, немножко грустно.

Кондрашов должен был приехать, и Анна Сергеевна, ожидая его, спрятала в шкаф галстук Андрюши, задвинула под кровать мягкие мужские туфли-шлепанцы.

«Господи, – успокоила она себя, – я просто привожу в порядок комнату, никакой тут измены Андрюше нет».

Анна Сергеевна приводила в порядок комнату, а когда раздался звонок, она вдруг почувствовала, как у нее горят щеки и уши.

Они поздоровались и пока говорили про то, сразу ли удалось найти Кондрашову квартиру, не попал ли он в соседний подъезд, глаза их смотрели взволнованно и напряженно.

Потом они заговорили про воду, которая утекла, и стали считать, сколько этой воды утекло. Кондрашов спросил, где работает муж Анны Сергеевны, и, рассказывая, она следила за его глазами и, казалось, понимала все, что он думал. Вот он соображал, спит ли кто-нибудь из них на диване, потом он пересчитал подушки на кровати – их было три, – потом он рассматривал вышивку на стене – беседа волка с Красной Шапочкой – и соображал, для кого Анна Сергеевна вышивала ее. Затем он посмотрел на коврик возле кровати и на платье Анны Сергеевны, очевидно представив себе, как ее ноги нащупывают ночные туфли. Он

рассматривал корешки книг и усмехнулся, увидев, что муж высоко не залетает – это были по большей части элементарные пособия по экономическим и статистическим наукам; да, он рассказывал спокойным и неторопливым голосом, добродушно улыбнулся, сказав, что теперь, когда он послан на хозяйственную работу, к нему беспрерывно звонят откуда-то узнающие его телефон знакомые и родственники. Он говорил, а она слушала и следила за тем, как он решал вопрос о ее жизни и отношениях с мужем. Он покашлял и сказал:

– Да, а я так и не женился.

Эти слова не имели никакой связи с тем, что говорилось, но они вытекали из тех мыслей, которые были у него.

– Пора, пора, – сказала она, смеясь, – посмотрите, сколько у вас седых волос.

– Да, пора, – серьезно сказал он, а Анна Сергеевна, сама не зная зачем, глядела на него с грустным и взволнованным выражением.

Он начал ее расспрашивать, как она прожила эти годы, училась ли, где работала. Было стыдно сознаться этому человеку, что она долгие годы жила в пустой суете. И Анна Сергеевна не сказала правды.

– Да, в разных местах работала, – сказала она и зевнула, словно одно воспоминанье об этой работе наводило скуку, – училась в вузе, работала на заводе лаборанткой, потом, увы, была секретарем одного директора, снова работала на заводе.

– А сейчас вы не работаете? – спросил Кондрашов.

– Сейчас нет, – рассмеялась она, – я даже хотела сходить в редакцию «Огонька», пусть поместят мою фотографию и подпишут: «Единственная безработная в СССР».

– А вы хотите получить работу? – спросил он.

Анна Сергеевна быстро взглянула на Кондрашова и поняла, что если она заведет разговор о службе, то Кондрашов, выйдя от нее, подумает: «Вот еще одна знакомая, отыскавшая номер моего телефона». Должно быть, ей по-настоящему захотелось иных отношений с этим человеком, ибо в течение нескольких секунд она успела все сообразить, решить, сделать беспечное лицо и ответить:

– Работу? Нет, сейчас

я об этом не думаю.

И он обрадовался, что его подозрение не оправдалось. Ведь десятки людей ежедневно говорили с ним: они звонили по телефону, писали письма, приезжали из дальних уральских городов, где были заводы и объединения. Все это было важно и нужно, но никто из приходивших не интересовался Петей Кондрашовым, а вот товарищ Кондрашов, председатель объединения, был предметом жгучего интереса для сотен людей.

Обо всем этом, прощаясь, Кондрашов сказал Анне Сергеевне, и она порадовалась своей женской чуткости. Они условились снова встретиться в ближайшие дни. Он крепко, как мужчине, пожал ей руку, вздохнул и ушел.

Анна Сергеевна стояла у окна и видела, как большой автомобиль с собакой на радиаторе загудел и поехал к заставе.

Анна Сергеевна вынула из шкафа галстуки и разгладила их.

– Андрюшечка, – убежденно сказала она и закрыла глаза.

«В конце концов, можно будет поговорить с Бобкой Орловым, – подумала она, – завтра же сделаю это».

Потом пришла Марья, у нее на лице было насмешливое, надменное выражение, так, по крайней мере, казалось Анне Сергеевне: «Ага, так вот для чего тебе понадобилась домработница».

Вечером Анна Сергеевна рассказывала мужу про посещение Кондрашова.

Андрей Вениаминович отнесся к воскрешению убитого весьма равнодушно, но вдруг оживился и пробормотал:

– Позволь, позволь, Кондрашов, ты говоришь? Ну, конечно, это из объединения.

После этого он сказал:

– Ого-го, с такой птицей очень не вредно иметь личное знакомство!

Анна Сергеевна подумала: «Как он знает людей!» – и начала объяснять, какой необычайный человек Кондрашов и почему она его ни о чем не просила и впредь постарается не просить.

Андрей Вениаминович внимательно посмотрел на жену, а когда она, смутившись, но стараясь быть искренней, заговорила об одиночестве Кондрашова, Андрей Вениаминович начал стучать ногой, усмехнулся и сказал:

– Своеобразно начинается твоя трудовая жизнь, очень своеобразно.

VI

Скандал начался из-за пустяка. На кухню заглянула Анна Сергеевна и сказала Марье:

– Нужно торопиться с обедом, у нас сегодня гости.

– Ишь, подумаешь, мадам, – пробормотала Дмитриевна, стоявшая возле отлива.

Потом Дмитриевна подошла к плите и увидела, что ее чугунок сдвинут с большого огня, а на его месте стоит алюминиевая бородаевская кастрюля. В гневе она закричала:

– Ты что это командуешь, кто тебе разрешил?

Марья, не глядя на Дмитриевну, помешивала деревянной ложкой в кастрюле.

– Не отвечаешь? – закричала Дмитриевна. – Да я на вас плевать хотела, на тебя и на твою Бородаиху.

На шум прибежала из комнаты Вера.

– Что вы орете, мама? – спросила она у свекрови. – Вы ребенка разбудите. Просто выдержать нельзя. Хоть бы скорей мой отпуск кончился!

Но, узнав, из-за чего кричала Дмитриевна, Вера обрушилась на Марью.

– Да ты знаешь, – кричала она, – мой Стрелков лучший ударник на заводе! Ему обедать не

нужно? А? Ты как думаешь? Да ты знаешь, что за Григория Стрелкова наш директор десять Бородаевых отдаст.

– Пад-ума-ешь, инженер, – выговаривала Дмитриевна, – это ты ему ботинки чистишь да пальто выбиваешь. Да наш Гриша побольше твоего инженера зарабатывает.

– Подлиза буржуазная! – говорила Вера. – Ты разве знаешь, что такое производство?

Они обе наперебой ругали Марью. Кроме них, на кухне никого не было, остальной народ работал. Только маленький Вова стоял у двери и, полуоткрыв большой рот, смотрел на ругавшихся женщин.

Марья молчала, но когда Дмитриевна хотела сдвинуть алюминиевую кастрюлю с большого огня, Марья ударила Дмитриевну кулаком.

– Батюшки! – ахнула Дмитриевна, и сразу на кухне началась такая перепалка, что Вова удрал в комнату и запер дверь на крючок, а Анна Сергеевна крепко закрыла уши руками и вслух говорила:

– Господи, что за ужас!

Вечером Дмитриевна с лицом человека, избегнувшего смерти, шепотом рассказывала:

– Четвертый год живем, никто худого слова не сказал, а чуть эта холуйка приехала – скандал за скандалом.

– Да это безобразие, – горячилась Александра Петровна, – за такие вещи нужно беспощадно проучить, в нашем новом доме и вдруг... – И она объяснила Дмитриевне, что Марья находится во власти темной психологии.

Вера убеждала мужа пойти за комендантом, а он смотрел в книгу и отвечал:

– Да ну вас, никуда я не пойду. Обошлось – и ладно.

Вова рассказывал сестрам, жестикулируя и округляя

большие глаза:

– Они задрались, а я как испугался, заперся и думаю – никого не впущу, а самолет под кровать спрятал.

Сестры переглядывались и качали головами, а старшая, Клава, та, что рисовала по вечерам масляными красками и никогда не улыбалась, сказала:

– Ты, Вова, не обращай на эту дуру внимания.

– Да, не обращай, – сердито сказал Вова, – вам хорошо на заводе, а я так переволновался...

Все осудили Марью и очень удивились, когда пришедшая позже других Ильинишна, выслушав историю, спросила Дмитриевну:

– А морду она тебе набила? Нет? Жалко!

– Да коснись она, я б ей...

Вдруг Крюков поднял палец и зашипел: из комнаты Бородаевых слышались громкие голоса.

– Нервничает, переутомился, – сказал кто-то, и все захохотали.

Действительно, Андрей Вениаминович разнервничался.

– Что ты хочешь от меня, наконец! – говорил он. – Из-за этого дикого существа я себя чувствую дома, словно какой-то американский плантатор, рабовладелец! Зачем мне это? А? Нужно считаться с тем, что мы живем в рабочем доме. Для чего мне это? Изволите ли видеть, начинается новая жизнь Анны Сергеевны! – И он стукнул кулаком по столу так, что вилки и ложки враз подпрыгнули. – Какой-то бедлам! – крикнул он. – Я эту Марью сам выгоню к черту. Мне мое спокойствие дороже. – Потом он вдруг заговорил шепотом: – Новая жизнь, новая жизнь, до чего все это глупо! Какая-то Марья, скандалы, драки. Теперь я сижу после дня адской работы и не могу пообедать, жду, пока изволит прибыть товарищ Кондрашов. Вот это и есть новая жизнь?

– Ты сам просил тебя познакомиться с Кондрашовым, поэтому я его пригласила к обеду, – тихо сказала Анна Сергеевна.

– Ты права, – насмешливо сказал Андрей Вениаминович, – но ответь мне, пожалуйста, на один вопрос: ты-то хотя бы довольна? Ты удовлетворена вот этой самой новой жизнью, великолепной творческой деятельностью, которой так добивалась?

– Андрюша, при чем тут новая жизнь? – с подчеркнутой кротостью сказала Анна Сергеевна. – Ты ведь знаешь, мне до сих пор не удалось устроиться на работу.

При других обстоятельствах Анна Сергеевна давно бы рассердилась на мужа, но сейчас она чувствовала себя виноватой перед ним. Против воли она уже в сотый раз глядела в окно и вздрагивала при каждом гудке автомобиля. Анну Сергеевну удивляло, что муж не видит ее волнения.

А его эта кротость жены, умевшей невинным голоском говорить невыносимые колкости при ссорах, раззадоривала все больше и больше.

– Довольно, – наконец сказал он, – хватит с нас новой жизни. Сегодня же объяви Марье: я ее увольняю. Две недели, полагающиеся по закону, придется потерпеть... – Он на мгновение задумался и сказал: – Третьего, четвертого, да – пятого апреля она отсюда уйдет.

Анна Сергеевна сказала:

– Хорошо, Андрюша, пятого апреля она уйдет.

Потом в комнату вошла злополучная Марья – Анна

Сергеевна посылала ее в магазин за кахетинским вином. Андрей Вениаминович фыркнул, застучал ногой.

Пожалуй, Марья, единственная из всех обитателей квартиры, была спокойна после происшествия. Имела ли она большой опыт кухонных боев, обладала ли крепкими нервами, но так же спокойно и быстро, как обычно, она занималась стряпней, молчаливая и деловитая.

– Марья, откройте дверь, к нам приехали, – сказала Анна Сергеевна.

Марья пошла к двери, и, увидя ее, шмыгнул в кухню Вова, прижимая к животу деревянный автобус.

– Дома Анна Сергеевна? – спросил Кондрашов.

Широко улыбаясь, вышел к нему навстречу Андрей

Вениаминович и немного громче, чем следовало, сказал:

– А-а, товарищ Кондрашов, прошу, прошу.

Он сразу же забыл о ссоре с женой и, коснувшись ладонью ее спины, шепнул:

– Аннушка!

Анна Сергеевна жалобно вздохнула, – она чувствовала, что вот-вот расплечется, до того ей было жалко Андриюшу теперь за его хорошее настроение, так же как пятнадцать минут назад она жалела мужа за его сварливость.

– Марья, будьте любезны принести из ванной водку, – сказал Андрей Вениаминович и добавил: – Не терплю теплой водки.

– Да, теплая водка... – сказал Кондрашов, глядя на Анну Сергеевну.

«Господи, – подумала Анна Сергеевна, – мрачен, смущен, сколько в нем непосредственности».

– Вам кахетинского? – спросил Андрей Вениаминович. – Приятное, пятый номер.

– Нет, нет, – всполошился Кондрашов, – я вина не люблю.

Они выпили по рюмке, наспех закусили и тотчас выпили по второй, а после третьей Кондрашов перестал закусывать сыром и потянулся через стол к зернистой икре.

– Вот это я одобряю, – обрадовался Андрей Вениаминович, – признаться, меня удивило, что вы предпочитаете сыр икре и балыку.

– Дойду и до балыка, – сказал Кондрашов, улыбаясь каким-то мыслям. Он не ел с утра и легко захмелел. Темное чувство к мужу Анны Сергеевны исчезло, все сделалось простым и приятным. А оттого, что здесь рядом сидела она и их связывала невысказанная, а поэтому особенно нежная близость, Кондрашову стало совсем хорошо, и даже в груди появилось какое-то сладкое жжение.

К концу обеда Андрей Вениаминович принялся философствовать.

Он разделял свои мысли на несколько категорий. У него были мысли для всех, мысли для старого товарища, были мысли, которыми можно делиться с родителями и с женой, и, наконец, мысли для себя.

Сейчас Андрей Вениаминович делился с Кондрашовым мыслями для родителей и жены, хотя Кондрашову можно было сообщать лишь мысли для всех. Это нарушение правил произошло оттого, что Андрей Вениаминович выпил водки.

– Вот, – говорил он, – на автомобильном заводе имени товарища Сталина я наблюдаю конвейер, да что конвейер – весь завод, станки и прочая. Конвейер, лента, люди у ленты. По ленте движется автомобиль, его собирают, наливают горючее, садится шофер, и машина катит куда-нибудь в Каракумы. А вот люди остаются у конвейера. Один семь часов обтачивает какой-нибудь ведущий вал, другой надевает колесо, третий прикрепляет фары. Вот сегодня фары, завтра фары и через год фары.

Анна Сергеевна, много раз слышавшая это рассуждение, зевнула и внимательно поглядела на мужа. Она уже не испытывала жалости к нему, а сердилась за недавний скандал и беспокоилась, чувствуя раздражение, овладевшее Кондрашовым.

– Да, – продолжал Андрей Вениаминович, – машина сходит с конвейера... Конвейер! Он тянется от Одессы до Владивостока, с него сходят Магнитогорски и Кузнецки, самолеты, турбины, а мы у этого конвейера делаем однообразные движения – одни руками, другие мыслью. И вот я спрашиваю вас: когда же начнем жить мы, дающие жить машине? А? Да-а, – протяжно проговорил он и, поглядев на сумрачное лицо Кондрашова, вдруг подумал: «Какого черта я разболтался!»

Он считал, что обладает спокойствием и выдержкой, и вот неожиданно поведал чужому человеку свои мысли.

Лицо Кондрашова показалось Андрею Вениаминовичу насмешливым и злорадным.

Он не удивился, когда Кондратов поднялся. «Ну, теперь я сжег свои корабли...» – подумал он.

– Да, язык мой – враг мой, – сказал Андрей Вениаминович после ухода гостя. – Зачем я произнес перед этим типусом монолог? И почему ты меня не сдержала вовремя? – Им снова овладело раздражение, желание обвинять и поучать. Он осмотрел остатки закусок и сказал: – Рублей сорок нам это удовольствие обошлось!

Они принялись считать, сколько стоил сегодняшний обед: было истрачено шестьдесят два рубля. После этого Андрей Вениаминович с особенным жаром заговорил о вздорных затеях жены, о необходимости считаться с ним, тянущим тяжелый воз.

Анну Сергеевну покинуло покорное настроение, она тихо проговорила:

– Послушай, выдержанный и волевой Бородаев, ты мне надоел.

В это время вошла Марья убирать со стола, и Анна Сергеевна сказала:

– Марья, Андрей Вениаминович хочет с вами поговорить.

Андрей Вениаминович снова потерял свою выдержку и сказал:

– О чем говорить? Что ты выдумываешь? Ни о чем я с ней не хочу говорить. – Потом, повернувшись к Марье, сердито проговорил: – Уберите скорей со стола этот свинюшник, я хочу отдохнуть наконец.

Марья понесла тарелки на кухню, и Анна Сергеевна, охваченная внезапной злостью, закричала:

– Ах, тебе не о чем с ней говорить? Ведь ты ее решил выгнать. Я сама скажу ей от твоего имени.

И она пошла вслед за Марьей, хлопнув изо всех сил дверью.

VII

Вечером Марья разбирала свой сундук. Она вынимала вещи и клала их на внутренней стороне крышки, обклеенной выцветшими картинками из учебника геологии, изображавшими чудовищ далеких геологических эпох.

Странный сундук был у Марьи! На три четверти его заполняли ненужные вещи: деревенские спидницы, суконное платье такого доброго сукна, что, пролежав несколько десятилетий, оно

нимало не испортилось, стеклянные бусы, кораллы, черный платок, расшитый зелеными и красными цветами, широкие розовые и голубые ленты, земляничное мыло в пожелтевшей и покрытой пятнами упаковке, жестяная коробка из-под монпансье, осколок зеркала, обернутый марлей.

Все эти вещи не служили Марье, никогда она не накидывала на плечи цветного платка, не смотрелась в зеркальце и не надевала «намысто». Это были дорогие памятники детства и юности, вехи жизни, память о батьке, матери, сестре.

Теперь она взялась переключать вещи, желая почувствовать ушедших близких, разрушить свое одиночество. И, вспоминая сегодняшний день, хозяйку, уволившую ее перед дверью в ванную комнату, Марья с особенной нежностью гладила кусок тяжелого, всегда холодного холста, всматривалась в черно-красный узор расшитых бабкой сорочек.

Потом Марья рассматривала синие штанишки со шлейками и вздыхала, думая о сыне.

Она долго не спала, машинально прислушиваясь к тому, что происходило в квартире. Вот погас свет в комнате у Платоновых, вернулись молчаливые дочери Александры Петровны, пришел Крюков, он долго мылся в ванной, фыркал и сопел. После этого прошлепал из кухни Гриша Стрелков, там он обычно читал и курил, чтобы не мешать ребенку. Марья легла на свою раскладушку, закрыла плечи и голову ватной кофтой.

В коридоре было тихо. Все жильцы спали, только Иосиф Абрамович еще не возвращался, и Александра Петровна ворочалась в постели, не могла уснуть.

Она всмотрелась в бледный циферблат будильника. Два часа!

– Ох, Шура, Шура! – сердито сказала она себе.

Вот, чувствовала она, сейчас начнется мучение, тяжелые, недостойные мысли пойдут одна за другой – ей сорок лет, а его только в прошлом году перевели в кандидаты. От печальных мыслей у Александры Петровны пересохло в горле, и она пошла в кухню напиться.

Из дальнего угла коридора послышались какие-то странные звуки. Александра Петровна зажгла свет и увидела вздрагивающую спину Марьи.

Марья медленно подняла голову, и, взглянув на ее глаза, Александра Петровна забыла все свои тяжелые мысли. Она обняла Марью за плечи и по-бабьи, нараспев, сказала:

– Чего ревешь, ну чего ревешь?

Александра Петровна поняла положение: плачущая в коридоре женщина, запертые двери комнат...

Она принялась расспрашивать Марью, и та, всхлипывая, тяжело ворочая русские слова, рассказала, что ее уволили.

– Чего ж плакать, – сказала Александра Петровна, – плюнь на них, да и все.

– Та хиба оттого... – сказала Марья.

– А чего?

– Та... – и Марья обвела рукой вокруг шеи.

– Ах, дура, дура, – говорила Александра Петровна и погладила Марью по волосам. И от этого ласкового прикосновения Марья заплакала во весь голос.

Тогда в коридор вышла старуха Платонова.

– Так, а я что говорила, довели-таки женщину до слез, – сказала она и, сев на раскладушку, громко и сердито принялась утешать Марью.

Потом открылась еще одна дверь, и вышел Крюков.

– Вот это да, – сказал он. – А я проснулся и думаю, кто это овации устраивает среди ночи?

Марья не плакала больше.

– Куда ей ехать! – говорила Ильинишна. – Плевать мы с ней хотели на всех хозяек, мы сами хозяйки. Останется в Москве, и баста, а пока устроится, можно и у нас в комнате ночевать.

– Трудно на работу, что ли, устроиться? – говорил Крюков. – Да к нам в завод, куда хочешь, хоть завтра, – в шасси, в мотор, в коробку скоростей, всюду рабочие нужны.

Смысл их слов неясно доходил до сознания Марьи, но они не спали ради нее, старались ее успокоить – все это было для нее так необычайно. Она, Марья, оказалась предметом дружеских забот, люди спорили, где ей лучше работать, говорили о ее судьбе. Смятение охватило ее. Не произошло ли тут ошибки? Может быть, она обманула их, они приняли ее за другого человека и, заметив обман, разойдутся по комнатам, равнодушные и сердитые. Да, впервые в жизни встретила она с чувством рабочего товарищества, рожденным большим, сложным и тяжелым трудом, с чувством, коему в наше время суждено определять отношения людей.

Невеселый, залитый асфальтом двор, строго прямоугольные, точно в тысячу раз увеличенные спичечные и папиросные коробки, цехи, конторы и склады.

Три измерения – длина, ширина и высота. Пространство, сложенное из квадратных и кубических метров.

Где неясные линии холмов, обрыв над рекой, лезущие из земли корни сосен?

Как противоположен этот мир асфальта и металла пестрому хаосу солнечных восходов и закатов, шуму деревьев, плеску воды, крику и пению птиц!

Хотя Марья, пройдя через контрольную будку мимо человека в черной шинели, не размышляла о простой геометрии заводского двора, этот мир строгих линий и однообразных цветов сразу же захватил ее, и она шла вдоль бесконечно длинной стены механо-сборочного цеха той особенной, напряженной походкой, которой всегда ходят рабочие по заводскому двору.

Вчера она оформляла свое поступление на завод; стиснув зубы и приняв такое выражение лица, точно ее убивают, фотографировалась в моментальной фотографии; получала временный пропуск и подписывалась на какой-то бумаге столь большими буквами, что строгая барышня сказала ей:

– Вы помельче пишите, а то знаете... – И, разведя руками, барышня показала Марье, каких размеров будет ее подпись.

Вечером Марью охватил страх, он рос всю ночь, к утру у нее дрожали руки, тошнота подкатывала к горлу. Было страшно думать, как она войдет в цех, он ей представлялся огромной кухней, где несколько сот человек, подняв ложки, шумовки, секачи, испытующие станут следить за каждым ее движением, и, конечно, через минуту они загогочат жеребьячьими и гусиными голосами: ведь Марья ничего не умеет делать. И, кроме страха за свой позор, в ней был страх, что люди, чье неожиданное внимание обратилось к ней,

разочаруются и отвернутся от нее. Ведь Крюков поговорил с начальником сборки мотора, Александра Петровна дала ей рекомендацию.

Марья вошла в цех, и столбняк объял ее – это было страшной самой огромной кухни. Все двигалось в этом громадном цехе, бесчисленные колеса, колесики, ремни, серый металл поршней, струи молочно-белой воды, стружки – все вертелось, плясало и прыгало; пол дрожал под ногами, дрожали громадные белые фонари; казалось, что мутный воздух дрожал и плясал, охваченный этим общим безумием движения. А под потолком, опутанные цепью, плыли какие-то черные чугунные туши; потом Марья узнала, что это собранные моторы переправляются на главный конвейер.

В цеховой конторе похожий на аптекаря человек с черными кудрями вокруг очень белой лысины ухмыльнулся и сказал ей:

– А, товарищ Шевчук, мне вчера про вас три раза говорили, прямо как член правительства в цех пришли.

– Может, уборщицей или где в бухвете. Я бачила тут столову, – сказала Марья, – посуду мыть или еще что.

И мытье посуды показалось Марье милым и любезным делом, единственным делом ее жизни.

Лысый человек с любопытством посмотрел на Марью.

– Цех питания? – спросил он.

– Та нет же, – сказала Марья и просительно улыбнулась, – я прислуга.

– Вот что, – обрадовался лысый, – автомобилей, значит, не делали?

– Нет, – виновато сказала Марья и поняла, что уйдет ни с чем с завода. – Товарищ председатель... – сказала она, но в это мгновение вошел человек в замасленной блузе и сердито закричал:

– А баббита-то нет! Баббита-то!

– Баббита-то, – повторил лысый и рассмеялся смешному звучанию слов. Потом он сказал: – Вот баббит, – и начал писать записку.

Пока он писал, вбежал в контору еще один человек, за ним второй, а тотчас еще двое. Все они окружили лысого и заговорили, размахивая руками и горячась.

– Сергей Иванович, – сказал маленький человек с большим мясистым носом, – Козлов не вышел по болезни, Мокеев вчера в отпуск пошел. Я скользящего поставил на коленчатые валы, а кого на шплинтовку поставить? Самому мне, что ли, становиться?

Он сказал эти слова тихо, подчеркивая задумчивой неторопливостью своего голоса сложность положения.

Но лысый Сергей Иванович спокойно усмехнулся, он, видимо, никогда не терялся, этот уверенный в себе хозяин производства.

– На шплинтовку кого? – спросил он и тотчас же ответил: – Вот Шевчук пойдет.

И он посмотрел на Марью равнодушными и спокойными глазами, точно она много лет работала в цехе и нет ничего особенного в том, что он посылает ее на эту неведомую и

страшную шплинтовку.

И Марья пошла.

К Сергею Ивановичу уже подходили новые люди, и он, должно быть, сразу забыл о Марье.

– Селезнев, пойді сюда на минутку! – вдруг крикнул он, и маленький человек вернулся к столу.

Сергей Иванович сказал ему несколько слов, и они оба рассмеялись, оглянулись на Марью.

– Ладно, ладно, я понимаю, – сказал Селезнев.

Марья шла за ним по узкому пролету между станками, и Селезнев кричал ей:

– Операция пустяшная, самая простая на всей сборке, – овладеешь, можешь не сомневаться.

Через несколько минут они подошли к длинной узкой дорожке, у которой стояли парни и девушки. По этой дорожке ползли те большие чугунные кабаны, которые там, в конце пути, уже обросшие щетиной рычагов, ручек, проводов, охваченные цепью, плыли под потолком цеха, – Марья сразу же их узнала.

– Ну вот, – объяснил Марье Селезнев, – это малый конвейер, сборка мотора, одним словом. Вон там блок поступает на рольганг, а вот в том конце мотор сходит с конвейера и идет на испытания. Понятно?

– Понимаю, – сказала Марья, хотя не поняла ни слова.

Она оглянулась по сторонам – справа, откуда подплывали моторы, стоял огненно-рыжий веснушчатый парень – он, с зверским видом подхватив какую-то болтавшуюся на проводе алюминиевую бутылку, нажимал ею на мотор; при этом раздавался такой треск, словно стрелял пулемет.

Слева – там, куда мотор уплывал, – стояла девушка в беретике, из-под которого лезла на лоб челка, – таких девиц Марья очень не любила и, встречая их на улице, произносила рычащее, грубое слово.

Девушка, с изумительной быстротой работая тонкими, ловкими пальцами, привинчивала к мотору блестящую медную трубу.

Никогда Марья не думала, что девушки с челками работают на заводах.

А дальше – вправо и влево по бесконечной дорожке – стояли люди и работали.

– Ну вот, операция здесь пустая, – сказал Селезнев, – шплинтовка болтов коренных подшипников. Понятно?

– Да, – сказала Марья и совсем растерялась.

Но когда Селезнев, взяв в руки маленький ломик, показал ей, как нужно поворачивать коленчатый вал, как вставляются медные шплинты в головки болтов и как ударом молотка они закрепляются, Марья вдруг поняла, что нет ничего сверхъестественного в этой работе. Селезнев некоторое время работал и, поглядывая на Марью, спрашивал:

– Понятно?

Марья кивала головой, а Селезнев говорил:

– Ну вот, все в порядке. – А затем он снова поворачивал к ней голову и спрашивал: – Понятно?

Потом Селезнев передал инструменты Марье.

Первые движения ее были неуверенны и торопливы, шпилнты не лезли в отверстия, дрожащие пальцы неверно направляли молоток. Но Марья чувствовала, что работа пойдет, что работа должна пойти, что здесь, сейчас она врывается в новую область жизни, и она напрягала все силы, чтобы снова не закрылась распахнувшаяся перед ней дверь. И работа пошла. Никогда Марья не испытывала такого чувства, как сейчас. Мотор подплывал к Марье от рыжего парня, она делала свою часть работы, и мотор – по роликам – уходил от нее к девице с челкой, а от девицы переходил к двум парням в полосатых матросских рубашках, от парней – к косоглазому и широкоскулому дяденьке («китай», – определила Марья) и плыл все дальше, мимо парней и девушек; и каждый из них вкладывал свою долю труда в этот плывший по железной реке мотор. Рыжий парень не говорил с Марьей, но они поглядывали друг на друга всякий раз, когда мотор переходил от него к ней. И девица с челкой переглядывалась с Марьей, ожидая прихода мотора. Это была общая работа. И Марья не удивилась, когда девушка подошла к ней и помогла повернуть заевший коленчатый вал.

– Запарились? – спросила девушка.

– Да нет, – сказала Марья и хотела сказать, как она рада, что пошла на завод, как боялась ночью, что не сумеет работать; она ведь ничего не умеет, и как все хорошо сложилось, и какие хорошие люди встретились ей, она в жизни не думала, что есть такие люди на свете.

Но она ничего этого не сказала, потому что приплыл новый мотор и нужно было работать.

Через несколько минут подошел к ней рыжий парень, посмотрел, как она работает, и мрачно сказал:

– Дай-ка, – и показал ей, как удобней поворачивать коленчатый вал.

Перед обедом вдруг пришла Александра Петровна, и они очень обрадовались друг другу.

Марья, продолжая работать, разговаривала с Александрой Петровной и никак не могла объяснить, чем она так довольна.

Этот день прошел быстро, Марья даже растерялась, когда наступил конец работы. Но потом, вспоминая его, она удивлялась, как много событий и переживаний испытала она за семь часов. Рыжий парень учил ее мыть руки машинным маслом; девушка одолжила ей рубль на обед, потому что Марья оставила кошелек в раздевалке; в столовой, где она сидела за столом и заказывала по карточке обед, соседи ей горячо советовали брать «суп гороховый», а никак не «щи свежие»; а главное – работа, эта тяжелая работа, от которой у нее болели руки в предплечье, удивительная общая работа сотен и тысяч людей, в которой Марья участвовала первый раз в своей жизни.

Вечером все собрались на кухне, расспрашивали Марью о ее первом заводском дне.

Марья говорила, и весь народ покатывался со смеху, слушая ее рассказ. Она заметила десятки смешных мелочей и, рассказывая, сама задавала вопросы, всплескивая руками, удивлялась, недоумевала.

– Ну вот, ей-богу, как побачила я цего, ну як его... – говорила она.

– Блок? – подсказывал Крюков.

– Та ни, який там блок.

– Рольганги? – спросил Гриша.

– Та боже ж мий, ну лысый такой, кучерявый...

– Сергей Иванович... заведующий сборкой... Царев... – хором подсказали все и захохотали.

– Ну да, заведующий сборкой, глаза хитрющие такие. Посмотрев на меня: «Вы ахтомобили умеете делать?» Тьфу, шоб ты сказився, та я их в жизни не делала, так у меня сердце замлило. «Пропало, думаю, все». А вин сыдыть, такой соби важный, надутый и глаза хитрющие... А потом прийшов цей маленький, ну нос у него колбасой, и тоже бачу – хитрый, як мышь.

– Селезнев, мастер? – смеялись слушатели.

Потом каждый принялся вспоминать свой первый заводской день. И оказалось, что все помнят этот день; даже старик Платонов рассказал со всеми подробностями, что сказал ему мастер, как подшутил над ним токарь и как инженер, пришедший в цех с черным зонтиком, спросил у него: «Сколько тебе лет, паренек?»

Обычно молчаливый Гриша Стрелков рассказал, как он в деревне представлял себе город и все удивлялся, зачем его, плотника, вербуют на металлический завод.

– Такой я был чудак, – говорил он, – ворота, думаю, железные, двор тоже вымощен железными плитами, стены все из железа, и мучило меня сомнение, вот как Марью сегодня, – приду я туда, деревенский плотник, и поднимут меня на смех: «Здесь железный завод, деревянным людям тут делать нечего».

Он усмехнулся от воспоминания, погладил рукой толстую книгу «Справочник по холодной обработке металлов» и негромко сказал:

– Сам удивляюсь! Неужели я таким волосатиком десять лет тому назад был?

Дмитриевна и Вера – им обеим всегда казалось, что люди недостаточно восхищаются Гришей, – в один голос сказали:

– Наш Гриша инженером будет...

Потом все настроились на философский лад и решили в складчину купить пива.

В течение вечера дважды еще ходили за пивом. И в этот вечер Марья рассказала историю своей жизни.

Теперь, слушая ее, мужчины покачивали головами, а женщины вздыхали.

А она говорила громко, почти кричала, сбиваясь, путая слова, мотая головой, говорила жадно, точно человек, долго живший в чужой стране и вдруг встретивший земляков. Ночью, когда все легли, Марья спросила:

– Ильинишна, вы спите?

– Сплю, – ответила Ильинишна.

– Вот я думаю, – задумчиво сказала Марья, – чого це медь такая мягкая: ударишь по ней молотком, и вона плющыться и плющыться.

Бутылка, которой орудовал рыжий, называлась гайковерт. Рыжий устанавливал коленчатый вал и закреплял коренные подшипники. Рыжий сам объяснил это Марье.

Девушка с челкой привинчивала маслопровод. Парень в полосатой матроске устанавливал картер маховика. Парень, носивший желтую, казавшуюся очень жаркой фуфайку, вставлял выхлопные и впускные клапаны и подбирал поршни.

Чем больше Марья узнавала о работе людей, стоявших у малого конвейера, тем меньше она понимала всю эту сложность и запутанность. Какое отношение имеют медные, разветвленные трубки, прокладки, клапаны, поршни к хрипло орущим грузовикам, катящимся по асфальту заводского двора? Эти светло-зеленые машины, кажущиеся еще влажными и липкими, точно вылупившиеся из яйца, восхищали и удивляли ее – ведь она была причастна к тайне их рождения.

К концу первого дня своей работы на заводе Марья решила, что поняла всю премудрость, – просто нужно вгонять медные шплинты в продырявленные головки болтов; через неделю она растерялась – завод был огромен и совершенно непонятен.

– Слышь, Шевчук, – сказал рыжий, – после работы собрание будет, ты домой не уходи...

– Про што собрание?

– Про что, про что, – сердито переспросил рыжий, – про кофе с молоком... Посидишь – услышишь...

Он относился к Марье сурово, был немногословен, и это нравилось ей.

Собрание происходило в красном уголке. Рыжий, севший на скамью рядом с Марьей, шепотом говорил:

– Начальник мотора, технолог из коробки скоростей, начальник коленчатого вала, а вон тот – начальник всего цеха.

«Старый, невидный», – подумала Марья, разглядывая пожилого длиннолицего человека. Потом пришел человек громадного роста, одетый в защитный костюм.

– Заведующий производством завода, – сказал рыжий.

Собрание началось.

Сперва начальник цеха делал сообщение. Говорил он плохо, заикался, помогал себе руками, мотал головой. Но, видно, сила его была не в гладкой речи: сидевшие аплодировали, смеялись, кричали «правильно», а некоторые сердито махали руками и пожимали плечами с таким видом, точно на них возводят напраслину.

– Этот человек производство знает, – убежденно сказал рыжий, – он еще у Рябушкинского работал слесарем.

После начальника цеха выступил заведующий производством. Говорил он громким, рокошующим голосом, протягивая свою огромную ручищу в сторону зала, и спрашивал:

– Петя, это ты задержал ремонт станков?

Петя из зала отвечал:

– Кузница задержала, а не я...

А заведующий производством уже снова обращался к другому:

– Степан Григорьевич, ты помнишь, как мы вместе с тобой в цехе вкалывали?

– Ну, помню, – недовольным голосом отвечал из зала старик.

– Так я тебе прямо, по-рабочему скажу – это ты запорол кулачковые валы...

Потом он принялся ругать лысого начальника сборки. Марья даже закричала, до того ей стало жалко Сергея Ивановича.

– Что же, товарищ Царев, – говорил заведующий производством, – испытательная станция возвращает два экспортных мотора как брак – поршни заедают, а ты мне пишешь служебную записку: нет тряпья для протирки цилиндров... Тряпья нет? – оглушительно и грозно спросил он. – Нет такого объяснения. Ты должен из дому принести это тряпье, у жены возьми рубашку и ею протирай цилиндры...

Марья поглядела на Сергея Ивановича. Он сидел, сгорбившись, и спокойно глядел на заведующего производством.

– У меня жена одна, – усмехнулся он, – а моторов я выпускаю сто двадцать штук в день, нашего семейного белья на полсмены едва ли хватит...

Все зашумели, зааплодировали. Марья стыдилась хлопать в ладоши и потому только шумно вздохнула от удовольствия. Ей не понравился заведующий производством.

Потом начались прения.

Разговор шел о программе, о сырье, об организации подачи деталей на сборку, о плохом качестве резцов, о расширении завода, о подготовке к выпуску легковых машин.

Марья видела: народ ругался. Какой только ругани и каких только ссор Марья не слышала за свою жизнь! Кухонные стычки, базарные сражения, тяжелые деревенские бои, когда люди с мутными от злобы глазами наступали друг на друга, осипшими голосами кричали о человеческой подлости, обвиняли друг друга в обмане, трусости, воровстве...

Здесь тоже ругались люди, но предметом ругани была не мерка картошки или кружка молока и не тридцатикопеечная сдача. Здесь, – удивительное дело, – начиная ругаться, каждый говорил: «товарищи». И Марью поражали эти люди, их горячий спор о заводе, их дружба и ругань, общее им всем желание.

Попросил слова рыжий парень. Он говорил, и все поглядывали на него. Марье казалось, что смотрят на нее, и она испугалась.

А рыжий вдруг заговорил о ней. Марья багрово покраснела, наклонила голову.

– Вот она, эта Шевчук, – говорил рыжий, – впервые на производстве. Поставили ее на шплинтовку – и ладно, сколько она на этой шплинтовке стоять будет, зачем она шплинтует, что за работа, ей никто не объясняет...

– Ну, это ты брось! – крикнул кто-то.

– У нас при заводе вуз, курсы мастеров. Это разговор лишний.

– Нет, не лишний, – сказал сердито рыжий.

Так и не выяснилось – лишний ли это был разговор, но на следующий день к Марье во время работы подошел Сергей Иванович и сказал:

– Как дела, товарищ Шевчук?

– Да вот работаю...

Начальник сборки сказал ей:

– Мы вас на шплинтовке долго держать не будем, – у нас постоит рабочий на шплинтовке, переведем на вторую операцию, за год по всему конвейеру пройдете... чтоб не скучать. – Он усмехнулся и продолжал: – Пройдете по конвейеру – в скользящие переведем, потом – на курсы наладчиков. Поедете без оглядки... – И он указал рукой в сторону, где моторы шли к главному конвейеру.

С завода Марья возвращалась пешком.

– Давай почистим!... – крикнул ей издали чистильщик. Он каждый раз зазывал ее и смеялся, скаля зубы, видя ее смущение.

Чистильщик удивился – Марья подошла к нему и поставила ногу на ящик, поставила так уверенно и тяжело, что ящик закрипел.

Она стояла, оглядываясь по сторонам, а чистильщик поднимал голову, морщил лоб и смотрел на нее снизу смеющимися огненными глазами, а руки его ловко и быстро работали щетками; ботинок сверкал, заходящее солнце отражалось на нем. Никогда Марья не доводила хозяйских ботинок до такого сияния.

Сколько свободного времени! Эта свобода была так же необычайна, как и новая ее работа.

Базар, лавки, обед, стирка, уборка, неожиданные поручения, чистка кастрюль, стояние в очереди за «Вечерней Москвой» для хозяина... Этого уже она никак не могла, понять, – обслуживая хозяйку, она была занята с раннего утра до ночи, а работая на огромном заводе, она имела полдня свободных.

Она прошла мимо своего дома, – хотелось идти все дальше и дальше, этот шумный весенний город казался таинственным и прекрасным. Эта улица – куда она вела?

Вдруг решившись, с чувством веселья и ужаса, она вошла в ярко освещенную дамскую парикмахерскую. Полный пожилой мужчина, похожий на доктора, в белом халате, усадив ее в кресло, таинственно спросил:

– Что будем делать, мадам?

Марья обмерла от смущения и тихо сказала:

– Постричь голову...

Работая, он беседовал с Марьей.

– С автозавода? – спрашивал он. – У меня много клиентов оттуда... Дочка там работает...

Марья, глядя исподлобья в зеркало, видела, как падают обрезанные косицы черных волос, – ей делалось смешно и грустно, страшно и весело.

Когда Ильинишна поглядела на Марью, ее разобрал такой смех, что она только вскрикивала.

– Ну и ну, – с трудом выговорила она, – вот это я понимаю!

Дмитриевна перекрестилась, а Вера деловито спросила:

– Это ты где, на углу или в дамской?

– В дамской, – виновато ответила Марья.

Она смутилась и не знала, чем объяснить свое легкомысленное поведение. Выручил ее приход Александры Петровны.

– Хвалят тебя на заводе, разговор идет о тебе, Марья, – сказала она, – на цеховом бюро про тебя целые анекдоты рассказывали...

– Яки анекдоты? – быстро спросила Марья.

– Сменщик твой: как ты инструмент ему чистишь, в ящик газеты постелила. – Она рассмеялась и сказала, обращаясь к Ильинишне: – Она знаешь что делает: ролики на конвейере тряпкой обтирает.

А вечером Крюков неожиданно сказал Марье:

– Может быть, в клуб пойдешь?

Женщины переглянулись, рассмеялись и хором сказали:

– Наш Алеша ни одной не пропустит...

– Нет, правда, – серьезно сказал Крюков, – картина хорошая: «Под крышами Парижа», почему бы не посмотреть человеку? Я два раза собирался, а она сегодня последний раз идет.

IX

Первая получка Марьи пришлась под выходной день, и само собой вышло, что день этот решено было отметить вечеринкой и выпивкой. Водку взялся принести Крюков, спотыкач и наливку обещала купить Александра Петровна, а закуски покупала сама Марья. Странное чувство было у нее, когда в магазине «Гастроном» она стояла у прилавка. Сперва она все старалась запомнить, сколько денег она платила за разные покупки, но неожиданно подумала, что отчитываться ей теперь не перед кем, и ей сделалось смешно и весело.

– С ума ты, что ли, сошла? – сказала Ильинишна, когда Марья, придя домой, принялась разворачивать покупки.

– А мы что, не люди? – спросила Марья.

– Ой, баба

, смотри! – грозно сказала Ильинишна, и они обе рассмеялись.

Марье в этот вечер хотелось позвать в гости весь свет: и своих новых заводских знакомых, и начальника сборки Сергея Ивановича, и веселого продавца из мясной лавки, и чистильщика сапог, сидевшего на углу.

И когда в кухню пришла Анна Сергеевна, Марья улыбнулась ей, говоря своей улыбкой: «Хоть мы и поругались, да уж бог с тобой».

Анна Сергеевна готовила салат из холодного мяса, картошки и сметаны, и все оглядывалась

– ей хотелось заговорить.

Вдруг она повернулась к Марье и сказала:

– А я вот снова начала обеды варить.

– Та я бачу, – сказала Марья.

– Вы на меня не сердитесь, Марья? – спросила Анна Сергеевна.

– Та нет же, чего сердиться? – удивилась Марья и вложила в селедочную пасть пышную петрушечную ветвь. Потом она сказала: – Может, вам деньги нужны, то я могу из той получки отдать.

– Какие деньги?

– Та те, за мой билет платили.

– Какие глупости! Ничего вы не должны.

– Нет, должна, – упрямо сказала Марья и покачала головой. – Я у ту получку отдам, – говорила Марья, с особым удовольствием произнося новое для нее слово.

– В ту получку, что через две недели? – спросила Анна Сергеевна и, наклонившись к Марье, тихо сказала: – Через две недели, Марья, меня тут, верно, уже не будет. Знаете, я ведь решила разойтись с Андреем Вениаминовичем.

Марья поняла, что Анна Сергеевна выходит замуж за человека, приехавшего на автомобиле.

Марья пошла в комнату, а Анна Сергеевна осталась на кухне. Хватит ли у нее силы уйти от Андрюши? Как-то он проживет один – вдруг он заболит, кто станет ходить за ним? У него ведь болят глаза, в один прекрасный день он может ослепнуть. Ужас! И все же у нее найдется решимость и сила уйти от него. Когда Кондрашова нет несколько дней – она плачет, а когда он приходит – ей снова хочется плакать от счастья. И как это Андрюша ничего не замечает? Он слишком уверен в ней, и эта спокойная уверенность ее раздражает. Точно сельский хозяин, у которого в хлеве под замком стоит корова.

Потом Анна Сергеевна стала думать о Марье. Ведь эта кухарка зажила теперь жизнью, о которой мечтала Анна Сергеевна. Почему это у простых людей все выходит так просто и легко? Ведь Марья не мечтала, не страдала, а взяла и начала работать. Жизнь сама толкает ее вперед, а Анна Сергеевна должна бороться, мучиться, сомневаться, терпеть поражения. Может быть, через год или два о Марье напишут в газете, она полетит на самолете, фотография ее будет в журнале... И пока Анна Сергеевна думала о всех этих вещах, ею был изготовлен салат, нарезано тонкими ломтиками жареное мясо, заварен чай.

Бойкие ходики над столом показывали восемь часов, а Андрей Вениаминович все еще не приходил. Но Анна Сергеевна еще не успела по-настоящему взволноваться, как по-знакомому зашаркали ноги на лестнице и хлопнула входная дверь.

Анна Сергеевна поставила на поднос блюдо с салатом, суповую миску и пошла в комнату.

Андрей Вениаминович обычно, приходя с работы, снимал пальто в передней и, не заходя в комнату, шел в ванную мыться. Поэтому Анна Сергеевна удивилась, когда увидела, что Андрей Вениаминович, не сняв пальто и шляпы, держа в руках большой портфель, сидит в кресле.

Она посмотрела на его лицо, ярко, по-сумасшедшему блестящие глаза и испугалась. Наверное, он узнал про ее отношения с Кондрашовым. Нет, не может быть, никто не мог ему сказать этого.

– Что с тобой, Андрюша, что-нибудь случилось? – спросила она.

– Что со мной, – переспросил он беспечным голосом и взмахнул портфелем. – Что случилось, ты спрашиваешь? А ничего особенного, просто по доносу твоего друга и поклонника Кондрашова меня уволили со службы.

Сказав это, он снова сел в кресло.

– Что ты говоришь? – тихо произнесла она и тоже села, держа в руках поднос.

– Да, да, вот это, именно это, – быстро заговорил он. – Уже давно было известно, что, по приказу Наркомата, у нас в плановом отделе будет проведено двенадцатипроцентное сокращение, и для всех было ясно, для всех решительно, если будут сокращать экономистов, то меня оставят, а Серебряного сократят. И вдруг сегодня к концу дня приказ. Я ничего не понял, растерялся. Казанский уехал в Гутап, и я пошел прямо к помдиректора по труду. Я ничего не понимал, мне в голову не приходило ничего, но когда он начал мямлить и говорить, что он против меня ничего не имеет, но вот когда рассматривали и решали – меня или Серебряного, то будто высказывались, что я боюсь цехов и слишком хладнокровный, не то прохладный, не то холодный работник. Вот тут я сразу понял, в чем дело, чьих рук эта махинация. Знаешь, Аня, я всего жду от людей, но этого я никак не ожидал. Человек бывал в моем доме, пользовался моим гостеприимством, а когда я подумал, что ты, ты – я ведь все вижу – находишь его идеалом, увлекаешься им, мне захотелось броситься под молот в кузнечном цехе.

– Ах, да оставь ты этот молот несчастный! – сказала Анна Сергеевна и, поставив поднос на стол, прошлась по комнате. – Ну, хорошо, – сказала она и сощурила глаза, – я сейчас все выясню.

– Аня, это ужасно, и самое ужасное, – тихо сказал он, – самое ужасное, что ты... – он вдруг всхлипнул и, закрыв лицо руками, пробормотал: – Что ты... что ты... Я ведь вижу, я чувствую...

– Это ужасно, ужасно, – сказала Анна Сергеевна и побежала к двери.

Волнуясь, она спустилась на нижний этаж, в квартиру, откуда обычно звонила по телефону.

Кондратов был еще на работе.

– Аня, вы? – удивленно сказал он. Он всегда удивлялся, слыша ее голос.

Она сразу же рассказала ему о случившемся.

– По моей вине? Сокращение? Да вы с ума сошли! – сказал он, и она поняла, что он говорит правду.

– Петр Алексеевич, Петя, – быстро сказала она, – я вас очень прошу, восстановите его, ведь вам это легко сделать, вы понимаете, это для меня, я не смогу жить с таким сознанием, оставить его в таком положении. Вы слышите?

– Да, да, слышу, Аня, – ответил он и на мгновение замолчал, и в эту минуту молчания она, приложив руку к груди и сдерживая биение сердца, поняла: вот от его ответа зависит все дальнейшее. – Но знаете, я не могу этого сделать... – сказал он и поправился, – то есть могу, но не хочу, в общем, это безразлично, не могу или не хочу, но я этого не сделаю, и вы знаете

почему.

Она до боли сжала пальцами трубку и, чувствуя ужас, уже зная заранее, что произойдет, она сказала:

– Петр Алексеевич, подумайте, если вы не сделаете этого, – она запнулась на мгновение, испугавшись банальной фразы, но, не найдя других слов, проговорила: – Между нами все будет кончено.

Он ответил не сразу, в трубке что-то потрескивало, и Анне Сергеевне казалось, что Кондратов мучительно колеблется, не зная, как поступить.

– Аня, как вам не стыдно! – сказал он. – Разве можно...

Но ее точно бес толкнул, – кусая губы, она перебила его:

– Да или нет?

– Нет, – сказал Кондратов и подумал, как страшно будет ему сегодня возвращаться домой.

Боясь, что сейчас расплачется, Анна Сергеевна крикнула:

– Прощайте, прощайте! – и повесила трубку.

Поднимаясь по лестнице, она вслух бормотала:

– Какой ужас, Андрюша, какой ужас, если бы ты знал, какой это ужас...

Андрей Вениаминович сидел по-прежнему в пальто и шляпе, воротник пальто был поднят, точно в комнате дул холодный ветер, и она вдруг расплакалась, обняла его и, целуя его губы, лоб, щеки, исступленно твердила:

– Андрюша, счастье мое, жизнь моя, ты мой муж, моя любовь, прости ты меня.

Он прижимал ее к себе и, целуя ее мокрые, плачущие глаза, говорил:

– Аничка, ты вернулась ко мне, мне больше ничего не нужно, только ты, только ты одна нужна мне на всей земле.

Потом они сидели рядом на диване, она гладила его волосы, слушала, как он говорил ей:

– Из заводской квартиры нас попросят, Аничка, мы уедем подальше, в тихий город, по вечерам будем ходить на Волгу, в лес.

Он замолчал, вглядываясь в ее лицо, и вдруг поморщился: из соседней комнаты доносился чей-то голос.

Это Марья пела украинскую песню, пела резким, громким голосом, пела впервые за двадцать лет своей замужней и кухарочьей жизни.

ЦЕЙЛОНСКИЙ ГРАФИТ

I

– Как работает новый химик? – спросил главный инженер Патрикеев.

– Не знаю, – сказал Кругляк и закрыл один глаз. – Пока знакомится с лабораторией и ходит по производству.

– Да, плохой ли, хороший – уволить его нельзя, – сказал Патрикеев и, усмехаясь, рассказал Кругляку, что новый химик какой-то особенный политемигрант и что сам секретарь райкома вчера приезжал говорить о нем к директору. – Это на их языке называется «создать условия», – сказал он.

– Ну, положим! – проговорил Кругляк. – Я у себя в лаборатории не буду создавать условий. Если он не сможет работать, пусть секретарь райкома приезжает еще раз и переведет его в техпроп, к толстой мадамочке, – там чисто санаторная обстановка.

Они заговорили о производстве. Главный инженер усмеялся и пожимал плечами: в конце концов, ему все надоело, он устал от этой работы, у него нет больше ни нервов, ни сил.

– Вы подумайте, – говорил он, – управляющий трестом знает только одно: «Мы смогли построить Магнитогорск, а вы не можете наладить выпуск приличного карандаша». Чтобы сделать карандаш, нам нужны японский воск, древесина, виргинский можжевельник, германские анилины, метил-виолет. Ведь это импорт! Только полный профан не может этого понять.

– Э, – сказал Кругляк, – разве можно закрывать производство? – И он рассмеялся от этой смешной мысли. – Виргинский можжевельник мы заменили сибирским кедром. Когда нам сказали, что нет вагонов, чтобы везти кедр, мы заменили кедр липой, а липу ольхой, а ольху сосновыми досками. Сегодня один чудак предложил заменить древесину прессованным торфом. Заменить торфом, в чем дело?

– А чем вы замените цейлонский графит, который у нас на исходе?

Зазвонил телефон. Кругляк взял трубку.

– Да, да, вы угадали. Это я, – сказал он и покосился на главного инженера. – Почему на улице? – с ужасом произнес он. – Почему неприлично к холостому? Но это нелогично, Людмила Степановна, ведь вы обещали. Что? Хорошо, приходите с подружкой. Тогда я позову приятеля... Он начальник цеха на «Шарике». Что? Ну конечно, не такой, как я, но в общем хороший парень. Будет, будет патефон, – грустно сказал он. – Что? Хорошо, хорошо, без водки. Будем пить наливку. Видите: со мной как с воском, а вы боялись. Значит, в девять? Очень хорошо! Ну, пока! – И он положил трубку.

– Что, будет сегодня дело? – спросил Патрикеев и, уныло погладив лысину, пробормотал: – Хоть бы в этом году получить отпуск, поехать бы в Сочи.

– Знаете, – сказал Кругляк, – меня уже тошнит от холостой любви. – Потом, сверкнув карими горячими глазами и пронзив воздух большим пальцем, он проговорил: – Цейлонский графит на исходе. А, Степан Николаевич? Разве можно остановить производство карандашей в стране, которая начала учиться писать?

И они снова заговорили о том, что дощечка сырая, что кудиновская глина никуда не годится, а часовая краску, но что глянец-лак и грунт-лак завода «Победа рабочих» совсем неплохи. Фабер и даже сам Хартмут не отказались бы от них. Потом в комнату ворвался клеевар и крикнул: «Расклейка!» Патрикеев вытер пот, а Кругляк выругался, и они побежали в цех.

Никто не знал настоящей фамилии нового химика, но глядя на его кофейное лицо, синеватые

толстые губы, – такие губы бывают у мальчишек, вылезавших из воды после четырехчасового купания, – на черные глаза, ворочавшиеся за громадными стеклами очков, – как существа, живущие своей отдельной и особенной жизнью, – казалось, что имя у него красивое и странное.

Директор фабрики Квочин, человек в сапогах и ситцевой рубашке, красноглазый от недосыпания, хотел обставить встречу красиво и торжественно.

Ему казалось, что сотрудники лаборатории должны произнести речи, по-братски обнять зарубежного товарища, и поэтому нового химика при первом его приходе в лабораторию сопровождали, кроме Квочина, секретарь ячейки и председательница фабкома. Но Кругляк сразу же все испортил.

Он похлопал индуса по спине, потом пощупал его брюки, подмигнул лаборанткам и сказал:

– Вот это коверкот, чистой воды инснаб! Вот бы, товарищ Митницкая, вам такой костюм!

И все невольно рассмеялись, и новый химик улыбнулся, показав отливающие влажной синевой зубы.

Кругляк начал деловито допрашивать, какое у него образование и где он работал.

Новый химик, оказывается, окончил в Англии двухгодичные химические курсы при каком-то колледже.

– Вроде техникума, – объяснил себе вслух Кругляк. Где он работал как химик? О, не много! В Англии он занимался лаковыми красками, а в Германии работал по гидролизу древесины, недолго, около шести месяцев. И еще у себя на родине он полтора года пробыл на графитовых рудниках.

– По эксплуатации или как химик по контролю? – с восторгом спросил Кругляк.

Новый химик снова улыбнулся и замотал головой.

– О, нет, совсем другой! – сказал он.

– Ну, а как вас зовут? – вдруг спросил Кругляк.

И индус, улыбнувшись в третий раз, точно осторожно ступая в темноте, старательно выговорил свое новое имя:

– Николлай... Николлай... Николаевич.

– Ну вот, Николай Николаевич, – сказал Кругляк, – будем работать вместе. В чем дело? Я вас напущу на этот самый графит, почему бы вам не поработать на производстве в советских условиях? – Он удивился и снова повторил: – Конечно, вы поработаете в советских условиях.

– Он повернулся к толстухе Алферовой, председателю фабкома, и сказал: – Товарищ Алферова, как жизнь? Я что-то не видел у себя в лаборатории этих пресловутых практикантов из графитного цеха. Где же борьба за знаменитый техминимум?

После этого он произнес речь.

– Ого, карандаш! – говорил Кругляк. – Это вроде метро, экзамен на аттестат зрелости. Карандашных фабрик меньше, чем метрополитенов, если хотите знать. А хорошие карандаши делает только Хартмут в Чехословакии. Вы думаете – Фабер? Ничего подобного! Но подождите, подождите! Вы еще увидите: мы сдадим на аттестат зрелости, экстерном, за четыре года. А не за сто двадцать, как Германия.

В общем, из торжественной встречи ничего не получилось.

II

Новый химик был высок и худ, и хотя он хорошо одевался и носил разрисованный галстук, при каждом его движении как будто становились видны из-под платья сухие, легкие ноги, вздыбленная ребрами грудь и худые темно-коричневые руки. И ходил он по цехам, точно раздвигая высокую траву, странной походкой, похожей на медленный, полный значения танец. К нему привыкли быстро, он вошел в жизнь фабрики так же просто и легко, как и всякий другой человек.

Пробер приносил со склада коробочки графита, новый химик брал навески на аналитических весах и сжигал графит в муфельной печи, потом он снова брал белые фарфоровые тигли своими темными пальцами и взвешивал золу. На клочке бумаги он высчитывал процент зольности и вносил цифры в лабораторный журнал.

Подбегал Кругляк и, заглядывая через его плечо, говорил:

– Цейлонского графита больше не дадут, скоро кончится счастье.

Красивый юноша, мастер графитного цеха, Кореньков, прежде чем загрузить графит в шаровые мельницы, приходил в лабораторию за анализом, и пока новый химик списывал цифры на бланк, Кореньков смотрел на его темное лицо и руки, казавшиеся совсем черными по сравнению с белой сорочкой.

– Как там у вас в Индии, очень жарко? – однажды спросил Кореньков.

– О нет! Совсем хорошо, – поспешно ответил новый химик.

Девушки– лаборантки тихонько обсуждали, красивый ли он.

Худенькая Кратова считала, что он страшный. Оля Колесниченко, первая красавица на фабрике, на которую приходили каждый день молча смотреть молодые инженеры Анохин и Левин и которой Кругляк ежедневно со вздохом и угрозой говорил: «Ох, товарищ Колесниченко, если б вы только не были лаборанткой в моей лаборатории!» – находила, что нового химика губят синие губы. «Я бы, кажется, умерла», – говорила она подругам. Кузнецова и Мензина были согласны с ней. И только старшая лаборантка, толстая Митницкая, носившая пенсне, считала, что индус замечательно красивый и интересный. Она даже рассердилась на Колесниченко и назвала ее мещанкой.

Лаборанты и рабочие, работавшие на экспериментальной установке, курили толстые папиросы индуса, говорили ему «ты» и сразу решили, что он хороший и совершенно «свой» рабочий парень.

Кругляк подбегал к нему, стремительно говорил:

– Ну как? Все хорошо? Вы не думайте, что я вас буду долго держать на контроле. Скоро займемся настоящим делом, – и снова убегал.

Ему хотелось поговорить с индусом, расспросить, есть ли в Индии трамваи, хорошие ли там женщины, много ли там заводов и как они работают, пьют ли там водку, не думают ли англичане построить карандашную фабрику на базе цейлонского графита, можно ли использовать слонов для внутривозовского транспорта. Все эти вопросы мелькали у него,

когда он подходил к новому химику, но он не успевал их задать. Он вмешивался в работу цехов, занимался переоборудованием станков, хотя это к химии не имело ни малейшего отношения, искал отечественные заменители для исчезнувших с рынка импортных красителей; читал лекции, шептался с мастерами, бегал к директору, звонил по телефону в трест и наркомат. На каждом заводе-поставщике у него были свои парни-инженеры, с которыми он вместе кончал институт, вместе выпивал и шатался вечерами по Тверскому бульвару. Все они теперь работали начальниками цехов, заведующими лабораториями, техническими директорами, все веселые, молодые ребята, любившие Кругляка так же, как и он их любил. Поэтому, когда коммерческий отдел не мог чего-нибудь достать, «добывалы» шли в лабораторию и просили Бориса Абрамовича позвонить на проклятый «Клейтук», который не дает желатина, несмотря на письма из треста и наркомата.

Да, ничего удивительного не было в том, что Кругляк не успевал поговорить с новым химиком.

Один человек в лаборатории относился к новому химику с особенным чувством – уборщица Нюра. Это была маленькая сероглазая женщина, тихая и измученная. Жена непутевого человека, от которого она родила трех детей, Нюра содержала на свое крошечное жалованье не только детей и старуху-мать, но и мужа. Муж Нюры, широкогрудый парень, носивший под пиджаком выцветшую фиолетовую майку, интересовался в жизни только футболом: два раза он зайцем ездил в Харьков смотреть матчи, и, хотя возвращался из этих поездок с видом человека, перенесшего сыпной тиф, снова собирался поехать в Одессу. Он обладал большим добродушием и всегда смеялся, когда старуха-теща просила бога отправить зятя в Соловки.

Кругляк знал семейные обстоятельства Нюры, знал, отчего ей постоянно хочется спать и почему у нее такое желтое лицо. Он ей выхлопотал прибавку, заявив, что Нюра квалифицированная мойщица химической посуды, и когда нормировщик усомнился в такой квалификации, Кругляк, сделав страшные глаза, сказал:

– Если бы вы нанялись ко мне сегодня мыть точную химическую посуду, я бы вас завтра же выгнал. Вы что, шутите со мной? Может быть, по-вашему, инженер-химик – это тоже не квалификация?

Нюра приходила в лабораторию, подметала пол, вытирала тряпкой столы, зажигала примус под перегонным кубом и садилась на ящике за вешалкой читать книгу; она прочла за год много десятков замечательных книг, сидя на этом ящике и покуривая махорочные папиросы. И Кругляк – этот маленький, сердитый динамо-мотор, заставляющий четко, быстро и неустанно работать всех сотрудников лаборатории, – никогда не трогал Нюру. Иногда, пробегая мимо ее ящика, он шепотом говорил ей:

– В палатке, за конторой, привезли картошку, можете сбегать до гудка, пока очереди нет.

Трудно сказать, почему Нюре так нравился новый химик, но девицы-лаборантки, замечавшие решительно все и знавшие, когда Патрикеев ссорился с женой и сколько галстукон у начальника карандашного цеха Тараянца, и определявшие даже, был ли Кругляк на ночной пирушке, по его особенной придирчивости и деятельности на следующее утро, сразу же заметили: Нюра вытирала стол нового химика три раза в день, она принесла ему из конторы пепельницу, в то время как сам Кругляк клал окурки в треснувшую фарфоровую чашку; она постелила ему в ящики стола не газету, как остальным, а голубую толстую бумагу, за которой ходила в упаковочный цех; и, наконец, все видели – Нюра держала книгу на коленях и не читала, а, полуоткрыв рот, смотрела, как работает индус.

Однажды он слышал, как Нюра жаловалась Митницкой, что ей не дали на складе халата, и сердито говорила:

– Что ж я, свое последнее платье должна испортить?

Через несколько дней новый химик подошел к Нюре и протянул сверток. В свертке был джемпер.

– Возьмите надеть, товарищ, – сказал он.

Нюра сделалась красной («Ну, такой красной, такой красной, как децинормальный пермананганат», – говорила Кратова) и, спрятав руки за спину, замотала головой.

«Нюра», «Товарищ Орлова», «Ну вот, какая, право!» – закричали девицы. На шум выбежал из своего кабинета Кругляк, он закричал, чтобы все немедленно брались за работу, потом сразу же предложил заплатить за джемпер, с тем чтобы Нюра выплачивала долг частями, но Нюра ничего не хотела. Она сказала:

– Ни даром, ни за деньги не возьму, вот убейте меня.

Кругляк ушел, так как зазвонил телефон, а новый химик виновато улыбался. Джемпер купила Оля Колесниченко.

Это был хороший джемпер, яркий, как тропический цветок: красный, зеленый и голубой. И когда после выходного дня Оля Колесниченко явилась на фабрику в новом джемпере, Анохин и Левин приходили в лабораторию три раза по всяким пустым делам, пока Кругляк не сказал им:

– Ребята! Ни я, ни вы! И лучше уходите, потому что дело кончится стенной газетой, – и вытолкал их вон.

После этой истории Нюра несколько дней не смотрела на нового химика, а сидела в моечной и терла пемзой безнадежно заржавевшие банки из-под каустика. Среди девиц по этому поводу было много смешных разговоров.

III

После гудка в лаборатории остались три человека, остальные стремглав бежали домой. Митницкая спешила к ребенку. Колесниченко должна была пообедать, переодеться и снова поехать в город на вечерние курсы по стенографии, а жила она за Москвой, в Лосиноостровском. Это было нелегко – четыре раза в день ездить поездом.

Хромой Петров и худенькая Кратова учились на курсах иностранных языков. Рабочие с экспериментальной установки – голубоглазый грузин Рамонов и рябой татарин Гизатулин – спешили на рабфак. Второй Петров (о нем говорили: «Тот, который заикается») ездил ежедневно бриться на Серпуховскую площадь. Там, в парикмахерской, работала мастером девушка, в которую он был влюблен. На бритье уходила почти треть жалованья. Петров вел себя в парикмахерской как иностранный турист, но зато дела шли хорошо; девушка-мастер была уже с ним в кино, и они собирались в выходной день поехать за город, к тетке Петрова.

В лаборатории остались три человека: Кругляк, новый химик и Нюра.

Кругляк сидел в своем кабинете, заваленный карандашными стержнями, и, выпятив нижнюю губу, испытывал их на излом, цвет черты, на истираемость и раскрошивание.

Он составлял таблицы, стараясь вывести закономерность, связывающую рецептуру с

качеством стержней.

Но стержни ломались при ничтожных нагрузках, цвет черты у них был бледно-серый, крошились они прямо-таки ужасно.

Работницы цеха упаковки помирали от смеха, слушая, как за стеной Кругляк, вслух соображая что-то, жаловался и ругался. Потом, сорвавшись с места, он побежал в цех и, стоя у двери лаборатории, крикнул:

– Когда будете уходить, проверьте хорошенько краны, выключите муфели, а ключ не сдавайте в будку – я еще вернусь в лабораторию, положите его в краскотерку.

Он пошел в графитный цех, где происходил обжиг стержней, и вместе с мастером обжига ходил вокруг печи, регулируя подачу нефти в форсунки, скорость движения тиглей, следя за термопарой.

– Ну что, – с тревогой говорил Кругляк, – и после этого обжига опять напьешься?

У мастера был заведен обычай: после каждого неудачного обжига напиваться и пьяным приходит к фабрике. Он сидел на скамеечке перед контрольной будкой и жаловался сторожам на печь.

Вот и теперь. Они хотели получить графит чертежного карандаша. Кругляк составлял рецептуру с такой придирчивой точностью, точно расфасовывал лекарства в аптеке, но после обжига уже во второй раз вместо чертежных стержней 2Н и 3Н получились стержни, годные только для школьного и конторского карандаша.

– Знаешь, мастер, – говорил Кругляк, щупая глину, которой были обмазаны тигли, – если и на этот раз не получится, напьюсь вместе с тобой. – Ему сделалось смешно, и он рассмеялся. – Со мной это случается часто и без неудачного обжига, но теперь я напьюсь и приду вместе с тобой плакать в контрольную будку.

А уборщица Нюра в это время сидела на своем ящике и читала. Ей не хотелось идти домой. В лаборатории после гудка было тихо, – через громадные окна входило столько света, что рабочий зал был точно налит какой-то очень светлой и легкой водой, бутылки с цветными растворами светились на рабочих столах. Нюра читала толстую книгу из фабричной библиотеки, перелистывала замусоленные сотнями молодых и старых рук страницы, пестрые от графита, красок и масла. Как она печалилась, когда умирал красавец-офицер Болконский! Бедная девушка Наташа, сколько беды и горя пережила она на этом свете! Ей тоже не легко жилось, уборщице Орловой, и она горевала и радовалась над книгой правды, лучшей из книг.

А потом она поглядела на химика.

Нюра видела, как он открывал шкафы, в которых была собрана коллекция образцов сырья, вынимал коробки и банки. Ей хотелось подойти к нему и сказать что-нибудь хорошее. Может быть, ему плохо живется, кто стирает ему, чинят ли ему белье и штопают ли носки? Она со вздохом посмотрела на ходики и начала собираться: выключила муфель, закрыла краны. Потом, уже надев кофту, она потушила примус, гревший перегонный куб, и примус хлопал синими крылышками пламени и так жалобно свистел, точно ему не хотелось кончать свою работу.

– Николай Николаевич, ключ на полке, за бутылку, – сказала Нюра,

Индус остался один.

Он рассматривал образцы сырья, щупал их, взвешивал на руке, глядел на них, то приближая, то отдаляя глаза от банок, коробок и ящиков.

Сколько замечательных, чистых красок! Цветовая лавина, катящаяся по земле, не составляла и половины того, что сделали химики.

В этих нескольких сотнях коробочек, умещавшихся на трех полках, был весь мир красок: восходы и закаты солнца, луна, поднимающаяся из-за темных гор, море, арктические льды, леса жарких стран. Ему нравилось рассматривать все эти анилины и лаки – черные, фиолетовые, гремяще-красные, нежно-лимонные и оранжевые.

И названия их нравились ему: бриллиант-грюн, метил-виолет, родамин, фенол-фталеин эозин.

Эти сложные названия ему было почему-то легче произносить, чем обычные английские, и особенно французские, слова.

– Родамин, родамин... – несколько раз повторил он.

Потом новый химик перешел к другому шкафу. Какое удовольствие смотреть и нюхать, щупать, гладить все это!

Вот привезенные из Средней Азии дощечки арчи, темные листочки шеллака, копал, комья демаровой смолы, похожая на жемчуг аравийская камедь, трагант.

Ему не хотелось выходить на улицу, где шарканье тысяч обутых ног, противный треск трамваев, кряхтение грузовиков сливались в густой шум, такой же тяжелый, серый и пыльный, как асфальт мостовой и стены домов.

Он посмотрел на часы, – нужно собираться. Он ведь хотел поехать на Кузнецкий мост купить английские и французские газеты, потом надо было пообедать, написать письмо, и затем он решил свои вечера посвящать занятиям по философии, каждый день не меньше трех часов. Вот уже неделю как он составил программу, достал книги и все же ничего не делает – забрел в какой-то сад, два раза был в кинематографе, позавчера ходил в оперный театр на большой площади. Впрочем, в театре он был в субботу. Он уже начал путать дни недели. Да, это было шестого числа. Вот! Сегодня – десятое. Как раз десятого он начнет. И новый химик закрыл шкаф.

Он подошел к своему столу, чтобы сложить бумаги и поставить тигли в эксикатор. Но бумаги на его столе были аккуратно сложены, поверх них лежала тяжелая стеклянная линейка, которой графилли лабораторный журнал. И прокаленные тигли стояли в эксикаторе.

Новый химик гортанно крикнул, оскалился, рассмеялся, погрозил кому-то кулаком и пошел к двери.

Лаборатория осталась пустой, было совсем тихо, и только в вытяжном шкафу потрескивал остывающий муфель. Да, в лаборатории стало пусто, и некому было подойти к окну посмотреть, как пришел вечер.

Солнце коснулось края земли, глянуло на город снизу вверх, и вдруг на окнах всех домов заиграли, натянулись фиолетовые и оранжевые пленки мыльных пузырей, а по кирпичной стене фабрики потек густой сок раздавленных вишен; белая пыль висела в воздухе, а там, над шоссе, пыль была оранжевой, – казалось, что это лежит громадный золотой столб, полупрозрачный и легкий, в котором стоят деревья и движутся, как водяные пауки, автомобили.

А когда над улицами нависли прогибающиеся гирлянды фонарей, в лабораторию вернулся Кругляк. Он был весь мокрый от пота, и лицо его было грязно.

Кругляк зевал, чесал голову. Ему очень хотелось спать. Вдруг спохватившись, он поднял

телефонную трубку.

– Это ты, Людмилочка? – спросил он.– Да, да, я. На второй мы опоздали, а третий кончается в половине первого. Может быть, ты просто зайдешь ко мне. Совсем не поздно. Только десятый час. Жалко, что хороший вечер? Вот потому, что он хороший, ты приходи. Ну, чтобы не было душно, я открою форточку. Мало ли что, я тебе почитаю вслух химическую энциклопедию. Нет, кроме шуток. Я – с работы, задержала всякая ерунда. Значит, я тебя жду. Ну-ну, пока! Значит, жду.

Он встал, потянулся так, что скрипнул весь, как дверь, и сказал, обращаясь к портрету Менделеева:

– Честное слово, все было бы хорошо, но провожать ее домой в половине третьего ночи, когда нет денег на такси и когда в восемь часов нужно быть на фабрике, – это такое удовольствие!... – И он махнул рукой.

IV

В четыре часа дня в кабинете директора состоялось техническое совещание. Первым на повестке стоял вопрос: «Положение с графитом». Итеэры входили в кабинет и рассаживались на принесенные из канцелярии стулья. Они приходили через бухгалтерию и плановый отдел в своих грязных спецовках и снисходительно поглядывали на франтовски одетых экономистов и плановиков. Анохин и Левин, собравшиеся ехать на пляж, шепотом уговаривали главного механика и заведующего механической мастерской старика Бобрышева уступить им стулья возле двери, чтобы можно было незаметно уйти.

– Пересядьте на диван, вам же будет удобно, – с мольбой говорил Левин.

Но упрямый латыш, главный механик, которого прозвали Нониус, спокойно отвечал:

– Мне тут хорошо, не беспокойтесь.

А Бобрышев, делавший всегда только то, что делал главный механик, молча улыбался всем своим ярко-розовым лицом и тряс седой головой.

– Да брось их! – сердито сказал Анохин. – Ты не видишь: они думают, что едут в трамвае. – И, усаживаясь на диван, он пробормотал: – Недаром у нас каждый день по два станка становятся в ремонт.

Пришел Патрикеев. Его окружили, и он начал рассказывать, что наркомат отказал в лицензии на цейлонский графит и предложил перейти на отечественное сырье. Он хлопал по спине мастеров графитного цеха, наклоняясь то к одному, то к другому, обнимал их за плечи, заглядывал в глаза и спрашивал:

– А, милый, как вы на это смотрите?

– Видеть не могу, как он подлизывается к мастерам! – сказал Левин.

– Он их боится, как огня, – ответил Анохин.

Потом пришли Квочин и секретарь ячейки. Патрикеев подошел к ним. Они втроем сели за стол и начали разговаривать между собой.

Все собравшиеся старались расслышать, о чем говорят за столом; может быть, Патрикеев как раз в эту минуту шепчет Квочину: «Невозможно! Сегодня по его вине опять запороли сто gross „Тип-Топ!“ А Квочин зеваает, согласно и равнодушно кивает головой: „Конечно, выговор в приказе!“ – и секретарь добавляет: „Строгий при этом, да еще с предупреждением“. Но все расслышали, как секретарь Кожин сказал:

– Хотя бы дождь пошел.

– Что ж, начнем, что ли? – спросил Квочин и, обведя глазами сидящих, кивнул главному механику и постучал пальцем.

– Кругляка еще нет, – сказал Кореньков, мастер по размолу графита.

– Тридцать человек не будут ждать одного Кругляка, – сердито сказал Патрикеев.

В это время вошел Кругляк.

– Положение с графитом, – сказал он и показал Квочину повестку технического совещания, – очень хорошее положение, а вот положение без графита, товарищ Квочин, это похуже, – и, разведя руками, он усмехнулся, и все рассмеялись.

– Кого в секретари? – спросил Квочин.

– Левина! – мрачно крикнул главный механик.

– Левина, Левина! – поддержал улыбающийся Бобрышев, и все загудели:

– Левина!

Левин подошел к столу, с ненавистью и тоской глядя на главного механика. Анохин помахал ему рукой, точно надолго прощался с ним.

Заговорил Патрикеев. Он говорил очень много и быстро, но ничего нельзя было понять из его слов. Главное – не было понятно, чего он хочет. Не то выходило, что через месяц фабрика остановится, не то он приветствовал новое постановление и предлагал завтра же переходить на советский графит, не то получалось, что вопрос должен решить Институт прикладной минералогии и что на исследовательскую работу понадобится по крайней мере шесть месяцев.

– На языке крупных специалистов это называется «гнать зайца дальше», – шепнул Левин сидевшему рядом с ним Кругляку.

– Боязнь ответственности, – точно ставя медицинский диагноз, ответил Кругляк и шепнул про себя: «Хитрая муха!»

Патрикеев вдруг замолчал, и во внезапно наступившей тишине прозвучали слова:

– Отличный хлебный квас, в буфете только и спасаюсь.

Это в углу заведующий деревообделочным цехом, толстяк Гусев, беседовал с помощником директора по рабочему снабжению. Все оглянулись на них, Гусев вытянул шею и изобразил на лице такую напряженную внимательность, точно это не он двадцать секунд назад на глазах у всех разговаривал про хлебный квас.

Выступил заведующий графитным цехом.

– Нужно пробовать, – говорил он и, поглядывая на Патрикеева, спрашивал: – Но вот вопрос: что пробовать и как пробовать?

– Вот это я у тебя и спрашиваю, – сказал Квочин, – ты ведь заведешь цехом, а не я.

Потом выступали мастера.

– Мы уже пробовали, – говорил толстоносый низенький Горяченко. – Пробовали еще при Карнаце, вот качество какое от этого будет получаться, – и, понизив голос, точно беседуя с приятелями в пивной, он продолжал: – Вы ведь знаете, как теперь спрашивают с нас за качество, это ужас прямо!

– Да, надо раньше в институт, – говорил белолицый Капустинский,

Потом говорил директор.

– А нельзя ли через наркома в Совнаркоме РСФСР снова возбудить ходатайство о лицензиях? – вдруг спросил директора Патрикеев.

– Ну, товарищ Кругляк, давай, что ли, замены по твоей части, – сказал Квочин.

– Пожалуйста! – сказал Кругляк и пожал плечами. – Послушайте, ребята! – вдруг проговорил он, точно просил всех сознаться в чем-то. – Ведь вы просто не хотите ответственности. В чем дело? Ботогольский сибирский графит – кристаллический графит, с доброкачественной золой, чего вы боитесь? Нет, в самом деле, объясните мне, чего вы боитесь? И вы боитесь! – вдруг рассердившись, сказал он Патрикееву. – Факт, факт! Вы грустите, как скрипач на еврейской свадьбе, общее веселье вас не касается. Главный инженер валит на завцехом, завцехом на мастеров, потом все – на институт. При чем тут Совнарком? Гоняете зайца, в общем. В чем дело? Пусть он побегаёт.

Он обозвал мастеров «шаманами», ругал заведующего графитным цехом и главного инженера.

Слушая его, Патрикеев всегда удивлялся и недоумевал: почему он, Патрикеев, называет управляющего трестом по имени-отчеству и, говоря с ним, волнуется, почему секретарь ячейки для него, Патрикеева, личность таинственная и даже страшная: говоря с секретарем, Патрикеев почему-то менял против воли голос, говорил каким-то дурацким говором, вставлял в речь ругательства «для народности» и, кончая разговор, внутренне произносил: «Уф!», а вот Кругляк называл всех, без разбору, по фамилиям, однажды сказал управляющему трестом такое словечко, что Патрикеев обомлел, секретарь ячейки ходил в лабораторию каждый день, и Патрикеев видел, что они разговаривали так, точно Кругляк не был беспартийным инженером, а бог весть сколько времени состоял в партии. Сперва Патрикеев думал, что у Кругляка есть крепкая рука в союзном наркомате, но это не подтвердилось. И он никак не мог понять, отчего Кругляк не ищет подпочвенных связей, которые, по мнению Патрикеева, единственные могли помочь инженеру в работе. «Опирайтесь на своих людей», «симпатия управляющего», «круговая порука», «не ссориться с нужным человеком», «не подводить своих», «не рисковать» – вот в чем залог успешной работы. А Кругляк со всеми ругался и не искал «подпочвенных» связей.

Видно было, что мастера-графитчики сердито переглядывались (Патрикеев знал, что мастера могут подложить большую свинью в работе), а Кругляк, совершенно не учитывая положения, говорил:

– Ну хорошо! Гоните зайца ко мне. Можете записать: внедрение советского графита поручается Кругляку. В чем дело? Только пусть коммерческий директор завтра посылает агента на Урал купить не две тонны, как здесь говорили, а сто тонн графита. Вся ответственность на меня, можете записать! – И он решительно распахнул пиджак.

– А чем вы будете отвечать, своим четырехсотрублевым жалованьем? – раздраженно

спросил Патрикеев.

– Своей честью советского инженера! Это мало, по-вашему, а? – в ярости заорал Кругляк и вскочил: казалось, вот-вот он полезет драться.

Все это было так интересно, что Левин перестал думать о неудавшейся поездке на пляж и оглянулся на Анохина. «Видал, брат, наших молодых!» – хотел он глазами сказать приятелю. Но Анохина на диване не было. Он ухитрился незаметно улизнуть.

Вторым на повестке стоял вопрос о текущем ремонте станков, и Левин сделал такое сообщение, что главный механик начал кашлять, точно у него был коклюш.

V

В последние дни было так жарко, что незнакомые между собой люди в учреждениях или трамваях переглядывались и говорили друг другу:

– Ну, знаете...

– Нечто совершенно сверхъестественное...

Солнце не грело, а прямо давило, мяло людей. Краска на крышах текла, и маляры не могли работать босиком; железные стульчики трамвайных стрелочниц уходили ножками в асфальт, как в глину.

Людям было жарко днем и ночью; они обливались потом, когда ели мороженое и пили холодный квас. Все только и говорили про отпуск, море, Клязьму, деревню, реку.

Но особенно трудно было работать в душных фабричных цехах: лаки и растворители испарялись, наполняя воздух сладким, противным запахом, мощные вентиляторы, казалось, дышали, как живые существа, не неся прохладу, а обдавая лица рабочих сухим, горячим дыханием.

В лаборатории эфир и метиловый спирт вскипали, точно их грели газовые горелки, и некоторые органические препараты, обычно твердые и кристаллические, превращались в тесто.

Только новый химик совершенно не чувствовал жары. Он ходил в суконном костюме, таком же темном, как его лицо, носил воротничок, галстук, руки его были сухими, как прокаленный песок, он делал свое дело легко и просто, не говорил о поездке на реку.

Во время обеденного перерыва к нему подошел Кругляк.

– Николай Николаевич, – сказал он, – после работы зайдите ко мне, начнем с вами на пару одно замечательное дело. – Он осторожно свел пальцем пот со лба, потрянул рукой и, посмотрев на пол, сказал: – Если дальше так пойдет, до чего же это дойдет?

Он был очень доволен, – только что из цеха приходил мастер и принес Кругляку несколько десятков пропитанных жиром стержней. Смеясь, мотая головой, издавая носом, горлом и губами десятки звуков, он смотрел, как Кругляк сравнивал стержни с хартмутовскими образцами.

– Вышло, вышло! – радостно и удивленно говорил мастер.

Наклонившись к Кругляку, он шепотом, точно предостерегал его, сказал:

– Товарищ Кругляк! Вы знаете всю подлость нашего производства.

И Кругляк, смутившись, спросил:

– Что, жарко?

– Мне не жарко, – ответил мастер.

И они принялись вновь рассматривать стержни чертежного карандаша, воинственно потрясая ими, точно дротиками.

Вскоре мастер ушел в цех, а Кругляк, крепко сжимая стержни, прошелся по лаборатории, говоря лаборантам и рабочим:

– Ну, ребята, чертим! Ставлю в получку два литра.

Он прошел мимо Оли Колесниченко: она сидела за аналитическими весами, вся розовая и потная от жары, и была так хороша в своем синем сарафане, что Кругляк даже не произнес своей обычной фразы, а только вытаращил на нее глаза и махнул рукой.

Потом он спросил у Нюры:

– Ну, как футболист?

– В Одессу вчера уехал, – сказала Нюра, и они оба рассмеялись.

– Пойду к главинжу, пусть скушает компот, – сказал вслух Кругляк. – Мы не сумеем выпустить чертежный карандаш? Конечно, конечно, разве мы что-нибудь умеем! – и, потрясая дротиками, он пошел в контору.

После работы индус зашел в кабинет Кругляка.

– Слушайте, Николай Николаевич, – сказал Кругляк, – вы уже две недели работаете, а я вас еще ни о чем не спросил. Скажите, где вы жили в последнее время?

– Южный Китай, – ответил новый химик.

– А, интересно! – крикнул Кругляк. – Вы здесь очень скучаете, наверно?

Новый химик кивнул головой: да, он скучает. И так как ему нравится этот молодой, веселый инженер, который никого не боялся и не жалел себя в работе, индус, ломая фразы и выворачивая наизнанку слова, начал рассказывать Кругляку разные вещи. Он рассказал ему про свою родину и про страшный остров, куда англичане ссылают революционеров. Это совсем маленький островок: там нет тюрьмы, люди бродят по болоту, отравленному лихорадкой. Раз в год, на Рождество, солдаты, живущие в казарме на высоком берегу, сгоняют оставшихся в живых к коменданту, к он им выдает килограмм сахара и пачку чаю. Потом их опять гонят в болота до следующего Рождества. Это очень трудная жизнь. Коменданты сменяются на острове раз в два года, и за каждый год они получают пять лет отпуска в Великобританию, на полном колониальном жалованье. На этом острове жили два товарища нового химика, его друзья. Да, он скучает, ему хочется быть с ними.

Он говорил громко, гортанным голосом, кривил рот, глаза его стали широкими и совершенно черными. Он вдруг поставил каблуки на сиденье стула и как-то очень ловко и быстро сложил ноги, выставив вперед колени. Казалось, что проповедник, сидя на циновке, обращается к народу, потрясая сухим, деревянным кулачком.

Потом они некоторое время молчали.

– Послушайте, – тихо сказал Кругляк, – послушайте! Я хочу вам сказать одну вещь. – Индус слушал, вытянув шею. – Теперь, когда обжиг налажен, – продолжал Кругляк, – давайте запустим вместе работу по внедрению сибирского графита.

Индус молчал. Кругляк оживился, задвигался на стуле.

– В самом деле, вы только подумайте: это красота! Он залегает в Восточной Сибири. Явно кристаллический. Как вы смотрите на это дело? Мы быстро составим рецептурку, провернем через цех и поднесем нашему оппортунисту на практике гросс карандашей из советского графита. А? Ведь это будет мировой номер! – Он перегнулся через стол и дернул индуса за рукав. – А? Николай Николаевич! – весело крикнул он. – Вы знаете, что мы сделали за полтора года? Прошли от Киева до Варшавы, уверяю вас. Когда я пришел на фабрику, – вы мне, конечно, не поверите, – глину привозили из Германии! Факт! Если чего не хватает, главный инженер пишет директору рапорт: «Через десять дней останавливается производство» – и сидит, страшно доволен: отогнал от себя зайца! Достали – хорошо! Не достали – тоже хорошо! Виргинский можжевельник? А ольха, липа вас не устраивает, а? Вот, пожалуйста, попробуйте, товарищи, рецептурка – химические карандаши на ленинградском метил-виолете. Пишут? Слава богу! Потом мы взялись за всю эту экзотику. Южноамериканские смолы и камеди? Это была работа! Мастера кричали, как новорожденные, день и ночь, технорук копал под лабораторию целый радиус метро. В конце концов Охтенский завод дает прекрасные искусственные смолы. Теперь мы внедрим сибирский графит, а? Зачем нам цейлонский?

Он поднялся и побежал вдоль стены своего кабинета, тыча пальцами в схемы технологического процесса.

– Подождите, осенью мы выгоним аравийскую камедь. Знаете, какая имеется мысль? Заменить ее просто пшеничной мукой. – И Кругляк расхохотался.

Потом он подошел к новому химику вплотную и, заглянув ему в глаза, сказал:

– Вы сами видите наш карандаш, это не сахар, но пусть, как говорили мои предки, я не дождусь видеть своих детей в социалистическом раю, если через три года советский карандаш не будет смеяться над немецким. – Он наклонился и горячим шепотом сказал в ухо индусу: – Слушайте, я ведь вижу: вы самый замечательный парень! Давайте поднимать это дело вместе.

О чем думал новый химик? Он поставил ноги на пол, он серьезно кивнул головой.

Кругляк снял с гвоздя полотенце, вытер лицо, и полотенце потемнело от влаги, точно он вытирался после умывания.

– Знаете что? – сказал он. – Давайте поедем в Парк культуры, доедем до Бородинского моста, сядем на речной трамвай, получится очень здорово. Правда, я условился встретиться в семь часов с одной Людмилочкой, но революция от этого не пострадает. Я ей завтра позвоню, что меня вызвали в Наркомлегпром.

Когда они вышли из проходной будки, Кругляк взял нового химика под руку.

Прохожие оглядывались на них, и Кругляку это нравилось. Он, смеясь, говорил:

– Люди думают, что вы так загорели на Воробьевке. – Он предложил пообедать в парке и начал жаловаться на свой аппетит. – Мне всегда хочется кушать, – говорил он. – Утром я не завтракаю, а вечером не ужинаю, – лень возиться, холостяк! Приходится съедать три обеда

на фабрике-кухне. Митницкая и Колесниченко обедают дома, я пользуюсь их карточками. Три супа, три вторых, три киселя – можно жить. – Он толкнул своего спутника в бок и сказал: – Смотрите, смотрите, что за фигура! Вот это ноги! Прямо на сельскохозяйственную выставку. – Потом он стал высчитывать свой бюджет: – Три обеда обходятся восемь рублей в день, вот вам уже двести сорок; папиросы – тридцать; бритье – пятнадцать, я дома не люблю; папаше – он живет у старшей сестры – шестьдесят. Сколько? Уже триста сорок пять. А получаю я четыреста семьдесят пять. Заем, союз, – на мою молодость остается рублей восемьдесят. Ну, конечно, премии. Примерно три месячных жалованья в год. Но все это расходуется неизвестно куда. Вот второй год хочу себе сшить настоящий костюм, и ничего не получается.

Подходя к Бородинскому мосту, они увидели толпу, собравшуюся у края тротуара. Оказалось, что заблудилась девочка. Перед ней на корточках сидел милиционер и, стараясь говорить женским голосом, спрашивал, как фамилия ее мамы.

– Ой, не могу видеть, когда дети плачут! – сказал Кругляк.

Какая– то девушка в белом платье, поднимаясь на цыпочки, старалась заглянуть через плечи стоявших.

– Что случилось? – спрашивала она. – Молодой, старый? Трамваем переехало?

– П-а-п-а-л-а-м! – крикнул Кругляк и махнул рукой.

– Нет, серьезно: что случилось? – спросила девушка.

– Ничего особенного! Я хочу с вами познакомиться, – сказал он и расхохотался.

Девушка тоже рассмеялась, покачала головой и ушла.

– Типичная валдайская девственница, – сказал Кругляк, и они пошли к пристани садиться на речной трамвай.

Они ехали на катере мимо окутанного дымом завода, проехали мимо домиков Потылихи, и только когда вода сделалась темной от отражавшихся в ней высоких деревьев на Ленинских горах, стало немного прохладней и почувствовалась сырость воды и свежесть воздуха,

– Дыши, дыши! – говорил себе Кругляк. – Делай га, га! – Он радовался, вертелся, подбегал к борту. – А мне казалось, что лучшего места, чем наша фабрика, нет на свете, – говорил он.

Новому химику тоже понравилась местность, мимо которой они проезжали. Ему нравилась многоликость этого города, этот хаос маленьких домишек, садилов, нелепых переулков, из которого проступали площади и широкие проспекты новой столицы. Город лежал как глыба камня, которая постепенно освобождала скрытую в ней статую. И теперь, глядя на рабочих, строивших каменную набережную, он думал, что вся эта огромная страна высвобождает из-под строительных лесов свою величественную, мускулистую фигуру.

И еще, глядя на реку, он думал о других берегах, низких и болотистых, в которых бежала желтая и горячая, как живое существо, вода.

Выйдя на берег, они стали в очередь за морсом. Кругляк, смеясь и хлопая Николая Николаевича по плечу, выпил подряд пять стаканов. Стоявшие за ним начали сердиться, и какой-то военный, державший под руку девицу с таким серьезным видом, точно девица была отлита из стекла, крикнул:

– Послушайте, вы что хотите – мировой рекорд устанавливать? Люди пить хотят.

– Je ne comprends pas, – сказал Кругляк. – Я американский турист, – и все стоявшие возле

будки рассмеялись.

Кругляк нашел, что парк с прошлого года стал чем-то хуже, а Николаю Николаевичу все очень понравилось, правда – не было американских гор.

Индуса, однако, смущало, что Кругляк все время заговаривал с незнакомыми женщинами. С одной малорослой девушкой в очень длинном голубом платье и в белом берете, стоявшем над челкой под углом в сорок пять градусов, он даже ходил под руку и, прощаясь, записал ей на бумажку номер телефона и подарил карандаш с красной головкой.

Когда они выходили из парка, Кругляк торжественно поклялся, что больше не будет ездить на фабрику в выходные дни и что восемнадцатого утром приедет в парк прыгать с парашютной вышки.

– Я бы сейчас тоже мог прыгнуть, – сказал он, – но после трех обедов это опасно. Первый прыжок нужно делать натошак.

VI

Наутро начались работы по замене цейлонского графита. Нюра пошла с бумажками к заведующим цехами, техноруку, коммерческому директору. Рамонов тащил в цех глину и нужную аппаратуру. Кругляк, опередив главбуха, выпросил у Квочина легковую машину, и Петров, «тот, который заикается», поехал в Институт прикладной минералогии за графитом.

Главбух кричал, что не привезет денег и фабрика останется без зарплаты, а Кругляк, с интересом поглядывая на него, говорил по телефону:

– Это ты, Сокольский? Да, да – Кругляк. Я только что послал к вам лаборанта. Вот, вот! Карандашей? Я послал, он передаст. Конечно, и два чертежных. Куда? На Игарку? Здорово! Зайди под выходной, обещал Крюков зайти, я его встретил в Наркомтяже. Ничего, женился, где-то в Горьком. Ну-ну, приходи, со своей закуской только. Так смотри же, не меньше чем пятьдесят кило. – Он повесил трубку и сказал главбуху: – Слушайте: единственный человек на фабрике, с которым я боюсь ссориться, – это вы. Но что делать?

И пока главбух собирался ему ответить, он ушел в цех.

– Нет свободной шаровой мельницы? – говорил он мастеру. – А это что? Нуждается в ремонте? Каком? Ну, это пустяки!

И он пошел к главному механику.

– На полчаса слесаря, – убеждал Кругляк механика, – что, в плановом порядке? Хорошее дело, ждать две недели! Тут работы на двадцать минут. – И, зная упрямство Нониуса, Кругляк сказал: – Я слышал, вы уходите в отпуск? Ну, знаете, будь я директором, я бы вас не отпустил.

– Почему? – подозрительно спросил главный механик.

– Кроме шуток! Ведь ваш отдел – сердце фабрики, а вы – мозг своего отдела, – сказал Кругляк и прижал руки к груди.

И главный механик выписал наряд.

Новый химик перешел работать в цех.

Он любил составлять рецептуры в заваленном ящиками и мешками цеховом складе сырья. Здесь воздух был душный и теплый. Чего только не было на этом складе и чем только не пахнул здесь воздух! Парафин, воск, саломас, глина, тальк, метил-виолет, сухие лаки, наполнители, милори, каолин. Но здесь уже не было нравившихся ему смол и камедей: все это было загнано Кругляком в коробочки с образцами.

Вся левая стена склада была заставлена маленькими пузатенькими бочонками с английскими надписями. Новый химик сразу узнал эти бочонки. Он видел, как их наполнили графитом, как их грузили на платформы, как громадный кран осторожно переносил их над зеленой, как трава, водой и опускал в трюм желтопузого парохода. И какое-то несказанное удовольствие испытывал он, сидя над открытым бочонком и пропуская меж пальцев тяжелую струю графитного порошка. Графит был теплый и такой мягкий, что, казалось, облизывал руку ласковым языком. Стоило его потереть меж пальцев, и пальцы становились стального цвета, блестели, как зеркало, делались скользкими и гладкими.

И в свободные от работы минуты он запускал руку по локоть в бочонок с графитом, перебирал его, пока пальцы не касались шершавого дерева. Зачем он это делал? Он и сам не знал.

Часто в цех приходил Кругляк и говорил:

– Ну как? – и, не дожидаясь ответа, сам отвечал: – Все в порядке, я уже видел. Скоро пустим шихту на фильтр-пресса. – Он волновался, подозрительно нюхая графит, сердито говорил: – Ой, помол, помол!

В выходной день он так и не поехал прыгать натошак с парашютной вышки, а просидел до вечера в лаборатории, составляя длинные письма тресту Уралграфиткорунд и заводу. Он просил улучшить размол графита, чтобы «по крайней мере восемьдесят процентов проходило через шелковое сито с десятью тысячами отверстий на квадратный сантиметр».

Действительно, сибирский графит был очень крупный, легко можно было рассмотреть отдельные листочки, из которых он состоял.

Патрикеев, щупая графит, пожимал плечами, делал круглые глаза и, переглядываясь с мастерами, смеялся так, точно у него во рту была деревянная коробочка, в которой прыгал камешек. На Кругляка он смотрел дружелюбно и снисходительно, покачивая головой и улыбаясь.

– Под вашу личную ответственность, милейший Борис Абрамович, – говорил он, – под вашу личную ответственность на нас двигается с Урала сто тонн этой прелести.

Кругляк велел остановить на десять минут шаровую мельницу и, опечатав отверстие барабана фабричной печатью, сказал новому химику:

– Днем он смеется, но откуда я знаю, что он делает ночью?

Работавшие в цехе чувствовали какое-то напряжение, глядя на размеренно вращающийся барабан с болтавшимися вокруг сургучной печати ленточками. А новый химик все больше времени проводил на складе; там он поставил себе маленький столик и занимался ситовым анализом различных образцов графита. На складе, кроме него, был только один человек: рабочий, весовщик Горшечкин, шестидесятилетний лобастый старик, с большой головой, большим носом, большим беззубым ртом, большими ушами. Горшечкин был самым веселым человеком на фабрике, говорил он только рифмами. Когда на склад входил рабочий и, вытирая пот, жаловался:

– Ох, Горшечкин, и жарко! – тот подмигивал и отвечал:

– А мне не жалко.

Когда девушка-работница, смеясь, сказала ему:

– Что ты, товарищ Горшечкин, в таких валенках ходишь? Некрасиво! – он ответил ей:

– Некрасиво, зато спасибо.

С новым химиком он говорил много и охотно, рассказывая ему массу всяких историй, и каждый раз, когда индус, уходя с фабрики, церемонно пожимая ему руку, четко выговаривал:

– Товарищ Горшечкин, прощайте! – Горшечкин, радостно, улыбаясь во всю ширь лица, отвечал:

– Не стращайте!

Иногда новый химик приходил в лабораторию, его встречали шумно, точно он приезжал издалека.

Особенно почему-то радовались оба Петрова. А Нюра начинала волноваться и снова мыть только что вымытые стаканы, колбы и воронки, от растерянности бросала в раковину недокуренную папиросу. И он привык, сам того не замечая, к фабрике, к желтолицему Квочину, к секретарю ячейки Кожину, каждый день шепотом, точно у больного, спрашивающего:

– Ну, как твои дела, товарищ Николай Николаевич?

Привык к лаборантам, к веселому старику Горшечкину, к Нюре Орловой, к Кругляку.

Он уже однажды повздорил с мастером Горяченко, не хотевшим пропускать пробу через мешалку, и пошел с ним к Патрикееву. Патрикеев начал было вертеться и шутить, но индус закричал резким, как у птицы, голосом, а глаза его стали вдруг так страшны, что Патрикееву показалось – вот-вот новый химик его хватит чем-нибудь тяжелым.

Иногда он сидел в курилке с рабочими и слушал, о чем они говорят; по глазам его было видно, что он вслушивается внимательно в каждое слово, не думая в это время ни о чем другом. И только когда в цеховом складе он подходил к бочонкам графита, с ним начинало твориться неладное. Горшечкин это давно уже заметил. Николай Николаевич задумывался, отвечал невпопад, а большей частью и вовсе не отвечал. И Горшечкин все думал: отчего это Николай Николаевич дуреет?

Шихту выгрузили из мельницы, и Кругляк вместе с индусом ревниво ходил вокруг нее, сердился, когда кто-нибудь подходил к ней слишком близко, точно в темном чане болтал ножками младенец.

В тот день, когда шихту пропустили через вальцы и мешалку и, наконец, торжественно загрузили в патрон масляного пресса, чтобы отжать нить графитного стержня, Кругляк ни разу не пошел на фабрику-кухню.

– Ну как? – задыхаясь, спросил он у работницы, клавшей нить на длинный лоток.

Старуха, работая быстрыми темными пальцами, поглядела на индуса, сидящего перед ней на корточках, на жадные глаза Кругляка и улыбнулась той улыбкой, которой могут улыбаться только старухи-работницы, – улыбкой, которую не следует описывать потому, что ничего не выйдет из такого описания.

– Хороший товар, крепкий! – негромко сказала она. Кругляк с размаху сел на пол и захохотал.

– Хороший товар! – только и мог повторить он несколько раз.

Они не ушли, пока последняя нить не была уложена на лоток, пока стержни не были раскатаны и поставлены вялиться на стеллажи.

Поздно вечером они все еще сидели в кабинете Кругляка, и Кругляк непрерывно говорил:

– Вы думаете, я не дрейфил? Ого, еще как! Между нами говоря, когда зашипел пресс и пошла нить, я подумал: «Ей-богу, прыгать с парашютом не так уж страшно!»

Он смеялся, и индус, который тоже был рад удаче, улыбался широкой улыбкой.

– Слушайте, – сказал Кругляк, – давайте сегодня хорошенько выпьем. Пойдем в «Ку-ку», «Ливорно»? Вы думаете, это пустяки, все это? Ведь мы освобождаем страну от импортной зависимости.

Николай Николаевич согласился. Правда, он не пьет вина, только пиво.

– Ну, ничего! Вы будете пить пиво, а я возьму графинчик, – сказал Кругляк и, подумав, добавил: – А потом еще один графинчик. В этом «Ливорно» есть такая цыганка, что можно лопнуть. – Он задумался и сказал: – Она, вероятно, такая цыганка, как я цыган, но это дела не меняет.

В ресторане Кругляк вдруг почувствовал ненависть к Патрикееву.

– Мне надоел этот тормоз! – говорил он. – Что я, нанялся его уговаривать? – Он перегнулся через столик и заговорил шепотом: – Ты партийный парень, ну так слушай: Кожин смотрит на это дело так, как я смотрю. Кое-кто считает, что, если человек старый и имеет специальность, так он старый специалист. Ну, а секретарь считает, что он просто старый оппортунист в новой технике.

А к концу второго графина Кругляк вдруг открыл в себе способности певца. Он начал помогать хору. К ним подошел массивный человек в черном фраке, должно быть министр иностранных дел какого-то крупного государства, и пригрозил вывести певца на улицу.

Потом Кругляк ходил звонить по телефону и, вернувшись, сказал:

– Хотел позвать сюда одну знакомую девушку, но какой-то сосед ее начал мне читать мораль, что трудящихся не будят в половине третьего. Я ему говорю: «Не ленитесь, я по голосу слышу, что вы молодой человек», он мне говорит: «Приходите, парнишка, я вам обещаю открыть дверь». – Кругляк рассмеялся. – Я бы пошел, но, черт его знает, вдруг это какой-нибудь инструктор высшей физкультуры, который бросает левой рукой ядро на два километра. О чем говорить с таким человеком?

Они расстались на углу Рождественки и Кузнецкого моста. Кругляку вдруг так захотелось спать, что он шел по улице, то и дело закрывая глаза. Он шел совершенно прямо и, подойдя к своему дому, оглядел пустую серую улицу и хвастливо сказал:

– Кругляк бывает пьян, но никогда не блюет.

Когда сонный швейцар, чем-то очень громко гремя,

открыл ему парадную дверь, Кругляк проговорил:

– Тебе, наверно, все равно, товарищ, но с четвертого квартала мы пишем советским

графитом. – И он обнял швейцара.

А новый химик совсем не спал в эту ночь.

Он шагал по комнате и думал.

Работая в цехе вместе с Кругляком, глядя на работницу, улыбнувшуюся им, радуясь удаче опыта, он чувствовал много замечательных вещей. В каких только странах по обе стороны экватора он не жил за последние годы! Там все люди были для него иностранцами. Здесь была страна друзей. Он ходил по комнате и думал о другой стране, где живые краски ярче и прекрасней всех анилинов, о болотистом острове, зараженном лихорадкой. Да, если б это зависело от него, вот сейчас он вышел бы на улицу и пошел туда пешком.

VII

Коммерческий директор фабрики Рябокось сохранил все славные традиции боевого комбрига. И когда посторонний человек заходил в отдел снабжения, где гремел Рябокось, окруженный могучими парнями, одетыми в хаки и носившими на голове кубанки и кожаные фуражки, человек робел; ему казалось, что он попал в штаб партизанского отряда, где не очень-то ценят свою и чужую жизнь.

Рябокось считал Кругляка самым ученым человеком, повыше разных академиков и профессоров, и относился к нему с большим уважением. Этого хорошего отношения не нарушил даже один случай, происшедший не так давно.

Рябокось как-то пришел в лабораторию и, вынув из желтого, в толстых ремнях, портфеля боржомную бутылку, грозно сказал Кругляку:

– Налей-ка чистого.

Кругляк похлопал Рябокось по животу и сказал:

– Не выйдет, товарищ директор!

Рябокось ушел ни с чем, но когда Кругляк явился в коммерческий отдел и рассказал, как срочно нужен графит, Рябокось вдруг умилился, обнял Кругляка за плечи так, что тот охнул, и сказал:

– Сделаем. Холодный! – гаркнул он, и когда в кабинет вбежал бледнолицый, худой человек в кожаной куртке, Рябокось сказал ему: – Завтра выезжаешь на Урал гнать графит.

– Есть, товарищ Рябокось!

Дело у коммерческого директора было поставлено по-военному.

Графит с Урала действительно прибыл быстро. Он был упакован в двойные мешки, похожие на подушки. Полдня заняла переноска графита на склад и в цех. Мастера сердито поглядывали, как грузчики укладывали штабели мешков в цеховом складе. Старик Горяченко сердился и смотрел на новый графит с таким видом, точно к нему в квартиру вселялись какие-то беспокойные, суетливые люди. Кругляка вызвал Кожин и вместе с ним пошел к директору. Все трое, они стояли молча у окна и смотрели, как разгружали грузовики. Потом они одновременно переглянулись.

– Ну, товарищ Кругляк... – сказал Квочин.

Кожин рассмеялся:

– Да, делишки! – и, посмотрев на небо, добавил: – Надо подогнать разгрузку, дождь, видно, будет громадный.

Кругляк молчал.

– Ну вот, товарищи! – вдруг промолвил он. – Имейте в виду, что наш новый химик провернул дело с графитом. – Он подмигнул Квочину и весело сказал: – Я тоже приложился к этому делу, товарищ директор, свое моральное удовлетворение я имею при себе, но если мне дадут премию, то я буду иметь зимнее пальто. Это тоже греет.

– Ну, товарищ Кругляк... – обиделся Квочин.

Новый химик пришел в цех, когда графит был уже уложен. Да, графита было привезено много, в цеховом складе негде было повернуться. Пузатенькие бочонки исчезли – не то их унесли куда-то, не то завалили сибирским графитом. Новый химик вышел в цех. Надо было уходить. Он предупредил в лаборатории, что уже, не возвращаясь, пойдет домой. Собственно говоря, он мог и не заходить в цех – ведь делать тут было нечего. Да, он хотел посмотреть, как уложили новый графит, ведь завтра предстояло начать анализ. И еще кое-что: у него вошло в привычку, перед тем как идти домой, посмотреть на бочонки цейлонского графита. Он даже не ленился вновь отмывать руки и запускал в бочонок пальцы.

Вдруг хлопнула форточка, стукнуло окно, песок, точно спасаясь от дождя, отчаянно застучал по стеклам, и сразу же начался ливень. Грозы не было, но дождь был очень силен; он так грохотал по крыше, что заглушал скрежет станков; казалось, что они движутся совершенно бесшумно.

Индус подошел к окну. Он стоял и смотрел, как по стеклам скользила вода. Оттого ли, что на дворе было почти темно, от какой ли другой причины, лицо его казалось совсем черным.

– Николай Николаевич! – окликнул его знакомый голос.

Это была Нюра Орлова. Она вытащила из-под кофты сверток и сказала:

– Это плащ Бориса Абрамовича.

Новый химик отрицательно покачал головой.

Он шел в полумраке между фабричными цехами, перепрыгивая через лужи, добрался до проходной, и когда сторожа предложили ему переждать, он снова покачал головой и вышел на улицу.

Он шел своей легкой походкой. По мостовой в сторону заставы плыла желтая широкая река.

А Нюра стояла у окна и думала, что этот человек не захотел надеть плащ потому, что она его обидела, не взяв подарка, предложенного ей от чистого сердца.

1935

ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ

Они сидели на Рождественском бульваре. Холодный зимний ветер стремительно вбегал по крутому подъему, ветви деревьев, высушенные морозом, колебались и стучали, огни Трубной площади, лежавшей внизу, то вспыхивали, то угасали, и сверху освещенные трамваи казались кораблями, вошедшими в темную бухту.

Васильев, наклоняясь к Ефремову, хриплым шепотом заговорщика сказал:

– Ты имей в виду: любовь есть птичка неземная. – Он погрозил товарищу кулаком. – Она сильнее всех законов, эта птичка.

Ефремов молчал. Васильев заглянул ему в глаза.

– И ты еще имей в виду – она очень земная, эта птичка... Курица, брат, – это поднебесный орел по сравнению с этой самой птичкой.

– Иди ты к богу! – плачущим голосом сказал Ефремов. – Что ты надо мной причитаешь, точно я в курильщики опиума записался! И откуда ты так все знаешь, прорицаешь, как какой-то... И вообще, она чихать на меня хотела: во второй раз в жизни видит. Иди домой, ты ведь замерз...

Васильев рассмеялся.

– Ну, нет, брат, я дождусь: хочется посмотреть.

Люди, потирая уши и носы, проходили мимо них и удивленно оглядывались: два человека в кожаных пальто сидели под морозным ветром и беседовали.

– Какое опоздание? – спросил Васильев, вынув часы.

– Не понимаю, – ответил Ефремов, стараясь не глядеть на товарища, – условились ровно в шесть.

– Ну, мало ли что! – тихо сказал Васильев. – Ее могли задержать: служащий человек. Ты позвони ей из автомата, а я покараулю тут.

– Ты ж замерз.

– Ерунда! У меня ноги никогда не мерзнут, вот щека одеревенела.

– Я – быстро: до Сретенки и обратно...

Он поднялся и, отойдя несколько шагов, крикнул:

– На ней жакет из жеребка.

– Ладно, ладно! Скорей только.

Ефремов побежал, постукивая ногами и по-извозчичьи хлопая себя руками по бокам. Черная земля бульвара была тверда, и Ефремову казалось, что не только люди, но и деревья, мостовые, зеленые скамьи дрожат от холода.

Войдя в будку телефона-автомата, он снял трубку и нетерпеливо постучал рычажком –

станция не отвечала.

Наконец женский голос назвал номер.

«Замерзла: сердится», – подумал Ефремов.

Раздался гудок, никто не ответил. Ефремов снова вызвал номер, и снова никто не ответил. Он начал рыться в карманах: было несколько двухкопеечных монет, горсть поломанных спичек, но гривенников не нашлось.

Ефремов почувствовал тревогу: неужели он не услышит сейчас ее голоса? Как ее найти?

Через мутное стекло глянуло недовольное лицо; человек увещаяюще говорил, показывая на ручные часы, и пар шел из его рта и ноздрей. Ефремов вышел на улицу. Скрежет трамвайных колес на повороте, раздраженные звонки вагоновожатых, сигналы автомобилей – все это показалось особенно громким после тишины телефонной будки...

Он познакомился с Екатериной Георгиевной у инженера Карнацкого. Ефремов зашел к нему по делу и попал в разгар вечеринки. Приятель торопливо перебирал на письменном столе бумаги, а возле шаркали ноги танцующих, и Ефремов каждый раз слышал шуршание ее платья, – он сразу, войдя в комнату, увидел черноволосую, черноглазую женщину, с белыми полными руками. Приятель нашел нужные бумаги и, обдав Ефремова винным духом, сказал:

– Петр Корнеич, оставайтесь, – все свои ребята, куда вам спешить...

И Ефремов остался.

Он пил водку и смотрел на черноглазую женщину, а она укоризненно покачивала головой и, перегнувшись через стол, сказала: «Вы бы поели», – и эта забота была ему очень приятна. Потом он провожал ее; они молча шли по Пречистенскому бульвару, по шуршавшим под ногами сухим опавшим листьям и, подойдя к памятнику Гоголя, остановились. Ефремов показал пальцем:

– Звезды, знаете, я их только сейчас увидел, – и испуганно оглянулся на Гоголя: ему показалось, что писатель насмешливо кашлянул.

– Как пусто! – сказала она. – Ни души.

– Нетрудящийся да не ест. Завтра все работают, – ответил Ефремов и снова оглянулся на Гоголя.

Из– за памятника вышел милиционер и, внимательно посмотрев на Ефремова, пошел через площадь.

– Вот, оказывается, не пусто, – рассмеялась женщина. – Давайте прощаться.

Дома он разбудил Васильева: ему казалось, что ночи уже нет.

– Колька, вот женщина! Ну, вот, знаешь, говорят: король-баба – спокойная такая, величавая, уверенная. Ничего не сказала, а у меня такое чувство, точно... Ну, сам не пойму какое...

Васильев сидел на кровати, сонный, лохматый, и недовольными глазами смотрел на своего друга.

– Ты пьян, – зевая, сказал он.

С тех пор Ефремов никогда не говорил со своим другом о женщине. Да, собственно, и говорить было не о чем – ни разу после того вечера Ефремов не встречался с ней. Лишь

поздно ночью, ложась спать, он с удовольствием думал: вот завтра позвоню.

И вдруг вчера они встретились на Красной площади, оба спешили, и она сказала:

– Знаете, я с работы возвращаюсь по Рождественскому бульвару, вы меня там завтра подождите; пойдем вместе куда-нибудь. В шесть часов – вам удобно?

– Вполне, – сказал Ефремов, хотя в шесть часов он должен был встретиться с директором завода.

Закончив работу, он уехал к Васильеву, в институт, и они вместе пошли бульварами.

Ефремов оглянулся, желая перейти улицу, но в это время зажегся зеленый светофор; обгоняя друг друга, двинулись автомобили, полупустой автобус, покачиваясь, проехал через трамвайные рельсы.

«Сесть, что ли, с горя? Мест много», – подумал Ефремов.

Кто– то его тронул за плечо.

– Пойдемте, пойдемте скорей! – смеясь, сказала Екатерина Георгиевна и взяла его под руку.

– У меня билеты к Завадскому. Через десять минут начало.

Ефремову казалось, что все восхищаются его спутницей: и спешащие к театру пары, и шофер такси, протирающий рукавицей стекло, и обмотанная платком женщина, молящим голосом предлагающая программу спектакля.

И правда, она была хороша, когда, немного запыхавшись, торопливо вошла в вестибюль театра. На черных волосах ее блестели крошечные капли воды. Она была хороша, очень хороша.

Ефремов мельком взглянул на себя в зеркало – короткий пиджачок, широкое бледное лицо. Рост, рост. Она была выше его на полголовы...

Они сели в восьмом ряду партера, и почти тотчас закрылась дверь и начал меркнуть свет.

Когда занавес поднялся, на сцене оказались французы, девицы и пожилой человек. Ефремов, приветливо улыбаясь, смотрел на них, – он сочувствовал и нервному толстяку-французу, и его веселой дочери, и хитрой горничной – все они, бесспорно, были отличные люди.

Ему было тепло и удобно сидеть, и казалось, что тепло, и удобство, и радостная тревога – все это произошло оттого, что красивая улыбающаяся женщина сидела рядом с ним.

– Ну как? – спросила она. – Я все боялась, что вас разбудят, очень громко кричал старик.

– Меня третью ночь вызывают на завод, простите, – сказал Ефремов, – а вообще, мне очень нравится, – я года полтора не был в театре.

– Нравится? Спать? – и она снова рассмеялась.

Они гуляли по фойе и разговаривали.

– Какая интересная у нас публика в тридцать третьем году! – говорила Екатерина Георгиевна. – Вот дама с голой спиной, а там – старик, в валенках, небритый; или тот – в гимнастерке с ремешком.

«Нетрудящийся...» – хотел сказать Ефремов и запнулся, вспомнив, что уже говорил это

изречение осенью на бульваре.

– Очень тесное помещение, – проговорил он, – и планировка дурацкая.

– Да, вы ведь большой инженер, – сказала Екатерина Георгиевна. – Мне после того вечера про вас много рассказывали.

– Какой там большой! – сказал Ефремов и тревожно поглядел на буфетчицу в белом халате.

Он вспомнил, что оставил дома деньги.

Екатерина Георгиевна начала ругать пьесу, которую недавно смотрела.

– Она какая-то слабенькая, – сказала она. – Год, два поживет – и зачахнет. А пьеса должна жить пятьдесят, сто лет. И не могу понять почему: ведь у нас прекрасные летчики, химики, столько замечательных талантов! Вот про вас говорили, вы химик хороший...

– Мало ли что химик, – сказал Ефремов. – Химиков много, но Менделеева у нас нет. А я думаю: пьесу написать – это не завод построить. Театральным Менделеевым нужно быть, новый закон... – и весело добавил: – Пойдемте садиться, звонок.

– Успеем! – сказала она. – Мне очень хочется пить. Вы возьмите воды, только не красной: она ядовитая какая-то.

За секунду Ефремов обдумал все возможности: взять воду и не заплатить, или оставить буфетчице какой-нибудь документ в залог, или сказать, что забыл деньги в пальто.

«Чепуха какая!» – сердито подумал он и громко сказал:

– Так-то так, товарищ дорогой, у меня с собой денег нет.

Екатерина Георгиевна вынула из кошелочка сложенную маленьким квадратиком трехрублевку и протянула Ефремову:

– Пожалуйста!

Все обошлось бы легко и просто, но, беря от нее деньги, смущенный Ефремов зачем-то ухмыльнулся и подмигнул.

Во время действия он шепотом начал спрашивать, сколько стоил билет, но Екатерина Георгиевна строго покачала головой и показала пальцем на сцену.

Во втором антракте Ефремову казалось, что все мужчины, усмехаясь, ходят за ними следом и говорят: «Пришел, курицын сын, с такой женщиной и яблока ей не купит!»

После спектакля он проводил ее домой и, идя по бульвару, все оглядывал скамейки, не сидит ли Васильев.

На Трубной они простились, условившись пойти в ближайшие дни в Большой театр.

– Только не берите билетов в первом ряду – подальше! – крикнула она, стоя на ступеньках.

– Ладно, ладно! – сказал Ефремов и подумал: «Ты там у меня десять бутылок сидро выпьешь».

Дома на двери была приклеена записка: «Ты поступил хамовато. Я уехал на Экспериментальный завод, там буду ночевать, на скамейке получил грипп. Если хочешь питаться, в форточке колбаса. Не ожидал от тебя таких проступков».

«Не сердится», – подумал Ефремов и сел на диван.

Он вспомнил, как подмигнул, беря у Екатерины Георгиевны деньги, и закричал.

В четыре часа его разбудил телефонный звонок – дежурный по заводу сообщил, что выслал машину, – катастрофически упал выход полупродукта. Ефремов едва успел одеться, как под окном загудел автомобильный сигнал – раз, второй, третий...

II

Они со студенческих лет вместе вели хозяйство. Ефремов подметал комнату, грел чайник, мыл стаканы. Васильев черной работы не делал; на нем лежало ходить в магазины за покупками. Это называлось у них «разделение труда в первобытной авторитарной общине». В комнате у них было сравнительно чисто. На окнах висели занавески, книги стояли на белых полках, кровати каждый день стелились («железный закон»), но на столах бумаги, чертежи, книги, журналы, папки отчетов, карандаши, линейки, банки с тушью лежали и стояли в полном беспорядке. «Это священный беспорядок: его нельзя нарушать!» – говорил Васильев. Обои возле стенного телефона были исписаны номерами; одни записи стерлись, другие, четко написанные, были жирно подчеркнуты красным карандашом. Возле одних номеров стояло: Академия, Наркомтяж, Управление; возле других значилось: Аня, Галина Игнатьевна, спросить Ермакову, через нее Дину. На стене над постелью Васильева висели портреты гениальных бородачей: Менделеева, Максвелла; над кроватью Ефремова была прибита фотография Ленина, читающего «Правду». Книг на полках стояло несколько сотен – Большая техническая и Брокгаузовская энциклопедии; потрепанные, запыленные учебники, как верные, но забытые соратники прошлых битв, лежали на самой нижней полке; основные полки были заняты справочниками, тяжелыми томами «Нитте», многотомными сочинениями отцов органической химии, а поверх книг лежали пачки советских и иностранных журналов.

Вечером Ефремов приехал с завода и застал Васильева за чтением газеты.

– Здорово! – сказал Ефремов. – Ты что, из Института или с Экспериментального прямо домой?

Васильев, продолжая глядеть в газету, ответил:

– Я прямо со скамейки: сутки просидел на бульваре.

«Все– таки сердится», – подумал Ефремов и сказал:

– Ты извини, я схамил, но иначе не выходило, – в театр опаздывали...

Васильев молчал. Ефремов внимательно посмотрел на развернутую газету, закрывшую лицо товарища, – газета была от двенадцатого июля.

«Ладно, подождем!» – подумал он и сел за стол, открыл ключом ящик.

Через несколько минут он оглянулся на Васильева: ему казалось, что товарищ смотрит на него.

– Ночью опять выхода упали, – сказал Ефремов.

Васильев молчал.

Ефремов снова оглянулся и увидел, что в газете вырезано овальное окошечко и что Васильев приложился к нему глазом.

«Ладно, пусть!» – подумал Ефремов.

Некоторое время он сидел за столом, но мысль, что Васильев через бумажное окошечко наблюдает, как он перелистывает бумаги, точит карандаш, чешет голову, сморкается, была невыносимо неприятна.

Васильев негромко произнес:

– Готово?

– Что? – сердито спросил Ефремов.

Васильев молчал, отгороженный газетным листом. Через несколько минут он зашуршал и снова, точно рассуждая с самим собою, произнес:

– Ну как: уже? Неужели?

Ефремов вскочил, вырвал у товарища газету и, скомкав ее, бросил на пол.

– Ладно, изменник, – сказал Васильев, – так и быть.

Они шесть лет жили в этой комнате, и за эти годы многое изменилось в их жизни: Васильев работал в Институте, ездил в Англию – в Кембридж, печатал труды в журнале теоретической химии. Младшие сотрудники на конференциях величали его «уважаемый Николай Федорович»; а Ефремов был главным инженером на заводе, сидел в кабинете, имел секретаря, и когда на заводских собраниях брал слово, рабочие встречали его аплодисментами: «Простой, рабочий парень».

Многое, почти все изменилось в их жизни, но отношения их остались те же, как у студентов-третьекурсников: они заваривали чай все в том же электрическом чайнике, заворачивали хлеб в газету и вывешивали колбасу через форточку на веревочке.

Помирившись, они сели пить чай, и Ефремов рассказал о случае в буфете.

– Домой не звала к себе? – спросил Васильев.

– Брось ты! – сказал Ефремов. – Ты думаешь, она как вот эти твои клиентки? – и он показал на стену возле телефона.

– А я бы не женился, – задумчиво сказал Васильев. – Ей-богу! Зачем? Как пойдут все эти трельяжи, гобелены, сервизы, гардеробы, дачное строительство, шифоньеры, – погибнешь!

– Брось ты! Она женщина другого порядка.

– Это все равно: если будет любить, то от гордости – «вот как мы с ним живем», а не будет, так для своего утешения; сама ли будет зарабатывать или ты, все равно обростешь. Вьют гнездо – это уж биология, ничего не поделаешь. Да, ты меня познакомь с ней: надо ведь посмотреть.

– Я сам мало знаком, как же я тебя знакомить буду?

В эту ночь Ефремову снова не пришлось выспаться. Позвонил телефон, и, когда Васильев снял трубку, Ефремов, поглядев на пальто, сказал:

– Меня, наверное?

– Кого? – спросил Васильев и успокаивающе мотнул головой в сторону Ефремова. – Здравствуй, здравствуй! А кто это? Володька? Конечно, конечно! Вы где сейчас? Петр, слышишь: Володька приехал из Мурманска и встретился с Гольдбергом, тот вчера из Донбасса. От площади Ногина на пятнадцатом, до Смоленского. Машина? Еще лучше. Найдется, конечно: на стульях или на полу. Раз машина, тогда через Тверскую поедете и купите... Нет, брат, у Елисеева сейчас Инснаб. На углу Триумфальной... Я думаю, хватит двух.

– Ну, чего там: пусть три берет и, помимо всего прочего, воблу, – сказал Ефремов.

– Володька, главный велит три взять... А ты еще помнишь? Любимая его закуска. Правильно! Берите воблу. Мне? Тоже помнишь, молодец! Ну, катите! – Он повесил трубку и сказал: – Вот здорово!

Они приехали через полчаса, и сразу поднялся смех, разговоры.

– А ну, сними шапку! Ефремов, Ефремов, погляди на Гольдберга.

Они хлопали друг друга по спине, насмешливо похохатывали, говорили веселые колкости.

– Вся курчавость вылезла, – говорил Ефремов. – Гляди, сапожища.

Гольдберг – маленький, худой человек с красными огромными ушами, потирая руки и скрипя сапогами, прошелся по комнате и весело сказал:

– Лысый, лысый! Смешно сказать! Вы посмотрите на Володьку Морозова. – Потом он высморкался и спросил: – Не женились? Молодцы, честное слово!

Второй приехавший – высокий, полный человек с небольшой светлой бородкой – разматывал кашне и, улыбаясь, смотрел на товарищей.

– Ефремов, это про тебя в «ЗИ» писали, благодарность за какие-то оборонные работы? – спросил он.

– Про него, про него, – сказал Васильев. – Был безнадежный – и вот такая неожиданность! Шубка-то шубка на Володьке: воротник – бобер, шапка – бобер, подкладка – шелковая.

– А ты, Васильев, все на научной работе, халдей? – спросил, усмехаясь, Морозов.

– Бросьте, ребята! – сказал Ефремов. – Васильев у нас путеводная звезда.

– Халдей, халдей! – рассмеялся Морозов. – Физиономия, физиономия: совершенно та же и у того, и у другого.

– И так же рекламируют друг друга, – сказал Гольдберг. – Вы сознайтесь: у вас договор такой?

Они сели за стол и начали, не слушая друг друга, говорить и задавать вопросы.

– Стойте, ребята: в порядке ведения собрания, – сказал Гольдберг и стукнул кулаком по столу. – Я сейчас составлю анкету, и по ней пойдём...

Ефремов перебил:

– Придется выпить – это первое.

– Воблу чистить уж твоя участь, – добавил Васильев, – а сервировку я беру на себя.

– Водку я открою, – сказал Гольдберг, – и анкету проведу. Вы ведь в Москве: у вас все узлы.

– Я пока прилягу, – сказал Морозов и подстелил под ноги газету. – Что это: зачем дырочку вырезали?

– А кто ее знает! – ответил Васильев.

Гольдберг открыл бутылку и рассмеялся:

– Вот и встретились! Я часто вас вспоминал: иду по шахте и вспомню. Да анкета. Фамилию назову, а вы рассказывайте: где... кем работает... партийность... женат... дети есть... в общем ерунда: просто давайте, без бюрократизма. Вот, где Козлов?

– Он с экспедицией на Чукотке.

– Да что ты! Он же спал на лекциях, в трамвае.

– Поехал... Прислал на Новый год радиogramму...

– Ищет чего-нибудь?

– Какие-то металлы. А Ванька Костюченко где-то в пустыне, инженером на серных рудниках; кажется, женился.

– Что ты говоришь! Вот этот маленький женился? – Ты тоже, дорогой, не Афродита и женат, – сказал

Морозов.

Васильев расстелил на столе газету, принес с подоконника тарелки, стаканы, вилки и сказал:

– Ну, кого еще там? Рапопорт в главке ведет группу заводов, Смирнягин – доцент в Менделеевском, – мы их не видим; Трескин где-то, не помню: не то Риддер, не то Караганда, не то управляющий, не то технорук.

– Трескин – вот этот, в солдатской шинели! Все начальники, управляющие, ведущие, – просто смешно, честное слово!

– А где Алексеев наш гениальный? – спросил Морозов.

– Представь, ничего! Кажется, учится, но не в институте, а где-то – уже в третьем месте...

– Ну, я думал – он академик, замнарком...

– Умный парень! Замечательный парень! – сказал Морозов. – Поразительно: неужели вот так мотается? И я тоже думал, что он... Главное, славный парень.

– Вот уж не люблю славных парней, – сказал Ефремов.

– Отчего ж? Славный парень! Он, прежде всего, славный парень.

– Вот у нас на заводе был один славный парень, – рассмеялся Ефремов, – и поговорить, и философию по всякому случаю развести, вроде Алексеева, в общем, а я его погнал метелкой. Представляешь: у человека дело не клеится, а он приходит ко мне: «Да, товарищ Ефремов, все проходит, и все – томление духа». И никакого беспокойства! Я его прямо метелкой с производства выгнал.

– Разговорчивый Ефремов стал, – усмехнулся Гольдберг. – Раньше молчал, теперь все сам

разговаривает.

– Э, товарищ, я теперь отдыхаю, – сказал Васильев, – он первый год целые ночи спать мне не давал, все втолковывал: «А у нас так, а я так сделаю, технорук сказал, мастер сказал, такой проект, такой чертеж, а я так думаю, а я напишу, а я поеду».

– Слушайте, ребята, – спросил Морозов, – что вы так по-свински живете: стаканы из-под варенца я еще с тех времен помню, и выключатель с гвоздиком, и стекло над дверью заклеено бумагой, и пятно на потолке? Денег нету, что ли? Могу дать вам сотни две на обзаведение. Или атрофия потребностей?

– А мне очень нравится! – сказал Гольдберг. – У меня жена все покупает мебель. Шесть шкафов. Ну, давайте аки касторку: раз, два, три – залпом.

Они подняли стаканы и переглянулись.

– За каменный уголь! – сказал Гольдберг.

– За встречу! – сказал Васильев.

– За успех великих работ! – сказал Морозов.

Ефремов молча кивнул и выпил.

Несколько мгновений они все вместе старательно и деловито жевали, потом заговорили тихими голосами.

– Как ты, доволен? – спросил Васильев.

– Ну что я, – сказал Гольдберг. – Все мучаюсь с зубами, а шахта у меня большая, жаркая: выйдешь потный на входящую струю, и готово – флюс, жена ругается, а я боюсь бормашины.

– А кто жена твоя?

– Врач детский. Не видимся по пять дней: то в шахте, то в трест еду, а у нее в отделении дежурства ночные. Переписываемся домашней почтой. Вот перед моим отъездом она купила новый шкаф, я ей оставил записку и уехал.

– Ты ее любишь?

Гольдберг рассмеялся.

– Да ты остался таким же чудачком. Помнишь, ты нам читал свои сочинения? Я, думаешь, забыл? Наизусть помню до сих пор... Как это, сейчас скажу, честное слово... да: «Я вижу тех, кто при мертвящем равнодушии толпы упорно работали над открытием великой тайны природы. Я вижу, как Колумб, напряженно вглядываясь в пустыню океана, ведет корабль к неведомым берегам. Я вижу сильных и смелых, гибнущих в удушливом мраке тропических лесов и среди мертвой тишины Арктики. Они смотрели всегда вперед. Я вижу тысячи, тысячи умерших во имя счастья людей в тюрьмах и на каторге. Я вижу их спокойные глаза, когда они шли на плаху; я вижу их сжатые губы в гробу; я вижу, как улыбались они прекрасному будущему, глядя на приближавшуюся к их горлу петлю...» А? Хорошая у меня память?

А Морозов в это время говорил Ефремову:

– Слушай, Петр, хочется в Москву! Знаешь, хотя я устроен и машину получил, и снабжение на пять ять, – тоскую я там: я ведь москвич, коренной... Устрой мне это дело. Если от вас придет бумажка, Управление меня вмиг отпустит. Вас уважают, знаешь как! Тут только слово сказать.

Он посмотрел на Ефремова и рассмеялся.

«Чудеса! Чудеса!» – подумал он, вспомнив, что человек, могущий изменить его судьбу, три года назад считался самым сереньким среди его друзей. «Примитив вульгарис», – звал его Костя Алексеев, тогдашний вожак компании.

Ефремов мотнул головой и похлопал Морозова по плечу:

– Ты, Володя, не сердись, но это не выйдет.

Морозов крякнул и поморщился.

– Знаешь, на работе – прежде всего работа. Ты ведь нам не нужен, так, по существу дела, откровенно говоря...

Морозов внимательно посмотрел на него и рассмеялся.

– Значит, на заявление наложено: «Отказать»? Так, что ли? Вот, видишь ли, славный парень – это не ты...

Ефремов усмехнулся и сказал:

– Слушай, Володя, помнишь, я тебе лет пять назад письмо писал? Из больницы, мне операцию должны были делать.

– Ну?

– Я тогда затосковал, сам не знаю отчего: решил, помру от хлороформа, – ну вот, просил тебя прийти повидаться. Ты ведь ничем не рисковал, гривенником на трамвай только.

– Вот злая память! Ты, видать, мужик...

– Мужик, – подтвердил Ефремов. – Они, мужики, словам не верят, а насчет славного парня – это, брат, все декламация. Языком потрепать или по-обывательски поддержать приятеля, ты думаешь – это дружба?

– Ну тебя к черту! Давай выпьем!

– Морозов, Володька! – крикнул Гольдберг. – Ты лучше послушай, что Васильев говорит. Честное слово, интересно.

– Давайте, ребята, кончать! – решительно сказал Морозов и тихо добавил, обращаясь к Ефремову: – Я не сержусь. За что мы выпьем, Петя?

Ефремов хотел сказать: «За милую женщину», но закашлялся и проговорил:

– За то, чтобы все были здоровы.

«Ох и сокол!» – насмешливо подумал Морозов, все же помня неприятный разговор.

Вскоре после второго стакана они почувствовали веселье. Морозов подмигнул товарищам, полужакрыл глаза, покашлял и взмахнул рукой:

Ревела буря, гром гремел...

Оглушающе громко, точно желая перекрыть рев бури и гром, запели они.

У Ефремова слегка кружилась голова, жар обдавал его тело. Он, видно, опьянел, но ему казалось, как и тогда в театре, что тепло, и туман, и веселье – все это происходит оттого, что есть такой серый дом с узкими окнами и в этом доме живет милая женщина – Екатерина Георгиевна.

Гольдберг не пел. Задумавшись, он скорбно покачивал головой и негромко бормотал:

– А-а-а-а...

– Вот он, настоящий хозяйственник. Думаешь про шахту свою? – отдуваясь, спросил у него Морозов.

– Я отца своего, аптекаря, вспомнил. Жили мы в знаменитом местечке Талалаевке; он вот ни с кем не дружил; придет из больницы, ходит по комнате и поет: «Выхожу один я на дорогу...» И я сейчас только понял – он был несчастный человек.

– Вот что: шутки шутками, – решительно сказал Морозов. – Как у вас насчет дальнейшего веселья?

– Брось! – поморщился Васильев. – Люди три года не видались...

Но Морозов замотал головой.

– Ну нет, брат... Ты личность интеллектуальная, халдей среди халдеев, а я человек простой. Пойдем в ресторан, Гольдберг, а? Мы с тобой командировочные: это наша прямая обязанность. Одевайся, живо!

– Ну тебя! Не пойду, – сказал Гольдберг.

Морозов надел шубу и, распахнув ее, вытянув немного шею, начал наматывать кашне.

– Что ж, аскеты, мне одному идти или пойдет за компанию кто-нибудь? Нет? Ну, ладно! – и он пошел к двери.

– Давайте ложиться, уже второй час, – предложил Ефремов.

Он составил стулья, положил на них чертежную доску, постелил поверх старую солдатскую шинель, ловко заложив рукава под борты, а поверх шинели – два кожаных пальто: свое и Васильева.

– Гольдберг, ты пальто не жалеешь?

Гольдберг махнул рукой.

– Двухспальная, зефир, – сказал Ефремов, засовывая в наволочку летние брюки и рубахи.

Товарищи начали тыкать кулаками в постель и хвалить Ефремова.

– А Володька Морозов свихнется, я уверен, – проговорил Васильев.

– Ты б уж молчал! – покачав головой, сказал Ефремов. И ничего он не свихнется. Что ж, ему псалмы, что ли, петь? Ведь ты их тоже не поешь.

Они начали раздеваться. Ефремов босыми ногами, точно шагая по мокрому, подошел к стене и выключил свет. Было слышно, как шуршат одеяла и поскрипывают кровати.

– Папирос не хватило, вот беда! – сказал Гольдберг.

– Я на утро оставил три штуки, – сказал Ефремов, – а сейчас можешь мою докурить, я ничем таким не болен.

Гольдберг потянулся к меркнувшему огоньку. Он затаился и крякнул:

– Ну что ж, спать так спать!

А через минуту они оживленно и горячо заговорили о множестве вещей: о тяжелой промышленности, женитьбе, науке, дефицитных материалах, коллективизации, и разговор был живой, «плотный», точно они продолжали спор, начатый вчера.

– Ефремов спит... Ты спишь, Ефремов? – вдруг сказал Гольдберг.

– Спит давно. Он похрапывал, когда мы про научную работу говорили... А ты, конечно, не прав: познание мира, я уверен, что через сто лет будет главной целью человечества, эту мысль нужно уже сейчас иметь.

– И правильно делаем! – сердито сказал Гольдберг. – Познание – не самоцель, а средство борьбы с природой.

– Ты бесперспективный чудака... Через сто лет мы вплотную займемся астрономией, астробиологией и астрогеологией, может быть.

– Состоится разведка недр луны на предмет добычи полезных ископаемых... Вдруг она вся оловянная, твои внуки будут кушать персиковый компот из этих лунных банок.

– Чепухист ты! Мы создадим картину мира: страсть познания – она тогда будет сильней инстинктов питания и размножения.

– Познание познанием, а питание и размножение... Пстой, пстой, что это с ним.

Ефремов сдавленно закричал, потом быстро залопотал тоненьким, смешным голосом.

– Это с ним часто. А когда спросишь, он упрется: «Нет, ничего не снилось, ничего не помню...»

Когда они проснулись, Ефремова не было: он уехал на завод, а на стуле возле Гольдберга в полутьме зимнего утра белели две папиросы, сунутые мундштуками в коробочку спичек.

III

Ефремов часто виделся с Екатериной Георгиевной; они обычно встречались на улице и шли вместе в театр или гуляли. В один из выходных дней они пошли в Музей западной живописи.

Екатерина Георгиевна восхищалась Гогеном и каждый раз обращалась за сочувствием к Ефремову, а тот стеснялся сказать, что картины ему не нравятся и непонятны.

Картин было много, и, рассматривая их, он с беспокойством думал, что не испытывает радости волнения, не становится умней и лучше, глядя на все эти портреты и пейзажи.

И ему делалось неловко оттого, что картины знаменитых художников были ему безразличны, а женщина, ходившая с ним по залам, вероятно, полная слабостей и несовершенств,

восхищала, радовала и волновала его тысячами мелочей – легким скрипом туфель на высоких, тонких каблуках, шуршанием платья, тем, что покраснела и смутилась, когда сказала: «Вот Констебль», а стоящая рядом горбатая завитая старуха с лорнеткой насмешливо поправила: «Это Мане, а не Констебль, гражданка».

В этом маленьком путешествии по залам музея он умудрился проявить заботу, уберечь ее от пятившегося от картины молодого человека, уговаривал отдохнуть, спуститься на первый этаж в буфет.

– Петр Корнеевич, – сказала Екатерина Георгиевна, – вы сегодня необычайно галантны.

Он посмотрел на нее и закашлялся.

В одном из залов Ефремов остановился перед картиной Ван-Гога «Прогулка заключенных». По каменному двору, под высокими стенами ходили по кругу оборванные, заросшие бородами люди... Ефремов смотрел на клочок неба, на арестантов, на камень, на решетки, снова поглядел на клочок неба. Он отошел на два шага, потом снова приблизился. Ему было интересно смотреть... «Ходят, ходят, ходят», – подумал он. Потом он представил себе, как этих людей заводят в камеры и они с удовольствием вспоминают свою короткую прогулку по двору... Этот, худой, умрет через год, а тот, плечистый, дождется срока, но на свободе по ночам ему будут сниться эти стены, двор, кусочек неба...

Он стоял перед картиной и думал, грустно покачивая головой.

Когда они вышли из музея, Ефремов сказал своей спутнице:

– Знаете, такой вот Ван-Гог: очень действует сильно.

– Куда же теперь идти? – спросила она. – По домам?

– Рано, – сказал Ефремов, – а я себе отпуск дал на весь день...

И правда: было еще совсем светло. Быстрые, освещенные солнцем облака шли по небу. Весна уже была в воздухе, и даже ярко-белый, только что выпавший снег на карнизах и крышах домов глядел весенним, веселым.

Они пошли в сторону Пречистенских ворот, мимо забора, окружавшего храм Христа Спасителя, и свернули на Пречистенский бульвар. Ефремову было хорошо рядом с Екатериной Георгиевной, приятно было держать ее руку, поглядывать на ее лицо. Ему нравились ее ухо, щека, чуть-чуть обозначенный второй подбородок. Она говорила с ним насмешливо и снисходительно, но Ефремов не обижался, понимая, что это происходит от неловкости – вот они встречаются в четвертый раз, а он даже не знает, замужем ли она.

Оки подошли к памятнику Гоголя. Бронзовые волосы писателя были покрыты снегом.

– Точно намылили перед бритьем головы, – сказал Ефремов.

– Вот здесь мы прощались с вами в день знакомства, и вы сказали: «Нетрудящийся да не ест...»

– Это сказали уже до меня, – пробормотал Ефремов и подумал: «Все запомнила... значит... Ну и хорошо!... Ей-богу, женюсь!»

– Ох, боже мой, как вы покраснели!

– Может быть, в кино зайдем, Арбатское?

– Далее уши красные, – участливо и деловито сказала она.

– Или – в «Прагу»: пообедаем, а потом – в кино?

– А вы помните, как мы прощались осенью? Вы показали пальцем в небо и сказали, что наверху звезды. Помните?

Внезапный страх охватил Ефремова. Ясно – пришла минута другого, решающего разговора; женщина первой начала его и смеется, понимая неловкость и страх Ефремова. Он растерянно посмотрел на ее лицо – оно было милым и желанным, и Ефремову вдруг сделалось ясно: если этот разговор не состоится сегодня, сейчас, то все пойдет по-другому. А ведь он так мечтал о ней! Так часто на работе, в цехе, дома ночью, вдруг вспомнит ее глаза, шею, белые, красивые руки... Васильев повалится на кровать и заржет лошадиным голосом.

– Вы знаете, зачем я с вами хожу вообще? – спросил он, и казалось, вся Арбатская площадь ахнула, затаившись, смотрела на него.

– Что, что? – весело сказала Екатерина Георгиевна, поглядела на Ефремова и вдруг перестала улыбаться.

– Вы вообще знаете, зачем я хожу вообще? – снова резко переспросил он и не заметил нелепости своего вопроса.

– Право ж, зайдем в кино, – сказала она.

Все это со стороны должно было казаться смешным и странным, но для Ефремова не слова были важны: совершалось важнейшее событие в его жизни, он чувствовал это.

– Вы знаете? Вот и знайте! А я вот тоже знаю! – громко говорил он, крепко держа ее за руку и глядя ей в лицо.

– Тише, тише! Вы посмотрите: ведь кругом люди и все смотрят, – быстро сказала она и сжала его руку. Перчатка ее была порвана, и он почувствовал мягкость ее кожи, увидел ее растерянное, точно виноватое лицо, и ему показалось, что они стоят одни в глубокой, торжественной тишине.

В кино Ефремов, миновав длинную очередь, протянул в окошечко деньги. Никто не запротестовал: всем было ясно, что Екатерина Георгиевна не могла ждать.

Они сидели рядом, их плечи касались, и она не отодвигалась от него. Иногда она поворачивала к нему лицо: оно было сказочным, изумительным в мерцающем свете; он сидел неподвижно, боясь громко вздохнуть или пошевелиться, и смотрел на экран: картина казалась ему какой-то запутанной, не нужной никому чепухой.

Когда зажегся свет, Ефремов сказал:

– Пойдемте ко мне.

– К вам? – Она нахмурилась и удивленно посмотрела.

– Я вас хочу познакомить с Васильевым.

– Зачем же знакомиться?

– Ну как же, с Васильевым? Я хочу, чтобы он вас видел.

– Ах, какой вы чудак! Вы знаете: мне только в детстве люди казались такими.

– Какими?

– Ну, вот такими: серьезными, живущими всерьез... Что же, пойдём.

Видно, ей, самостоятельной, сильной женщине, нравилось слушаться этого человека.

Когда они пришли, Васильев сидел за столом и писал.

– Здравствуйте! – сказала Екатерина Георгиевна. – Мы вам мешаем?

– Что вы, что вы! Я давно уже прошу Ефремова познакомить меня!

Он пододвинул стул, чтобы ей было удобней снять боты, повесил пальто на вешалку, быстро задал ей несколько веселых вопросов.

«Да, вот он у меня какой!» – подумал Ефремов. Он гордился Васильевым, и ему хотелось, чтобы Екатерина Георгиевна восхищалась его товарищем, но еще больше он гордился ею, и, когда она начала рассматривать портреты, он посмотрел на Васильева: «Ну как? Что?»

Васильев возбужденно глянул на него, развел руками: «Тут уж ничего не скажешь», – и пригладил волосы.

– Вы знаете, товарищи, есть ужасно хочется; я ведь с утра не ела, – сказала Екатерина Георгиевна.

– А водку вы пьете? – спросил Васильев.

– Сейчас с удовольствием выпью рюмку; я совсем продрогла.

– Ого! Я думал, вы откажетесь.

– Почему это?

– Ну как же! Женщины, приходя в мужской дом, всегда говорят, что не пьют. Должно быть, боятся голову потерять.

– Нет, зачем? Я не потеряю головы.

– Что же, Ефремов, кто пойдет?

– Я! – сказал Ефремов, надевая пальто.

На мгновение Васильеву стало неловко оттого, что он остался с этой красивой, сразу понравившейся ему женщиной. Он подошел к столу и заглянул в открытую книгу.

– Вы где работаете? – вдруг спросил он.

– В Наркомтяжпроме.

– В каком качестве?

– Я старший экономист. Сказать, в каком отделе и сколько получаю?

– Нет, это уже детали. Вы замужем?

– Вы, очевидно, большой оригинал. Не все ли вам равно, замужем ли?

– Да, знаете, я не терплю разговоров о погоде. Мне интересно знать про вас, почему же не спросить?

Он пожал плечами и стал перелистывать книгу, чувствуя, как быстро бьется его сердце; ему хотелось, чтобы она сразу же поняла, какой он хороший, умный, тонкий.

– Вы меня простите, – сказал он, – у меня, должно быть, невращения, я ведь сейчас делаю диссертацию и одновременно руковожу большой работой в Институте: у меня ведь восемь младших научных сотрудников. Работы тьма!

«Ох, зачем я это все? – подумал он. – Решит, что хвастаюсь».

Он спросил:

– Вообще говоря, я круглый дурак, правда? Вы так думаете?

Она рассмеялась. А он уже не мог остановиться и говорил чепуху, говорил быстро, возбужденно, не понимая, почему это с ним происходит, и чувствуя, что не имеет силы остановиться.

Ему хотелось казаться лучше обычного, а он никогда в жизни не был таким пошляком и глупцом, как сейчас.

«Вот тебе облагораживающее влияние женщины!» – думал он, со страхом слушая то, что сам говорил. Он рассказал об очень лестном для себя разговоре с академиком Бахом; сказал, что Ефремов – ограниченный человек, жестикулировал и неестественно хохотал, а она внимательно слушала, изредка поглядывая на него.

Когда Ефремов, держа в руках свертки, вошел в комнату, Екатерина Георгиевна сразу оживилась, стала помогать разворачивать покупки.

– Батюшки! – сказала она. – Вы, видно, роту солдат собрались кормить!

Не спрашивая, она нашла тарелки, вилки, ножи, рюмки, бывшие в самых необычных местах. Васильев видел, как она поглядывала на Ефремова и как приятно было им вместе накрывать на стол.

«Какой огурчик!» – думал он, глядя на товарища, и сердился, точно тот нарочно учинил против него несправедливость. Весь вечер он сидел мрачный, зевая и все больше сердясь, так как ни Ефремов, ни Екатерина Георгиевна не замечали его дурного настроения.

После ужина Ефремов позвонил директору завода и попросил прислать машину, но оказалось, что машина была в ремонте.

– Зачем это все? Пойдемте пешком, – предложила Екатерина Георгиевна.

– Васильев, давай походим, – проговорил Ефремов.

И Васильеву показалось, что в голосе товарища была тревога.

«Вот пойду, назло», – подумал он, но сказал:

– Мне работать нужно, иди один.

Когда Екатерина Георгиевна вышла в коридор, а Ефремов задержался, надевая пальто, Васильев сердитым шепотом сказал ему:

– Избранник! Петенька Ефремов – лучезарный избранник! – и захохотал.

– Ты что это, обалдел? – спросил Ефремов и показал ему кулак.

Они вышли на улицу.

– Пойдемте переулками, – сказала Екатерина Георгиевна.

– Да, да, обязательно переулками, – поспешно согласился он.

Несколько минут они шли молча. Внезапно она остановилась и взяла Ефремова за руку.

– Мне и хорошо, и грустно сегодня. Я не верю, чтобы могло быть так хорошо, долго не может быть так.

– Может, может, может! – страстно говорил он и, сам не понимая, что делает, с чувством тревоги, стыда, радости обнял ее и начал целовать ее холодные щеки, виски, глаза, неловко повернулся и ударил ее в подбородок, но даже не заметил этого. А она обняла его за шею и поцеловала в губы.

Несколько мгновений они стояли молча, задохнувшись, смущенные.

– Здесь хорошо, – негромко сказала она.

Облака, отягощенные снегом, шли низко, над крышами: серый круг железной, зимней луны повисал над землей и вновь исчезал за облаками, и тогда они казались матово-белыми, светящимися изнутри. Тени бежали по крышам, стенам и окнам домиков – стекла то вспыхивали, то угасали, мостовая вдруг темнела и точно покрывалась золой.

– Вот здесь осталась старая Москва, – сказала Екатерина Георгиевна, не глядя на своего спутника. – Все эти Приарбатские, Ржевские, Кокоринские, Молчановки, Серебряный – путаница, тишина, домики в четыре окна... Я шла вечером с одним сослуживцем-старичком, и он все вздыхал: вот здесь церковь была, где я венчался, а сейчас тут трамвайные рельсы, а вот здесь, на площади, где провода, были окна моего лучшего друга, а сейчас там воздух.

– Вот уж! – сказал Ефремов, и собственный голос показался ему незнакомым. – Вот уж! А я иначе думаю: там моя бабка умирала на тряпье, а сейчас этот дом снесли и школу поставили; тут, в подвале, гвоздильный завод, где мой отец работал по двенадцать часов в сутки, а сейчас на этом месте скверик, где девушки с летчиками гуляют. Ну и очень хорошо! Какой-то странный был Васильев сегодня! Он не понравился, наверное?

Он говорил громко, как будто ничего не произошло. Когда они подошли к дверям ее дома, он спросил:

– Я зайду посидеть?

– Не поздно ли?

– Нет, не поздно, совсем нет.

– Мне тоже не хочется отпускать вас: вдруг уже не увижу. – Она открыла дверь своим ключом и шепотом сказала: – Соседи уже спят.

Они взялись за руки и прошли на цыпочках по полутемному коридору. На стене висел велосипед, поблескивая никелированными частями.

«Скоро лето», – подумал Ефремов.

В комнате стояли две кровати, обе одинаково застеленные белыми покрывалами; над одной висела маленькая полка с книгами. На столе лежали газеты, папки дел и раскрытый

портфель.

– Это кровать дочки, она сейчас гостит у моей сестры, – объяснила Екатерина Георгиевна.

– Как ее зовут?

– Лена. Она еще ходит в детский сад. – Она подошла к нему и, глядя прямо в глаза, сказала:

– Слушай, что это такое? Почему это, ты не знаешь?

Он смотрел на нее и чувствовал, как неловкость вдруг исчезла. Он был счастлив хорошим, веселым счастьем здорового человека и при ярком белом свете электричества сказал ей просто, без труда, как самому себе:

– Я тебя люблю, понимаешь? И дочку твою любить буду, и у нас с тобой будут дети. Ты не должна думать, что это так, шуточки. Это, может быть, навсегда.

– Милый ты мой! Ты мой милый... – медленно проговорила она.

Утром Екатерина Георгиевна прошлась босиком по комнате, постояла над пустой детской кроватью и жалобно проговорила:

– Леночка, твоя мама – дура и сошла с ума. – Потом посмотрела на себя в зеркало, нахмурилась, рассмеялась и, откинув со лба волосы, участливо спросила: – Что же это ты, Катя, влюбилась? – И начала плакать. – Я не понимаю, – говорила она, – как можно ждать двенадцать часов; и как хорошо, что женщины работают! Что бы я делала дома весь этот день?

Но ей не пришлось ждать двенадцати часов. В половине первого к ней на службу приехал Ефремов. Увидев его, она обрадовалась и смутилась, громко сказала:

– Какими судьбами?

– Паспорт с тобой? – спросил он.

– Да. Но зачем это?

– Едем сейчас в загс.

Она расхохоталась так громко, что сидевший за соседним столом усатый человек в зеленой гимнастерке перестал писать и тоже рассмеялся.

– Тебя не отпустят? – спросил Ефремов.

– Да, конечно, неловко как-то; и спешка зачем такая?

– Вот этот начальник, что ли, твой? – тихо спросил Ефремов.

– Заведующий отделом. Я его замещаю.

Ефремов подошел к человеку в гимнастерке и быстро сказал:

– Вы позволите товарищу отлучиться на сорок минут? Я уезжаю сегодня вечером в далекую командировку, у нас есть срочное и важное дело. Ну вот, отлично! – сказал он, хоть заведующий не успел еще ответить.

– Какая командировка? Это ты нарочно? – спросила она спускаясь по лестнице.

– Нет, я в семь часов уезжаю.

– Куда? Отчего? Надолго? Почему так внезапно? – спрашивала она, остановившись.

– Вызывают в Донбасс, очень срочно.

– А отложить?

– Отложить?

Он так удивленно переспросил ее, что она поняла – такая мысль даже не приходила ему в голову.

Они сели в автомобиль, и ее вдруг рассердило выражение радости на лице Ефремова.

«Вот сейчас скажу, что ни в какие загсы я не поеду, – подумала она. – Дико ведь после всего уехать в тот же день. Это мужской эгоизм. Право же! Как можно? Ведь нужно считаться со мной. И какая-то самоуверенность, а я сразу всему подчиняюсь, как девчонка. Осчастливил. Вот сейчас скажу: либо пусть откажется от поездки, либо никаких расписываний не буду делать».

– Послушай, – сказала она и посмотрела на него.

– Что?

– Нет, это я просто так. Как же я останусь одна?

И она погладила его по рукаву пальто.

– Хочешь, вместе поедем?

– Как можно? А работа?

Она замолчала. Ей снова хотелось рассердиться, но она не могла и начала ругать себя:

«Вот все мысли и планы о независимости, спокойной одинокой жизни разлетелись. А кто по ночам плакал, когда Ленка спала? Вообще, тут нельзя думать. О, господи, какая я гусыня!»

И она снова погладила его по рукаву пальто.

– Вот здесь станем, – сказал Ефремов шоферу.

Шофер посмотрел на вывеску у дверей, потом на своих пассажиров и усмехнулся.

– Что, завидно? – спросил Ефремов.

Шофер, худой человек в военной форме, насмешливо ответил:

– Вы, может быть, во второй раз? Тогда – завидно.

Ефремов весело сказал:

– Вот и врешь! В первый – и последний.

«Совсем деревенский парень!» – подумала Екатерина Георгиевна.

В маленькой комнате загса было много народу.

Какая– то старушка, поглядев на Екатерину Георгиевну, сокрушенно сказала:

– Ах ты, красавица какая! – и всхлипнула, видно решив, что она разводится.

– Погляди, – тихо сказала Екатерина Георгиевна, – прямо на лицах написано, кто куда стоит.

И правда: в похоронной очереди стояли большей частью заплаканные пожилые женщины; детей регистрировали молодые отцы, расписывающиеся были смущены и нарядны, а разводящиеся все, как один, усмехались.

В этой маленькой душной комнате люди совершали самые основные дела жизни, и разговоры здесь шли серьезные, грустные – уж очень невелико было расстояние от стола, у которого жизнь встречала новорожденных, до стола, где провожали ушедших.

Какой– то старик заговорил с Ефремовым, и Екатерина Георгиевна, восхищаясь, смотрела, как серьезно Ефремов отвечал.

– Да что вы, гражданин, с ним говорите, с бесстыжим анафемом, – вмешалась старушка, вздыхавшая о красоте Екатерины Георгиевны. – Вы его лучше спросите, как он дочерям своим в глаза посмотрит? Двое внуков уже. У-у-у, ты! – и она топнула на старика ногой.

Должно быть, оттого, что большинство людей, говоря о разводах, вздыхали и сокрушенно качали головами, Екатерина Георгиевна особенно нетерпеливо глядела на медленно приближающуюся к столу очередь. И все, что происходило в ее душе, здесь, в этой маленькой комнате, уже не казалось ей сложным и таинственным, а сразу сделалось простым, ясным и необходимым.

Наконец девица с пухлым лицом записала их фамилии в книгу и, потрянув челкой, сказала:

– Три рубля.

– Давай пополам, – предложила Екатерина Георгиевна, и каждый из них положил рублевую бумажку и полтинник мелочью.

Они вышли из загса под руку, серьезные и молчаливые. Шофер стоял подле машины.

– Пожелаю вам счастья! – сказал он.

Екатерина Георгиевна вдруг почувствовала, как сладко сжалось ее сердце, и на глазах у нее выступили слезы.

IV

В купе мягкого вагона, кроме Ефремова, сидели три человека: один – высокий, с суровым профилем Амундсена и с детским, слабым подбородком; второй – широкоскулый молодой человек, на ремне у него болтался фотографический аппарат; третий – небритый, страдавший одышкой.

Все трое ехали по одному делу; из их разговора Ефремов понял, что высокий – режиссер кино, скуластый – оператор, а небритый – писатель, автор сценария, по которому режиссер с оператором должны были снимать картину о Донбассе.

Они тотчас же открыли чемоданы и выставили на стол большое количество бутылок пива. Часть бутылок не поместилась на столе, и скуластый оператор, которого называли Мортирыч, положил их в сетку над головой.

– Товарищ, пивка? – предложил Ефремову режиссер и, увидев, что Ефремов хочет отказаться, живо добавил: – Нет, нет! Прошу вас, пожалуйста!

– Ладно! – сказал Ефремов. – Тут у меня закуска есть, не знаю только что: жена прямо к поезду привезла.

Попутчики почему-то не ахнули, узнав, что Ефремов женат. Это его удивило и немного обидело. Писатель выпил залпом стакан и сказал:

– Пиво холодное, в вагоне холодно, за окном холод... – Он посмотрел в окно, на поле, покрытое снегом, на тонкие деревья, колеблемые от самой земли до ветвей сильным ветром, и сказал: – Вот, кажется, из того леса выбежит лисица, а за ней выедет всадник в меховой шапке, доезжащий Ивана Грозного, затрубит протяжно в рог... Все поглядели в окно.

– Да, слабо топят, черти! – сказал Мортирыч и, смеясь, добавил: – И почему вы, Андрей Петрович, не написали сценарий из сухумской жизни? Там в апреле красота.

– Недоучел климатический фактор, старик, – сказал режиссер, – но я не жалею. Железное сердце страны! Ленты именно нужно вертеть про главное – уголь, сталь, хлеб.

– Жизнь, смерть, любовь, – добавил писатель.

– Да, за жизнь людей, – согласился режиссер. – Человека интересует человек. Законный интерес. Хорошая лента должна идти в глубину: покажите настоящий характер, сумеете передать простое чувство – вот задача.

– А кто орал про конфликты, драматические узлы, сценические ситуации? – спросил писатель.

– Я – до вчерашнего дня. Сегодня ночью я все понял. Сюжет чеховской «Степи» в том, как мальчика везли в школу учиться, а он в дороге простудился и заболел насморком. А под этим сюжетом – жизнь России, философия и печаль брэнного бытия. Вот так нужно работать!

– Да! Это – настоящее искусство, – сказал писатель.

– В ваших словах много правоты, – сказал Мортирыч, – вот только как мы с гостиницей устроимся: обязательно съезд какой-нибудь в Сталине.

– Съезд ударников угля, – подтвердил Ефремов.

– Ну, что ты скажешь! – проговорил Мортирыч. – Надо было бронировать из Москвы.

– А я уже отвык от всего этого, – вздохнул режиссер. – Сознаюсь: в последний раз выезжал из Москвы шесть лет тому назад.

– Ого! А я вот ездю много, – сказал писатель и, потеряв руки, добавил: – Слушайте, в вагоне-то прохладно, надо будет попросить у проводника два одеяла.

Ефремов взобрался на верхний диван.

«Сколько интересного народа на свете! – думал он, глядя на красивый профиль режиссера. И парень, видно, неглупый, и наружность у него настоящая. Могла б Катя влюбиться в такого? Квартиру нужно, заводской дом, кажется, к осени достроят. Мебель нужно, трельяжи. Печально с Васильевым расставаться. Шутка сказать – Васильев! Или уговорить его переехать вместе с нами? Да, наверное, могла б влюбиться в режиссера. Интересно, что Васильев ответит на письмо? Вот ахнет! И почему отказываться от ленинградской аппаратуры? Эта колонка дает почти теоретический выход».

Вдруг он подумал, что целую неделю не увидит Екатерины Георгиевны, захотел вспомнить ее лицо, голос – и не мог.

– Ох ты! – громко, почти испуганно сказал он и приложил руку к холодному стеклу, потом к груди.

Чувство тоски охватило его, ему мучительно захотелось вернуться. Ведь отъехали не больше пятидесяти километров – может быть, соскочить на ходу? За ночь он бы мог дойти до Москвы.

Он привстал, – проводник стелил нижние постели, попутчики курили в коридоре.

Только сейчас он по-настоящему понял, что произошло. Видеть ее, видеть, говорить с нею. Он задохнулся, точно ему нечем было дышать...

Ночью он беспокойно спал, часто просыпался и глядел через стекло, залепленное мокрым снегом. Его огорчало, что поезд все шел и шел, удалялся от Москвы, шел быстро; внизу тревожно позванивали пустые бутылки.

Утром он проснулся и отдернул занавеску. Поезд стоял. Он увидел молодую, зеленую траву, украинские хаты с мраморно-белыми стенами, освещенными солнцем; босые дети бегали вдоль поезда, поднимая к окнам кувшины с молоком, покрытым толстой шоколадной коркой. Он взглянул вверх и зажмурился, – солнце весны сияло на всем огромном просторе светлого неба.

Он широко осклабился, точно заглатывая весну, тепло, свет, подтянулся к стеклу, уперся в него лбом: оно было теплым. Окна верхнего этажа станционного здания были открыты настежь: молодая женщина, склонив голову, расчесывала волосы и поглядывала на пассажиров из темной, казавшейся прохладной комнаты.

Вскоре поезд тронулся. Попутчики внизу восхищались весной и теплом; режиссер то и дело, волнуясь, говорил:

– Тракторы! тракторы! Смотрите: тракторы! А вот керосиновые цистерны... грузовик... Ради бога, посмотрите: какие-то башни, а там провода уходят в поле... Что происходит в этой изумительной стране! – вкрадчиво, точно убеждая кого-то, говорил он. – Это, знаете... – Он закрыл глаза и пошевелил пальцами: – Это миллиарды, триллионы пудов тяжелой, страшной земли поднялись в воздух и сделали огромный прыжок, вместе с людьми, домами, садами прянули на пять веков вперед...

– А доезжачего и лисицы там не видно? – насмешливо глядя на писателя, спросил Ефремов.

А поезд все шел, по весенним полям, под весенним солнцем.

Ефремов раскрыл портфель и начал читать бумаги – полугодовой отчет донбассовского завода. Некоторые цифры восхищали его, другие вызвали недоумение. Со стороны могло показаться, что он читает письмо, полное неожиданных, веселых и неприятных новостей, а не отчет, на три четверти состоящий из цифр.

Вдруг над головой его раздался треск, теплые капли брызнули ему в лицо, залили бумагу.

Внизу захохотали. Мортирыч крикнул:

– Скорей, скорей, спасайтесь!

Оказывается, что из лежавшей на сетке бутылки выскочила пробка: оранжевое пиво, блестя на солнце, текло на пол, и рыжая пена, треща, лезла из зеленого бутылочного горлышка.

– Весна, пиво бродит, – сказал Ефремов, вытирая лицо и с удовольствием вдыхая хмельной запах.

– «Когда цветет виноград, играет старое вино», – есть такой роман у Шпильгагена, – сказал писатель.

– «Le vin est tire, il faut le boire» , – есть такая французская поговорка, – сказал режиссер.

Вино откупорено – его надо пить.

Мортирыч снял сверху полупустую бутылку.

– Давайте мы его, бунтовщика, без стакана, – и приложился к бутылке.

Ефремову захотелось, чтобы Екатерина Георгиевна сидела здесь рядом, щурясь от солнца, глядя в окно, слушая шутки режиссера, и он снова, как вечером, почувствовал тоску по ней.

Основа... Змиев... Балаклея... Святогорск. К пяти часам они подъехали к Красному Лиману.

– Ну, вот он, Донбасс! – сказал писатель. – Кончилось царство травы и деревьев. Здесь начинается страна дыма, угля, стали.

– Ну, какой же это Донбасс?! – сказал Ефремов. – Бассейн с Краматорской, а здесь еще Славянск, курорт.

Но и в Донбассе продолжалась весна.

Земля была вскопана. Заходящее солнце освещало ее спокойным, желтым светом. Казалось, что мир облит прозрачным медом. Рабочие в черных и синих комбинезонах, белоголовые ребята, женщины – все копали землю, строили изгороди, сажали семена. Обнаженные ноги женщин казались молочно-белыми на фоне жирной, черной земли. Огороды были всюду – они смело зеленели у огромных заводских зданий, полных темного огня, они вползали между домиками поселков; часто густой, черный дым из заводских труб застилал землю, и казалось, что земля клубится, движется...

– Какая сила! – говорил режиссер. – Дым, железо, и тут же рядом – женщина, светлая зелень и мужья, только что вышедшие из огня.

– Да, боюсь только, что дым сожрет эту зелень, – сказал писатель.

– Нет, зачем? – возразил Ефремов. – Пишут, что за границей дымовые газы отводят в парники и получают богатые урожаи. Дым – ведь это углерод: из него строятся растения.

– Ах, черт! Цветы из дыма – это красиво.

– Да, цветы из дыма, – повторил Ефремов. – Таких примеров много можно подобрать. Чего, кажется, гаже – трупное сало? А из него динамит можно сделать. Как загремит, во славу жизни!

И он огорчился, что сказал интересное, а жены не было, чтобы послушать.

Они приехали в Сталине поздно вечером. Дрожащие огни рудников сияли как скопления звезд, фонари далеких шахт смутно белели молочными туманностями.

Перед вокзалом на круглой площади стояли машины. Ефремов обошел их, и один из шоферов, молодой парень, помахал перчаткой и радостно, точно родственнику, закричал:

– Сюда, сюда!...

В прошлогоднюю поездку этот парень возил Ефремова в пароконной пролетке.

Он сел в машину рядом с шофером, с удовольствием прижался спиной к прохладной подушке. В длинной очереди к автобусу он вдруг увидел своих попутчиков и предложил их подвезти в город.

Они всю дорогу ругали каких-то людей, все перепутавших и забывших, и были так огорчены, что даже не посмотрели на величественные темные терриконы Ветковского рудника, на гирлянды огней Смоляниновской шахты, на огромное зарево над металлургическим заводом... Вскоре они въехали в город, и прохладный степной ветер сразу исчез, а воздух сделался теплым, почти душным, как летом.

Подъехав к гостинице, Ефремов спросил шофера:

– Как там: начальство еще на заводе?

– А где им быть? – рассмеялся шофер.

– Тогда подождите пятнадцать минут, я вместе с вами поеду.

Он спросил у дежурного ключ от заказанного для него заводом номера и поднялся на второй этаж. Войдя в комнату, он посмотрел на кровать, застеленную свежим бельем, на откинтое мягкое ухо одеяла и сокрушенно сказал:

– Надо в Москву спешить, товарищ.

Ефремов разделся, осмотрел свои голые ноги и ужаснулся тому, что они волосатые. Никогда он не замечал, что его ноги так некрасивы.

«Что делать? – подумал он. – Мазаться дымящей серной кислотой?»

В комнате было очень тихо, все предметы крепко стояли на своих местах, и от этого кружилась голова. Вот, казалось, снова застучат колеса, задребезжат бутылки в сетке, стакан поползет со стола.

Вода в умывальнике была свежей, ледяной. Он долго мылся, было приятно обливаться перегретое, потное тело. От холодной воды у него вдруг застучали зубы. Потом, когда он вытерся и надел свежую сорочку, захотелось спать. Он оделся, взял портфель и пошел к двери.

Внизу, возле девицы-портье, дремали на чемоданах писатель и режиссер, а Мортирыч басом говорил в телефон:

– Ответственный дежурный обкома... с вами говорит личный секретарь писателя Ковылина... Ну да, конечно, московская группа... Сидим на чемоданах. Вот спасибо, товарищ. Он ведь совершенно измучен дорогой. Эй, дежурная товарищ! Пожалуйста! – весело сказал он. – Вас из обкома просят к телефону.

Ефремов вышел на улицу; шофер и два красноармейца сидели на ступеньках, грызли семечки, а перед ними стояла молодая женщина и сердито говорила:

– Тьфу на вас, Миша! А еще партийный – и такие слова! Вот я вашей жене скажу.

– Ну и скажи, в чем дело! – задорно отвечал шофер, а красноармейцы с восторженным выражением смотрели на него.

– Что ж, товарищ Миша, поедем? – спросил Ефремов.

– Ну и что: поедем! – задорно, точно споря, сказал Миша и поднялся.

Они проехали мимо белых лабазов, освещенных электричеством.

– Вы думаете, дорога как в прошлом году? – сказал шофер. – К нам шоссе прошло – в самый завод.

– Ну, а вообще что? Как живется? – спросил Ефремов.

– Вот, пожалуйста! – ответил шофер. – Просто скажу тебе: подумаю иногда про жизнь – и смешно делается. Верно, смешно! Мы с отцом в Донбасс пришли, я еще маленький был; ночью на станцию приехали, я, как посмотрел на завод, заголосил: «Пожар! Небо горит!» Ей-богу! И вот как испугался – и ни в какую: шахты боюсь, завода боюсь, даже не подхожу. Определился на конный двор, состоял там, ну, просто сказать, кучером, а сейчас вот, сам видишь.

Ефремов все поглядывал по сторонам: великая сила завода и шахт чувствовалась во всем – и мощный гул воздуходувок, и зарево, охватившее добрую половину огромного степного неба, и рев паровозов, и яркие дуговые фонари, и голубые, пугающие вспышки автогенных аппаратов, и даже воздух, весь пропитанный острым, волнующим запахом гашеного кокса, – все свидетельствовало о работе многих тысяч сильных людей.

– Да, товарищ Миша, – сказал Ефремов и рассмеялся: – А я вот, знаешь, позавчера женился.

– Ну? Верно? – испуганно произнес шофер и даже затормозил машину.

Ефремову понравилось, что шофер так горячо отнесся к важному для него событию.

Площадь перед заводом была ярко освещена. Ефремов вошел в комнату коменданта и сел у стола. Пока дежурный звонил по телефону, проверял документы, выписывал пропуск, Ефремов прислушивался, как где-то совсем рядом шумел, вздыхал, тяжело шевелился завод.

Наконец он прошел на внутренний двор, оглядел многоэтажную громаду коксовых батарей и вошел в цех. Стены, изразцовый пол – все было бело, ярко освещено электричеством.

В цехе была тишина. Только возле поблескивавших аппаратов ходил человек в синем халате, поглядывая на дрожащие стрелки индикаторов.

Ефремов прошел в маленькую комнату со стеклянной стеной, выходящей в цех; там за столом сидели три человека в халатах, словно кудесники, жрецы чудесной науки химии. Они подняли головы – у всех троих, точно у братьев, были курносые русские лица и круглые голубые глаза. Сидевший посередине громко чихнул и засмеялся:

– А, вот она, Москва!

– Здравствуйте, товарищи! Что ж это вы, а? – сразу раздражаясь, сказал Ефремов и пожал руки сидевшим. – Я просто не верю, что ваша записка была объективной.

– Вот она, Москва какая! – сказал сидевший посередине. – Вы раньше садитесь.

– Да, Москва сердится, – сказал второй.

– Москва, Москва... – хрипло сказал третий и показал Ефремову горсть маленьких золотых луковиц. – Видишь, завтра сажать у себя в огороде буду.

Халат его распахнулся, и Ефремов увидел на светлом пиджаке два ордена. Это был директор

завода.

Глядя на круглые, тяжелые ордена Красного Знамени, Ефремов сердито и упрямо сказал:

– Москва, Москва, а записка-то все-таки необъективная.

Они начали спорить, потом пошли в цех, потом перешли к директору в кабинет. Все они, казалось, хотели одного, но у каждого было свое мнение.

– Можно, можно, товарищи, ваши мощности позволяют, – говорил Ефремов. – Тут ведь расчет простой очень, даже немного остроумный, арифметический: могу вам в пять минут все доказать.

Он усмехался, был спокоен и действительно доказал то, что хотел, – хриплый директор удивился, а главный инженер сердито сказал:

– Я свою точку зрения докладывал в наркомате.

Ефремов уехал с завода поздно ночью и, подъезжая

к городу, почувствовал, что очень голоден.

Дежурный в гостинице сказал ему, что ресторан еще открыт, и Ефремов спустился в просторный сводчатый подвал.

– Эй, милый друг, давайте сюда! – окликнул его знакомый голос.

За столом сидели попутчики. Ефремов подсел к ним и заказал официанту свиную отбивную и пива.

– Вы вообще до скольких? – спросил он.

– До полтретьего даже, хозяйева со слета после двенадцати приходят пиво пить, – ответил официант.

– Смотрите, смотрите! – сказал режиссер, показывая рукой на большую группу людей, вошедших в зал.

Официанты забегали, неся высокие большие кружки, увенчанные шевелящимися холмами пены. Пришедшие были различно одеты, они были разного роста, одни – лохматые, другие – бритоголовые, но у всех у них было какое-то общее выражение в спокойных темных лицах, в уверенных, громких голосах. И когда кто-нибудь из них в разговоре ударял ладонью по столу, тяжелые пивные кружки дребезжали.

Сидевшие за соседним столом смеялись над одним из товарищей, которому на заседании председатель треста подал насмешливую реплику.

– Ну что ж, Поруков, – спрашивали с другого конца зала, – а ты ему не срезал?

Порукова, видно, не очень трогало происшедшее. Отодвигая дыханием пену, он пил пиво и поглядывал поверх стеклянного обода кружки спокойными и насмешливыми глазами.

– Да, народище! – негромко сказал писатель. – Такой вот Алеша Попович – Поруков хлопнет тебя кулаком, и душа сразу расстанется с телом.

Ефремов повернулся к соседям и спросил:

– Что же это, товарищ Поруков, было? Расскажите!

Он подсел к шахтерам, и они оживленно заговорили об угле, огородах, врубовых. Он расспрашивал, хорошо ли работают женщины под землей. «Вполне хорошо», – говорили соседи. И Ефремов был очень доволен, что женщины работали хорошо.

Когда официант принес ему котлету, он снова вернулся к попутчикам.

– Что, друзей старых встретил? – спросил Мортирыч.

– Нет, я их впервые вижу, – ответил Ефремов. – На редкость хорошие парни.

Голоса людей становились все громче, все быстрее, бегали официанты, все гуще делался голубой туман над головами сидевших, лампа потускнела и, точно луна, ушла в облака. И вдруг сделалось тихо, все лица повернулись к двери. Под каменной аркой стоял курчавый широкоплечий человек, с очень широким, молодым лицом, с широким, низким лбом.

– Никита, сюда иди... сюда! – закричали с разных сторон.

Человек неторопливо шел, ловко продвигая свое большое тело между стульями и столами, пожимал огромной рукой десятки рук. Верно, так же уверенно и неторопливо он, полуголый, потный и черный, протискивался между тесными стойками в глубоком угольном забое.

Музыканты встали со своих мест и, провожая вошедшего глазами, заиграли марш. Все подняли кружки.

– Да, вот этот человек работает лучше всех! – задумчиво проговорил писатель. – Подумать только: первый рабочий в огромной рабочей стране!

– Рубенс! Рубенс! – сказал режиссер. – Только Рубенс, певец человеческой мощи, должен снимать ленту в Донбассе. Теперь-то я понял все. Это гармония силы! Вот все эти люди веками создавали великую мощь человечества. Они «владеть землей имеют право», и они ею завладели.

– Верно, товарищ! – сказал Ефремов и подумал: «А не зря деньги получают художественные ребята».

Ему было хорошо: он чувствовал себя победителем, эта весна была его весной, черт возьми! Он женился в первый месяц первой весны, весны, охватившей всю его страну. И ему казалось, что заводы так велики, и солнце так ярко светит, и так хорошо горьковатое пиво, все хорошо – оттого, что он, Ефремов, счастлив.

– Взгляните-ка, – сказал режиссер, – вот вам совсем неожиданное явление: хилый провизор, мастер клистиров и глистогонных средств, вошел в храм силы.

Ефремов посмотрел и радостно расхохотался.

– Гольдберг Миша! Гольдберг! – закричал он.

Маленький, тощий человек оглянулся и замахал руками. Режиссер с удивлением смотрел, как человек шел к их столу. Все, оказывается, знали его.

– Сюда садись, сюда! – говорили со всех сторон.

– Что ж, мы с тобой каждый день будем встречаться? – спросил Гольдберг, подойдя к товарищу.

– Выходит, да! А ты, брат, за этот месяц совсем какой-то зеленый стал.

– Работы порядочно: я ведь теперь и управляющий, и главный инженер.

– Ну, а вот товарищ думал, что ты провизор.

– Провизор? – Гольдберг весело посмотрел на режиссера. – Вы почти угадали: мой отец был провизором.

Режиссер улыбнулся и поклонился, прижав ладонь к груди.

Они выпили по кружке пива и поднялись наверх. В темном коридоре Гольдберг споткнулся, сердито сказал:

– Ну-ну, в шахте никогда не спотыкался, а здесь второй раз уже – гроб какой-то. И крысы здесь. Ты вот к нам на рудник приезжай, мы гостиницу построили! Сосной пахнет.

Они вошли в комнату. Ефремов распахнул окно.

– Ну что, надолго в наши края? Нового ничего? – спросил Гольдберг.

– Женился.

– Ты? Ну да?

– Ей-богу! Вчера или позавчера, вернее.

– А Васильев что?

– Что? Ничего.

– Что ты говоришь? Ну и как, что? – Гольдберг подошел к Ефремову и посмотрел ему в лицо: – Значит, не поедешь со мной? Спешешь обратно?

– Да уж сам понимаешь.

– На один день, а? Я тебе покажу замечательную шахту, стадион, сосны у нас растут, – ни у кого не растут, а у нас – да – песок подсыпаем. А какая весна у нас! Честное слово, поедем, я глазам своим не верю: это же первая настоящая весна в Донбассе! Ты понимаешь – весна всюду! Под землей весна! Ну, хоть переночуешь у меня, а?

– Нет, брат, как-то не могу.

– Я вижу, что не можешь, – и по глазам, и по голосу, и по носу видно...

Ефремов мотнул головой и рассмеялся.

– Ты лучше в Москву приезжай, я вас познакомлю. И жену свою привози. Домами будем встречаться.

– У меня ушла жена, – сказал Гольдберг и покашлял. – Когда я вернулся из Москвы, ее уже не было, письмо оставила и шкафы все оставила, а сама уехала.

Он подошел к раскрытому окну, долго смотрел на весеннюю полную холодных огней ночь. Ефремов положил ему руку на плечо.

– Ты прости, Миша, я не знал, – тихо сказал он.

Гольдберг рассмеялся:

– Ну-ну, брось! У тебя такое удивленное лицо, как у того человека, который меня принял за провизора. Теперь – что, а в первое время вот чувствую: не могу – и все.

Лена замечала, что мать изменилась. Она заметила это сразу, еще на вокзале, когда, подбежав к Екатерине Георгиевне, закричала:

– Мама, мама, я научилась прыгать на одной ножке! – и мать рассеянно ответила:

– Идем, доченька, дома обо всем расскажешь.

Дома мама вела себя, как случилось вести себя однажды Лене, когда, оставшись одна, она решила убрать комнату и разбила круглое зеркало. Она легко раздражалась, беспричинно лезла целоваться, два раза плакала.

Утром, когда мама ушла на работу, вошла соседка, Вера Дмитриевна, старшая по квартире, и рассказала Лене, что мать выходит замуж.

– Вы врете, – сказала Лена.

– Сироточка бедная, не вру я, сама все своими ушами слышала, – говорила Вера Дмитриевна и гладила Лену по волосам.

Потом она сказала Лене, какое теперь время: женщины поживут с мужем год-два, народят детей – и разойдутся, а бедные младенцы мучаются и терпят.

– Вот чем твой папаня плохой? – спрашивала Вера Дмитриевна. – Молодой, красивый, устроенный хорошо, а она его кинула, а этот, второй, – маленький, невидный, против твоего папы он ничего не стоит. Зачем она папу твоего мучит?

Лене стало очень страшно от этих разговоров; она сидела тихо, округлив глаза, сложив руки на животе, и губы у нее дрожали. Она понимала, что мама виновата и ведет себя постыдно. Но еще больше ей становилось жутко от своей беспомощности; так жутко ей сделалось раз на Театральной площади, когда она потерялась в толпе и мгновение стояла, боясь плакать, чтобы не обратить на себя внимание чужих людей, и в то же время понимая, что только эти чужие смогут разыскать ее маму. И сейчас она не могла плакать.

Днем старичок-почтальон принес для мамы телеграмму. Не распечатывая, соседки ловко отвернули краешек телеграммы, прочли по складам и начали смеяться. Тогда Лене стало жаль маму, точно она была совсем маленькой, меньше соседской Люськи. Она заплакала. Потом она поймала в коридоре соседского котенка, – в Москве все изменилось к худшему за месяц ее отсутствия, – и котенок вырос, сделался почти взрослым, худым и некрасивым. Лена решила, что он болен и заброшен, как мама, и запеленала его в платок, но котенок не хотел спокойно лечиться на постели – он выпрастывал из платка грязные когтистые лапы, бил хвостом и кричал неприятным, злым голосом.

Мама пришла к обеду и, не поцеловав Лены, распечатала телеграмму.

– Ну, что ж это такое? Я больше не могу ждать! – сказала она плачущим голосом и сердито бросила портфель.

Лена уже знала, что было написано в телеграмме:

«Задержусь два дня товарища, причина серьезная».

Девочка, притаившись, смотрела на мать – она была по-прежнему хорошей и красивой, от нее шло тепло и пахло цветами, и это было очень страшно, уж лучше бы у нее на лице сделались прыщи или нос раздулся красной картошкой, как у дедушки.

Должно быть, с похожим чувством любящие люди смотрят на молодую, красивую женщину, не подозревающую, что она больна смертельной болезнью.

За обедом мама сказала, что гулять сегодня нельзя, – сильный ветер и снег.

Лена рассказала, что тетя Женя, у которой она гостила, ссорилась с дедушкой за то, что он приучил Керзона во время обеда лазить лапами на стол и что мужа Кости никогда нет дома: он все ездит на посевную кампанию. Она ни слова не сказала матери про «то», и мать ей ничего не сказала.

Вечером приехала Клавдия Васильевна, мамина подруга, стриженная докторша, с красным лицом. Мама очень обрадовалась и тотчас же стала укладывать Лену спать. Но Лена спать не хотела, она тоже любила Клавдию Васильевну и хотела с ней поговорить.

Лена болтала ногами, не давая снимать с себя ботинки, а мама стояла перед ней и упрашивала:

– Ну, Леночка, ты ведь уже большая: надо слушаться.

– Да, у тети Жени я ложилась в одиннадцать, – плаксиво возражала Лена.

Наконец она разделась и после всех горестей и волнений даже всхлипнула – такими приятными ей показались теплая постель, мягкая подушка, знакомое голубое одеяло с пуговицами. Она подогнула колени, ухватила себя за палец ноги, потом вытянулась, рассмеялась и снова свернулась калачиком, подтянула колени к подбородку. Потом она посмотрела на маму, сразу все вспомнила, горестно вздохнула и, закрыв глаза, притворилась спящей.

– Спит? – спросила Клавдия Васильевна. – Я получила твою открытку и испугалась, думала – она заболела.

Екатерина Георгиевна посмотрела на Лену и, улыбаясь, покачала головой.

– Ну, ничего! Давай сядем у окна, я шепотом буду, она не спит еще.

«Нет, сплю», – сварливо хотела сказать Лена, но удержалась.

Они сели рядом, поглядели друг другу в глаза и рассмеялись.

– Понимаю, все понимаю, – сказала Клавдия Васильевна.

– Клава, милая, ты не поверишь, в загсе уже была. Какое-то сумасшествие!

Клавдия Васильевна когда-то, пятнадцатилетней девочкой, влюбилась в студента-квартиранта, но после она увлеклась книгами, испортила зрение, надела очки, и подруги думали, что за всю жизнь она ни разу ни с кем не целовалась; она же относилась к увлечениям подруг иронически.

В глубине души Клавдия Васильевна, женщина смелая и решительная, специализировавшаяся по хирургии раковых опухолей, удивлялась и даже ужасалась тому, с каким безрассудством другие женщины влюбляются и сходятся с мужчинами, но она никому не говорила об этом и даже, наоборот, старалась показать, что для нее все эти вещи понятны, как поступки детей для педагога.

– Рассказывай, рассказывай, Катюша, – сказала она, – что за человек, как и что?

– Что же рассказывать? – сказала Екатерина Георгиевна. – Ну как тебе рассказать? Все произошло совершенно внезапно. Ты ведь знаешь мои планы: собиралась учиться, задумала огромную программу, я ведь решила Электротехнический кончить заочно: это огромная работа, ругаю себя «дурой», «гусыней» и все мучаюсь – зачем я это сделала, так было все ясно и спокойно.

Клавдия Васильевна рассмеялась, она знала, что все разговоры о любви начинаются именно так.

– Ну и что же, Катюша? Если он настоящий человек, он не помешает тебе и, может быть, поможет даже...

– Да, я это тоже думаю, – оживленно сказала Екатерина Георгиевна. – Он человек замечательный, ты ведь знаешь моего первого мужа, ну вот: полная противоположность. Нет, ты даже не поверишь, как это со мной случилось! Ну, он сильный человек, понимаешь, вот просто настоящий человек, я как-то сразу поняла: вот во всем настоящий человек, я даже не знаю, как это тебе объяснить, – вот ему можно верить, как я маме в детстве верила, – понимаешь? Он член партии, был на войне, теперь он главный инженер на заводе, из хорошей рабочей семьи, между прочим и сам был рабочим, и представь себе: некрасивый, небольшого роста, то есть объективно некрасивый, а для меня – ну, вообще глупости... Ну, вот понимаешь: я вот тоже думала – человек он чистый, честный, серьезный, наконец, мне его помощи не нужно, но если случится что-нибудь, какая-нибудь заминка, он мне по-товарищески всегда может прийти на помощь.

Она говорила и радовалась, что все происшедшее имеет разумное и простое объяснение, а в душе у нее было беспокойство, что говорит она совсем не про то и что нужно рассказать, как они ночью гуляли и как вдруг поцеловались в переулке.

Клавдия Васильевна смотрела на нее и думала:

«Господи, ну как же можно быть такой красивой! Мне бы хоть глаза такие или голос! Женщина она – во всем женщина!»

Потом она погладила Екатерину Георгиевну по волосам и сказала совсем тихо:

– Катюша, милая, зачем ты врешь на себя все? Ведь я тебя знаю: ни о чем ты не думала – взяла и влюбилась.

– Да, – сказала Екатерина Георгиевна, – правда: взяла – и влюбилась. – Она обняла Клавдию Васильевну и, глядя ей в лицо, смеясь, сказала: – Да, правда: вот взяла да и влюбилась... Клава, милая моя, ведь, ей-богу, это самое лучшее, что есть в жизни: вот так – рассудку вопреки, без плана и логики... Он ведь уехал, и я вот думаю: приедет, посмотрю на него – и умру сразу. И ничего не нужно. Я на работе очень честолобива, – знаешь ведь, ты меня ругала; а теперь и честолобие свое потеряла. Вчера Караваев говорит: «Товарищ Щевелева, стоит вопрос о том, чтобы послать вас на месяц в Ленинград, вас – вместо Краморова», а Краморов – крупный специалист, написал две книги, по ним курс студенты учат. В другое время я бы обрадовалась, а сейчас сказала ему: «Не хочу ехать в Ленинград». А голова все кружится, вспомню, подумаю... и знаешь – все вспоминаю переулки какие-то... снег... памятник, ну совершенно сошла с ума, и только бы он поскорей приехал... И знаешь, какое-то хорошее чувство, когда мы вдвоем – никого больше нет, а раньше все казалось, с Гришей, что нас четверо, – ей-богу, ты прости меня, что говорю о таких вещах, – но вот двое целуются, а двое смотрят и замечания насмешливые делают. А тут – как в дремучем лесу.

Клавдия Васильевна покраснела, начала сморкаться и сердито, по-старушечьи бормотать:

– Ах, черт, черт, что такое!... Ну и очень хорошо! Дура ты, счастливая дура!

С постели слышались всхлипывания, внезапно перешедшие в громкий рев:

– Уйди, уйди от меня! – кричала Лена.

Злое, деспотичное существо задыхалось от слез; глаза его были пугающие, не детские, а маленькие худые руки так слабы и беспомощны, что Екатерина Георгиевна совсем растерялась и, став на колени перед кроватью, говорила:

– Я не буду, дорогая моя, не буду! Клянусь тебе, не буду!

Больше часа успокаивали они девочку, и, когда та наконец заснула, Екатерина Георгиевна не хотела уже говорить о любви и арбатских переулках, о тихом снеге, падавшем при смутном ночном свете. Она смотрела на лицо девочки, на ее вздрагивающие губы, печально покачивала головой, и жизнь ей казалась запутанной, непонятной.

Клавдия Васильевна посидела еще немного, рассказала подруге о делах в клинике, об интересном хирургическом случае, о своей ссоре с председателем месткома, простилась и ушла.

Выйдя на улицу, она остановилась и закурила папиросу, глубоко, с удовольствием затянувшись. К ней подошел человек с поднятым воротником пальто и спросил:

– Простите, вам не скучно так одной стоять?

Голос у него был развязный, а лицо испуганное, точно его кто-то заставил подойти.

– Проваливайте, дурачье! – басом сказала Клавдия Васильевна и зашагала в сторону Неглинного проезда, чувствуя, как краска девичьего стыда горит на ее щеках.

На следующий день Лена снова не пошла в детский сад – болело горло, а небо было в тучах, лил дождь; она стояла у окна и прижималась носом к стеклу; когда стекло нагревалось, она передвигала нос в холодное место. Играть ей не хотелось, иногда она закрывала глаза и вздыхала. В дверь постучали. Лена подняла голову – перед ней стоял отец. На нем была потемневшая от дождя шляпа, широкое и длинное пальто.

– Папа, папа! – закричала она и, подбежав, прижалась щекой к мокрому ворсу пальто.

Он разделся, сел на стул и, глядя Лену по голове, осматривал комнату.

– Мама здорова? – спросил он.

Лена, полуоткрыв рот, смотрела на его белое лицо и высокий лоб.

Все соседи говорили, что у нее такие же большие карие глаза, как у папы, значит, она тоже красивая.

– Мама здорова? – снова спросил он и вынул портсигар.

– Да, она скоро придет, ей обед нужно варить, – ответила Лена и, подумав, добавила: – Мама не позволяет здесь курить, у меня слабые легкие.

– Ну не буду, не буду! Ты почему такая худая?

– Я целый месяц гостила у тети Жени, только вчера вернулась, мне полбилета взяли.

– Да что ты! Мама поздно приходит? – Он зажег спичку и закурил.

– А когда я туда ехала, мне четверть билета взяли. Мне дедушка подарил альбом, старый, но еще очень хороший.

– Что нового у мамы?

– Не знаю ничего. Папа, почему ты так редко приходишь?

– Что? Да ты слушай, что тебя спрашивают, и отвечай на вопросы. К маме гости ходят?

– Не знаю, папа. Ты меня обещал покатать на автомобиле, еще тогда, забыл, папа?

– Я слышал, она замуж вышла, правда? – спросил он и зажег сразу три спички.

Лена заплакала и отошла к окну.

– Так, так, – сказал папа и вздохнул: – Ну, и чего ты плачешь, девочка? Это мне нужно плакать, а не тебе.

Лена заплакала громче и стукнулась лбом о стекло. Она плакала, боясь посмотреть на отца, и слышала, как он ходил по комнате, закуривал и разговаривал сам с собой; ей хотелось, чтобы он подошел, успокоил ее, но он все ходил да ходил.

– Тэк, тэк, молодые люди! – говорил он. – Все чудно! Все очень чудно, молодые люди!

Девочка смотрела в окно: все было совсем не чудно в этот туманный, темный день.

Она любила мать и отца. Мать входила во всю ее жизнь, мать была в теплоте ее одеяла, в болтовне перед сном, в веселой игре во дворе, в сладости пирожного, в слезах, в сказках, которые она сама себе рассказывала... А отец был самый умный, красивый и сильный. Он красиво зажигал спички, красиво дымил папирсой, ей хотелось сесть к нему на колени и смеяться над всеми вражескими девочками. Они оба были ей необходимы и оба принадлежали ей, хотя папа жил год на другой квартире. Она его любила и не обижалась на него за то, что он в каждый свой приход обещал ей замечательные вещи и ни разу не выполнил обещания.

Папа все ходил по комнате, а Лена стояла у окна и плакала.

Он остановился, прислушался и сказал:

– Вот, кажется, пришла, – посмотрел в зеркало, нахмурил брови и снова закурил.

Мама вошла в комнату и сказала неожиданным для Лены спокойным и веселым голосом:

– А, здравствуй!

Папа покашлял и проговорил:

– Да, надо с ребенком повидаться.

Он помог маме снять пальто, и она, стоя к нему спиной, сказала:

– Боже, как ты надымил!

Папа посмотрел на новую мамину прическу, и у него сделалось такое лицо, что Лена обмерла: ей казалось, вот он полезет драться. Но он только повесил пальто на гвоздик.

– Только одну папирску, – сказал он, – ты после проветришь.

– Леночка, что с тобой? Ты опять плачешь? – сокрушенно сказала мама. – Что с тобой делать, прямо не знаю!

– Я думаю, что все происходящее для ребенка вреднее, чем дым от папироски, – сказал папа и прошелся по комнате.

Мама посмотрела на него, потом на Лену и сказала:

– Вот оно что... Как же одну папироску? Тут четыре окурка. Леночка, пойдя принеси из кухни корзинку с картошкой.

Когда Лена вернулась, у мамы на глазах были слезы.

– Ну, ничего я не могу, – говорила она. – Это кончено навсегда, понимаешь. И не спрашивай меня – почему. Я – женщина; ты ведь мне всегда говорил, что я – женщина, и я не могу тебе сказать, почему женщина разлюбила и почему полюбила.

– Сила! – сказал папа и взялся руками за волосы. – Я знаю, что тебя привлекает: сила! Сила! О, эта сила! Я ведь знаю, я еще помню...

– Леночка, – сказала мама, – пойдя, доченька, возьми синюю кастрюльку, она у тети Веры.

VI

В выходной день Екатерина Георгиевна поехала на Курский вокзал встречать мужа. Она боялась опоздать, так как, прежде чем выйти из дому, долго наряжалась и смотрела в зеркало. При каждой задержке трамвая Екатерина Георгиевна приподнималась с места, смотрела в окно, а стоявший рядом старик думал, что она сходит, и норовил сесть.

«Если задержится у Земляного вала, значит, опоздаю, и вся наша жизнь будет плохая, – загадала она, – а проедет без остановки, все будет хорошо, до самой смерти, и Ленка его полюбит».

Трамвай подошел к Земляному валу и остановился. Какой-то парень вошел в вагон и весело сообщил пассажирам:

– Надолго, граждане! Трамваи до самого вокзала стоят. Лучше пересаживайтесь на одиннадцатый номер.

Екатерина Георгиевна пошла пешком. Она шла быстро, задохнулась и остановилась отдохнуть, но, увидев идущих навстречу людей с чемоданами и корзинами, побежала к вокзалу.

– Сорок первый, мариупольский не прибыл? – спросила она у носильщика.

Тот, поглядев на запыхавшуюся женщину, рассмеялся, и Екатерина Георгиевна подумала: «Ну, конечно, опоздал на три часа, и я в кондитерскую успела бы...»

– Зря бежали, гражданка, – сказал носильщик, – давно как прибыл: состав уже в парк ушел.

Она прошла в нарядный и скудный буфет, оглядела полутемные, холодные залы, выглянула в окно и осмотрела пустые платформы.

– Нет его...

Она вспомнила, что загадала в трамвае, и подумала: «Вот сразу все подтвердилось. Наверное, не увидев ее на вокзале, муж решил: „Ах так!“ – и уехал к Васильеву или, еще хуже, к какой-нибудь Наденьке».

Она сразу поверила в эти вздорные мысли, пошла домой пешком, не торопясь, насмешливо и сердито осуждая себя: «Вот так и нужно: перемучусь, успокоюсь – и кончено». Но в то же время она не верила этим фальшивым мыслям, и у нее были другие, настоящие: все, конечно, хорошо, и ничего, конечно, не случилось, а просто очень обидно, что их встреча, которую она сто раз рисовала себе, не состоялась, – она видит его, смеется, машет платком, он соскакивает с еще не остановившегося поезда, и они идут под руку среди гула, суеты и дыма.

Придя домой, Екатерина Георгиевна увидела у своей двери соседку Веру Дмитриевну, сразу все поняла и вошла в комнату. На полу сидел Ефремов и катил красную деревянную пушку с длинным хоботом, а Лена, держась рукой за стол, опасно и в то же время снисходительно смотрела на него.

– Здравствуйте! – сказала Екатерина Георгиевна, побоявшись назвать мужа при Лене на «ты».

Он посмотрел на нее, точно вскрикнул, она впервые в жизни увидела, как люди бледнеют, и, поднявшись, пожал ей руку. Он был не таким, как она представляла себе: загорел, да и глаза были не те, да и весь он был не такой. «Это от глупого воображения», – подумала она и испугалась. Он все смотрел на нее, потом улыбнулся и сказал:

– Вот как хорошо! А я уже думал, не доеду...

«Он, он, конечно!» – подумала она.

– Мама, – вдруг резко спросила Лена, – а где тот?

– Нет, нет, дочка, тот не приехал, его уже не будет...

Екатерина Георгиевна рассмеялась, поняв, что все обошлось, оттого что она опоздала на поезд, и спросила:

– Ну кто же девочкам дарит пушки?

– Нет, она ничего, – сказала Лена.

Екатерина Георгиевна повела Ефремова в ванную умываться; там, в полутьме, они обнялись и поцеловались.

– Я очень скучала, – сказала она.

– Ты не уходи, постой около меня, – попросил Ефремов.

– Нельзя, тут ужасные соседки! Я уже слышу – шныряют.

Он расстегнул ворот гимнастерки, намылил лицо и шею, потом повернулся и посмотрел на Екатерину Георгиевну: белая мыльная пена сползла на лоб, и глаза его казались темными и даже страшными.

– Не нужно так, – сказала Екатерина Георгиевна, – я сейчас пойду кофе варить. Сколько тебе еще надо сказать, если бы ты знал! Тут с дочкой и с отцом ее просто несчастье у меня.

Она ушла, а он начал мылить голову. Волосы слиплись и плохо отмывались.

«Попросить горячей воды? – подумал он. – Нет, неудобно. Завтра уж на заводе в бане помоюсь».

Несколько раз слышались шаги, дверь тихонько скрипела, и Ефремов кряхтел, сдерживаясь, чтобы не выругаться.

Когда он вернулся в комнату, Екатерина Георгиевна накрывала на стол.

«Вот она, семейная жизнь, началась», – подумал Ефремов, усаживаясь и осторожно беря из рук жены чашку с кофе.

– Я повариха средних способностей, ты меня прости, пожалуйста, – сказала Екатерина Георгиевна.

– Мама, зачем ты ему говоришь «ты»? – строго заметила Лена.

Екатерина Георгиевна сказала:

– А ты тоже говоришь: «его», «ему», «он». Так нельзя. Дядю зовут Петр Корнеевич. Вот зови его – дядя Петя.

– А ты не говори ему «ты», – сказала Лена.

– Не буду, дочка, – покорно ответила Екатерина Георгиевна.

«Вот это да!» – подумал Ефремов и удивленно посмотрел на жену, потом на девочку. Лена сердито раздула ноздри и высунула язык.

«Надо своих скорей заводить», – подумал Ефремов.

Когда он прихлебывал кофе, его точно обжигало; пил он медленно, а кофе почему-то становился все горячее, и вдруг он понял, что каждый раз, наклоняясь над стаканом, он смотрел на жену и от этого в груди становилось жарко, мутились мысли, уши и щеки горели.

Екатерина Георгиевна прошлась по комнате и остановилась за стулом Ефремова, провела ладонью по его волосам.

Он кашлянул и пощупал свой лоб.

«Вот тебе и дитя! Точно в мартеновской печке сажу», – подумал он и спросил:

– Лене гулять не пора?

– Она простужена, уже второй день я ее не выпускаю.

Они посмотрели друг на друга, и Екатерина Георгиевна покраснела и начала поправлять волосы.

Вдруг кто-то громко постучал в дверь, и детский голос возбужденно позвал:

– Лена, пойдй скорей: цыганка на кухню пришла.

Лена выбежала в коридор.

– Как же нам устроиться с квартирой? Здесь ведь тебе жить невозможно? – сказала она.

– Я буду нажимать, устроим, – ответил он, подходя к ней.

Она положила руки на его плечи, молча долго смотрела ему в глаза. Он подумал, что если

сейчас они расстанутся навсегда, то до самой смерти он будет видеть перед собой ее немного склоненную голову и расширенные глаза.

Екатерина Георгиевна сняла руки с его плеч.

– Что же? Может быть, еще кофе, сейчас должны гости прийти.

– Нет, я лучше воды выпью: очень пить хочется.

– Я думаю, пока хорошо будет дачу нанять, как на это смотришь? Надо уже в ближайшие дни поехать...

Ефремов помолчал немного.

– Дачу? Правильно! Начнем с этого... Да, я хотел спросить: ты получаешь эти... ну, деньги, в общем, за девочку?

– Нет, я отказалась. Мне хватает своих.

– Вот правильно: ну его совсем...

В это время раздался звонок, потом второй.

– Это к тебе, кажется? – спросил Ефремов.

– Да, да, это наши гости, – сказала Екатерина Георгиевна и подошла к двери.

Ефремов закрыл свой чемодан и задвинул его в угол. В комнату вошли две женщины и мужчина.

– Знакомьтесь, товарищи, – сказала Екатерина Георгиевна и покраснела.

Одна из вошедших, высокая, краснолицая женщина, внимательно посмотрела Ефремову в глаза, потом осмотрела его всего и рассмеялась.

«Эта знает», – подумал Ефремов.

Другая – помоложе и покрасивей, – видно, ничего не знала, ничего не знал и губастый, большеголовый человек с черными, выпуклыми глазами.

– Знакомиться? Что ж, можно познакомиться! Я хирург, вот эта, знаменитая Люба, – уролог, а Розенталь Костя, – психиатр, – сказала высокая.

– Ты словно анкету заполнила. Сними шляпу, или ты нарочно: покрасоваться? – улыбнулась Екатерина Георгиевна.

– Дура! – сказала Клавдия Васильевна и смутилась.

– Вот я первый раз в жизни встречаюсь с врачами, – сказал Ефремов.

– Счастливым человек! – усмехнулся Розенталь.

– То есть я имел это счастье в госпитале и больнице, но так вот, в домашних условиях...

– Да, да, – сказал Розенталь, – это вредный пережиток феодальных цехов: врачи с врачами, маляры с малярами. Правда, ведь очень редко встречаются люди разных профессий, – скажем: архитекторы и ткачи.

Ефремов сразу заметил, что Розенталь все время смотрит на Екатерину Георгиевну, сел

рядом с ней, говоря, обращался только к ней, и ему захотелось рассказать, что он здесь хозяин, муж, и его начало беспокоить, зачем эту очевидную вещь надо скрывать от девочки и гостей.

Его сердил темноглазый психиатр, и, когда тот заговорил о высоких материях, Ефремов, не слушая, о чем говорил Розенталь, подумал: «Старайся, старайся! Ничего все равно не получится».

Жена посмотрела на него и нахмурилась – он сидел, заложив руки в карманы, расставив ноги, и самодовольно усмехался. Но незаметно Ефремов начал прислушиваться к разговору. Розенталь рассказывал, что изучение Достоевского может служить хорошим пособием для психиатров; привел случай в клинике, когда роман великого писателя помог ему разобраться в душевном состоянии больного и правильно поставить сложный диагноз. Потом он заговорил о том, что различные искусства в высших своих созданиях сливаются, что Толстого можно перечитывать десятки раз, так же как можно каждый день слушать Бетховена, потому что «Война и мир» это не только проза, но и музыка, – критики должны находить единство в основных художественных принципах и композиции романов и музыки.

– А чеховских рассказов – с шопеновскими ноктюрнами, верно? – вставила Екатерина Георгиевна.

– Неверно! Совершенно неверно! – сказал Розенталь, глядя на нее выпученными глазами. – Вот я предвижу, что как физика и химия, раньше резко различные, слились теперь на фундаменте атомистики и электронной теории и выводят свои основные положения из общих законов, так литература и музыка, архитектура и музыка и, наконец, даже математика и музыка – все эти различные проявления разума и духа человеческого в процессе развития должны обнаружить черты единства, идти к слиянию.

– Ну да! А при чем здесь математика? – спросил Ефремов и начал возражать. Его ошаршил человек, говоривший о вещах, в которых, видимо, слабо разбирался, и ему захотелось уличить доктора в спекуляции и сказать ему: «Вы вульгарный идеалист».

– Да и математика, – сказал Розенталь и начал говорить об эстетических элементах в анализе бесконечно малых, о музыкальности в решении одного дифференциального уравнения, обнаруживая немалые знания в интегрировании. Потом он рассказал о своих пациентах-математиках, страстных любителей музыки, и о том, что это не случайно, а внутренне обусловлено.

«Да, крыть нечем», – сознался Ефремов, не ожидавший, что доктор знаком с математикой.

– Да, а вот отчего начался весь этот разговор? – весело спросил Розенталь. – Кто помнит? – и снова уставился на Екатерину Георгиевну выпученными глазами.

– Нет, я не помню, – ответила Екатерина Георгиевна.

– Вот видите! А это движение мысли всегда интересно. Началось с того, что маляры не должны встречаться только с малярами.

Он захохотал. Смуглое, одутловатое лицо его сделалось совсем темным, и вдруг, наклонившись к Екатерине Георгиевне, он поцеловал ей руку. Ефремов почувствовал себя безнадежно униженным, увидел самоуверенное, жесткое лицо Розенталя и легкомыслие Екатерины Георгиевны, увидел, что жить без нее он не может, и подумал: «Да, нужно скорей нанимать дачу», – говоря короче, Ефремов ревновал жену.

Потом обе докторши заспорили об эффективности медицинских исследовательских институтов, и, к удивлению Ефремова, Екатерина Георгиевна свободно говорила о работах

многих ученых – врачей и бактериологов. Ефремов же только мельком слышал об этих людях и не имел о них никакого мнения. Затем заговорили о военных врачах, и Клавдия Васильевна, смеясь, рассказала, что в одном очень солидном иностранном труде она вычитала глубокомысленную фразу: «Смертность среди солдат резко возрастает во время войны по сравнению с мирным временем».

– Да, удивительное дело, – проговорил Розенталь, – столько еще тупиц в науке и столько бездарностей в искусстве. Это какой-то непонятный бульон, на котором растет разум... Да, война, война! Она снова в мировой повестке дня.

– Воевать теперь будут химики, инженеры и бактериологи, – сказала Екатерина Георгиевна.

– Не только, – сказал Ефремов. – Это будет также война текстильщиков, пищевиков, сельского хозяйства, доменщиков, – воюет весь народ – шахтеры, нефтяники, газетчики.

– А правда, – спросила Екатерина Георгиевна, – что есть газы, пахнущие цветами?

– Удивительное дело! – сказал Ефремов, строго глядя на жену. – Всем химикам задают этот вопрос: «Верно ли, газы пахнут цветами?» Мне непонятно, почему это всем нравится: люизит пахнет геранью, фосген – сеном и прелыми яблоками, иприт – горчицей. Вы спросите, как их получают, какое сырье, стойкие ли они, физиологическое действие их, есть ли индикаторы. А то: «пахнут цветами» – и довольны.

Он сердился на жену и говорил сварливым голосом обиженного человека.

– Нет, правда, безобразие! Вот диэтилхлорсульфид, иприт, – о нем огромная литература, немецкий способ, американский способ, исследования химиков, токсикологов, богатейшие материалы о применении его в снарядах желтого креста, распылении; сколько опытов интересных врачами проделано, а тут только один вопрос: «Правда ли, пахнет хреном?» – Он стукнул по столу.

– Ох и строгий у тебя инженер! – сказала Клавдия Васильевна. – Бить будет.

– Ого! – смеясь, сказал Розенталь. – Представляете себе, Екатерина Георгиевна, если супруг в первые дни...

– Ужасно! – перебила докторша-уролог и погладила Розенталя по щеке. – Мы с Костенькой третий год женаты, а он ни разу так свирепо не разговаривал со мной.

И все, хохоча, принялись жалеть Екатерину Георгиевну, упрашивать Ефремова помягче с ней обращаться. И Ефремов, вначале опешивший, вдруг смутился так сильно, как никогда в жизни не смущался: неужели гости, друзья жены, приглашенные с ним познакомиться, заметили, как он дурачки обижался, по-пустому приревновал, самодовольно, по-купечески, ухмылялся?...

Когда начало темнеть, гости собрались уходить. Ефремов тоже поднялся и пожал жене руку.

– Ее, видно, информировали на кухне, – шепнула ему Екатерина Георгиевна, кивнув в сторону Лены.

Девочка, нахмурившись, сердито и недоверчиво следила за каждым движением Ефремова. Как ему не хотелось уходить!

– Ну и ну! Проблемы... – бормотал он, идя по улице, останавливаясь и оглядываясь.

Много неведомых до этого времени мыслей было у него: «Я, оказывается, ревнивый пес... и на охоту летом не поеду, на даче буду... Девочка-чертовка – маленькая, а вот живая, дали ей

жизнь, теперь вот полноправна со всеми. Ох ты, как все путается!... Катя со мной соскучится, с победителем? Не про электролитическую диссоциацию с ней разговаривать!»

Ефремов вспомнил, как он приехал с Гольдбергом на рудник, спускался в шахту, осматривал новые дома, поликлинику, хохотал весь день над шутками и остротами товарища, а ночью, проснувшись, услышал, что Гольдберг за стеной ходил по комнате и напевал:

– «Выхожу один я на дорогу...» – останавливался и спрашивал: – Папаша, слышишь? Я тоже пою! – и отвечал сам себе: – Чую, сынку, чую!

Он остановился, глядя на рубиновый глаз светофора, точно вещавший беду в тумане и дождевой пыли.

Потом он вдохнул поглубже сырой воздух, провел ладонью по лбу и зашагал дальше.

VII

С начала лета установились упорные жаркие дни; одно лишь солнце двигалось по пустынному серому небу, в неподвижном воздухе не было ни ветра, ни облаков.

Ефремов сильно уставал от ежедневных поездок на дачу – он попевал обычно к отходу поезда, когда сидячие места бывали заняты, и всю дорогу ему приходилось стоять в духоте, среди горячих потных тел, да еще держать в руке тяжелую сумку с покупками.

Каждый день, когда поезд отходил от Москвы и в окна врывался ветерок, раздраженные пассажиры становились добрыми и услужливыми. Перелом в настроении происходил к третьему километру пути, и Ефремову нравилось это наблюдать. Он, посмеиваясь, думал, что можно вычертить кривую, показывающую связь между температурой воздуха и настроением дачников.

В день ремонта в котельной, когда паросиловое хозяйство было в очень напряженном состоянии, монтер, работавший под крышей, уронил тяжелые ключи и разбил вентиль паропровода; в течение нескольких минут котельная наполнилась паром, испуганные люди выбегали из нее. Ефремов в это время проходил с главным механиком через заводской двор. Они кинулись к дверям котельной.

– Немедленно прекратить питание котла! Гасите топку! – крикнул главный механик.

– Нет, это не пойдет, – сказал Ефремов. – Если остановить на час, я законопачу аппаратуру на месяц.

– На вашу полную ответственность, – волнуясь, сказал механик, – ведь другого выхода нет.

– Выход у нас единственный, – нарочно замедляя слова, сказал Ефремов. – Перекрыть запасной вентиль и открыть параллельный паропровод, вот такой у нас есть выход.

И он вместе с слесарями полез на котел. Было очень трудно работать в густом горячем тумане, легкие точно наполнились мокрой ватой, голоса терялись в свисте пара...

Когда же все кончилось благополучно и рабочие с Ефремовым, грязные и мокрые, вышли из котельной, механик расчувствовался и, пожимая Ефремову руку, сказал:

– Вы главный инженер, Петр Корнеич, – понимаете, настоящий, а это великие слова –

главный инженер, – и неожиданно прибавил: – Приезжайте ко мне завтра на дачу.

«Ого», – подумал Ефремов; это было не шуточное дело – услышать такие слова от старика механика.

Вечером, выйдя из заводских ворот и сев в автомобиль, Ефремов почувствовал большую усталость, ему сразу же захотелось спать.

– На Северный? – спросил шофер.

– А куда же? – ответил Ефремов и подумал: «Поехать к Васильеву, рассказать про дела, потом выпить пива, потом спать лечь – вот хорошо бы...»

На вокзале было много народу, уезжавшего на выходной день из Москвы. Пришлось толкаться, бежать: поезд отходил через три минуты. С большим трудом Ефремов прошел в вагон и остановился у входа, стиснутый со всех сторон; чья-то широкая женская спина грела его прямо нестерпимо. Он пробовал отодвинуться, но горячая спина льнула к нему все плотней и плотней.

Ефремов сказал:

– Слушайте, не упирайтесь в меня, стойте вы на собственных ногах.

Тогда к нему повернулось молодое, румяное лицо, и розовые губы скороговоркой произнесли:

– Если вам неудобно, то не живите на даче; не видишь, что тесно!

И Ефремову вдруг изменило философское отношение к вагонным ссорам. Они поругались. Он глядел в окно и сокрушался, что нужно еще пятнадцать минут ехать под насмешливыми взглядами сидевших.

Но и сойдя с поезда, он продолжал чувствовать неловкость.

– Ну как же это я мог? – бормотал он.

Он остановился и огляделся: как убого выглядела эта сосновая рощица, деревья в серой пыли, земля, покрытая грязной бумагой и осколками бутылок. Ему вспомнилась прошлогодняя охота, прохладный рассвет, огромный, спокойный простор лугового берега Волги, клубы розового сонного тумана над плотной темной водой, ровный скрип уключин... А на даче у хозяйки четверо детей, пятый грудной, они постоянно лезут в комнаты, кричат и дерутся.

Ефремов присел на пенек и задумался. Сколько новых чувств и мыслей, сколько сложностей принесла ему женитьба! Одно время он ревновал Екатерину Георгиевну к ее бывшему мужу; ему казалось, что она все еще любила его, ну, жалела, это значит – любила. Он написал ей письмо, она ему ответила; это были тяжелые дни для Ефремова.

«Его очень жалко! Он ведь, как девочка, слабый, растерянный, вдруг застрелится – ведь это ужасно!» – говорила она. Да, это были нехорошие дни. Сейчас Катя в отпуску – на соседней даче живет Розенталь с женой, каждый вечер они приходят и разговаривают до двух ночи. Театры, музыка, книги. Все это хорошо, замечательно, интересно. Время-то где взять? Он и так спит не больше пяти часов. А сукин сын Розенталь на днях сказал ему:

– Пора, пора, Петенька, почитать Анатоля Франса, так сказать – проработать.

Да, вчера они с женой поругались в первый раз: нужно ли отдавать Лёну в школу? А главное

– исчезло легкое чувство одиночества, он всегда спешит, да, кстати, двадцать пятого хозяйке дачи нужно заплатить четыреста рублей. Он поднялся и пошел по Песчаной улице, нарочно замедляя шаги. Навстречу из калитки выбежала Лена и повисла на его ноге. Он посадил ее к себе на плечи и зашагал, прижимая к груди ее тонкую, вялую ногу.

«Вот тоже нелегкая победа! – усмехнулся он. – Помучился с ней больше, чем с котлами». И он подумал, что сейчас проходит школу жизни, такую же трудную и важную, как гражданская война. Теперь он видит, что жизнь ткется из тысячи простых вещей, и очень трудно достойно и мужественно шагать по этой простой жизни...

Лена болтала свободной ногой и рассказывала, как свинья вбежала в комнату, сдернула со стола скатерть и сжевала книжку.

– Вот закатим ей строгий выговор с предупреждением! – сказал Ефремов и погладил Лену по ноге.

– Нет, не надо ей выговора: она бедная! – сказала Лена, прижимаясь лицом к голове Ефремова, и у него шевельнулась нежность и жалость к падчерице.

Из– за деревьев вышла Екатерина Георгиевна.

Он посмотрел на нее, и сразу все беспокойные мысли ушли, и ему сделалось легко и спокойно, точно не было трудного дня работы. Он помылся и сел обедать под деревом, за шатающийся круглый стол.

– Розентали уехали в город, – рассказывала жена, глядя, как Ефремов растирает крупную соль между двумя половинками огурца, – боятся гостей, завтра ведь выходной день.

– Верно, я забыл, а мне придется в город поехать.

– Ну, это полное безобразие! – сказала Екатерина Георгиевна и сломала между пальцами хрустящую огуречную шкурку.

– Я ненадолго, ей-богу! Посмотрю, если все в порядке, то сейчас же обратно.

Он стал рассказывать, как поругался в вагоне с женщиной.

– Ты так ругался? – спросила Екатерина Георгиевна.

– Да, сорвалось, – сказал Ефремов и начал объяснять, что на заводе происходила чепуха в котельной и он немного «перегрел» нервы.

После ужина они уложили Лену спать и вышли на двор, пошли по тропинке в сторону леса.

– Я не могу привыкнуть к тебе, – сказала Екатерина Георгиевна, – это, наверно, хорошо. Вот ты рассказал про котлы, как рассказывают про потерю карандаша, я даже не поняла, а когда Лену укладывали, вдруг восхитилась.

– Что?

Она рассмеялась.

– Вот об этом у нас никто не думает, а за годы революции произошла одна очень интересная вещь: раньше средняя девушка чаще обманывалась, она влюблялась в опереточных актеров, офицеров, всяких дураков, пустых краснобаев, была ужасная путаница, а вот теперь – ну, как тебе сказать – у нас у всех есть правильный идеал мужчины. Сейчас влюбляются гораздо больше в хороших людей, глубже как-то все сделалось, ближе к правде, а ведь область очень

дикая, как этот лес...

– Какой там лес!... Здесь на каждый квадратный метр два гамака...

– Это днем так, а сейчас он, видишь, страшный какой.

И правда: лес стоял темный, неподвижный и тихий; казалось, нельзя войти в эту плотную черную стену, увенчанную каменно-неподвижной резной вершиной. Они пошли меж деревьев, и очарование душной летней ночи сразу охватило их; этот исхоженный тысячами ног лес казался таинственным, чудесным, точно они были первые люди, вошедшие в него; луна пятнала стволы сосен и скользкую от игл землю узорами тьмы и света; клочья бумаги лежали, как белые черепа, и деревья, спокойно-молчаливые под взглядами людей, Наверное, мгновенно оживали за их спинами и перебегали с места на место, бесшумно размахивая темными ветвями. Они шли молча, то тенью, то светлыми полянками, оба взволнованные, как в первые дни знакомства, медля заговорить и лишь поглядывая друг на друга. Было очень душно; казалось, луна грела землю, как живое, яркое светило.

Они вышли на небольшую полянку, сквозь ивовый кустарник тускло поблескивала вода пруда. Екатерина Георгиевна наклонилась и опустила руку в воду.

Подняв голову, она сказала:

– Теплая.

Лицо ее при лунном свете казалось очень бледным.

Ефремов сказал:

– Душно! Очень хорошо бы выкупаться.

Он разделся и бросился в воду, пруд колыхнулся, брызнул десятками отсветов, точно вдребезги разбившееся стекло.

– Теплая, как живая! – крикнул он и поплыл, звонко хлопая ладонями, громко сдувая воду, прокладывая вьющуюся, светлую дорогу по темной воде. Он принялся рвать кувшинки; скользкие, резиновые стебли растягивались, цветок уходил, складывая лепестки, в воду, а через мгновение всплывал на поверхность вновь, раскрытый и белый. Ноги Ефремова опустились и коснулись теплого илистого дна, почти такого же подвижного, как вода. Он попробовал встать, но ноги ушли в ил глубже, ощутили холод и плотность земли, пузыри воздуха, щекоча тело, поднялись на поверхность. Ефремов подхватил толстый пук стеблей и поплыл к берегу. И ему вспомнилось, как когда-то, очень давно, он пошел с мальчиками ночью купаться и на середине реки ему почудилось, что черти ловят его за ноги; заорав, он поплыл к берегу, тараща от ужаса глаза и молотя ногами по воде. Он вспомнил маленькую подвальную комнату, в которой он провел детство, тошный, кислый запах, шедший от всех предметов, и глубоко вдохнул смолистый воздух соснового леса. Он плыл к темной женской фигуре на берегу, вглядывался в нее и думал, какое огромное пространство отделяет его от той темной, нищей поры, в которой начиналась его жизнь. И снова радость и гордость, как весной в Донбассе, когда он восхищался силой людей и прекрасного, мощного труда, поднялись в нем, и он вдруг весело подумал: «Нет, никто пути пройденного у нас не отберет».

Он подплыл к берегу, бросил жене сорванные кувшинки, погрузился по уши в воду и, держась руками за дно, следил, как она наклонилась, потом выпрямилась и отряхнула водяные брызги с вороха белых цветов.

В выходной день поезд, идущий в Москву, был совсем пуст. Ефремов сидел в вагоне, все

сильней чувствуя беспокойство, – ему казалось, что на заводе случилось несчастье. Надо было остаться в городе, а он укатил на дачу. Идя по перрону Северного вокзала, он всматривался в лица пассажиров: может быть, они уже знают о приключившейся беде; но все люди были веселы и нетерпеливо поглядывали, скоро ли подадут дачный поезд. А чувство беспокойства становилось все сильнее; ясно, пока он прохлаждался на даче, завод попал в беду. Он представил себе, как у заставы стоит милицейское оцепление, толпа смотрит на пожарные автомобили, перепрыгивая через мокрые толстые шланги, бежит директор и кричит: «Где Ефремов?» И главный механик отвечает, показывая вокруг себя рукой: «Вот, распорядился и уехал на дачу».

– Сволочь такая, на дачу уехал! – вслух сказал Ефремов и затосковал. Возле заставы он встретил длинноносого мальчишку в пенсне, лаборанта из цеховой экспресс-лаборатории, и спросил:

– Вы с завода?

– Нет, я в прошлую ночь дежурил, товарищ Ефремов, сутки гуляю.

Ефремов махнул рукой и торопливо пошел через площадь. Он подошел к контрольной будке, вахтер сидел на ступеньках и старательно рисовал на земле какие-то фигуры. На заводском дворе было пустынно и тихо. Ефремов пошел в котельную; пока он глядел на манометры и водомерные стекла, подошел старший кочегар и рассказал, как работали котлы, потом подмигнул и сказал:

– Погодка-то, товарищ Ефремов! Так неделю целую и просидел бы на речке, очень теперь замечательно в деревне.

Они заговорили о рыбной ловле, старший кочегар был великий знаток этого дела. В общем, в котельной дела шли отлично.

В цехе Ефремов встретил дежурного инженера и вместе с ним прошел в контору.

Дежурный по заводу был совсем молодым человеком, он окончил институт в прошлом году, и, слушая его доклад, Ефремов думал, что вот Васильев, Гольдберг, он – это уже старшее поколение, и дежурный смотрит на него как на солидного, старичка.

– Ты как... считаешь меня консерватором? – вдруг спросил он.

– Что ты, Петр Корнеевич, никогда я этого не думал, ей-богу, – ответил инженер. – С чего ты взял это? Вот мои два предложения, ведь ты их реализовал через две недели после того, как подал я в бюро...

Перед тем как уезжать с завода, он позвонил по телефону Васильеву, но того не оказалось дома. Уже больше месяца они не виделись.

Ефремов три раза приглашал его на дачу, ждал, а Васильев обманывал и не приезжал. И сейчас он мечтал заехать за товарищем: они купят пива и отлично проведут весь день вместе, вечером пойдут гулять, купаться, а утром вместе покатают на работу. Кроме того, ему хотелось познакомить Васильева с Розенталем: пусть поспорят, и пусть Розенталь будет посрамлен, уж слишком он доволен своей эрудицией; не мешает, чтобы Васильев осрамил доктора.

Ефремов очень чувствовал отсутствие Васильева, он каждый день думал о нем, иногда скучал, иногда нуждался в его совете, иногда беспокоился, не захандрил ли Васильев, но короткие сутки были жестоки к их дружбе, времени не хватало, а во время их редких встреч они обычно спешили, и разговор у них шел в насмешливых вопросах и ответах.

На обратном пути Ефремову посчастливилось занять место у окна; он задремал, едва не проехал свою станцию и соскочил с поезда уже на ходу. Казалось, на заводе он пробыл совсем недолго, только посмотрел, а день уже шел к концу, и Ефремов торопился.

Обычно, когда он опаздывал, жена, встречая его, говорила:

– А я тут не скучала! Какой-то молодой человек все ходил возле дома и вздыхал по мне.

И Ефремов отвечал:

– Это ты мешала вору в окно полезть, вот он и вздыхал. Этот разговор во время ее отпуска происходил часто и каждый раз смешил их. И сейчас, подходя к дому, Ефремов вспомнил про молодого человека – жена его описывала то в белом костюме с теннисной ракеткой, то летчиком с грустным лицом, то юношей-музыкантом.

С террасы раздавались голоса, видны были спины сидевших за столом людей. Ефремов улыбнулся, подумав, что, вероятно, сразу собрались все молодцы, вздыхавшие у забора. Потом ему стало неприятно – вот к Кате в гости каждый выходной приезжают сослуживцы, подруги, а к нему никто еще ни разу не приехал. Почему такое?

Он вошел во двор. Лена обычно замечала его первой, и сейчас она закричала: «Петя, Петя приехал!» – и побежала к нему навстречу. А вслед за ней на крыльцо вышли Васильев, Морозов и Гольдберг. И только в этот момент Ефремов понял, как дороги ему его друзья, – он задохнулся от радости, растерянно улыбаясь, смотрел на них и негромко, протягивая руку, говорил:

– Вот это замечательно! Вот придумали, и все вместе, как тогда зимой, помните... все ребята мои...

– Нет, нет, ты не подымайся; идем вместе пиво покупать, – сказал, обнимая его, Морозов. Он был в белом костюме, в белых туфлях, белых носках, белой фуражке. Борода его, подстриженная и надушенная, освещенная солнцем, казалась точно выютюженной и нарядной, только что купленной. Гольдберг рядом с ним выглядел совсем странно – в синем шевиотовом костюме с галстуком, в черных ботинках. Ефремов шел между ними, неся кувшин для пива, сзади шла жена под руку с Васильевым, на нем была надета украинская, неизвестная Ефремову рубаха.

– Да, брат, тебя нужно поздравить, – тихо сказал Морозов. – Женился, очень, ну как тебе сказать, женщина, в общем... – Он оглянулся и повел головой. – Вот ты какой...

А Гольдберг добавил:

– Теперь я понимаю, что ты совершил подвиг, заехав на пару дней на рудник... Я бы не поехал на твоём месте.

А Ефремову казалось, что он не видел товарищей десяток лет, и ему было хорошо и приятно идти с ними рядом, смотреть на них, слушать их разговоры, покашливание, шутки. Оглядываясь назад, Ефремов посмотрел на жену: она слушала Васильева внимательно, совсем не так, как в первое их знакомство, когда Васильев оплошал.

– А знаешь, – сказал Морозов, – я тогда рассвирепел, когда ты не взялся меня в Москву переводить, а сейчас работа подвернулась довольно интересная, до осени посижу... А тогда я и не ночевал оттого, что рассердился, знаешь...

Они подошли к киоску на станционной платформе, – у прилавка стояла очередь дачников с кувшинами и бидонами.

– Я сейчас все устрою, – сказал Морозов и подошел к задней двери палатки, где стояли пустые бочки и поломанные фанерные ящики.

– Живей, живей открывай! – весело и грозно крикнул Морозов, стуча кулаком в дверь. – Пиво на льду? – строго спросил он у продавца и, не дожидаясь ответа, быстро добавил: – Поскорей налейте...

– Ну, ловкач! – рассмеялся Гольдберг.

– Как же ты? Рассказывай, – негромко спросил Ефремов.

Гольдберг несколько секунд смотрел на подходивших Васильева и Екатерину Георгиевну, потом пристально взглянул Ефремову в глаза и, точно продолжая разговор, проговорил:

– Живет в Ленинграде, довольна, ну и, значит, все в порядке.

– Ничего в этом понять нельзя, – сказал Ефремов. – Ей-богу, ничего понять нельзя.

– А мне понятно. Все в порядке. Между прочим, знаешь, я из Донбасса перевожусь.

– Да что ты!... Совсем?... Куда ж ты? В Москву, в Главуголь?

– Нет, куда там...

– А куда же?

В это время подошла Екатерина Георгиевна.

– Вы у нас все ночуете, – сказала она, – а утром с Петей вместе поедете. Когда стемнеет, пойдем гулять в лес.

– Нет, к сожалению, не смогу, – сказал Васильев, – у меня еще работа.

– И я должен быть в Москве, вечером с новым управляющим встретиться, – сказал Гольдберг.

– Ну что вы!... Ночью в лесу замечательно! Мы вчера вышли на поляну, освещенную луной, – мне показалось, вот подойдем к поваленному стволу, а там лиса с младенцами своими играет.

– Во что же они играют? В волейбол? – рассмеялся Гольдберг.

– Смотрите, – сказал Ефремов и показал рукой: – Поезд идет дальний, скороход.

Железнодорожный путь шел между двумя рядами сосен, образующих как бы стенки огромной воронки, широко раскрытой у станции и совсем узкой вдали; паровоз, словно спеша вырваться из высокого ущелья, мчался, выбрасывая в безоблачное небо клубы серого дыма.

– Самое страшное – смотреть на рельсы, – сказала Екатерина Георгиевна, – они такие спокойные, тихие, кажется – можно сесть на них и подремать... а через секунду... б-р-р! Страшно!

Подходя к станции, паровоз отрывисто загудел, цепь вагонов вдруг выгнулась, блеснув стеклами окон; деревянный настил дрогнул, и в теплом вихре замелькали покрытые пылью зеленые бока, окна, подножки, номера вагонов, играющие гармошки, соединяющие тамбуры, а еще через несколько секунд все исчезло в беспорядочно крутящихся облаках пыли, и только куски бумаги, увлеченные мощной воздушной струей, подпрыгивая, катились по платформе.

– Транссибирский экспресс, – сказал Васильев, – прямо болид какой-то.

– Вот я на нем завтра поеду, – сказал Гольдберг.

За обедом было весело, много смеялись, пили за Гольдберга, уезжавшего на далекий сибирский рудник, за Васильева, который должен был защищать третьего августа докторскую диссертацию и на следующий день уехать на Алтай охотиться, пили за дружбу. Пиво было теплое и кисловатое, но оно всем нравилось, и полные стаканы при свете заходящего солнца были янтарно-желтыми и казались очень красивыми.

Ефремов видел, как поглядывали его товарищи на Екатерину Георгиевну, как острил Гольдберг и смеялся Морозов, как Васильев был сдержан и не по-обычному добр и услужлив; он видел, что Екатерина Георгиевна понравилась его товарищам, и ему это было приятно.

Когда стемнело, Васильев сказал:

– Ну что же, пора!

И все, задвигав стульями, поднялись.

Екатерина Георгиевна не пошла на станцию – нужно было укладывать Лену спать – и простилась с гостями на террасе.

Васильев подошел к Ефремову. Он поглядел смеющимися глазами на открытую дверь комнаты, на Лену, прижавшуюся к матери, и постепенно лицо его сделалось серьезным, глаза перестали смеяться.

– Ну что же, Петя, прощай и ты! – сказал он. И они первый раз за все время своей дружбы поцеловались крепко, по-мужски, и у обоих на глазах выступили слезы; они рассмеялись, похлопали друг друга по спине.

– Надо почаще видеться, – сказал Ефремов.

Он проводил товарищей на станцию, усадил их в поезд и долго стоял на платформе, глядя на темные стены сосен, окаймлявшие железнодорожный путь.

Он понимал, что его жизнь пошла уже по-иному, и та зимняя встреча с друзьями ему казалась теперь ушедшим прошлым, суровым, бедным радостью прошлым, но все же чем-то бесконечно важным, милым и даже нужным ему и желанным.

Потом он пошел к дому, увидел желтый веселый свет лампы, и сердце Ефремова наполнилось радостью и грустью, а перед глазами встал другой огонь – тревожный, красный, подвижной: огонь фонаря на последнем вагоне поезда, увозившего его друзей.

1937

РАССКАЗЫ

ДОРОГА

Война коснулась всех живших на Апеннинском полуострове.

Молодой мул Джу, служивший в обозе артиллерийского полка, сразу же, 22 июня 1941 года, ощутил много изменений, но он, конечно, не знал, что фюрер убедил дуче вступить в войну против Советского Союза.

Люди удивились бы, узнав, как много было отмечено мулом в день начала войны на востоке, – и непрерывное радио, и музыка, и распахнутые ворота конюшни, и толпы женщин с детьми возле казармы, и флаги над казармой, и запах вина от тех, от кого раньше не пахло вином, и дрожащие руки ездового Николло, когда он выводил Джу из стойла и надевал на него шлею.

Ездовой не любил Джу, он впрягал его в левую упряжку, чтобы сподручней было подхлестывать мула правой рукой. И подхлестывал он Джу по животу, а не по толстошкурному заду, и рука у Николло была тяжелая, коричневая, с искривленными ногтями – рука крестьянина.

К напарнику своему Джу был равнодушен. Это было большое, сильное животное, старательное, угрюмое; шерсть на груди и на боках была у него вытерта шлей и постромками, голые серые плешины поблескивали жирным графитовым блеском.

Глаза у напарника были подернуты голубоватым дымом, морда с желтыми стертými зубами сохраняла равнодушное, сонное выражение и при подъеме в гору по размягченному от зноя асфальту, и при дневке в тени деревьев. Вот он стоит на перевале в горной долине, перед ним расстилаются сады и виноградники, перевитые серой лентой преодоленного асфальта, поблескивает вдали море, в воздухе запах цветов, морского йода, горной прохлады и, одновременно, горячей и сухой дорожной пыли... Глаза напарника равнодушны, ноздри не шевелятся, с немного оттопыренной нижней губы свисают длинные прозрачные слюни; изредка чуть-чуть шевельнется ухо напарника – он слышал шаги ездового Николло. А когда на учебных стрельбах били пушки, старик мул словно бы спал, не шевелил длинными ушами.

Джу как– то пробовал игриво толкнуть старика, но тот спокойно, без злобы лягнул молодого мула и отвернулся; иногда Джу переставал натягивать постромки, косил глаза на старика, тот не скалился, не прижимал ушей, а тянул вовсю, сопел и быстро-быстро кивал головой.

Они перестали замечать друг друга, хотя изо дня в день тянули телегу, груженную снарядами ящиками, пили из одного ведерка, и по ночам Джу слышал, как тяжело дышал в соседнем стойле старик.

Ездовой, его цели, власть, его кнут, сапог, хриплый голос не вызывали в Джу рабского преклонения.

Справа шагал напарник, за спиной дребезжала телега и покрикивал ездовой, перед глазами лежала дорога. Иногда казалось, ездовой – часть телеги, иногда казалось, ездовой – основа, а телега при нем. Кнут? Что ж, и мухи в кровь разъедали кончики ушей, но мухи были лишь мухами. Так и кнут. Так и ездовой.

Когда Джу начал ходить в упряжке, он тайно злобствовал на бессмысленность длинного асфальта, – его нельзя было жевать, пить, а по обе стороны от асфальта росла лиственная и травяная пища, вода стояла в озерах и лужах.

Главным врагом казался асфальт, но прошло немного времени, и Джу стали более неприятны тяжесть телеги и вожжи, голос ездового.

Тогда Джу даже помирился с дорогой, мерещилось, что она освободит его от телеги и ездового. Дорога шла в гору, дорога вилась среди апельсиновых деревьев, а телега

монотонно и неотступно погромыхивала за спиной, кожаная шлея давила на грудные кости.

Нелепый труд, навязанный извне, вызывал желание лягать телегу, рвать зубами постромки, и от дороги Джу теперь ничего не ждал и не хотел по ней ступать. В его большой, пустынной голове все время возникали образы запаха и вкуса пищи, туманные видения, волновавшие его: то запах кобылок, сочная сладость листвы, тепло солнца после холодной ночи, то прохлада после сицилийского зноя...

Утром он протискивал голову в шлею, налаженную ездовым, и грудь его привычно ощущала прохладу мертвой глянцевиной кожи. Он теперь делал это так же, как старик напарник, не откидывая голову, не скалясь, – шлея, телега, дорога стали частью его жизни.

Все стало привычным, а значит, законным, связалось, превратилось в естественность жизни: труд, асфальт, водопой, запах колесной мази, грохот длиннохоботных, вонючих пушек, пахнущие табаком и кожей пальцы ездового, вечернее ведерко кукурузных зерен, охапка колючего сена...

Случалось, однообразие нарушалось. Он испытал ужас, когда его, опутанного веревками, кран перенес с берега на пароход, его затошнило, деревянная земля уходила из-под копыт, и не хотелось есть. Потом был зной, превосходящий итальянский, ему на голову надели соломенную шапочку, была упорная крутизна абиссинских красных каменистых дорог, пальмы, до чьей листвы нельзя дотянуться губами. Его очень удивила однажды обезьяна на дереве и очень испугала большая змея на дороге. Дома были съедобны, он ел иногда тростниковые стены и травяные крыши. Пушки стреляли часто, и часто горел огонь. Когда обоз останавливался на темной опушке леса, он по ночам слышал недобрые звуки, шорохи, некоторые звуки вызывали ужас, и Джу дрожал, всхрапывал.

Потом его снова тошнило, и дощатая земля уходила из-под копыт, а кругом была голубоватая равнина, и совершенно непонятно, хотя сам он мало двигался, внезапно возникла конюшня, где рядом в стойле ночами тяжело дышал напарник.

А вскоре после дня, отмеченного музыкой и дрожащими руками ездового, вновь не стало конюшни, возникла дощатая земля, стук, стук, стук, толчки и скрежет, а затем тьма и теснота скрежещущего стойла сменились простором равнины, не имевшей конца.

Над равниной стояла мягкая, серая, не итальянская и не африканская пыль, а по дороге беспрерывно двигались в сторону восхода грузовики, тракторы, пушки с длинными и короткими хоботами, шли колонны пеших ездовых.

Жизнь стала особо трудной, вся превратилась в движение, телега была всегда нагружена, напарник дышал тяжело, его дыхание слышалось, несмотря на шум, стоящий на серой, пыльной дороге.

Начался падеж животных, побежденных огромностью пространства. Тела мулов оттаскивали в сторону от дороги, они лежали со вздувшимися животами, с растопыренными отшагавшими ногами, люди были к ним безмерно равнодушны, а мулы, казалось, тоже не замечали своих мертвых – мотали головами, тянули да тянули, но это только казалось – мулы видели своих мертвецов.

На этой равнинной земле замечательно вкусной оказалась пища. Впервые Джу ел такую нежную, сочную траву. Впервые в жизни он ел такое нежное и душистое сено. И вода в этой равнинной стране была вкусной и сладкой, а сочные веники из молодых веток деревьев почти не горчили.

Теплый ветер в равнине не жег, как африканские и сицилийские ветры, и солнце грело шкуру мягко, нежно – не походило на беспощадное солнце Африки.

И даже серая, мелкая пыль, день и ночь висевшая в воздухе, казалась шелковистой, нежной по сравнению с колючей, красной пылью пустыни.

Но сам простор этой равнины был непоколебимо жестоким, ему не было конца, – сколько мулы ни двигались рысцой, мотая ушками, а равнина была сильнее их. Мулы шли скорым шагом при свете солнца и при свете луны, а равнина все длилась. Мулы бежали, стучали копытами по асфальту, пылили по проселку, а равнина длилась и длилась. Ей не было исхода ни при солнце, ни при луне и звездах. Из нее не рождались горы, море.

Джу не заметил, как настало время дождей, оно пришло постепенно. Полили холодные дожди, и жизнь из однообразной усталости превратилась в режущее страдание, в изнеможение.

Все, из чего состояла жизнь мула, утяжелилось: земля стала липучей, разговаривала, чавкала, дорога стала очень вязкой и от этого удлинилась, и каждый шаг по ней стал как много шагов, а телега сделалась невыносимо ленивой, упрямой, – казалось, Джу с напарником тащили за собой не одну телегу, а много телег. Ездовой теперь кричал беспрерывно, бил кнутом больно и часто, – казалось, не один ездовой сидел на телеге, а много. И кнутов стало много, и все они были языкатые, злые, одновременно холодные и жгучие, хлесткие, въедливые.

Тащить телегу по асфальту было слаще травы и сена, но целыми днями ноги не знали асфальта.

Мулы познали холод, дрожь намокшей под мелким осенним дождем шкуры. Мулы кашляли, болели воспалением легких. Все чаще оттаскивали в сторону от дороги тех, для которых кончалась дорога, не стало движения.

Равнина расширилась – ее огромность ощущалась теперь не глазами, а всеми четырьмя копытами... Глубже и глубже уходили копыта в размякшую землю, липучие комья упорно тянули за ноги, и все огромней, шире, могучей раздвигалась, ширилась отяжелевшая от дождя равнина.

В большом, просторном мозгу мула, в котором рождались туманные образы запахов, формы, цвета, зарождался образ совсем иного понятия, созданного мыслью философов и математиков, – образ бесконечности: туманной русской равнины и непрерывно лившегося над ней холодного осеннего дождя.

И вот на смену темному, мутному, тяжелому пришел новый образ – белый, сухой, сыпучий, обжигающий ноздри, пекущий губы.

Зима пожрала осень, но это не принесло освобождения от тяжести. Пришла сверхтяжесть. Жестокий и жадный хищник пожрал менее сильного хищника...

Вдоль дороги рядом с телами мулов лежали мертвые люди – мороз их лишил жизни.

Беспрерывный сверхтруд, холод, стертая шлейей до мяса шкура на груди, кровавые болячки на холке, боль в ногах, сбитые, крошащиеся копыта, обмороженные уши, ломота в глазах, рези в животе от мерзлой пищи и ледяной воды постепенно вымотали мускульные и душевные силы Джу.

На него шло огромное равнодушное наступление. Колоссальный мир равнодушно наваливался на него. Даже злоба ездового прекратилась – он съежился, не дрался кнутом, не бил сапогом по чувствительной косточке на передней ноге...

Медленно, неминуемо война и зима подминали мула, и Джу ответил на огромное

равнодушное наступление, готовящееся уничтожить его, своим безмерным равнодушием.

Он стал тенью от самого себя, и эта живая пепельная тень уже не ощущала ни собственного тепла, ни удовольствия от пищи и покоя. Ему было безразлично, двигаться ли по обледенелой дороге, перебирая механическими ногами, или стоять понуря голову. Он жевал сено равнодушно, без радости, и так же равнодушно переносил он голод и жажду, секущий зимний ветер. Глазные яблоки ломило от белизны снега, но сумерки и темнота были ему безразличны, он не хотел и не ждал их.

Он шагал рядом со стариком напарником, теперь уж полностью похожий на него, их безразличие друг к другу было так же огромно, как их безразличие к самим себе.

Это равнодушие к себе было его последним восстанием.

Быть или не быть – стало безразлично для Джу, мул словно бы решил гамлетовский вопрос.

Так как он сделался безразлично-покорен к существованию и к несуществованию, он потерял ощущение времени – день и ночь стерлись в его сознании, морозное солнце и безлунная тьма стали ему одинаковы.

Когда началось русское наступление, морозы не были особенно сильными.

Джу не овладело безумие во время сокрушающей артиллерийской подготовки. Он не рвал постромок, не шарахался, когда в облачном небе заполыхало артиллерийское зарево, и земля стала колебаться, и воздух, разодранный воем и ревом стали, заполнился огнем, дымом, комьями снега и глины.

Поток бегства не захватил его, он стоял опустив голову и хвост, а мимо него бежали, падали, вновь вскакивали и бежали, ползли люди, ползли тракторы, неслись тупорылые грузовики.

Напарник странно закричал голосом, похожим на человеческий, упал, заелозил ногами, потом затих, и снег вокруг него стал красным.

Кнут лежал на снегу, и ездовой Николло тоже лежал на снегу. Джу больше не слышал скрипа его сапог, не улавливал запаха табаку, вина, сыромятной кожи.

Мул стоял безразлично-покорный и не ждал свершения судьбы, – новая судьба и старая судьба были ему одинаково безразличны.

Пришли сумерки. Стало тихо. Мул стоял, опустив голову, свесив плетью хвост. Он не глядел по сторонам, не прислушивался. В пустынной равнодушной голове продолжала гудеть давно уж умолкшая артиллерийская стрельба. Редко, редко переступал он с ноги на ногу и вновь делался неподвижен.

Вокруг лежали тела людей и животных, разбитые, опрокинутые грузовики, кое-где лениво струился дымок.

А дальше, без начала, без края, была туманная, сумрачная, снежная равнина.

Равнина поглотила всю прошлую жизнь – и зной, и крутизну красных дорог, и запах кобылок, и шум ручьев. Джу мало уж чем отличался от окружавшей его неподвижности, он сливался с ней, соединялся с туманной равниной.

И когда тишину нарушили танки, Джу услышал их потому, что железный звук, заполняя воздух, входил в мертвые уши людей и животных, вошел и в уши понурого живого мула.

И когда неподвижность равнины нарушилась, и гусеничные пушечные машины развернутым

строим, скрежеща шли по снежной целине с севера на юг, Джу увидел их – они отражались в ветровых стеклах и в зеркальцах брошенных машин, они отразились в глазах мула, стоявшего у опрокинутой телеги. Но он не шарханул в сторону, хотя гусеничное железо прошло совсем близко, дохнуло горьким теплом и масляным перегаром.

Потом из белой равнины выделились белые людские фигуры, они двигались бесшумно и быстро, не как люди, а как хищные охотники, исчезли, растворились, поглощенные неподвижностью снежной целины.

А потом зашумел кативший с севера поток людей, машин, орудий, заскрипели обозы...

Поток шел по дороге, а мул стоял не кося глазами, и движение шло мимо, но вскоре оно стало так велико, что разлилось за обочины дороги.

И вот к Джу подошел человек с кнутом. Он рассматривал Джу, и мул почувствовал запах табаку и сыромятной кожи, шедший от человека.

Человек, точно так же как это делал Николло, ткнул Джу в зубы, в скулу, в бок.

Он дернул за узду, сипло заговорил, и мул невольно посмотрел на лежащего на снегу ездового Николло, но тот молчал.

Человек снова потянул узду, мул не пошел, а продолжал стоять.

Человек закричал, замахнулся, и грозное понукание его отличалось от понукания итальянца не грозностью, а звуками, сочетавшимися в угрозе.

А потом человек ударил мула сапогом по косточке на передней ноге, ноге стало больно, по этой косточке бил сапогом Николло, и она была особенно чувствительна.

Джу пошел следом за ездовым. Они подошли к запряженным телегам. Их обступили ездовые, шумели, размахивали руками, смеялись, хлопали Джу по спине и по бокам. Ему дали сена, и он поел. В телеги были впряжены парами лошади с короткими ушами, со злыми глазами. Мулов не стало.

Ездовой подвел Джу к телеге, в которую была впряжена одна лошадь, без напарника.

Лошадь была темная, маленькая, рослый мул оказался выше ее. Она поглядела на него, прижала уши, потом наставила их, потом замотала головой, потом отвернулась, потом приподняла заднюю ногу, собираясь лягнуть.

Она была худая, и, когда вдыхала воздух, ребра волной проходили под ее шкурой, и на шкуре ее, как на шкуре Джу, виднелись кровавые ссадины.

Джу стоял понурив голову, по-прежнему безразличный к тому, быть ему или не быть, беззлобно равнодушный к миру, потому что равнинный мир равнодушно уничтожал его.

Он привычно, так же как делал это сотни раз до того, просунул голову в шлею, она не была кожаной, но совершенно так же, как и кожаная, коснулась его натруженной груди, запах от нее шел странный, непривычный, лошадиный. Но мулу был безразличен этот запах.

Лошадь стояла с ним в паре, и ему было безразлично тепло, дошедшее к нему от ее впалого бока.

Она прижала уши почти вплотную к голове, и морда у нее сделалась злая, хищная, не как у травоядного. Она выкатила глаз, приподняла верхнюю губу и обнажила зубы, готовая укусить, а Джу в своем равнодушии подставлял ей незащищенную скулу и шею. А когда она стала

пятиться, натягивая упряжь, чтобы, повернувшись к нему задом, изловчиться и огреть его копытом, он не забеспокоился, а стоял понурившись, так же как стоял возле разбитой телеги, мертвого напарника, мертвого Николло и лежавшего на снегу кнута. Но ездовой закричал и ударил лошадь кнутом, а потом тем же кнутом – братом кнута, лежавшего на снегу, – ударил мула: ездового, видимо, раздражало понурое животное, а рука у него была, как у Николло – тяжелая рука крестьянина.

И Джу вдруг покосил глазом на лошадь, а лошадь посмотрела на Джу.

Вскоре обоз тронулся. И снова привычно поскрипывала телега, и снова перед глазами была дорога, а за спиной тяжесть, и ездовой, и кнут, но Джу знал, что от тяжести не избавиться с помощью дороги. Он трусил рысцей, а снежная равнина не имела начала и конца.

Но странно, в своем привычном движении в мире безразличия он чувствовал, что лошадь, бегущая рядом, не безразлична к нему.

Вот она метнула хвостом в сторону Джу, шелковисто скользкий хвост совсем не походил на кнут либо на хвост напарника – ласково скользнул по шкуре мула.

Прошло немного времени, и лошадь снова метнула хвостом, а ведь в снежной равнине не было ни мух, ни москитов, ни оводов.

И Джу покосился глазом на бегущую рядом лошадь, и она именно в этот миг покосила глазом в его сторону. Глаз ее сейчас не был злым, а чуть-чуть лукавым.

В сплошняке мирового равнодушия зазмеилась маленькая извилина – трещина.

В движении тело согревалось, и Джу ощущал запах лошадиного пота, а дыхание лошади, пахнущее влагой, сладостью сена, все сильнее и сильнее касалось его.

Сам не зная отчего, он натянул постромки, и кости его грудной клетки ощутили тяжесть и давление, а шлея лошади ослабела, и ей стало легче тянуть упряжку.

Так бежали они долгое время, и вдруг лошадь заржала. Она заржала тихонько, так тихо, чтобы ни ездовой, ни лежащая кругом равнина не слышали ее ржания.

Она заржала так тихо, чтобы только бежавший с ней рядом мул услышал ее.

Он не ответил ей, но по тому, как он вдруг раздул ноздри, ясно было, что ржание лошади дошло до него.

И они долго, долго, пока обоз не остановился на привал, бежали рядом, раздували ноздри, и запах мула и запах лошади, тянувших одну телегу, смешались в один запах.

А когда обоз остановился, и ездовой распряг их, и они вместе поели и попили воды из одного ведерка, лошадь подошла к мулу и положила голову на его шею, и ее шевелящиеся мягкие губы коснулись его уха, и он доверчиво посмотрел в печальные глаза колхозной лошаденки, и его дыхание смешалось с ее теплым, добрым дыханием.

В этом добром тепле проснулось то, что заснуло, ожило то, что давно умерло, – любимое сосунком сладкое материнское молоко, и первая в жизни травинка, и жестокий красный камень абиссинских горных дорог, и зной на виноградниках, и лунные ночи в апельсиновых рощах, и страшный сверхтруд, казалось, до конца убивший его своей равнодушной тяжестью, но все же, оказывается, до конца не убивший его.

Жизнь мула Джу и вологодская лошадиная судьба внятно им обоим передавались теплом дыхания, усталостью глаз, и какая-то чудная прелесть была в этих, стоящих рядом,

доверчивых и ласковых существах среди военной равнины под серым зимним небом.

– А осел, мул-то, вроде обрусел, – рассмеялся один ездовой.

– Нет, глянь, они плачут оба, – сказал другой.

И правда, они плакали.

1957 – 1962

АВЕЛЬ (ШЕСТОЕ АВГУСТА)

I

В этот вечер сильно пахли листья и травы, тишина была нежной и ясной. Тяжелые лепестки огромных белых цветов на клумбе перед домом начальника порозовели, потом на цветы легла тень: пришла ночь. Цветы белели, словно вырезанные из тяжелого, плотного камня, вдавленного в синюю густую тьму. Спокойное море, окружавшее остров, из желто-зеленого, дышащего жаром и соленой гнилью, стало розовым, фиолетовым, а потом волна зашумела дробно и тревожно, и на маленькую островную землю, на аэродромные постройки, на пальмовую рощу и на серебристую мачту-антенну навалилась душная, влажная мгла.

Во мраке колыхались красные и зеленые огоньки – сигнальные знаки на гидросамолетах в бухте, засветились звезды – тяжелые, яркие, жирные, как бабочки, цветы и светляки, жившие среди чавкающих, душных болотных зарослей.

Чугунная ступня солнца продолжала давить на ночную землю: ни прохлады, ни ветерка, все та же мокрая, томящая теплынь, все та же липнущая к телу рубаша, все тот же пот на висках.

На террасе в плетеных креслах сидели летчики – экипаж самолета. Коричневая девушка, в белом колпачке и белом накрахмаленном халате, в больших круглых очках, принесла на подносе еду, расставила кружки черного, холодного чая.

У командира самолета Баренса руки были маленькие, как у ребенка, и казалось, его тонким пальцам не удержать штурвал самолета, идущего над океаном.

Но летчики знали, что в обширных списках личного состава военно-морской авиации Соединенных Штатов имя подполковника Баренса стоит в первой пятерке. Те, кто бывал у него дома и совершал с ним боевые полеты, не могли объединить в своем представлении человечка в клеенчатом фартуке, с зеленой маленькой лейкой в руках, многословно объяснявшего достоинства окраски и формы выращенных им тюльпанов, с великим летчиком, молчаливым и упорным, лишенным нервности и эмоций.

Второй пилот Блек считался меланхоликом. Его голова лысела совершенно равномерно, всей поверхностью. При взгляде на бледную кожу, просвечивающую между редких волос, становилось скучно. Но и у Блека были страсти. Ему казалось, что он находится накануне открытия рецепта социального переустройства, которое приведет к экономическому расцвету и всеобщему миру. Однако, пока это открытие не было завершено, Блек летал на четырехмоторном бомбардировщике.

Третий член экипажа, радист Диль, был человеком, в котором жили две враждебные страсти – к спорту и к еде. Он участвовал почти до последнего времени в баскетбольной команде морских летчиков. Но страсть к еде добавила ему шесть кило, и он из участника команды превратился в болельщика. Диль был образован, силен в теории, и его лекции по электронике пользовались успехом среди техников и мотористов.

Штурман Митчерлих, седеющий, красивый, сухощавый, также отлично знал свое дело. До 1941 года он вел занятия по навигационным приборам в Высшей школе пилотов морской авиации, но, когда началась война, попросился на фронт и получил назначение в один из тихоокеанских полков. Считалось, что в его жизни была опустошившая душу, несчастная любовь, – этим объясняли цинизм, с которым он расставался со своими возлюбленными.

Пятый член экипажа – двадцатидвухлетний бомбардир Джозеф Коннор, румяный и светлоглазый, – не имел большого летного стажа, но еще на учебной практике он неизменно занимал первое место. Считалось, что в полку он установил несколько рекордов – чаще всех смеялся, дальше всех заплывал в море, чаще всех получал письма, написанные женским почерком. Его дразнили этими письмами, но письма ему писала мать, от этого он и краснел. Он не выносил выпивок и тайно от товарищей пировал – пил молоко с пенками, заедая каждый глоток ложкой персикового варенья. Два раза в неделю он писал письма домой.

Около недели экипаж отдыхал в полном безделье, внезапно сменившем еженощные полеты над Японскими островами.

Но безделье томило лишь Коннора, остальные чувствовали себя неплохо. Первый пилот высаживал дикорастущие на острове растения в самодельные горшки, сделанные из консервных банок. Он решил добиться акклиматизации на родине некоторых луковичных растений и спешно готовил домой посылку – ее брался доставить приятель, делавший грузовые рейсы.

Митчерлих ночью играл в покер с интендантами и начальником склада горючего, а когда поднимался северо-восточный ветер и становилось не так жарко, развлекался с туземной официанткой, грудастой девушкой Молли; судя по лицу, ей было не больше пятнадцати лет.

Диль вычерчивал кривую, предугадывающую исход любого баскетбольного состязания. Работа эта оказалась трудоемкой, требовала обработки многолетних материалов и привлечения высших ветвей математики. По вечерам Диль шел на кухню и готовил блюда из нежной местной рыбы, овощей, фруктов и консервированных специй, привезенных из Соединенных Штатов. Он ел медленно, задумчиво, никого не приглашая, иногда, подняв брови и пожимая плечами, повторял по несколько раз одно и то же блюдо, если гастрономическая комбинация казалась ему не совсем ясной.

Меланхолик Блек лежал в гамаке с ворохом газет и брошюрок. Он делал пометки цветными карандашами на полях, но внезапно, словно проваливался в воздушную яму, засыпал.

Коннор много купался, писал маме письма и читал романы. Он не замечал, что в него влюблены девушки из секретариата начальника, а также туземные официантки. Когда голубоглазый, бронзовый, в белоснежном костюме, в белой фуражке, с полотенцем на плече, словно сбегавший с первой страницы иллюстрированного журнала, он возвращался с пляжа, среди маленького женского населения острова происходило волнение и беспроволочный телеграф передавал сообщение: «Он вернулся с пляжа».

Женские уши умели различить шум четырех моторов идущего на посадку самолета, на котором летал Коннор, и по острову проносилось: «Он пришел». Но юный садист – истребитель варенья – сохранял неведение, равнодушие и невинность.

Как– то коричневая Молли сказала Митчерлиху, что готова любить его долгие годы, но скажи

слово голубоглазый бомбардир, ее б не удержали ни душевная привязанность, ни даже соображения практического разума. Митчерлих похлопал ее ладонью по спине и ответил: «Я бы сделал то же на твоём месте». Но когда Коннор лежал в гамаке и, открыв рот, читал роман, Митчерлих, высмеивая его перед Дилем и Блеком, проговорил: «Вот макет мужчины из папье-маше. Молодой идиот, лишенный первичных половых признаков».

Недоумевая, откуда вдруг взялась в великолепном Митчерлихе такая злоба, Диль смеялся, а меланхолический философ Блек, обладавший пониманием людей, сказал:

– Смиритесь, старик, вам ничто не поможет!

Казалось, ничто или почти ничто не связывало между собой этих людей, экипаж военного гидросамолета, – собранных главным штабом на острове. Однако была одна общая им всем черта – каждый из них был талантом, выдающимся в своей сфере специалистом. Им дали самолет с невиданно совершенной моторной группой, электроаппаратурой, приборами, прицельными приспособлениями, с большим количеством новшеств и усовершенствований; все они, привыкшие к достижениям техники, первое время чувствовали себя на этой, не вошедшей еще в серию, машине так, как может чувствовать себя крестьянин-тракторист, привыкший к плугу и керосиновому двигателю и вдруг севший на легковой «бьюик».

Они летали часто, много, подолгу. Им не давали покою ни днем, ни ночью. Чем хуже была погода, порывистей ветер, ничтожней видимость, шире грозовой фронт, тем вероятней было получение приказа о вылете.

Начальник говорил им, что они совершают разведывательные полеты, что материалы аэрофотосъемки представляют собой интерес для командования.

Видимо, все же суть дела была не в разведке, а в тренировке. Особенно ясно было это для Коннора – самолет при каждом полете снабжали бомбами не совсем обычной формы и нестандартного веса. Бомбы эти, конечно, не были фугасными, не были они и зажигательными. Взрываясь в различных расстояниях от земли, они давали компактное облако сигнального темного дыма. При сбрасывании их полагалось учитывать необычайно большое число элементов. Все это потом сверялось с данными аэрофотосъемки. Конечно, Джозеф скоро набил руку в этом пустом занятии. А несколько дней назад их вызвали к начальнику, взяли торжественную подписку, и начальник рассказал им о новом оружии. Потом они присягали, что сохраняют в тайне беседу.

У многих военных людей есть утешительное, постоянное чувство: наше дело маленькое, телячье – выполнять. Пусть начальство решает и приказывает, ломает себе голову, с нас хватит того, что мы отдаем свою жизнь.

После нескольких десятков полетов они спелись между собой, достигли совершенной рабочей слаженности, всегда необходимой и на заводе, и в шахте, и на рыбацкой лодке.

Но у них не установилось душевной, человеческой связи, которая так хороша в каждодневном тяжелом однообразном труде, согревает, освещает жизнь.

Вечером, ужиная, они, пошучивая друг над другом, разглядывали новую официантку, заменившую в этот вечер Молли, у которой был приступ малярии. Как большинство людей, которым постоянно в работе приходилось иметь дело со смертью, они, даже Блек, считавший себя философом, не задумывались над сутью жизни и сутью смерти. Смерть летчика для них была низведена в профессиональную вредность, высшую профессиональную неудачу, сопутствующую браку в работе и всегда могущую досадно проявиться. Смерть летчика не была роком, мистическим ударом, – она являлась следствием технических и навигационных причин, тактических новинок истребительной авиации и зенитной артиллерии противника, числа оборотов мотора, метеорологических условий.

Когда погибал летчик или экипаж, они спрашивали:

– Что у них там случилось?

Но их не удовлетворял ответ: «Забарахлила правая группа моторов, когда пилот шел на цель», «Отказала пушка при сближении с истребителем противника».

Они спрашивали: «А почему перестали работать моторы?», «Что же произошло с пушкой, почему она отказала?» И им было мало услышать, что нарушился контакт, или перестало поступать горючее, или что у пушки при отдаче заела автоматика, подающая снаряд.

Когда же они узнавали во всей глубине техническую основу гибели самолета, то уже естественной делалась и гибель людей – она являлась частью технического вопроса.

Очень редко причиной смерти становились сами люди: однажды пилот сошел с ума в воздухе, второй оказался пьян, у третьего и четвертого запоздал рефлекс – растерялись. Но и в этих случаях дело сводилось к техническому браку: все же отказывал мотор, а не человек. Это было главное в конечном счете.

Правда, иногда летчики, выпив, пускались в излияния. Человек, как ни крути, человек: у него есть мать, отец, сестры, а если он успеваешь жениться и после этого у самолета барахлит мотор, на свете оказывались еще одна вдова и новые сироты.

В этот вечер летчики философствовали, хотя никто не был сильно пьян.

– Не забудьте, – сказал Блек, – что военный летчик не только гибнет, но и губит других.

Митчерлих добавил, что он может не только погубить человека, но и создать его. Оглянувшись на новую официантку, с любопытством слушавшую, он сказал ей:

– Я готов вас убедить в этом – конечно, когда станет прохладней.

Джозеф, чтобы скрыть стыд, стал давиться и кашлять. Девушка вызывающе сказала:

– Да? Я сомневаюсь.

Четверо засмеялись, а у Коннора опять сделался кашель.

– Тогда поставьте поднос, – весело сказал Митчерлих, – и пренебрежем метеорологическим фактором.

– Не знаю про могущество, – сказал командир корабля, – но по части воспитанности, майор, дело плохо.

Самолюбивый Митчерлих был страстным поклонником самого себя – он любил свою свежую проседь, свой профиль, свои пальцы на ногах, свой смех, свой кашель с мокротой, свою манеру подносить рюмку к губам, свою независимость, свою резкость.

Но все же он сдержался и сказал:

– То, что вы говорите, тоже довольно-таки грубо.

– Я отвечаю на грубость, сказанную женщине, – сказал командир корабля.

Официантки уже не было на террасе, и Митчерлих, искренне удивляясь, произнес:

– Вот этой маленькой очкастой мартышке?

– Она девушка и родилась в одном году с моей дочерью, – сказал Баренс.

Тут взял слово Блек. Он произнес быстрым, но монотонным голосом речь о том, что люди равны при рождении и все равны в смерти и потому в короткий миг жизни, между двумя безднами равенства, надо соблюдать законы, не знающие черных, белых, желтых, богатых и нищих.

Диль, не дослушав его речь, проговорил:

– Оказывается, учение Блека сводится к тому, что надо подлизываться к командиру корабля и обвинять штурмана.

Но тут Блек, потеряв свою меланхоличность, повелительно и звонко крикнул радисту:

– Прекратите скотство в отношении меня лично.

– Э, ребята, бросьте, – нараспев произнес Коннор. – Виноватого нет. Все это от безделья.

Слова эти проговорил самый младший, слюнтяй и сластена, и потому справедливость их показалась комичной, и каждый произнес насмешливую самокритическую фразу.

Митчерлих сказал совершенно несвойственным ему тоном:

– Человек и при уме и честности может быть одновременно полным ничтожеством. В этом он и достигает равенства со всеми остальными. Поэтому и говорят, что все люди братья.

– Кроме того, каждый любит себя больше других, в этом все похоже, – проговорил Блек, – это тоже всеобщее равенство. Разница в том, что один хвастается своим себялюбием, как Митчерлих, другой скрывает его, как Баренс, а третий, вроде меня, для своего удовольствия притворяется, что любит ближнего больше, чем самого себя.

Диль сказал:

– Аминь. Я себя чувствую среди вас дураком. Хочется вытащить блокнот и записывать изречения.

Баренс пробормотал:

– Только не мои, конечно.

А Коннор сказал:

– У вас у всех есть занятия, а я от скуки превращаюсь в полного идиота, что для меня не так уж трудно.

Хорошего настроения и самокритики хватило всего на несколько минут. Внезапно заговорили о войне.

Блек сказал:

– Не надо забывать, мы боремся с величайшим злом – фашизмом. В таком деле и помереть не жалко, надо только помнить об этом.

– Это верно, – сказал Диль, – но как удержать это в памяти, когда валишься, как петрушка, вниз головой, в горящем самолете. В эти минуты забываешь свое имя.

А Митчерлих вдруг спросил у Джозефа, присюсюкивая, точно говорил с малюткой:

– Конечно, смерть – бяка, смерть – кака, как вы полагаете? Но уж пусть начальство, – добавил он, – судит о целях войны, с меня достаточно, что я рискую своей шкурой. А то окажется потом, что война была несправедливой, и опять моя шкура будет отвечать.

– От ответственности никто не открутится, – сказал Баренс.

Но тут все стали возражать ему – разве солдат может отвечать?

– Я ведь говорю о чисто моральной ответственности, – поправился Баренс.

Блек сказал:

– Знаешь, техника освобождает нас в этом деле от моральной ответственности. Раньше ты разбивал голову врагу дубиной и тебя обдавало его мозгом – вот тогда ты отвечал; потом расстояние стало все увеличиваться – на длину копья, полета стрелы, и ты только слышал его крик, потом он отдалился на выстрел из пищали, мушкета, и ты уже не слышал его стонов, только видел, как он падает – пестрый человечек, серая фигурка, потом неясный силуэт, потом точка, потом не стал виден не только человек, но даже линкор, по которому бьешь... Кому нести ответственность? Тот, кто видит врага, – наблюдатель, он не стреляет, а тот, кто стреляет, – огневик, – тот не видит, у него только данные – цифры, за что же ему отвечать? Нет, отвечают не те, кто стреляет.

Джозеф тоже сказал несколько слов:

– Мне не пришлось ни разу видеть японца в форме.

– Ну и в самом деле смешно, почему мальчик должен знать, чего они там хотят, – сказал Диль. – Тут надо вычертить кривую – по оси ординат откладывается дальность, а по абсциссе – ответственность стрелка: кривая стремится к нулю, моральная ответственность становится бесконечно малой, практически ею можно пренебречь. Обычная вещь при расчетах.

Ночью бомбардир писал письмо:

«Дорогая мамочка, если бы ты знала, как я скучаю по тебе. Я ведь не виноват, что меня мало интересуют здешние люди. Меня тошнит от их развлечений, споров и от их выпивок.

Если бы ты только знала, как мне хочется быть возле тебя. Скажу тебе правду, не только потому, что люблю тебя больше всех на свете, но ведь ты единственная понимаешь, что я ближе к маленьким, чем к большим, и мне не нужно коктейлей и двусмысленных разговоров. Вечером нужно позвать меня, чтобы я шел ужинать и не торчал до темноты на площадке, а когда я лягу спать, ты посмотришь, аккуратно ли я сложил одежду и хорошо ли укрыт. А здесь спортом они не хотят заниматься из-за жары, посмеиваются надо мной, почему я не люблю карт и прочего, не веду в пьяном виде идиотских умных разговоров. И конца этому не видно. Блек объяснял сегодня вечером цели войны, но я так и не понял ясно, какое мне до всего этого дело. Я-то знаю, чего хочу, – быть дома, возле тебя и всех наших родных, снова видеть свою комнату, наш сад и двор, сидеть с тобой за ужином и слушать твой голос...»

Утром в штаб вызвали командира корабля. Вернувшись в свой домик, он по телефону попросил зайти всех членов команды.

Они застали Баренса в садике, он высаживал из грунта какие-то коричневые, мохнатые, похожие на гусениц корешки с цилиндрическими янтарно-желтыми побегами и прикрывал их бумажными колпачками с надписями и датами. Шея его и уши покраснели – он был садовник в эту минуту.

– Получен приказ сегодня ночью вылететь, – сказал он, встал, распрямился, вытер ладони,

сощурил глаза – и садовник исчез.

– Боевой полет? – спросили четверо одновременно.

– Да, новое оружие. Словом, понимаете сами. То, о чем говорил начальник во время секретного инструктажа. Почему-то на этот раз летим с пассажиром. Кроме того, нас сопровождают два «Боинга – двадцать девять».

– Объект и трасса намечены? – спросил Митчерлих.

– Да, вылетело из головы название городка. Я сейчас погляжу запись. Приказано строго держаться маршрута. Я вам передам его.

– А как со связью? – спросил Диль.

– Есть инструкция. Словом, Диль, скучать вам не придется.

– А по моей части есть специальные указания? – спросил Коннор.

– Есть, но не много. Частные объекты не даны. Примерно геометрический центр города. Сейчас посмотрю. Указана только критическая высота, ни ниже, ни выше – шесть тысяч метров.

Блек не задавал вопросов, он раздражался всякий раз, ощущая разницу в положении первого и второго пилота. Ему, конечно, надо было инструктировать людей, а не Баренсу.

Митчерлих сказал, обращаясь к Баренсу:

– Несколько необычайно, правда?

– Не совсем по-обычному, – нерешительно сказал Баренс.

Днем их дважды вызывали в штаб, беседовали, снова и снова инструктировали. Потом их познакомили с пассажиром – сутулым, худым полковником с близорукими, голубоватыми глазами, с белой, совершенно круглой, точно очерченной циркулем, широкой лысиной, с манерами и движениями, не имевшими ничего общего с военной службой.

– Какой-то медицинский профессор, владелец клиники, сказал о нем Митчерлих.

– Да, вроде аптекаря, но, может быть, вице-президент, – сказал Диль.

Вместе с пассажиром они поехали к самолету.

Полковника больше всего интересовал бомбардир. Он расспрашивал Джозефа, осматривал устройство автоматического прицела, механизм сбрасывающего аппарата. По вопросам, которые он задавал, чувствовалось, что он не дурак. Может быть, изобретатель? Никто не слышал его фамилии. Затем они выверяли работу моторов, приборов.

Начальник лично следил за всем, а полковник уехал на базу. Потом с материнской придиричивостью и заботой их осматривал врач, им сделали ванны и приказали лечь спать.

И вот они сидели на террасе, пили холодный крепкий чай и поглядывали на узкую полоску шоссе, на белевшие во мраке огромные восковые цветы, прислушивались к негромкому плеску воды, к постукиванию движка на радиостанции. Их не так уж волновала таинственность, которой обставлялся полет. В конце концов, не все ли равно – разведка ли, новое ли оружие, контрольное испытание машины, идущей в серию, ультиматум, военная прогулка высокопоставленного лица? Служба есть служба...

По пути на аэродром Джозеф сидел рядом с шофером, смешливым, хорошим пареньком, черным, вроде грека. Машина шла быстро, и синие фары ее окрашивали все вокруг в сказочные тона.

В эти минуты, как, пожалуй, никогда до этого, он особенно ясно ощутил счастье жизни, той, что равно добра и щедро к молодым и старым людям, собакам, лягушкам, бабочкам, червям и птицам...

Ему стало душно, жарко от счастья, даже пот выступил на лбу от желания сделать что-то шальное, что дало бы ему возможность со всей полнотой почувствовать свои двадцать два веселых года, свои широкие плечи, легкие и быстрые движения, свое веселое, молодое сердце, свою доброту ко всему живому.

Когда машина остановилась на берегу, Джозеф сказал Баренсу:

– Отлучусь на десять минут. Можно?

Баренс кивнул:

– Время есть.

Джозеф побежал к темным деревьям, сел, быстро разделся и по теплоте, не успевшему остыть песку пошел к воде. И в тот миг, когда он стоял в береговой котловине, закрытой от всего мира деревьями, а перед ним тяжело колыхалась ленивая и широкая океанская вода, он вновь ощутил прилив беспричинного счастья.

Разбежавшись, он бросился в воду и поплыл. Вода была теплой, он то и дело окунал голову, соленый вкус возник на губах, струйки воды, стекавшей с волос, щекотали виски, набегали на глаза. По-особому хороши стали звезды в небе, когда он смотрел на них мокрыми глазами. Капли воды дрожали на ресницах, и в каждой капле растворился крошечный квант звездного света, и, должно быть, оттого, что свет прошел через бездны пространства и времени, а соленые капли, захватившие этот свет, были согреты живым теплом человеческого тела, в душе у юноши возникло какое-то странное, щемящее и сладостное ощущение... Он плыл живой, молодой, и в нем в этот миг соединилось вместе и прошедшее и настоящее – вот ко всему любопытный и жалостливый Джо в детском передничке смотрит в печальные глаза отца, вернувшегося с работы, и слышит сиплый голос: «Здравствуй, дорогой мальчик», и слышит победный рев четырех моторов самолета, поднятого над двумя океанами – белых облаков и темной воды, и шум в белокурой вихрастой голове после первой выпивки...

Ему показалось, что когда-то он уже плыл в ночной теплой воде, и мир так же был хорош, и звездный свет на мокрых ресницах казался понятен, привычен, близок ему, как близка и привычна мать, – этот свет, шедший из галактической и межгалактической бездны, от Сириуса, от Паруса и Индийской Мухи, от Водяного Змея и Центавра, от Больших и Малых Магеллановых Облаков... И в эти секунды он почувствовал братскую и сыновнюю, нежную, добрую связь со всем живым, что существовало на земле и в глубинах моря, со слепыми протейями в подземных пещерных водах, со всем живым, чье легкое, доброе дыхание шло через пространство от звезд и мягкой голубоватой прохладой касалось его ресниц.

Он весело вскрикнул, окунулся, всплыл, снова посмотрел вверх сквозь брызги и капли воды, снова крикнул и, охваченный внезапным ребячьим страхом, что чудовище, не то осьминог, не то акула, сейчас схватит его за ногу, поплыл к берегу.

Два часа находились они в воздухе. Самолет шел все время по приборам. Серая плотная мгла лежала над огромным пространством.

Согласованность действий команды достигла своего высшего предела, и самолет казался людям живым, наделенным волей существом, высшим по сравнению с людьми организмом.

Сейчас решения и поступки людей определялись не так, как это бывает в обычной жизни, а одними лишь показаниями приборов и цифрами расчетов. Красные и сине-черные стрелки на больших и малых циферблатах, светящиеся цифры выражали сложный мир высоты, скоростей, давлений, широты, долготы, магнитных поправок, заменявший сейчас человеческие страсти, воспоминания, сомнения, привязанности. Сердца, дыхание летчиков сделались лишь простой математической функцией от волнообразного движения синуса, от скольжения логарифмов, от показаний телеприборов, от меняющегося напряжения электромагнитного поля.

Это было удивительно. Ведь самолет, который управлял поступками людей, страстно выполнявших его волю, мертвый самолет, металл, стекло, пластмасса, возник и летел сейчас во тьме по воле человека, послушный, покорный одной лишь этой живой воле.

Бронированная птичья грудь, винты, светлые крылья рассекали, дробили, отбрасывали тьму и пространство – слепой уверенно шел к цели.

Мгла над землей, густая и клубящаяся, такая же густая и клубящаяся, как мгла над океаном, охватывала необъятное, уже казавшееся космически, эйнштейновски криволинейным пространство. Хотя мгла была непроницаема для любого самого сильного объектива, люди совершенно уверенно чувствовали ее огромность.

Пассажир, склонив большую лысую голову, смотрел в иллюминатор – угрюмое движение в сырой мгле поражало его. Он видел огромный океан тьмы впервые, и это зрелище тревожило его.

Но чувство волнения, с которым он смотрел в иллюминатор, было вызвано не тем, что он впервые в жизни наблюдал тьму над океаном. Чувство вызывалось тем, что картина эта была ему уже знакомой, он знал ее уже. Он вспомнил, как впервые услышал в чтении матери начальные строки Библии – бог, простерев руку, летел в нераздельном хаосе небес, земли и воды. Таким и был безвидный хаос, возникший в его детских снах, – он клубился вот так же, как он клубится сейчас, он казался тяжелым и легким одновременно, в нем таилась и тьма, и жизнь, и вечный лед смерти, и легкость небес, и черная тяжесть руд, земля и вод.

Пассажир вытянул руку и посмотрел на свои утолщенные подагрой длинные пальцы, поросшие короткими волосами, выхоленные ногти, ощутил маленькую мозоль на пальце, образовавшуюся от многих десятилетий пользования автоматической ручкой. Но мгла над бездной оставалась мглой, и он опустил руку.

В тот момент, когда самолет выходил на Японские острова, начался восход солнца.

Первый утренний свет коснулся растрепанной белокурой головы молодого бомбардира, и вокруг нее встало светящееся облако. Юноша склонился над прицельным устройством и, придерживая дыхание, стал следить за стрелками приборов, в последний раз выверять плавное, медленное движение ориентированной по приборам прицельной нити, еще далекой от контрольной точки.

Оба пилота сидели за пультом управления. Блек, отстраняясь, откинулся от пульта, и руки его повторили движение, которое делает закончивший игру пианист, – первому пилоту

полагалось вести самолет в момент выхода на цель.

Блек переглянулся с Митчерлихом, они подмигнули друг другу – их радовала точность работы: около тысячи километров самолет шел по-слепому, во тьме, и вот секунда в секунду он вышел к той точке побережья, которая была заранее задана. Тут было чем гордиться – человек приближался по точности своих действий к прибору, и, если бы отказала электронная лампа, нарушив автоматичность работы, человек мог бы на время заменить ее. Пареньки на «Боингах» тоже не отстали.

Радист Диль сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. По инструкции, полученной перед полетом, он мог сейчас немного передохнуть – связь, которую он держал в продолжение всего полета, сейчас следовало прервать и возобновить с сигнала: «Иду на цель». Диль нащупал в кармане шоколадную плитку, привычным движением переломил ее и засунул себе в рот большой кусок шоколада.

«Так, пожалуй, веселей», – подумал он, скосив глаза на свою оттопыренную щеку.

Пассажир вновь привалился к иллюминатору. Солнце нетерпеливо выплывало из тяжелой, темной воды и, легко отделившись от нее, перешло в воздух, и тотчас зарозовела снежная вершина прибрежной горы, и ее серый, мягко покатый склон, поросший японской сосной, засветился. Огромное водное пространство окрасилось зеленью и оранжевой желтизной. Немота живой поверхности океана казалась странной – ведь тысячи всплесков, шумов, шорохов, гудение стояли над могучей водой.

А там, где сходились суша и море, в рассветной дымке, дремлющей в последних мгновениях тьмы, в полукруглой, чашеподобной котловине, закрытой от утреннего солнца склоном дальней горы, лежал город.

Из быстро тающего сумрака выступали очертания мола, портовых сооружений, угадывался массив городского парка, плешины площадей и линии улиц, блеснула многорукавная дельта реки.

Пассажир отвернулся от иллюминатора, оглядел летчиков. Две спины, одна квадратная, другая длинная, сутулая, в форменных белых кителях, – пилоты. Митчерлих, спрашивавший еще накануне о нью-йоркских концертах, делал пометки на карте. Диль сосредоточенно всасывал шоколад и спокойно наблюдал за аппаратурой.

Пассажир шевелил губами, но гул моторов, шум в ушах не давали разобрать его слов.

Джозеф оглянулся в его сторону; глаза старика жадно смотрели на руку юноши; казалось, эта рука школяра, с неподстриженными ногтями, с чернильным пятном на указательном пальце, оставшимся после писания вчерашнего письма к матери, гипнотизировала его. Ведь никто в мире – ни президент, ни школьный учитель, ни воздушный генерал Арнольд, ни физики, возглавляемые гениальным Эйнштейном, ни Дюпон, ни родная мать, – никто-никто не стоял в этот миг рядом с этим мальчиком.

Но так ли? Порвались ли нити, протянутые через океан до этих пальцев?

Слов почти не было слышно, но по неясным звукам, а больше по движению губ Джозеф понял, что большеголовый аптекарь молился. Сам Джозеф не знал всех этих сложных мыслей. Его дело – включить телеустройство, далее уже действовала автоматика.

Джозеф нажал на полированную белую кнопку – она легко ушла в выточенное стальное гнездо, и вскоре легкий щелчок, который ощутила подушечка указательного пальца, подтвердил: бомба пошла на цель. Этот миг всегда был приятен Коннору – миг успокоения, когда трудное напряжение разряжалось. В такие мгновения ему казалось, что бомба

отрывалась не от брюха самолета, а от его собственных внутренностей. Сразу становилось просторней и легче дышать – пловец освободился от гири, тянущей его вниз.

Он склонился над стереосмотровым устройством, ожидая, пока бомба совершала свою дорогу.

Могучие, жадные линзы, как бы приподняв на огромной ладони океан и землю, приблизили их к глазам Джозефа. Он увидел тысячи подробностей этого утра: плещущую и дышащую океанскую воду, и бесконечное, вьющееся розовато-белое драное кружево прибойной пены, и зелень рисовых посевов в алмазной чешуе поливных вод, и быстро плывущий на запад город – от него веяло той острой прелестью, которой полны, особенно в утренний час, чужеземные города. Глаз быстро ловил чуждый, необычайный вид домов и улиц, паутину дорог, яркие цветные пятна крыш, а сердце подсказывало, что и в этом чужом городе в ранний час сонно улыбаются красивые девочки, матери смотрят из окон на бегущих в школу школьников, старики радуются еще одному утру, богатому теплом, светом, голубизной неба...

Вот в этот-то миг кусок урана закончил свое падение и часть его перестала быть веществом. Бомба взорвалась на заданной высоте в две тысячи футов. Вспыхнул свет, свет смерти, давящий, жгущий.

Он ударил подобно острому, быстрому топору, он давил на глаза, нажимал на череп, и протуберанцы пурпурного, золотого, синего и фиолетового пламени распоролли утренний воздух до самой стратосферы, осветили землю и все, что жило на ней, поразительно прекрасным светом – он был серым и в то же время непередаваемо ярким, в сотни раз более ярким, чем самое яркое тропическое солнце, чем самое яркое зимнее солнце, сияющее над снежной равниной.

Светящийся шар, словно рожденная вновь звезда, стремительно вознесся в небо, раскрылся в субстратосфере наподобие огромного гриба, превратился в светящийся огненный столб.

Пассажиру казалось – из воронки, выжженной в том месте земли, над которым сверкнул эпицентр взрыва, где родилась неведомая планете температура в семьдесят миллионов градусов, поднимаются клубы обращенных в раскаленный атомный пар железа, алюминия, гранита, стекла, цветов, листьев, обращенных в атомный пар человеческих глаз, смоляных девичьих кос, сердец, крови, костей – и заполняют огромный куб пространства.

В этот миг автоматически закрылись все смотровые окна, отключились приборы. Самолет ощутил удар вызванного им огромного тайфуна. Оглушенный пассажир упал на пол, зажмурился, ему представилось, что небо, земля, вода вновь вернулись в хаос... Так и не победив зла, отцом и сыном которого он является, человек закрыл книгу Бытия...

Это показалось пассажиру на миг, но он открыл глаза и увидел маленькие руки первого пилота, оставшегося сидеть за пультом управления. Эти руки были вырублены из камня, такими неподвижными и холодными казались они.

Через мгновение он услышал голос радиста и подумал: «Президент уже все знает...»

Четырнадцатилетним худым мальчишкой он ходил по тихим вечерним улицам маленького городка и разговаривал сам с собой, прохожие оглядывались на него и смеялись... Он поднимал руку к темному небу, вот так, как он пробовал поднять ее в самолете, и произносил клятву: «Всю жизнь я посвящу одному делу – освобождению энергии. Я не потеряю ни часу, не отклонюсь ни на шаг. То, что не удалось алхимикам, удастся нам. Жизнь станет прекрасна, человек полетит к звездам».

Штурман Митчерлих помог пассажиру встать, усадил его на низкое кожаное сиденье. Штурман усмехнулся бледными губами и проговорил:

– Вы меня вчера взволновали рассказом о зимних концертах...

Блек провел рукой по глазам:

– Режет, как ножом. Но здорово мы им дали за Пирл-Харбор, по самой макушке!

Пассажир подумал:

«Странно! Юноша со вчерашнего дня гипнотизировал меня, а с момента взрыва он перестал меня совершенно занимать. Где они – те, что были там, внизу?»

Радиостанции не умолкали. Вышли экстренные выпуски тысяч газет. Два миллиарда людей говорили о погибшем городе, который никого не интересовал накануне. Назывались самые разные цифры погибших – от девяноста тысяч до полумиллиона.

Сознание людей, освоившее в эпоху фашизма миллионные цифры убитых в лагерях уничтожения, было потрясено быстротой, с которой убивала урановая бомба! В одну секунду, первую секунду после взрыва, число убитых и умирающих достигло семидесяти тысяч человек! Все почувствовали: средства уничтожения поднялись на такую высоту, что не такой уж фантастической стала казаться перспектива уничтожения человечества ради процветания и величия государств, счастья народов и мира между ними.

Политики, философы, военные, журналисты, публицисты в первые же часы после взрыва доказали, что мощный удар урановой бомбы, воздав фашизму за преступления против человечества и парализовав в большой мере сопротивление Японии, ускорит приход мира, которого жаждут все матери ради жизни своих детей. Эти доказательства сразу поняли и в японском генеральном штабе и в императорском токийском дворце.

Всего этого не успел понять маленький четырехлетний японец. Он проснулся на рассвете и протянул толстые руки к бабушке. В полутьме за спущенными занавесками он видел ее седые волосы и золотой зуб. Ее узкие, слезящиеся глаза улыбались среди темных морщин. Мальчик знал, что это он доставляет бабушке столько радости – ей приятно, проснувшись, увидеть внука. А сегодня день особенно хорош. У мальчика наладился желудок, ему предстояло попробовать кое-что получше, чем жиденский рисовый отвар.

Так ни этот мальчик, ни его бабушка, ни сотни других детей, их мам и бабушек не поняли, почему именно им причитается за Пирл-Харбор и за Освенцим. Но политики, философы и публицисты в данном случае не считали эту частную тему актуальной.

Вечером после ужина летчики сидели на террасе и выпивали. Все они возбужденно говорили, плохо слушая один другого. Днем они получили благодарности от столь высокопоставленных людей, что, казалось, легче получить на Земле радиосигнал с Марса, чем подобные служебные телеграммы.

Было очень душно, и казалось тщетным бесшумное вращение вделанного в потолок большого, как винт самолета, вентилятора.

Командир корабля подошел к перилам. Так же как и вчера, мерцали в большой высокой черноте южные звезды и неясно светлели над темной землей лепестки цветов.

Баренс повернулся к товарищам, сидевшим за столом, и сказал:

– Меня всю жизнь раздражали старинные, заросшие сады, тупой и жадный лопух, крапива, лесная неразбериха тропиков. К чему прут из земли тысячи хищных, ординарных, на одно рыло растений? Я всегда верил, что садовники истребят эти заросли и в мире восторжествуют лилии, платаны, дубы, буки, пшеница.

– Понятно, – проговорил, зловеще и дурашливо посмеиваясь, краснолицый, как индеец, Митчерлих, – все ясно. Мы с командиром против зарослей.

Шея его была багрова, – казалось, вот-вот вспыхнет от этой огненной багровости сухая седина. Он багровел так, когда пил долго и много. Он поднес стакан Баренсу и сказал:

– За успех садовников.

Баренс выпил и, поставив пустой стакан на перила террасы, проговорил:

– Хватит хвалить садовников.

Второй пилот объяснил:

– Сегодня Баренс не хочет думать о ботанике и вегетарианстве.

– Блек, дорогой друг, это все ерунда. Не стоит говорить. Но вот где Джозеф, я хочу с ним выпить, – проговорил Баренс.

– Он вышел на минутку, моет руки.

– По-моему, он уже четыре раза мыл руки.

– Ну что ж, его так учила мама, – сказал Митчерлих.

– За кого молился аптекарь, когда Джо нажимал на железку, – за них или за нас? – спросил Диль.

– Надо было спросить, если тебя это интересует, а теперь он уже докладывает в Вашингтоне: «Митчерлих – бабник, Диль – обжора», – а президент хватается за голову.

– Вам льстит, что он слышал твоё и моё имя? – спросил Митчерлих. – Плевал я на все это.

– А почему бы и нет? Представляешь себе, как выбирали людей для такого дела! А? Выбрали-то наш экипаж.

– Ничего не понимаю, – сказал Коннор, вернувшись на террасу, – все вы ничуть не изменились.

– Ты поменьше пей, Джозеф, это все же не молоко. Перекрыты все рекорды истории, я имею в виду – сразу.

– Это война, – сказал Блек, – не забудь – это война со зверем, с фашизмом.

Джозеф поднял руку и разглядывал свои пальцы.

– Тут выпили за садовников, – сказал Баренс. – Мне всегда казалось, что это самое честное, бескровное дело. А теперь я подумал: выпьем лучше за монастыри, а?

– Выходит, что я нажал на железку, не вы. Ладно!

– Да не шуми так, ты разбудишь весь остров!

– Чему смеяться? А, Диль? Вас не интересует, куда они девались? – крикнул Джозеф радисту.

– Авель, Авель, где брат твой Каин?

– Каин обычный паренек, немногим хуже Авеля, и город был полон людей вроде нас. Разница

в том, что мы есть, а они были. Верно, Блек? Ведь ты сам говорил: пора подумать обо всем.

– Тебя действительно скучно слушать, – сказал Блек. – Кому нужны пьяные, глупые мысли? Знаешь, человек умирает надолго, но если он глуп, то навсегда.

На его лбу и на висках выступили красные пятна.

– Я слежу за тобой, Коннор, ты выпил не меньше меня, – сказал Диль.

– Я? Ты ослеп! Вот девочки свидетельницы – я выпил два литра.

– Пусть официантки присягнут, но это невозможно.

– Девочки, сколько я выпил? Только правду!

– Не пора ли пойти спать? – проговорил Блек и встал.

– Спать я не буду. Мне надо подумать.

– Вот видишь, ты перепил. Думать будешь в другой раз.

– Слушай, Джозеф, совет старшего по возрасту, – проговорил Блек. – Иди спать. И пусть астрономы без нас решают проблему – возможна ли жизнь на земле.

– Пусть дитя поспит с девчонкой, это заменит ему липовый чай или отвар малины. Утром ты проснешься счастливым и здоровым, – поддержал Митчерлих.

– Смотрите, Диль уже вычерчивает кривую храпа.

– Перестань ты наконец смотреть на свои ладони и пальцы! – крикнул командир корабля.

Они встретились днем, выспавшиеся, выбритые, щурились и улыбались при мысли о предстоящем длительном отпуске.

Дневное солнце било в глаза, блистало на плоскостях самолетов, и казалось, даже необъятного зеркала Великого океана было недостаточно, чтобы отразить его нержавеющей, вечный блеск. Свет солнца был щедр, огромен, затоплял пространство, мешал видеть, ослеплял людей, птиц, животных.

Баренс положил на стол пачку газет и сказал:

– Крепко же вы спали. Я завтракал один, никто не брал почты. Никто не слышал, что тут творилось.

– Что же?

– Джозефа свезли на рассвете в санитарную часть, у него стало неладно с головой.

Досмотрев на лица товарищей, он сказал:

– Не то чтобы совсем помешался, но вроде. Он отправился среди ночи купаться, а на столе оставил письмо. Потом пытался повеситься на берегу, его обнаружил часовой, и все обошлось. Первые слова его письма я прочел. Не стоит повторять: жуткое письмо, как будто именно мать кругом виновата.

Блек, сокрушаясь, присвистнул:

– Видишь, Баренс, ты вчера забыл – кроме монастырей, есть еще сумасшедшие дома. Я

сразу заметил, что с ним нехорошо. Но ничего. Если это не на всю жизнь, то через несколько дней пройдет.

1953

НА ВОЙНЕ

До войны Николай Богачев учился в школе-десятилетке, потом пошел работать на завод. У него был замкнутый, спокойный характер. Он не любил ходить в кино, мало встречался с товарищами. В школе его не любили за молчаливость и нежелание участвовать в волейбольных состязаниях. На заводе Николая уважали как хорошего рабочего, отлично знавшего свое дело, но и здесь он ни с кем из товарищей не сошелся близко, никто к нему не ходил, да и он ни у кого не бывал. Сразу после работы он отправлялся домой. Мать часто хвалилась перед соседками тем, что сын у нее такой серьезный, солидный: придет домой, пообедает и сразу принимается за какое-нибудь дело либо читает; да и читал он все серьезное – техническую литературу. Но в глубине души ее огорчало, что Николай такой молчаливый и нелюдимый. Правда, она видела и чувствовала его внимание. Он всегда помогал ей – то наколет дров, то воды принесет. И получку Николай всегда отдавал полностью матери, оставляя себе немного денег на трамвай и папиросы. «Ты бы сходил погулял с товарищами», – не раз говорила она. «Неохота», – отвечал он, а иногда ничего не отвечал, только усмеялся.

Когда его взяли на военную службу, он простился с товарищами легко и просто, проводов ему не устраивали, одна лишь мать стояла на платформе и махала ему рукой. Он несколько раз помахал ей фуражкой и крикнул: «Мама, ты инструмент мой получше спрячь, чтобы не поржавел». Она не расслышала его в гуле сотен возбужденных голосов, и ей показалось, что сын крикнул какие-то особенно нежные, заботливые слова. На обратном пути к дому она шла медленно, плохо разбирая от слез дорогу, и все повторяла с умилением слова, которых он не произносил: «На ветру без платка не стой, а то застудишься». Ей казалось, что именно эту фразу крикнул он, когда тронулся поезд.

Он попал в танковую часть. Первое время Николай скучал по дому – он устроил себе особый календарь, на котором отмечались не дни, а недели, и высчитывал, сколько недель осталось ему до окончания службы: сто, девяносто восемь, девяносто шесть. Его огорчало, что большинство танкистов получают часто письма от бывших товарищей по работе: комбайнер Криворотов из Башкирии, ленинградец Андреев с завода, Дьяченко из деревни от трактористов, с которыми вместе вспахивал украинскую землю. Его даже спрашивали иногда: «Что же это ты, Богачев, ни от кого писем не получаешь?»

Ему начало казаться, что с ним никто никогда не будет дружить. «Ну и не надо», – думал он и все поглядывал на свой календарь. Он отлично справлялся с работой водителя танка, превосходно изучил мотор, смело водил машину по самым трудным дорогам. Майор Карпов взял его водителем в командирскую машину. Иногда по вечерам он разговаривал с Криворотовым о танках. Криворотов – огромный, большеголовый, длиннорукий двадцатидвухлетний парень – говорил о своей машине с какой-то необычайной нежностью. Человеку со стороны могло бы показаться, что этот синеглазый великан рассказывает о девушке, когда произносит: «Я ведь в Башкирии ее ни разу не видел, сроду не знал, какая она есть. А как увидел ее, сразу мне ужасно понравилась, и полюбил я ее до невозможности».

И Богачев, усмеаясь, слушал его. Он ни с кем и здесь не дружил, и ему казалось, что

танкисты относятся к нему так же, как когда-то относились товарищи по школе. «Ну ладно, – думал он, – мне-то что, натура у меня такая холодная, видно».

Он сам не замечал, как изо дня в день все больше привязывался к товарищам. Ведь все время были они вместе: и на обеде, и на занятиях, и спали они всегда рядом, он уже хорошо знал, кто во сне похрапывает, кто произносит невнятные фразы, кто спит по-младенчески тихо.

Во время движения батальона он мог определять, какой механик ведет ту или другую машину, по манере брать препятствия, обходить глубокие рвы, вваливаться в рощу молодых деревьев. В движении машины как бы отражалась натура водителя: лукавство и осторожность Дудникова, решительность и прямолинейность Криворотова.

Однажды, это было незадолго до войны, Богачев порвал свой календарь, отсчитывавший оставшиеся ему недели военной службы. «Надоело с этой ерундой возиться», – подумал он. Ему казалось, что он порвал этот календарь оттого, что стал забывать о доме, отвык от него. Изредка получал он письма от матери, она спрашивала о его здоровье, беспокоилась, как ему живется. Отвечал он ей не всегда аккуратно, и письма его были очень коротки. Он считал, что товарищи относятся к нему холодно и не любят его оттого, что натура у него равнодушная – не имеет в себе привязанности ни к людям, ни к местам.

Война застала Николая под Львовом. Он прошел в жестоких боях весь тяжелый путь летнего отступления нашей армии. Весь этот путь был отмечен разбитыми германскими пушками, раздавленными повозками, грузовиками, крестами над могилами убитых германских солдат. Это были вехи на дорогах нашего будущего наступления. Эти вехи ставил и он, Богачев. Но он не знал этого. Ему казалось, что он в последний раз проезжает по зеленым улицам украинских деревень, мимо черных созревших подсолнухов, мимо белых хат под соломенной крышей, яблоневых и грушевых садов. В смотровую щель видел он прекрасную украинскую землю, сосновые и лиственные леса, светлые реки, левады, несжатые поля. Пшеница сыпалась, шурша, словно обильный дождь, на печальную землю. Но Богачев, конечно, не слышал этого шуршания, оно заглушалось гулом мотора. Он не слышал, как плакали старухи, глядя на отходящие войска, не слышал горьких просьб и расспросов: все звуки своим гуденьем заглушал танк. Но он видел, видел, все видел Богачев. И спокойное сердце Николая наполнялось такой болью, такой горечью, каких он никогда не знал и не подозревал в себе. Здесь, на этих украинских полях, ощутил он горечь разлуки. Он ни с кем не говорил о своих чувствах, никому не рассказывал о них. И вместе с ним днем и ночью были товарищи – танкисты Андреев, Криворотов, Бобров, Шашло, Дудников. Ночью они спали рядом с ним, они касались своими плечами его плеч, и он ощущал тепло, шедшее от них, днем шли они рядом в тяжелых железных машинах. Он не знал, не подозревал, как велика сила, которая спаяла его с этими людьми потом и кровью битв.

Одно время он водил машину лейтенанта Крючкина. В одном из танковых сражений их машина шла рядом с машиной Андреева. Пять немецких танков вышли из-за пригорка и, выжидая, остановились. Богачеву очень не хотелось поворачивать. И он обрадовался, когда Крючкин, высунувшись из люка, весело и громко крикнул шедшему рядом соседу: «Эй, Андреев, давай вдвоем их ударим». – «Давай ударим!» – ответил Андреев. И две машины пошли против пяти. Во время одной из атак немецкий снаряд попал лейтенанту Крючкину в грудь. Он умер мгновенно, кровь его окрасила темный, холодный металл, хлынула внутрь машины. Богачев весь был в крови, когда вылез из танка. Страшно сожалели танкисты о погибшем Крючкине, много было у них разговоров, воспоминаний о не знавшем страха лейтенанте. Когда красноармейцы копали Крючкину могилу, Богачев подошел к одному красноармейцу и взял у него лопату. Долго он копал молча, а потом сказал бойцам: «Чего вам копать, я один выкопаю».

После гибели Крючкина Богачев стал водителем машины Андреева. Почти каждый день

участвовали они в боях. Не было на свете ничего более захватывающего и в то же время трудного, чем эта жизнь.

Темным осенним вечером танки поддерживали кавалерийскую атаку. Лил дождь, было очень грязно. Машина Андреева шла с полуоткрытым люком. Липкая грязь обхватывала машину, но танк лез все вперед и вперед, высоким голосом жужжал мотор. Неожиданно страшный удар потряс стены танка. Богачеву показалось, что он сидит внутри гудящей, вибрирующей гитары, по которой кто-то с размаху ударил кулаком. Он задохнулся от страшного богатства звуков. Потом сразу стало очень тихо, лишь в ушах продолжало булькать, свистать, звенеть. Товарищи окликнули его. Он слышал их голоса, но не ответил. Его вытащили из машины. Он попробовал встать и упал в грязь. У него от удара снаряда отнялись ноги. Несколько километров несли его на руках по липкой грязи. «Богачев, Богачев, – окликали его, – ну как ты?» – «Ничего, хорошо», – отвечал он. В уме его стояло одно слово: «Пропал». Ему казалось совершенно ясным, что он уже не вернется в батальон. И внезапная сильная и горячая мысль охватила его: неужели он никогда больше не увидит этих людей, товарищей-танкистов? Неведомое раньше чувство заполнило его всего.

«Друзья мои, товарищи мои», – бормотал он. «Потише, чего вы так быстро идете?» – сказал он. «Больно тебе?» – «Да больно, вы бы потише». Но ему не было больно, он не чувствовал отнявшихся ног. Ему было страшно, по-настоящему страшно навсегда расстаться с ними, и хотелось, чтоб этот печальный путь продолжался подольше. Ведь они шли рядом, несли его на руках – добрые, верные друзья его. Они сопели и тихо ругались, оступаясь в грязь и спрашивая: «Больно тебе, Богачев?» Впервые в жизни испытал он великое чувство дружбы – и ему было сладко, радостно и бесконечно горько.

Он пролежал в госпитале около трех месяцев. После страшного напряжения боев, после вечного гудения машины было необычайно странно лежать на спокойной койке, в тихой белой палате. Часами терзали его мысли о товарищах-танкистах. «Неужели и они забыли меня?» Он писал им письма, чтобы напомнить о себе, но отправить их нельзя было. Адрес бригады беспрерывно менялся. Он написал большое письмо матери, спрашивал ее о здоровье, просил описать ему улицы его родного города, спрашивал о своем заводе. В письме его была такая фраза: «На ветру без платка не стой, а то застудишься!»

Иногда он просыпался ночью и бормотал: «Ну, ясно, не помнят танкисты обо мне, сидят, верно, в машине – и новый механик-водитель у них, и заряжающий свои шуточки заводит». Неужели он не сможет вернуться в батальон?

И он вернулся. Это было совсем недавно. Он пришел пешком – сила снова вернулась к его ногам. Он шел по снежному полю, и все казалось ему необычным – выкрашенные в белый цвет танки, белые автоцистерны, белые тягачи. «Интересно, – думал он, – проехать по такому глубокому снегу – на какой скорости лучше всего идти?» Он очень устал, но не садился отдыхать. Он спешил. С чувством растущего волнения прошел он по улице деревни. Его пугало, что ни одного знакомого лица не встретилось ему. Он вошел в избу, где был штаб. Всё чужие, незнакомые люди. Несколько мгновений он оглядывался. Что такое? Он понял страшное чувство человека, пришедшего в свой дом и вдруг увидевшего, что чужой открыл ему двери и равнодушно спросил: «Вам кого нужно?» И в эти несколько мгновений он измерил всю глубину и силу своей любви.

Сидевший за столом техник-интендант перелистнул страницу ведомости и посмотрел на него.

– Майор Карпов здесь? – спросил Богачев и облизнул губы.

– А зачем вам майор Карпов? – спросил техник-интендант и, оглянувшись на полуоткрывшуюся дверь, вскочил.

В двери стоял майор Карпов.

– Богачев! – крикнул он, и Богачева потрясло, что майор Карпов, медлительный и размеренный в движениях и словах, сейчас подбежал к нему, вернувшемуся механику-водителю, с поспешностью, которой никто никогда в нем не видел. Да и голоса такого у него никогда, казалось, не было. – Богачев, – во второй раз сказал он. И по этому радостному голосу Богачев сразу понял, что его не забыли и не могли забыть. Волнение, радость охватили его. Он почувствовал, как волна тепла разлилась в его груди, такое чувство испытал он в детстве, вернувшись после скарлатины из больницы домой. Эта разлука дала ему понять, насколько близки и дороги стали для него боевые товарищи. Он испытывал волнение, снова увидев Шашло, механика Дудникова, Андреева, Криворотова. Они окружили его, и на их лицах он читал ту же радость, что испытывал сам.

– Да бросьте вы, – отвечал на их расспросы, – ну что мне-то рассказывать, вы лучше расскажите.

И действительно, друзьям его было что рассказать... Весь день не проходило удивительное ощущение возвращения в родной дом. Его водили обедать, насильно укладывали отдыхать, был устроен совет, решивший, где ему ночевать, «чтобы не хуже было, чем в госпитале». Чем только не угощали его в этот день – все считали нужным угостить его, начиная от майора Карпова и кончая шоферами тягачей. Да, это были друзья его. Андреев, Бобров, Шашло, Салей, Дудников. Они вспоминали прошлое, эти молодые парни, ставшие ветеранами великой войны. Они вспоминали бесстрашного Крючкина, Соломона Горелика, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, многих погибших друзей, которых немислимо забыть.

И великое тепло дружбы дохнуло в лицо Богачеву, и он узнал драгоценную силу ее. Ночью он лежал на толстом матрасе и отдувался от жары – его насильно накрыли несколькими одеялами и шинелями. Он слышал дыхание товарищей – он их узнавал по этому дыханию: ведь еще за Львовом они спали вместе в лесу, и было известно, кто храпит, кто произносит невнятные фразы и грозно отдает команду, кто спит по-младенчески тихо.

Николай Богачев не спал до утра. Он думал о друзьях, о прекрасной земле, за которую отдал свою кровь, о матери, о родном городе. Это была большая, вечная любовь, ибо всю силу ее он измерил лишь теперь, в суровые месяцы войны.

Юго– Западный фронт

1942

НЕСКОЛЬКО ПЕЧАЛЬНЫХ ДНЕЙ

1

Покойный Николай Андреевич работал главным инженером на знаменитом казанском заводе. С ним кроме жены и двух сыновей жила мать Анна Гермогеновна и племянник Левушка. Левушка когда-то болел скарлатиной с осложнениями и после этого никак не мог выучиться

считать до десяти, боялся заходить в столовую, если там сидели посторонние.

Телеграмму о смерти брата принесли утром, когда Марья Андреевна стояла в передней и смотрела в почтовый ящик – белеет ли сквозь дырочки конверт. Она ждала письма от мужа из Средней Азии. Звонок прозвучал внезапно, над самым ухом. Она в полутьме передней прочла, «скончался» – у нее захватило дыхание, но тут же до сознания дошло, что телеграмма из Казани. Умер брат, Николай Андреевич. Против воли она почувствовала легкость:

– Гриша жив!

Она любила сына, мать, брата, но все это было несравнимо с ее чувством к Грише. Она поняла: жить без Гриши она не сможет.

Войдя в комнату, она подошла к кровати Сережи и сказала:

– Бедный дядя Коля умер.

Сережа открыл глаза и улыбнулся бледным полным личиком.

И вдруг она вспомнила: как-то в детстве отец наказал ее. Весь вечер она плакала, к ней подошел Коля и сунул в руку холодный, тяжелый апельсин.

Марья Андреевна вышла в соседнюю комнату, громко позвала:

– Коля!

На похороны Марья Андреевна не поехала – у Сережи поднялась температура, доктор нашел в горле серые налеты. Она послала телеграмму: «Выезд откладываю, подозрение дифтерита Сережи».

Марья Андреевна написала письмо матери и жене покойного брата: «Милые, любимые, будьте мужественны, мамочка, вас особенно прошу, помните, что я и Гриша...»

Ночью ей вспоминался брат – он приезжал два месяца назад в командировку. Пока он жил в Москве, квартира напоминала универмаг. Николай Андреевич покупал книги, боты и вязаную кофточку для матери, прованское масло, электрический утюг, копченую колбасу, ситец в подарок домашней работнице, валенки для слабоумного Левушки, любившего зимой расчищать снег во дворе.

Марья Андреевна вспомнила, что, усадив Николая Андреевича в Гришин «ЗИС», она в душе была довольна. Гриша, вернувшийся вечером с заседания, прошелся по комнатам и сказал:

– Вот и снова порядок. – Он ничего больше не сказал, но теперь она ужасалась: ведь оба они радовались отъезду Николая Андреевича.

Она хотела перечитать его письма, но вспомнила, что Гриша всегда уничтожал старые письма.

Был такой маленький случай. Брат купил два

билета на «Пиковую даму». Марья Андреевна, посмотрев на пиджак брата, на тонкий узелок его галстука и на концы воротничка, прикрепленные булавкой с шариком, подумала, что все будут поглядывать на них, как на провинциалов, и отказалась пойти.

Утром домашняя работница Антонина Романовна пошла получать анализ и позвонила по телефону:

– Леффлеровских палочек нет, одни стрептококки.

До революции Антонина Романовна владела мастерской дамских шляп. Оставшись без средств, она поступила в домашние работницы к Марье Андреевне Лобышевой. К Лобышевым она быстро привыкла. Григорий Павлович спрашивал ее о здоровье. Марья Андреевна иногда слушала ее рассказы. Обычно Антонина Романовна говорила:

– Ах, ужас, сегодня с одной дамой мы стояли за кислой капустой, я едва узнала свою заказчицу – вдову генерала Маслова. Она до сих пор живет от продажи своих вещей в комиссионные магазины, и представьте, ей семьдесят один год, и вот каждый выходной день играет на бегах.

Весь мир старушек, с сумочками, в потертых фиолетовых шубах, в горжетках, в шляпах со сломанными перьями, с лорнетками, но в то же время в валенках и нитяных варежках, был знаком ей: она знала сотни историй с грустным концом – о молодых дамах, некогда живших в особняках, занятых ныне яслями и амбулаториями.

Когда утром Антонина Романовна ушла, Марью Андреевну охватил страх. Она принялась звонить по телефону подругам. Но Шура Рождественская была на работе, Маруся Корф болела, а лучшей, закадычной подруги Матильды Серезмунд не оказалось в Москве: она уехала на пять дней в Узкое, в санаторий.

Марья Андреевна пошла в переднюю и открыла парадную дверь. Внизу кашляла лифтерша, на верхней площадке разговаривали женские голоса. Марья Андреевна послушала и, успокоившись, пошла в детскую.

Днем пришла телеграмма от матери: «Воздержись приездом, похороны сегодня, телеграфируй состояние Сереженьки».

– Я поеду, – решительно сказала Марья Андреевна.

Но Антонина Романовна сказала:

– Я не останусь одна с больным ребенком. Как хотите, но я не соглашаюсь, категорически.

Марья Андреевна подчинилась. Утром наконец пришло письмо от Гриши. Он писал: «Такое синее небо только на верещагинских картинах – помнишь, в Третьяковке, где Индия. Грустно, ты и Сережка в ноябрьской слякоти, а здесь ходят в белом, цветы на улицах». Марья Андреевна читала письмо мужа, и мрак, в который она была погружена в последние дни, словно стал проясняться. Она вспомнила о предложении перевести для журнала роман американского писателя, вспомнила, что Гриша хотел в начале марта поехать с ней к морю. Она подумала: «Как все переплетено в жизни!»

Она подошла к зеркалу.

«Можно дать не меньше сорока пяти», – подумала Марья Андреевна, но не стала пудриться, а произнесла:

Сулит мне труд и горе

Грядущего волнуемое море...

Она пошла в кабинет и до ночи работала. Она вела общественную работу в профсоюзе

работников издательств, и ей приходилось участвовать в разборе запутанных, конфликтных дел.

2

С утра Марья Андреевна утла по делам. Ей не приходилось вешать табеля в учреждении, но работы у нее было много. Она переводила, читала на курсах по повышению квалификации учителей, консультировала в библиотечном институте, готовила кандидатскую диссертацию.

Марье Андреевне нравилось, что ее, молодую, красивую женщину, уважают и даже побаиваются слушатели на курсах, ей нравилось спорить на педагогических советах.

Она была честолюбива, и ее всегда удивляло, что некоторые ее знакомые, занимавшие высокое положение, собираясь по вечерам, дурачились, вспоминали всякие смешные случаи, философствовали о старости, молодости. Ей нравилось показывать себя занятым человеком, и она с удовольствием произносила: «Какие там театры» или: «Что вы, где уж мне читать для своего удовольствия».

Марья Андреевна вышла из дому и пошла через мост. Асфальт, гранит набережной, большое небо над Кремлем – все было серым и суровым. Марья Андреевна пошла по набережной вдоль Кремлевской стены. Звезда над кремлевской башней светилась на темном небе, словно уже наступили сумерки. Сквозь зубцы стены была видна на склоне кремлевского холма все еще зеленая трава, уходил в темное небо купол Ивана Великого.

Из– под моста выплыл белый пассажирский пароход, и Марье Андреевне вспомнилось, как в 1938 году она с Гришей ехала пароходом из Москвы в Астрахань. Пароход пришел в Казань ночью, Гриша спал, а она не ложилась -хотела опустить письмо на пристани; ей и в голову не приходило, что брат ночью приедет на пристань. Брат окликнул ее – он был в белом кителе и белой фуражке. Гришу она не будила, так как он днем, загорая на верхней палубе, сжег спину и с трудом уснул. Николай Андреевич передал ей ореховую палку с нарезанными на коре квадратами, над которой, как он сообщил, Левушка трудился около двух недель. Потом они гуляли по дебаркадеру, она уговаривала Колю ехать домой, ей ужасно хотелось спать, но он говорил: «Ничего, Машенька, мне приятно с тобой гулять, я ведь днем и ночью в цехах, а здесь так прохладно».

И сейчас, глядя на пароход, шедший в затон, на закрытые желтыми жалюзи окна в каютах, на матроса в полушубке, сидящего в плетеном кресле, Марья Андреевна подумала: «Умер, умер...»

Она вернулась домой вечером, утомленная и довольная. С ней заключили договор на перевод и деньги выписали тотчас же, бухгалтер с большой предупредительностью отнесся к ней.

Ее ждало письмо от матери. Она писала, что Николай Андреевич умер внезапно, на заводе. «Весь день приходили рабочие прощаться с Колей, – писала мать, – почти все плакали, и не только старики, молодежи много, уборщицы из заводской конторы, сторожа».

В письме словно был скрытый вызов: мать писала, гордясь любимым сыном и требуя преклонения перед ним. И Марья Андреевна, читая письмо, ощутила раздражение. Но она тут же покаялась в своем скверном чувстве.

– «Какая грусть, какой раскол в кипении веселом», – повторяла она застрявшую в мозгу

фразу.

Ей стало жалко родных в Казани, друг, Гришу.

«Бедная моя Матильда, – думала она, – красивая, умная и так одинока, одна лишь у нее работа, работа, работа...»

3

Григорий Павлович Лобышев приехал скорым ташкентским поездом. Ездить в командировки ему приходилось раза два-три в год, и в семье выработался ритуал встречи. Но в этот раз Григория Павловича встретила Антонина Романовна.

– Где Марья Андреевна? – быстро спросил он. – Случилось что? Больна? Сережа?

– Нет, нет, – сказала Антонина Романовна, – она вчера в Казань уехала. Там всё несчастья и несчастья. Умер ведь Николай Андреевич, его уж похоронили недели полторы. И вдруг опять телеграмма. Там с квартирой заводской осложнения, потом воспаление легких у Шуры... А у нас все благополучно, Сереженька здоров, спать уже лег.

Григорий Павлович прошел в столовую – стол был накрыт белой крахмальной скатертью, цветы стояли на столе, графин с коньяком.

– Ах ты, жил, жил и умер, – проговорил Григорий Павлович, – и всего на четыре года старше меня.

И милая квартира, о возвращении в которую он так мечтал, показалась ему из-за отъезда Маши пустой и угрюмой. А он-то радовался, представлял себе, как Маша нарядится в роскошный халат, купленный им на импортном складе Узбекшелка.

– Эх, ей-богу...

Он пошел посмотреть спящего Сережу.

– Болел он, бедненький, – сказала Антонина Романовна.

Григорий Павлович созвонился со своим заместителем Чепетниковым и условился, что тот приедет.

– Событий особых не было? – спросил он. – Ну да ладно, приезжай.

Позвонил телефон. Звонила Матильда.

– Ты только что приехал, а я позавчера из Узкого, – сказала она. – Маша просила о тебе позаботиться.

Григорий Павлович уважал ученость Матильды, считал ее хорошим членом партии. Но он всегда говорил с ней насмешливым тоном. И теперь он сказал:

– Ну что ж, приступай, Матильдус, к исполнению принятых обязанностей. Кати к нам... Нет, нет, не поздно, тут еще по делу должен приехать Чепетников... Кроме шуток, я очень буду рад, настроение собачье, буквально.

Вновь затрещал телефонный звонок. Это говорил нарком.

– С приездом тебя. Хорошо, что вернулся... Мне сказал только что Чепетников... Завтра? Завтра мне в Кремль... Я понимаю... В одиннадцать... Никак не больше пятнадцати минут... Ну, отдыхай, отдыхай.

А еще через несколько минут позвонил старый товарищ – Мохов.

– Приезжай, брат, тут ты увидишь одну высокую белокурую даму, – сказал Григорий Павлович, зная, что Мохову нравится Матильда.

Плохое настроение прошло. Григория Павловича привели в обычное возбуждение эти один за другим раздавшиеся телефонные звонки. Приподнятое, «московское» чувство, когда кажется, что ты всем нужен, что нет пустоты вокруг тебя.

В ожидании он вытащил из ящика стола груды старых фотографий. Во времена гражданской войны снимались в шинелях и в буденовках, должно быть, оттого, что всегда ездили. И снимались очень часто, верно, оттого, что легко завязывалась дружба и часты были разлуки. Рассматривая фотографии, Григорий Павлович всегда волновался. Лишь двое из его многочисленных армейских друзей жили в Москве – Димка Мохов и Абрашка Гуральник. Он рассматривал фотографии товарищей, важно опиравшихся на шашки. Иных уж не было на свете, иные были далече. Чего только не пришлось перенести им – голод, пулеметный огонь белых, вероломство бандитов, сыпняк... И сражались они в возрасте, когда современные молодые люди едва начинают посещать спектакли и фильмы, на которые допускаются дети старше шестнадцати лет.

Нынешние снимки были светлее и все относились к курортным временам: группа из санатория «За индустриализацию», или «Имени Семнадцатого партсъезда»; Теберда, Гагры, Сочи. Снимались на мраморных ступенях, подле кактусов в каменных вазах, на террасах, в плетеных креслах, на берегу моря. Странно было: эти лежащие на пляже полнотелые люди когда-то тоже ходили в буденовках, с маузерами и шашками на боку.

Особенно было приятно вспомнить прошлое, когда приезжали Мохов и Абрашка. Парням в шинелях было девятнадцать лет, а молодой Советской республике всего лишь полтора года. Сколько наивных мыслей было у них, какая подчас смешная путаница происходила у них в головах! Но как убежденны и мужественны были они, не колеблясь отдавали жизнь за революцию.

Он любил то ушедшее время, но, пожалуй, не меньше любил он свое настоящее, пору зрелости, пору, когда Советской республике шел двадцать третий год.

Обстановка суровой московской деловитости, ощущение силы стали необходимы ему, звонок из гаража по утрам, бесшумный ход автомобиля, негромкий голос секретаря, доклады, заседания, споры; его радовало, что за время его работы в наркомате построены комбинат и два мощных завода. Стоило уехать на несколько недель из Москвы, как он начинал тосковать. И в нынешнюю поездку обратная дорога казалась бесконечной – в ноябрьском сумраке плыла мимо окон равнинная мокрая земля. Скорей бы увидеть быстрые людские толпы, рубиновые блики светофоров, проехать по Красной площади, где в сиреновом вечернем дыму стоит Василий Блаженный.

Первым приехал Чепетников.

Чепетникова выдвинули на работу в наркомат в начале 1939 года. Раньше он работал в Татреспублике. Лобышеву казалось, что Чепетников холост, живет в общежитии и по вечерам чистит ваксой ботинки, а потом сидит на койке и читает журнал «Спутник агитатора». Когда Чепетников заболел, Лобышев навестил его; оказалось, что в двух комнатах Чепетникова живут жена, трое детей и дед, спавший на диване в столовой в валенках и ватной кацавейке. Пока Лобышев разговаривал с Чепетниковым, из соседней комнаты слышался оживленный

женский голос:

– Сколько же ей детских полт купить, он же поедет скоро, а в Казани детских полт совсем нет.

Между Лобышевым и Чепетниковым установились плохие отношения. Однажды на заседании коллегии Лобышев сказал Чепетникову, что тому нужно «ночи не спать, гореть на работе, а не заниматься мелкой ерундой». Его поддержал нарком. Лобышев думал, что испортил отношения с замом. На следующий день Чепетников сказал ему:

– Спасибо за товарищескую критику. Правильно ты подошел к вопросу, не ту я взял установку.

«До чего ловок, сукин сын, неотесанный, темный, но до чего ловок», – подумал Лобышев даже с некоторым восхищением.

Хотя Григорию Павловичу было интересно узнать, прошла ли смета, как решилось дело старшего референта, которого обвиняли в даче неточных сведений, он начал рассказывать первым.

Григорий Павлович не стал рассказывать о синеве неба, о бледных песках при лунном свете, о разговоре в поезде с красавицей узбечкой. Он сказал:

– Самое главное я тебе изложу в нескольких словах... – И рассказал о контрольных цифрах, данных хлопкоочистительным заводам, о расширении посевных площадей, о своем споре с председателем узбекского треста Рассуловым.

Слушая его, Чепетников поглядывал на фотографии.

Григорий Павлович внезапно спросил:

– А ты где воевал во время гражданской?

– Я? – Чепетников качнул отрицательно головой. – Да нигде.

– То есть как нигде?

– А так. Я поступил в двадцать шестом году на завод, а до этого в деревне жил.

– И неужели не участвовал в гражданской войне?

– Я ж говорю, скрывать бы не стал, – обиженно сказал Чепетников, – если хочешь, проверь по личному делу.

– Да ну тебя, – сказал Григорий Павлович, – я просто удивился.

– А чего удивляться. Я в партию в тридцать четвертом году пошел.

– Да, – сказал Григорий Павлович, – а вот я с двадцатого.

– Стаж.

Они помолчали.

– Ну, как в наркомате? – спросил Григорий Павлович.

– Да как будто все в порядке. Твоего Савельева сняли с передачей дела в прокуратуру.

– А кредиты по текстильному комбинату?

– Прошли в Совнаркоме.

Григорий Павлович смотрел в глаза Чепетникову.

– Рассказывай, рассказывай, я же все знаю.

– Раз все знаешь, зачем рассказывать, – усмехнулся Чепетников и неожиданно добавил: – А тебе что, звонили уже?

Лобышев сказал:

– Нет, это я шутя, – и снова с тревогой подумал: «Ох и ловок ты, сукин сын».

Он проводил Чепетникова как раз в то время, когда зашумел внизу лифт.

Он смотрел в лестничный пролет на скользящую по перилам руку Чепетникова.

Лифт остановился – вышла Матильда, а за ней Мохов.

– Как это вы вместе?

– Встретились в парадном, случайно.

– А Матильда становится все красивей... И нет спасенья на земле.

– Чем же это кончится? – смеясь, сказала она.

Григорий Павлович, помогая ей снять пальто, говорил:

– Встретишь на улице – в голову не придет, что это профессор. Киноактриса или укротительница львов.

– Морских и сухопутных, – сказал Мохов.

Матильда с Антониной Романовной пошли в спальню

смотреть на спящего Сережу.

– Ты вроде похудел, – сказал Лобышев.

– Занимаюсь гимнастикой, это помогает. А ты что ж, овдовел – уехала Маша!

– Брат у нее умер – знаешь, в Казани жил.

– Что ты! Я ведь его знал когда-то.

– Да, давление, кровоизлияние в мозг.

– Вот и я от этого умру, наверное, – повышенное давление. Сто шестьдесят.

– Брось ты. В нашем ученом совете у академика Шевичкина двести сорок, а он водку с утра пьет.

Мохов рассмеялся. Они помолчали немного.

– Знаешь, когда я с Машиним братом встречался? – спросил Мохов. – В двадцатом году. Вы тогда только поженились, а я с Восточного фронта на Польский эшелон шел. Заехал

повидаться, а вас не было. Он меня провожал ночью. Я Москвы не знал, темень, а до утра ждать тоже боялся – как бы эшелон не ушел. Через всю Москву меня провел – шутка ли, пешком!

– Коньяк пить будем? – сказал Григорий Павлович.

– Это можно. – Он кивнул головой на дверь. – Что это она пропала там?

– Женщина, знаешь. У нее своих детей нет, – сказал Григорий Павлович. – А Николая Андреевича я не очень любил. Этаким беспартийный инженер. Что-то в нем обывательское было.

Вошла Матильда и села за стол.

Она знала, что нравится Мохову. И сейчас, рассказывая о своей работе, о новой нагрузке, взятой ею в почвенном институте, она чувствовала напряженное, упорное внимание Мохова.

Стол был накрыт, как обычно к приезду Григория Павловича, и, очевидно по указанию Маши, Антонина Романовна купила все любимые им закуски. Но от этого еще больше чувствовалось отсутствие Маши. Его сердило, что Матильда, разошедшаяся в двадцать девятом году с мужем, до сих пор не вышла замуж, сердило, что Мохов, в жизни которого было много увлечений, холост и не страдает от одиночества. А ему, Лобышеву, стоило разлучиться с Машей на месяц – и уж он начинал нервничать и тосковать.

Рассердившись на них и желая смутить, он спросил:

– Матильда, тебе нравится Мохов?

– Нравится, – протяжно ответила она.

– А чем же он тебе нравится, расскажи нам, пожалуйста. – И он подумал: «Да, таких смутишь, черта с два».

– Многим нравится, – сказала она и поглядела на Мохова, – нравится, что он красивый, нравится, что он молчаливый, благородный. – Она снова поглядела на него и продолжала усмехаясь: – Нравится, что он грустный, а я не люблю жадных до жизни людей.

Она говорила медленно, посмеиваясь, и Мохов не мог понять, шутит ли она или говорит серьезно.

А она убоялась своих слов – начала шутя и почувствовала, что волнуется.

Зазвонил телефон. Григорий Павлович пошел в кабинет.

Мохов подошел к Матильде.

Она сказала с укоризной:

– Боже, какой вы большой, Мохов.

– Мне везет, – сказал он. – Едва я подумал, хорошо бы Гришке выйти отсюда, и зазвонил телефон.

– Как я устала, – сказала она поспешно.

Ей не хотелось серьезного разговора.

Мохов повторил:

– Знаете, Матильда, мне везет, ей-богу, везет.

– В чем же, Мохов?

– Ну как бы вам объяснить это, – сказал он, – да вот как: вы знаете, какая была у меня жизнь. Вот. А теперь пришла любовь.

Она подняла голову и проговорила:

– Сегодня я спрашивала студента одного, он так, бедняга, волновался, что все время вместо «коллоид» говорил «галоид».

– Вот видите, – сказал он.

– Тут превосходный вид из окна, – внезапно сказала она и подошла к балконной двери, – замечательно! «Кругом огни, огни, огни...» Смешение огней, хаос, а взглядеться – и видна систематика огней. Вот движущиеся, быстрые – это автомобили, а плавные, видите, – троллейбусы. Неподвижные желтые, голубоватые – из окон домов – абажуры. А улицы огненным пунктиром прорублены в светлом движении... Я не могу понять, как это с высоты разбирают, куда бросать бомбы.

– Бомбы бросают на затемненные города, освещая их ракетами, – сказал Мохов и добавил: – Слышу, как Гриша шваркнул трубку.

– Мохов, – проговорила она, – вы хотите, чтобы...

– Даю вам слово, – поспешно перебил он. – У меня нет чувства торопливой тревоги, совершенно нет.

Он повернулся в сторону вошедшего в столовую Григория Павловича и сказал:

– Ты, Гришка, разговариваешь по телефону, как моя Нюра со своими подругами, минут сорок.

– Что, – спросила Матильда, – неприятности?

– Пустое... позвонил мой секретарь. С божьей помощью на меня свалили и приказ о снижении качества, и инженер прогулял, и увольнение референта, и в моем управлении процент опоздания оказался выше, чем у других. Да и не могу я всей этой микроскопией заниматься. Это Чепетников любит разбирать, почему курьер опоздал и почему инженер в часы службы был замечен в парикмахерской. Я уж говорил на коллегии: Плюшкин. Да не проймешь, а мой Чепетников Гоголя не читал. Не проработал.

– Гриша, Гриша, – сказала Матильда, – откуда в тебе эта надменность к новому поколению? Слово выше нашего поколения ничего в мире нет и не было.

Она посмотрела на Мохова.

Он сидел нахмурившись, упорным взглядом рассматривая скатерть.

– Ну и что ж, – запальчиво сказала она, точно ей возражали, – почему ты думаешь, что Чепетников не читал Гоголя? Я вижу молодежь. Какое трудолюбие, какое уважение к науке! У вас такого не было.

Григорий Павлович ответил:

– Это, прелестная Матильда, все так. На молодежь наша великая надежда. Но ты подумай лучше! Чепетников, такой трудолюбивый, об этом заседании ни слова. Мудрец, ей-богу,

мудрец. И все доносы пишет, чуть что – донос, чуть что – враг народа.

Он налил себе в рюмку коньяку и сказал:

– Жуткий, первобытный малый, да ничего, видал я и не таких.

– Товарищи, последние известия пропустим, – сказала Матильда, – половина двенадцатого.

Началась передача.

– Отьясова, Телятников, я дикторов по голосам узнаю, – сказала Матильда.

– Да что слушать, смехота: называется последние известия, – сказал Григорий Павлович: – «Ровно четыреста лет тому назад...»

– А я люблю, – сказал Мохов. – Я, слушая эти мирные известия, всегда думаю: вот в чем огромная силища – весь мир воюет, гремит, а у нас забил нефтяной фонтан, откопали позвонок динозавра, натолкнулись на стоянку первобытного человека, бурят-монгольский театр выехал в Москву, мичуринец-слесарь срезал первую кисть уральского винограда.

– Да тише вы, философы, – сказала Матильда и подняла палец.

Диктор несколько повышенным голосом проговорил:

– Германское информационное бюро передает следующую сводку Верховного командования германской армии...

– Поехали, – сердито пробормотал Мохов.

Они молча, внимательно слушали.

Лишь когда дикторша сказала: «В Центральном Китае сведения с фронта не поступали», – все одновременно вздохнули, задвигались.

– Вот так, – проговорил Григорий Павлович, – мы спускаем суда на воду, а они пускают на дно.

– И какая будничность в этих сообщениях, – сказала Матильда, – словно экономический бюллетень – тоннаж судов, брутторегистровые тонны, а рядом пожары, видимые через Ла-Манш взрывы, которые слышны за сто километров, гибель населения.

В это время часы на Спасской башне начали отбивать полночь, и тотчас раздался мерный, мощный «Интернационал». Он заглушил голоса людей, и они притихли.

Матильда внезапно спросила Мохова:

– Скажите, Мохов, а что это за Нюра у вас по сорок минут по телефону разговаривает?

– Домашняя работница. Девица.

– Почему же она не работает на фабрике, молодая девушка?

– Не может, она, бедная, горбатенькая. Убрать комнату, накормить кота Панкрата – это она может, а на фабрике ей не под силу.

Он усмехнулся:

– Много у Евы дочерей, и я рад этому.

Они вышли в переднюю.

– Митя, знаешь, – сказал Григорий Павлович, – ведь радио это мне покойный Николай Андреевич подарил. В прошлом году. Как-то сейчас только дошло, что он умер... Слушай, Митя, – сказал он, – переночуй у меня. Мне тяжело одному – война эта, смерть Николая Андреевича, а Маши нет, на работе подземные толчки... А, Митя? Помнишь наши военные ночевки? А, Митька, ей-богу? А утром я тебя подброшу на машине в академию.

Мохов посмотрел на Матильду, пристукивавшую ногой, чтобы туфель лучше пошел в ботик, посмотрел на детское просительное лицо Лобышева.

– Нет, брат, ты мужик взрослый, пора не бояться буки, – сказал Мохов, – завтра уж созвонимся.

4

Марья Андреевна пробыла в Казани неделю. Здоровье Александры Матвеевны, жены брата, улучшалось медленно.

Все хозяйство, хлопоты легли во время ее болезни на Анну Гермогеновну.

Семидесятитрехлетняя старуха следила за тем, чтобы дети вовремя ели, уходя гулять, одевались потеплей, а возвращаясь домой, мыли руки с мылом; она ездила в страховую кассу, оформляла денежные дела, хлопотала по поводу квартиры в городском Совете и в заводууправлении, писала заявления, а по ночам дежурила возле невестки.

Анна Гермогеновна работала в молодые годы фельдшерницей в сибирской деревне. Однажды во время поездки на нее напали волки, и, пока возница гнал лошадей, Анна Гермогеновна стреляла из ружья. Эту историю Марья Андреевна слышала в детстве множество раз, но только сейчас она поняла, что мать у нее сильный, мужественный человек. И потому особенно страшно было, когда Анна Гермогеновна сказала:

– Мне, Маша, хочется только одного – умереть.

Марья Андреевна совсем расстроила себе нервы. Глядя на племянников, она плакала от жалости. Александра Матвеевна раздражала ее. При выздоровлении Александре Матвеевне все время хотелось есть, но она стеснялась своего аппетита и в присутствии Марьи Андреевны отодвигала тарелку. Левушка постоянно сидел у Александры Матвеевны, и когда входила Марья Андреевна, она чувствовала его испуганный, восхищенный взгляд. Он никогда с ней не говорил.

Марья Андреевна сказала матери:

– Мамочка, какая-то притупленность к потере ощущается в Шуре. Примитив. Все же чувствуется в ней поповна.

Но мать, сурово, даже злобно осуждавшая самое маленькое невнимание к памяти сына, сказала ей:

– Что ты, Машенька, уж так, как Шура любила Колю, трудно любить.

– Не знаю почему, – сказала Марья Андреевна, – меня она все время раздражает.

– Я ее люблю, – сказала мать. – Ты посмотри, как она к Левушке относится.

Мать постучала мундштуком папиросы о край стола и закурила.

– Знаешь ли, Маша, – сказала она, – если говорить правду, то не тебе осуждать ее.

– Мамочка, вы таким тоном говорите, словно я в чем-то виновата. В чем же?

– Видишь ли, я с тобой никогда об этом не собиралась говорить. Ты только не обижайся на меня. Левушка – сын Виктора, вашего старшего брата, – значит, он имеет отношение к тебе такое же, как к Коле. Даже больше. Виктора посадили, жену вслед за ним. Ты у Виктора жила шесть лет. Вспомни, как баловали там тебя – и дачи, и каждый год к морю. Посадили Виктора с женой, и остался Левушка в сиротах. Не ты взяла Леву, а Коля. Ведь Лева для Шуры совершенно чужой мальчик. А сколько внимания и любви она проявила. А ты хотя бы из приличия предложила Левушке маленькую помощь, прислала бы ему из Москвы старое пальто мужа. А здесь во многом себе отказывать приходится – и разве Шура хоть раз различие проявила в заботе о мальчиках? Наконец, Машенька, я-то Шуре чужой человек – свекровь. А я за все годы, что живу здесь, не почувствовала ничего дурного, а когда живешь не в своем доме, кажется, одно не так сказанное слово – как нож острый. Видишь, Маша, я к тебе не в претензии за невнимание ко мне, но ты не будь так строга к другим.

Марья Андреевна опустила голову, закрыла ладонью глаза.

– Как это все тяжело, – сказала она.

– Тяжело, очень тяжело, – сказала мать и не стала утешать ее.

Марье Андреевне становилось легче, когда она выходила гулять с мальчиками. Во дворе ездили на санках дети в солдатских телогрейках и больших валенках, трамваи на улице почему-то беспрерывно звонили, хотя улица была пустой, изредка проезжали забытые в Москве «газики» с парусиновым верхом.

Марья Андреевна вела мальчиков за руки. Старший, Алеша, бледный и молчаливый, любил говорить об умном и, когда Марья Андреевна вернулась с могилы брата, спросил ее:

– Скажите, тетя Маша, вы видели когда-нибудь рефрижератор?

Четырехлетний Петька, скуластый, на редкость некрасивый, краснощекий, белоголовый, курносый, с узкими веселыми глазами, был очень привлекателен; с ним заговаривали прохожие, а женщины останавливали его и тормозили. Однажды военный, вылезая из автомобиля, посмотрел на Петьку и сказал:

– Ах ты ухарь-купец. – И отдал ему честь.

Они зашли в игрушечный магазин, и Марья Андреевна купила Петьке большого черного медведя. Неожиданно Алеша заплакал. Глядя на него, заревел и Петька. Она растерялась, ничего не могла понять, поспешно повела их домой, и всю дорогу они лили слезы.

Дома Марье Александровне объяснили причину слез: отец обещал мальчикам купить таких черных медведей к Новому году.

«Нет, нет, совершенно невыносимо», – подумала Марья Андреевна и решила заказать билет на городской станции.

Она написала вечером мужу письмо.

«Меня все здесь давит – и горе, и сложность жизни, и обывательская затхлость, и отсутствие

больших интересов. А с другой стороны, что требовать от бедной мамы, от несчастной Шуры. Шуры надо работать – пенсия не так велика. Да и квартирный вопрос сложен. Городской Совет им дает хорошую комнату, солнечную, завод квартиру ведь отбирает; правда, заводоуправление их не торопит, но очень трудно будет всем в одной комнате. А слевой что делать? Я советую устроить его в специальную колонию, мама хмурится, молчит, я понимаю ее. Я вообще чувствую себя виноватой перед ними, я виновата, ты-то ни при чем. Я хочу предложить маме переехать в Москву, я буду в столовой, а она с Сережей, а то ведь у нас гости до поздней ночи, ей трудно будет пережить, пока уйдут».

Письмо было деловое, но перед тем, как запечатать его, Марья Андреевна приписала:

«С ума схожу, так соскучилась по тебе, по Сереже, глупый Гришка, ничего ты не понимаешь...»

Вечером ее охватила тоска. Она надела пальто и вышла на улицу. Было совсем темно. Марья Андреевна пошла в сторону завода. Она шла по сосновой роще мимо освещенных инженерных коттеджей, вышла на опушку и остановилась – в долине стоял завод. Пятиэтажные стеклянные кубы цехов были полны белого огня; коралловый дым тяжело выползал из десятков труб, словно выдавливался из гигантских тюбов. Марья Андреевна долго стояла, восхищенная необычайной картиной. Казалось, на этом заводе работают суровые рыцари труда. И ей странно было на обратном пути рассматривать в освещенных окнах оранжевые абажуры, силуэты фикусов, слушать звуки патефона.

Она спала в кабинете Николая Андреевича на кровати с сеткой. Утром она проснулась от какого-то необычайного ощущения и, вскрикнув, схватилась за край постели. Непонятная сила приподнимала ее. Она прислушалась: из-под кровати раздавалось пыхтенье живых существ.

Марья Андреевна заглянула под кровать. Алеша и Петька стояли на корточках и, сопя, деловито отдуваясь, старались поднять головами сетку.

Марье Андреевне сразу стало весело, словно она проснулась у себя в Москве.

– Черти, милые черти, вылезайте-ка, – говорила она.

Пришла мать.

– Машенька, – сказала она, – мы с Шурой решили, чтобы ты отобрала книги, нужные тебе и Грише. Пусть у вас будет память о Коле.

– Спасибо, родная, – сказала Марья Андреевна, – но меня все грызет совесть после вчерашнего разговора. Сколько внимания нам оказывал Коля. Я ночью вдруг вспомнила – вот и радио он нам подарил.

Перед обедом Марья Андреевна принялась просматривать книги. Ее удивляла величина библиотеки.

Она снимала книги с полок, почти во всех имелись карандашные пометки. Эта библиотека сейчас умерла вместе с Николаем Андреевичем. Марью Андреевну поразила мысль, что книги, собранные волей одного человека, выразили его духовную жизнь. И сейчас, со смертью брата, библиотека начала распадаться, как распадается на клеточки мозг умершего. Старые технические журналы сожгут, а, вероятно, в таких, ставших ненужными, журналах много драгоценного находил Николай Андреевич.

И не только библиотека – весь быт дома дрогнул, начал распадаться. И страшно казалось не то, что быт этот уничтожался, а именно то, что он все еще сохранялся, когда стержень его

исчез.

Почтальон принес пачку технических журналов.

Приехал хозяин избы, у которого летом семья жила на даче, привез сухих грибов и вязку воблы, которую обещал Николаю Андреевичу.

В этот день Александра Матвеевна впервые встала с постели. Во время обеда пришел директор завода. Это был молодой человек, лет тридцати. Марья Андреевна заметила, что он по-простому произносил некоторые слова. «Я всею душою сочувствую», – несколько раз сказал он. Директор рассказал, что рабочие предложили собрать деньги на памятник, они все любили Николая Андреевича, – он переоборудовал вентиляцию в цехах, провел большую работу по технике безопасности.

«Вроде нашего Чепетникова, – подумала Марья Андреевна, – говорит ласково, а все оглядывает комнаты, не терпит заняты Колину квартиру».

И неужели этот человек, говорящий «всею», «пинжак», способен директорствовать на огромном заводе?

– Простите, Александра Матвеевна, и вы, мамаша, извините, не придется с вами посидеть, – сказал он, – вот письмо, Александра Матвеевна, получилось для Николая Андреевича, я захватил.

Когда директор вышел в прихожую, за окном раздался низкий голос «ЗИСа».

– Давно он директором? – спросила Марья Андреевна.

– Года полтора, – ответила Анна Гермогеновна и махнула рукой. – Коля говорил, что парень он неплохой, а вот Колю все подозревал, считал его чуждым.

– Ах, боже мой, – точно вступая в спор, сказала Александра Матвеевна, – а рабочие хотят Коле памятник ставить. Вот, пожалуйста, письмо из Москвы от бывшего рабочего нашего завода. Он теперь председателем в каком-то важном месте, сколько благодарности к Коле, и в обиде – узнал, что Коля был в Москве и не заехал к нему.

Шура всех ответственных работников, где бы они ни работали, называла председателями.

– Тетя Маша, – спросил Алеша, – как вы думаете, кто победит, немцы или англичане?

– Не знаю, деточка, – рассеянно сказала Марья Андреевна, – главное то, что мы не воюем.

– Пить, – басом сказал Петька.

– Сам пойд и налей из графина, – сказала Анна Гермогеновна.

– Мамочка, он ведь все опрокинет на себя, – сказала Марья Андреевна.

– Пусть, – сказала Анна Гермогеновна, – пусть привыкает. Так вас отец воспитывал.

– А мне кажется, что это перегиб, – проговорила Марья Андреевна.

Она сама не отдавала себе отчета, почему ее раздражают мать и Шура.

Во всем, что они говорили, она чувствовала скрытый укор себе и Грише: в том, что рабочие любили Колю и что пришло письмо от какого-то выдвигенца из Москвы. Словно все эти рассказы имели тайную мораль: «Вот видишь, вы-то в Николае ничего хорошего не видели».

Ее раздражала царившая в доме интеллигентская добродетель. Как и в далекое время детства, мать почти ежедневно вспоминала о своем знакомстве с Короленко. С утра детям внушали, что они должны сами стелить себе постели, сами одеваться. Алеша выносил мусорное ведро, чистил ботинки. Даже маленького Петьку посылали в аптеку.

«Душно здесь», – думала Марья Андреевна.

Но одновременно ей становилось тревожно и тяжело. Вспомнилось, как весной тридцать седьмого года Николай написал, что его обвинили в общении с врагом народа – братом Виктором – и что ему грозит беда. Он просил Григория Павловича написать в партийную организацию завода, удостоверить, что знает его в течение двадцати лет. Гриша сказал: «Не могу я сам по себе писать, меня не запрашивали, запросят – я отвечу». Она написала брату, что его письмо не застало мужа, Гриша уехал на три недели. А потом и надобность миновала – обвинения отпали. И особенно тяжело было вспоминать открытку брата: он радовался, что отъезд освободил Гришу от ненужных беспокойств. А Виктор? Какой ужас охватил ее и Гришу, когда они узнали об его аресте! Как безрассудно поступил Коля, взяв Левушку к себе!

– Зачем я здесь? – вдруг сказала она вслух. – Шура выздоровела, завтра я уезжаю в Москву.

И оттого, что найден такой простой выход, она почувствовала себя счастливой.

День отъезда прошел незаметно.

Мать сидела у печки, на ее лице было спокойное, бессильное выражение. Шура штопала Петькину курточку с золотыми пуговицами; и в этой матросской курточке с крошечными пустыми рукавами была невыносимая беспомощность. Жалость и любовь, как в первый день, когда она прочла телеграмму о смерти брата, охватили Марью Андреевну. Уже перед ее глазами стояли картины московской жизни – занятия со слушателями, лыжные прогулки, телефонные звонки подруг. И, стыдясь своего счастливого жребия в жизни, она особенно остро ощущала жалость к матери, племянникам, Шуре.

– Дорогие мои, дорогая моя, – сказала она и обняла мать, – давайте перед отъездом поговорим по душам. Мы ведь строим зимнюю дачу. Давайте все там поселимся большой семьей. Алеша и Петька как в раю будут и зимой и летом. Мы там уже посадили клубнику, этим летом соберем первые ягоды. Разведем цветники, запасем сухих дров, мы с Гришей будем то в городе, то на даче с вами. Хорошо? Ладно? Условились? Ну чего же вы молчите?

Шура подняла глаза от шитья и сказала:

– Спасибо большое. Только ведь мне работать нужно – как же я на даче буду жить. Но большое, очень большое спасибо.

– И я хочу преподавать английский язык, – проговорила Анна Гермогеновна.

– Что вы, мамочка, вам пора отдохнуть, – решительно сказала Марья Андреевна, – ну, в общем, увидим, я уверена, все устроится.

Перед отъездом, уже в пальто и в шляпе, Марья Андреевна, боясь расплакаться (она дала себе слово больше не плакать), ходила по кабинету и говорила:

– Боже мой, я опоздаю, где же Шура?

Марья Андреевна подошла к матери:

– Мамочка, дорогая моя... Я вас прошу об одном. Приезжайте в Москву. Ну поймите же, дорогая моя, ведь теперь нельзя жить такой большой семьей с Шурой и детьми. Вы должны к нам поехать, Левушку надо устроить, а Шуре мы поможем со службой. Ей легче будет самой,

клянусь вам. А вы к нам, мамочка, только к нам, слышите? Это мое единственное желание.

Мать погладила дочь по плечу и сказала:

- Девонька моя, не нужно волноваться, не нужно спешить, мы все решим, вся зима впереди.
- Мамочка, вы сердитесь на меня, плохую, эгоистичную? Не сердитесь? Приедете в Москву?

В комнату вошла Шура.

Она посмотрела на расстроенное лицо Марьи Андреевны и сказала:

- Анна Гермогеновна, почему вы не хотите в Москву? Ведь там хорошо.
- Шурочка, уговорите маму, – просительно проговорила Марья Андреевна. – Я сразу же вышлю деньги по телеграфу.

Александра Матвеевна жалостливо улыбнулась и развела руками.

- С богом, – решительно сказала Анна Гермогеновна, – а то на вокзал опоздаешь. Теперь вот что: я из Колиного дома не уйду. Вместе с Шурой будем тянуть. И Левушка не уйдет в казенный дом. Вместе пробедуем. Когда вышлешь деньги, я приеду, поживу у вас немного, погощу.
- Мамочка, приедете? Мы вас уговорим с Гришей!
- Обещаю – значит, приеду. Колю вспоминайте. – И она поцеловала дочь слабыми холодными губами.

Потом она почти злобно крикнула Александре Матвеевне:

- Не реветь, а то я сама зареву!

5

В Москве произошла новость. Матильда вышла замуж! Если б Марья Андреевна узнала, что за время ее отсутствия американский материк погрузился в океан или, наоборот, из океана возник новый материк, она бы меньше удивилась, чем в ту минуту, когда Григорий Павлович сказал:

- А знаешь, Димка Мохов на твоей Матильде женился.
- Что? – шепотом сказала она. – Матильда вышла замуж?
- Чего же ты так? Красивая, но не очень молодая женщина вышла замуж – более чем естественно.
- Гришенька, ты ничего не понимаешь. Меня это потрясает, понимаешь! В мозгу не умещается.
- Но почему же?
- Да я и сама не знаю почему, в том и секрет, что не знаешь почему... Ты мне лучше расскажи, как, что? Ах, негодяйка, ведь ни слова мне не сказала. Подумай, как хорошо!

Она сразу вошла в московскую жизнь, и все ушедшее на несколько дней вновь стало важным и необходимым. Она даже удивлялась, что забыла о том, что ей нужно выступить на общемосковской конференции, сдать отчет, забыла и то, что газовая колонка в ванной неисправна, что нужно шить весеннее пальто.

Она расспрашивала Григория Павловича, была ли коллегия, как встретил его нарком, качала на руках Сережку, отвечала на расспросы Антонины Романовны, желавшей знать, есть ли в Казани троллейбусы.

После обеда она позвонила Матильде, ей сказали, что Матильда еще не пришла с работы.

Тотчас она позвонила Мохову.

Чей– то голос ответил:

– Они женились и не бывают дома.

Муж сидел на диване и, улыбаясь, смотрел на Марию Андреевну. И она все время чувствовала радость встречи.

Это было чувство естественности, чувство покоя, которое наступило после тревожной жизни в разлуке.

Она села рядом с мужем и долго смотрела на него, гладила по волосам.

– Гриша, расскажи поподробней, какие у тебя были события? – спросила она.

Он обнял ее и осторожно поцеловал в угол глаза.

– Понимаешь, Машук, вот чудесное событие – ты вот со мной.

– Все, все обойдется, хороший мой, – сказала она, – все обойдется.

Он не поехал вечером в наркомат, а решил остаться дома.

Пили чай вдвоем.

Никогда не казалась так приятна маленькая столовая, свет из-под желтого абажура, фарфоровые пастушки и скачущие конармейцы.

– Гриша, что же ты меня не спрашиваешь о моей поездке, – спросила она, – сколько я пережила, сколько слез выплакала, как много я поняла.

Ей казалось, что она ночь напролет будет рассказывать мужу о своих переживаниях, о мыслях, возникших в Казани.

– Да ты рассказывай, – сказал он и положил в блюдце варенья.

И когда он сказал это, она почувствовала, что ей не хочется вспоминать о тяжелых днях, перешедших уже в прошлое. Она была счастлива. Она снова почувствовала себя легко и спокойно – ощущение виновности оставило ее.

– Гришенька, как наши денежные дела? – спросила она. – Ведь я хочу маме денег послать.

– С деньгами как будто неплохо, да я их все отдал Димке Мохову. Они хотят устроить пир, а деньги свои растратили. Жалованье через десять дней примерно.

– Понимаешь, если послать сейчас маме рублей четыреста, нам, пожалуй, не хватит до твоей

получки, а моя будет не скоро. А послать меньше неудобно просто. Ей ведь нужно на дорогу и Шуре оставить немного. А послать необходимо!

– Завтра пошлем, – сказал Григорий Павлович и зевнул, – в конце концов, не в лесу живем, одолжу. Ты расскажи, Машук, как они там?

– Что ж рассказывать? Тут не расскажешь. Слишком все это тяжело.

Она несколько мгновений вглядывалась ему в лицо и проговорила:

– Знаешь, ведь я в мгновение пережила твою смерть, знаешь, когда принесли телеграмму. Я прочла слово «скончался» – и ужас, такой ужас, и вдруг я увидела, что из Казани.

Она охватила руками его курчавую седеющую голову, медленно повернула к себе и, приблизившись лбом к его лбу, долго молчала, вглядываясь в теплый и живой сумрак его глаз.

1940 – 1963

МОЛОДАЯ И СТАРАЯ

Начальник одного из управлений одного из союзных наркоматов, Степанида Егоровна Горячева, уезжала 29 июля в Крым. Отпуск у нее начинался с 1 августа, и она нарочно, чтобы выгадать время, уезжала 29-го, под выходной день.

Степанида Егоровна, окончив работу, спешила на дачу в Кунцево. Машина ее была в ремонте. Боясь опоздать, она позвонила по телефону старому товарищу Черемушкину – они в 32 году вместе работали в одной бригаде в зерносовхозе, оба помощниками комбайнера. Черемушкин прислал ей М-1.

Машина в Кунцево шла по широкому новому шоссе.

– Что это у тебя стучит? – спросила у водителя Степанида Егоровна.

Он искоса поглядел на нее, облизнул верхнюю губу и, не отвечая на ее вопрос, сам спросил:

– Долго машину в Кунцеве задержите?

– Сколько надо, столько задержу, – ответила она.

– У меня сегодня она на технический ремонт назначена. Я говорил Черемушкину.

– Мне на вокзал к одиннадцати, раньше не освободитесь, – ответила Горячева.

Горячева несколько раз поглядела на шофера, но не заговаривала с ним больше, очень уж угрюмым казалось его лицо. Автомобиль шел по асфальту, навстречу ехали длинные, светло-кофейные, зеленые, черные «ЗИСы», поблескивали новым лаком М-1. Вдоль шоссе, размеченного белым пунктиром, в местах перехода для пешеходов были устроены нарядные пестрые мостики, удобные скамьи с навесами для пассажиров, ожидающих автобусов. По шоссе с неторопливым спокойствием сильных людей прохаживались милиционеры в белых перчатках. Машины шли со скоростью не меньше семидесяти километров, – едва глаз успевал заметить на сером, тускло блестящем шоссе черную точку, как она начинала

стремительно расти, и через несколько секунд мимо Степаниды Егоровны мелькали людские лица, сверкало стекло, и встречная машина вмиг исчезала, точно и не было ее, точно почудилась ей женская голова в широкой шляпе, ворох полевых цветов, военная фуражка. И так же легко, стремительно возникали и вмиг гасли перед ее глазами деревянные домики с маленькими окнами, тесно заставленными цветочными горшками, женщина в черном платье, пасущая козу, путевая будка.

Много раз ездила Степанида Егоровна на дачу машиной, и всегда ее развлекала эта легкая и тревожная стремительность, с которой предметы, люди, животные возникали, росли и вмиг исчезали. На даче жила мать Степаниды Егоровны, Марья Ивановна, две племянницы – дочери покойной сестры, Вера и Наташка. Дача была роскошная, восьмикомнатная, и в ней, кроме семьи Степаниды Егоровны, жило еще одно семейство ответственного работника. До 1937 года дачу занимал бездетный человек, некий Ежегульский, с женой и стариком отцом. Ежегульский был арестован как враг народа: уже второй год семья Горячевой жила здесь, а о Ежегульском и воспоминания не осталось, разве только то, что перед окнами росли посаженные его отцом желтые лилии. Да еще сосед Степаниды Егоровны – один из руководителей Нарком-совхоза Сенятин – как-то показал ей найденный им в сарае большой ящик, полный шишек. Каждая шишка была завернута в особую белую бумагу и обложена ватой – тут были огромные, как странные птицы со вставшими дыбом деревянными перышками, с выступившими янтарными каплями смолы, были крошечные шишечки, поменьше желудя, были южные – с Средиземного моря, были с далекого сибирского севера. Все эти сотни шишек собрал бывший жилец дачи. Что-то очень смешное было в этих больших и крошечных, чинных шишках-куколках, аккуратно завернутых в бумажки и в вату. Степанида Егоровна переглянулась с Сенятиным, и оба покачали головами и усмехнулись.

– Что ж с ними, в плиту только, – сказала она, – самовар такими гранатами не поставишь, ни в какую трубу не полезет.

– Нет, зачем в плиту, ты, товарищ Горячева, несознательная – это представляет ценность для ботаника, я ящик сдам юным натуралистам, то есть юннатам, либо – в музей.

Машина подъехала к даче, и, пока Степанида Егоровна уславливалась с шофером, ей навстречу выбежали Вера и Наташка, а следом за ними шла бабушка Марья Ивановна. Шофер поставил машину на зеленую, тенистую полянку подле ворот, словно автомобилю было приятней и веселей стоять на свежей траве под лиственной тенью. Шофер медленно обошел машину, ударил сапогом по упругой крышке, не для проверки, а для того, чтобы доставить себе удовольствие, протер рукавом стекло, покачал головой и, отойдя к забору, лег на траву. От машины пахло бензином и горячим маслом, шофер с удовольствием вдыхал этот запах и думал: «Нагрелась, вспотела...»

Он начал дремать, когда мимо него прошла старуха Марья Ивановна с ведром.

– Вода у нас плохая, тухлая, мы для варева ее не берем, – сказала Марья Ивановна, останавливаясь возле шофера. Он ни о чем не спрашивал ее, но она стала рассказывать, что вода бы и у них была хорошая. Но из-за злой соседской собаки никто к колодцу не ходит, и вода тухнет. «Болеет колодец, как корова недоеная», – сказала она.

– Что ж, мамаша, вы сами по воду ходите? – с укоризной и насмешкой сказал он. Он посмотрел на ее худое, коричневое лицо, на серые от седины волосы и проговорил: – Ответственные работники, а старуху за водой гоняют, вам уж лет шестьдесят, наверное...

Старуха не помнила, сколько ей лет. Когда ей хотелось, чтобы соседки удивлялись, как она легко носит воду, стирает, моет полы, она говорила, что ей – семьдесят один, а в поликлинике записала, что ей – пятьдесят девять лет, и дочери говорила, что пятьдесят девять, чтобы та пожалела, когда мать умрет: а то ведь скажет – пожила, куда ж больше. Она

вздыхнула и сказала шоферу:

– Восьмой десяток, милый, восьмой десяточек.

– Сама дочка бы наносила или девчонок послать, а то такого древнего человека за водой гоняют! – сказал шофер.

– Где ей, что ты, – сказала Марья Ивановна, – это она сегодня перед отъездом рано так, а то ночью приезжает. Совсем Степа замучилась. Теперь-то ничего, спокойная стала, а зимой, когда из деревни приехала, приедет на автомобиле и плачет. «Что такое это с тобой, миленькая моя, или обидел кто?» – «Нет, – говорит, – очень трудно мне с непривычки». Где ж ей воду носить? А девчонки – это правда, такие суки: и набрешут, и гадкое слово скажут. Старшая – та еще ничего, все лежит, книжки читает, а Наташка очень вредная. Утром говорит: «Бабушка, это ты конфеты сожрала, что тетя мне оставила, я тебе сейчас в зубы дам». Вот какая.

– Это в народный суд, подсудное дело, за оскорбление старости, – сказал шофер. – А что они, не дочери ей? – спросил шофер.

– Сестры ее родной, старшей моей дочки родной, Шуры, – а ей племянницы. В тридцать первом померла Шура, опухла и померла, в голод, – говорила Марья Ивановна, – и старик мой, такой был трудящий, тоже в тот же год помер; к сердцу опух подходил, а он все по хозяйству беспокоился, плетень мне не давал разбирать на дрова, я лепешки из дурмана пекла. Вот младшая нас взяла, она при совхозе восемьсот грамм получала в день, так четверо и жили, девчонка совсем малюсенькая была. А сейчас видишь!

– Хорошо всем стало? – спросил шофер, показывая на высокие окна дачи.

– А конечно, хорошо, – сказала старуха, – только мне жалко, не могу забыть. Шура, дочка моя старшая, с ума тронулась, все голосила: «Маменька, огонь кругом, маменька, хлеб горит, маменька!» – не могу я забыть. Старик мой ласковый был. Батюшки, – спохватилась она, – вот заговорила, а чаем кто ж ее напоит? Ей же на поезд сегодня. И еще на квартиру в городе заезжать.

– Успеем, на машине ведь, – сказал шофер.

Степанида Егоровна радовалась своему отъезду. Впервые ехала она отдохнуть к берегу моря. До сих пор она не могла привыкнуть к тому, как стремительно и внезапно изменилась жизнь. Семнадцатилетней смешливой девчонкой она, окончив семилетку, поступила уборщицей в общежитие рабочих совхоза. Девчата из общежития уговорили ее поступить на девятимесячные курсы комбайнеров. Она окончила курсы легко, одной из первых. С какой-то необычайной, для нее самой удивительной легкостью давались Горячевой технические предметы – она отлично чертила. С одного взгляда она запоминала сложные схемы, по чертежу сразу же разбирала мотор; через год она стала старшим комбайнером. В 1935 году ее работа была сочтена лучшей в крае. В 1937 году арестовали директора совхоза, агронома и заведующего ремонтными мастерскими. Назначили нового директора – Семидоленко. Горячева побаивалась его и не любила. Что бы ни случилось в совхозе, Семидоленко объяснял это вредительством; самая мелкая авария с механизмом, задержка работы в мастерской – и Семидоленко писал заявления районному уполномоченному. За короткое время в совхозе арестовали двенадцать человек по его заявлениям. На собраниях Семидоленко называл арестованных диверсантами и поджигателями. Когда арестовали Невраева – инструктора из ремонтных мастерских, сурового и малоразговорчивого старика, которого все уважали за то, что он работал до глубокой ночи и пять лет не пользовался отпуском, отказываясь от денежной компенсации, Семидоленко сказал на собрании:

– Этот тип обманывал нас всех, под маской ударника скрывался заклятый враг народа,

ловкий шпион иностранной державы, пробравшийся в самое сердце нашего совхоза.

Взял слово секретарь директора и сказал, что теперь только он понял, почему Невраев по ночам оставался один в конторе мастерских и почему он выписал из Москвы фотографический аппарат. Потом взяла слово Горячева и звонко сказала:

– Ничего он не с иностранной державы, а его прислали с путевкой райкома, а сам он из деревни Пузыри, там его сестра и младший брат живут.

Семидоленко стал ругать ее, сказал, что прислал Невраева секретарь райкома, оказавшийся врагом, что она, видно, попала под вражеское влияние, что кое-что ему известно; а через несколько дней девчонка-машинистка под страшным секретом рассказала ей, что перепечатала заявление директора районному уполномоченному про то, что комсомолка Горячева была сожительницей врага Невраева и получала от него систематически денежные подарки. Казалось, все так запуталось, что уж никогда не добьешься правды. Но вскоре все изменилось: Семидоленко арестовали, арестовали районного уполномоченного, арестовали нескольких областных работников. И тут-то началось: Горячеву вызвали к секретарю обкома. Это был широколицый человек в ситцевой рубашке и в синих брезентовых туфлях с резиновой подошвой.

– Решили тебя выдвинуть директором совхоза! – сказал он.

Горячева испуганно и сердито сказала:

– Что вы, смеетесь надо мной? Мне двадцать пятый год пошел, я – деревенская девка, третий раз в жизни поездом еду.

– А мне двадцать восьмой, – сказал секретарь обкома, – ничего не поделаешь.

Прошло два года. Ее перевели в Москву, она работала и одновременно училась. Часто ей казалось, что ей снится все это – телефоны, секретари, заседания президиума, машины, квартира в Москве, дача. И ночью ей иногда действительно снилось, что после работы с подругами идет по деревенской улице и поет под гармонику песни. Она улыбалась во сне и чувствовала, как приятно ступать босой ногой по мягкой прохладной траве, растущей на площади перед сельсоветом. И только когда она ехала на дачу и мимо глаз стремительно возникали, исчезали дома, ей казалось, что ничего удивительного в ее существовании нет: просто жизнь ее подчинилась этому захватывающему дух движению.

В тот же день ехала на курорт заместительница начальника планового управления Гагарева, толстая, беспартийная старуха, с совершенно седыми волосами и с пенсне на мясистом носу. Горячева заехала за ней на машине к десяти часам вечера. Гагарева уже ждала ее. В машине они не разговаривали – Гагарева все время протирала платочком стекла пенсне, Горячева глядела в окно. В поезде они заняли двухместное купе.

– Я уж наверх, поскольку я молодая, – сказала Горячева.

– Да тут не трудно, с лесенкой, – если хотите, и я могу наверх, – проговорила Гагарева.

– Что вы, как можно, – сказала Горячева, оглядывая Гагареву, и рассмеялась.

– Вы не смотрите, что я тучная, – тоже смеясь, сказала Гагарева, – я до последнего времени гимнастикой занималась.

Проводник принес чаю, и они решили поужинать в купе и не ходить в вагон-ресторан. Между ними сразу установились дружелюбные отношения – они улыбались, угощали друг друга.

– Я впервые к морю еду, – сказала Горячева и добавила: – Как быстро растет курортная сеть.

– Да, огромная забота о здоровье граждан нашей родины, – сказала Гагарева, – по одной нашей системе запланировано восемь санаторных точек на побережье Черного моря.

– Заграничных так и тянет к нашему богатству, – сказала Горячева, – вот японцы никак не успокоятся. Еще бы, такая красота кругом: и моря, и реки, и леса!

– Красная Армия им отобьет охоту протягивать руки к нашей родине, – сказала Гагарева.

– Да, на первомайском параде я на Красной площади нагляделась – танки такие, горы железные, и ход какой!

– Мне на Красной площади побывать не пришлось, но я и без того знаю – армия наша сильна не только своей техникой, а и социалистической идеей.

– Это вы очень верно сказали, товарищ Гагарева, – согласилась Горячева, – очень верно. У нас все пойдут.

Они беседовали, потом легли спать. Горячева проснулась ночью. На верхней койке лежать было удобно, как в люльке. Поезд шел быстро, но тяжелый международный вагон почти не трясло. Горячева поглядела вниз. Гагарева с распущенными по плечам седыми волосами, в ночной фланелевой блузе, приподнявшись на локте, смотрела в темное окно вагона и плакала. Плакала она не по-старушечьи беззвучно, а всхлипывая, хрипло, и при каждом рыдании вздрагивали ее жирные плечи. Горячева хотела спросить ее, почему она плачет, и успокоить ее, но сдержалась и тихо, незаметно для старухи вновь легла, закрыла глаза. Она поняла, отчего плачет Гагарева. Месяцев восемь или девять тому назад ее вызывал по поводу Гагаревой замнаркома. Старуха занимала ответственное положение, работала хорошо, с большим знанием дела. Но однажды она подала заявление, где писала, что считает своим долгом сообщить, что осенью тридцать седьмого года был арестован ее зять, ответственный работник Наркомтяжпрома, а спустя короткое время была арестована ее дочь. Заместитель наркома спросил Горячеву:

– Как ты смотришь? Например, Кожуро подал мне мотивированное заявление, что надо снимать.

Они оба рассмеялись, так как начальник планового управления Кожуро был уже известен как самый осторожный и боязливый из всех начальников управлений. Он увольнял много людей, и его в Московском комитете партии ругали за то, что он по малейшему намеку увольнял сотрудников. Однажды он уволил молодую женщину, жену калькулятора, только за то, что сестра калькулятора была замужем за профессором, исключенным из партии за связь с врагами народа. Это выяснилось тогда, когда профессора восстановили в партии, а Кожуро все еще колебался, принять ли обратно на работу жену калькулятора.

В тот раз Горячева сказала:

– Снимать надо Кожуро, черта перестраховщика, а Гагареву если уволят, я до ЦК дойду: она старуха – во!

Заместитель наркома сказал:

– Насчет Кожуро не нам решать, видно будет, а обращаться тебе не придется хотя бы потому, что Гагареву мы с работы не снимем.

Горячева подумала про замнаркома: «Тоже ведь осторожный мальчик», – но промолчала. И теперь она поняла: Гагарева ехала на курорт и плакала оттого, что ей удобно, а дочь ее не спит на мягком.

Утром Гагарева спросила:

– Как спали, товарищ Горячева? Я вот последние годы плохо сплю в поезде: чувствую себя разбитой, как после тяжелой болезни. – Лицо ее припухло, веки были красные.

– Вы от дочери письма получаете? – вдруг спросила Горячева.

Гагарева смутилась:

– То есть как вам сказать, я ведь с ней вообще связи не поддерживаю официально, между нами общего – ничего. Но вообще-то я знаю, она в Казахстане работает, подала на пересмотр.

Было душно, но окно пришлось все же закрыть из-за пыли. Созревшие поля стояли широко вокруг. Вечером, после Харькова, они проезжали места, где началась жатва. На полях стояли комбайны и грузовые автомобили... «Ведь я на них работала», – сказала Горячева, и ее сердце сильно забилось.

Дом отдыха для ответственных работников был невелик, но очень удобен. Каждый отдыхающий имел отдельную комнату. К обеду давали приятное виноградное вино, всякий мог выбрать себе блюдо по вкусу. Даже сладких было несколько – мороженое, крем, налистники с вареньем. В доме отдыха Горячева редко разговаривала с Гагаревой – они жили на разных этажах, да, кроме того, Гагаревой часто нездоровилось, и тогда ей носили еду в комнату. По вечерам, когда становилось прохладно, Гагарева, накинув на плечи платок, с книжкой в руке прогуливалась по кипарисовой аллее над морем, ходила она маленькими шажками, часто останавливалась, чтобы передохнуть, или садилась на каменную низенькую скамеечку. Собеседников у нее не было, – одна лишь работавшая в доме отдыха старушка докторша Котова часто заходила к ней в комнату, и они подолгу разговаривали. Иногда Гагарева после ужина заходила к ней.

– Я здесь как в детском саду, – пожаловалась она, – не с кем говорить.

– Да, действительно, детский сад, – согласилась Котова, – в августовском составе нет ни одного отдыхающего старше тридцати лет. За исключением меня.

Гагарева вспомнила, как весело было в 1931 году в этом же доме отдыха, – в гостиной устраивались вечера воспоминаний, находились любители – певцы, музыканты, читали вслух, спорили по вопросам литературы.

– Да, да, – соглашалась Котова, – публика была интересная, но мне иногда круто приходилось. Тут один отдыхал – красивый, с русской бородой, у него было лежачее сердце, немного ожиревшее, и нарушенный несколько обмен веществ, подагрические боли в суставах левой руки, вот я уже и забыла его фамилию и где он работал, болезни не опасные, но сколько он мне крови испортил, как он был капризен, избалован, я даже рапорт написала в Санупр, чтобы меня освободили.

– Ах, я знаю, о ком вы говорите, – сказала Гагарева, – его уже нет, он был начальником краевого земельного управления в период сплошной коллективизации. У нас на активе как раз много об этом говорили.

– Ну бог с ним, – сказала Котова, – я уж не знаю, но здесь он был невыносим. Ночью как-то меня разбудили, позвали к нему. Сидит на постели: «Доктор, меня мутит». Я уж тогда не утерпела: «Вы объелись за ужином, стыдно вам должно быть беспокоить меня, старуху, ночью».

– Да, – задумчиво проговорила Гагарева, – всякие бывают люди.

Котова жила одиноко, и Гагаревой нравилась ее беленькая, чистая комната, маленький

«отдельный» садик перед окнами. Этот садик ей казался приятней богатого и большого парка, и она охотно сидела на ступеньке – с книжкой, подле кадки с розовым олеандром.

Отдыхающие большую часть времени проводили на пляже. Но даже среди самых завзятых купальщиков и любителей солнца выделялась Горячева. Море ее поразило, и Горячева точно влюбилась. С утра она спешила завтракать, и, положив в мохнатое полотенце груш, винограду, шла по дорожке к пляжу.

– Горячева, подожди, вот покурим, вместе пойдем, ты что, боишься на двадцать одну минуту опоздать?! – кричали ей санаторные остряки. – Не бойся, на скалы номерков не вешают.

Торопливо раздевшись, она кидалась в воду и плыла, как плавают деревенские девушки, вытягивая шею и жмурясь, молотя по воде ногами, захлебываясь от брызг, которые сама же поднимала сильными и неумелыми руками. На лице ее бывало столько детского удовольствия и даже недоумения – она словно не верила, что может быть так хорошо. Она купалась часами и часто не приходила к обеду. Ей особенно нравились эти обеденные часы на берегу, когда пляж пустел и волны постепенно захватывали и уносили виноградную кожуру, окурки, огрызки груш и яблок. Горячева помогала воде очищать пляж, и когда мусор бывал весь убран и лишь волна постукивала галькой да шуршала в песке, она лежала на животе, подперев скулы ладонями, и упорно, точно ожидая чего-то, глядела на сверкающую гибкую воду, на пустынный каменистый берег. Ей хотелось, чтобы подольше берег оставался пустынным, и она огорчалась, слыша сверху колокол после мертвого часа и голоса купальщиков. Это было ей самой странно – ведь многие отдыхающие оказались ей знакомыми, простыми, веселыми людьми. Среди них был Иван Михеевич, депутат Верховного Совета, раньше работавший бригадиром в колхозе, на поля которого выезжала Горячева со своим комбайном; встретила она двух колхозниц, украинок, с которыми вместе была в Москве на совещании. Одна из них заканчивала Промышленную академию, вторая – Станюк – работала в Верховном суде УССР. Был в доме отдыха директор Донецкого угольного треста, несколько лет тому назад работавший забойщиком. Горячева узнала его – они в один день получали ордена в Кремле. Все эти люди были ей приятны, близки – с ними она чувствовала себя хорошо. Но все же, оставшись одна на пляже, она испытывала облегчение. Она слушала шум воды, вспоминала, как девчонкой бегала купаться и, надувая пузырем сорочку, переплывала возле мельницы реку. Потом она глядела на море и купалась множество раз...

Ее начали дразнить сразу, в один день, – все подсмеивались над ней.

Иван Михеевич сказал:

– Ну вот, комбайнер, приехала холостой, а домой давай телеграмму, что мужа привезешь.

Станюк, усмехнувшись, сказала ей:

– Дывысь, Горячева, как бы тут не схудла кила на два чи на три.

Даже Гагарева вечером знала новость, хотя к морю никогда не спускалась. Встретив в стеклянном коридоре Горячеву, она ей сказала:

– Доктор Котова все беспокоится, как бы вы не получили невроза сердца от солнечных ванн, а я слышала, что надо опасаться лунных.

– Каких лунных? – удивилась Горячева, впервые жившая в южном доме отдыха.

Дело было в том, что Горячева познакомилась с полковником Кармалеевым из соседнего дома отдыха командного состава РККА. Они поговорили немного, потом пошли в воду. Он ей рассказал, что только сейчас врачи разрешили ему купаться после ранения, полученного в

августе 1938 года. Горячева со страхом следила, как он заплывал, ей все казалось, что от стремительных, сильных движений у него откроется рана на груди, затянутая розовой, свежей кожей. А иногда ей казалось, что лицо у него бледное, а не коричневое от загара. Иногда они гуляли, она спрашивала:

– Не устали?

– Что вы, с чего это? – обиженно спрашивал он.

Он был на четыре года старше ее, но их жизненные истории имели много общего – он тоже до 1926 года был деревенским комсомольцем, а затем поехал на Дальний Восток в пограничные войска. Окончив службу, он поступил на командные курсы и остался на Дальнем Востоке. Он казался очень спокойным человеком, говорил медленно, слова произносил внятно; двигался он легко и быстро, но, так как движения у него были размеренные и четкие, он казался несколько медлительным. Горячеву смешило, что он говорит с ней учительским тоном, и она сказала ему как-то об этом. Он смутился и ответил, что это привычка: ведь ему приходится часто втолковывать, объяснять младшим командирам и красноармейцам.

– Что ж я, младший командир? – обиженно спросила Горячева. – Я ведь, если перевести на военное, постарше полковника.

– Да, не меньше чем комкор, – улыбаясь, сказал он. Зубы у него были такие прямые и ровные, что казались сплошной белой полоской, волосы русые и, должно быть, очень мягкие, глаза – светлые, серьезные, невеселые.

Два дома отдыха следили за их отношениями, посмеивались, шутили, но отношения их с первых же дней были так просты и ясны, что ни Горячева, ни Кармалеев не смущались и продолжали по вечерам вместе уходить в парк, взявшись за руки, шли к морю. Он приносил ей в столовую какой-то особенный виноград, а по утрам шел на почту и, добыв газету, не прочитав ее, относил Горячевой.

Товарищи смеялись над ним и говорили:

– Вот Александр Никифорович, будешь мужем замнаркома, она попросит, и тебя с Дальнего Востока переведут в Москву, в Академию Генштаба, заживете...

Он спокойно улыбался и молчал.

Гагареву особенно взволновало это маленькое событие, интересное и важное только для Горячевой и Кармалеева. Она с доброжелательством, примиренностью, грустью следила за Горячевой. Ей казалось, что существует закон, который управляет судьбами поколений. «Вот теперь, – думала она, – пришла их очередь быть счастливыми! Пусть будут счастливы!» И она вспоминала времена своего студенчества – политические споры, поездки на Воробьевы горы, годы эмиграции, когда муж ее бежал из царской каторги за границу и она, бросив ученье, поехала к нему во Францию... Она даже гордилась тем, что философски осмыслила время, русскую жизнь, поняла смысл движения, смысл всех жертв. «Да, да, – думала она, – это так, мы недаром боролись и страдали, недаром наши поколения приносили себя в жертву». Она много думала, и мысли эти ее так занимали, что она перестала заходить к Котовой, а проводила время в одиночестве. Она почувствовала уже гордость оттого, что все ей понятно, и снисходительно, с доброй усмешкой глядела на окружавших ее молодых людей.

В последние дни августа неожиданно пошли дожди: говорили, что это случается исключительно редко, раз в десять – пятнадцать лет. Горы были закрыты облаками, с моря дул холодный ветер, дождь принимался накрапывать по несколько раз в день. Многие отдыхающие уехали. 26 августа уехала Горячева. Она бы осталась, пожалуй, но 26-го уезжал

Кармалеев, его вызывали телеграммой на Дальний Восток. Горячева решила проводить его до Москвы. А Гагарева осталась – ей плохая погода не мешала. Она привезла с собой из Москвы галоши, плащ и, не боясь мелкого дождя, продолжала прогулки по посыпанным галькой дорожкам. Ей даже нравилась эта погода, она больше подходила к ее настроению, особенно хорошо думалось в эти серые грустные дни...

...Как– то в ноябрьский день перед концом работы Га-гарева зашла в кабинет к Горячевой. Горячева в это время говорила с приехавшим с периферии инструктором.

– Вам надолго? – спросила у нее Горячева.

– Нет, нет, пожалуйста, я подожду, у меня дело совсем особое, – улыбаясь, сказала Гагарева, усаживаясь на диван. Она смотрела на лицо Горячевой, освещенное настольной лампой, и думала: «Загар сошел, и похудела сильно, работает уж очень много, дни и ночи, скучает, должно быть, по мужу».

Когда инструктор ушел, Гагарева, смеясь и смущаясь, сказала:

– Товарищ Горячева, мне вот что хотелось вам сказать, я ведь знаю, какую позицию вы заняли в моем деле в прошлом году. И сейчас мне хотелось поделиться с вами радостью – дело дочери пересматривают. Она, возможно, скоро вернется в Москву.

Они поговорили несколько минут, потом Горячева спохватилась, что у нее коллегия, и ушла. Гагарева зашла в секретариат и сказала секретарю Горячевой:

– Лидия Ивановна, знаете, ко мне, возможно, дочь приедет!

И строгая секретарша, посмотрев в лицо Гагаревой, рассмеялась и пожала ей руку.

– Скажите, а что это с Горячевой, она не больна? – спросила Гагарева. – Какая-то странная.

Секретарь, оглянувшись на дверь, тихо сказала:

– У нее ведь беда за бедой, – в октябре мать умерла от паралича сердца, стирала белье и – в секунду. А несколько дней тому назад ее известили, что муж ее убит в бою на дальневосточной границе, а они-то расписались в день приезда из Крыма, и в тот же вечер он уехал.

Гагарева отошла к окну и смотрела, как внизу из туманного мрака внезапно возникали яркие автомобильные фонари и стремительно двигались через площадь. «Ну и что, ведь все не так, ничего ведь я не поняла в законах жизни», – подумала она.

Но ей не хотелось думать и понимать законы жизни, так как она была счастлива.

1938 – 1940

ЛОСЬ

Александра Андреевна, уходя на работу, ставила на стул, покрытый салфеточкой, стакан молока, блюдец с белым сухариком и целовала Дмитрия Петровича в теплый, впалый висок.

Вечером, подходя к дому, она представляла себе, как томится в одиночестве больной.

Завидя ее, он приподнимался, пустые глаза его оживали.

Однажды он сказал ей:

– Сколько ты встречаешь людей в метро, на работе, а я, кроме этой траченной молью головы, ничего не вижу.

И он указал бледным пальцем на бурую лосиную голову, висевшую на стене.

Сослуживцы жалели Александру Андреевну, зная, что муж ее тяжело болеет и она ночами дежурит около него.

– Вы, Александра Андреевна, настоящая мученица, – говорили ей.

Она отвечала:

– Что вы, мне это совсем не трудно, наоборот...

Но двадцатичасовая служебная и домашняя нагрузка была непосильна для пожилой, болезненной женщины, и от постоянного недосыпания у нее поднялось давление, начались головные боли.

Александра Андреевна скрывала от мужа свое нездоровье; но иногда, идя по комнате, она внезапно останавливалась, словно стараясь о чем-то вспомнить, приложив ладони к нижней половине лба и к глазам.

– Саша, отдохни, пожалей себя, – говорил он.

Но эти просьбы огорчали и даже сердили ее.

Приходя на службу в фондовый отдел Центральной библиотеки, она забывала о тяжелой ночи, и светленькая Зоя, недавно окончившая институт и стажировавшаяся в отделе фондов, говорила:

– Вы присядьте, ведь у вас ноги отекают.

– Я не жалею, – улыбаясь, отвечала Александра Андреевна.

Дома она рассказывала мужу о рукописях и документах, которые разбирала на работе, – она любила эпоху семидесятых – восьмидесятых годов, ей казались драгоценными любые мелочи, касавшиеся не только Осинского, Ковальского, Халтурина, Желвакова, Желябова, Перовской, Кибальчича, но и десятков забытых революционеров, находившихся на близких и далеких орбитах чайковцев, ишутинцев, «Черного передела» и «Народной воли».

Дмитрий Петрович не разделял увлечения жены. Он объяснял это увлечение тем, что она происходила из революционной семьи. Семейный альбом был заполнен фотографиями стриженных девушек со строгими лицами, в платьях с тонкими талиями, с длинными рукавами и высокими черными воротничками, длинноволосых студентов с пледами на плече. Александра Андреевна помнила их имена, их печальные, благородные, всеми забытые судьбы – тот умер в ссылке от туберкулеза, та утопилась в Енисее, та погибла, работая в Самарской губернии во время холерной эпидемии, третья сошла с ума и умерла в тюремной больнице.

Дмитрию Петровичу, инженеру-турбинщику, все эти дела казались возвышенными, но не очень нужными. Он никак не мог запомнить двойные фамилии народников – Иллич-Свитыч, Серно-Соловьевич, Петрашевский-Буташевич, Дебагорий-Мокриевич... Он запутался в обилии имен – одних Михайловых было трое: Адриан, Александр, Тимофей. Он путал

чайковца Синегуба с народовольцем Лизогубом...

Он не понимал, почему жена так огорчалась, когда во время их летней поездки по Волге им встретился возле Васильсурска пароход, прежде называвшийся «Софья Перовская», а после ремонта и новой окраски переименованный в «Валерию Барсову», – ведь у Барсовой замечательный голос.

Когда– то, во время поездки в Киев, он сказал Александре Андреевне:

– Вот видишь, большущая аптека названа именем Желябова!

Она рассердилась, крикнула:

– Не аптеку, а Крещатик нужно назвать именем Желябова!

– Ну, Шурочка, это тыхватила, – сказал Дмитрий Петрович.

Ему был чужд аскетизм народовольцев, их почти религиозная одержимость.

Они ушли, их забыли новые поколения.

Дмитрий Петрович любил красивые вещи, вино, оперу, увлекался охотой. И в пожилые годы он любил надеть модный костюм, хорошо подобрать и хорошо повязать галстук.

Казалось, что Александре Андреевне, равнодушной к нарядам, дорогим вещам, эти склонности мужа должны быть неприятны.

А ей все нравилось в нем, все его слабости и увлечения. Она делилась с ним мыслями о восхищавшем ее времени, о трагической борьбе народовольцев.

И теперь, когда он лежал больной в постели, она рассказывала ему о своих огорчениях.

– Знаешь, Митя, на собрании наша стажерка Зоя, очаровательное молодое существо, раскритиковала меня – я ее перегружаю ненужной работой, связанной с семидесятыми и восьмидесятыми годами...

Слушая жену, глядя, как розовеют от волнения ее щеки, Дмитрий Петрович думал, что ведь она единственная неразрывно связана с ним мыслью, чувством, постоянной заботой; остальные, даже дочь, лишь вспоминают, а не помнят.

Странно делалось при мысли, что в те минуты, когда Александра Андреевна, увлекшись работой, перестает о нем думать, никто не помнит о нем, и даже самая тоненькая ниточка не связывает его с людьми во всех городах и селах, в поездах...

Он говорил об этом Александре Андреевне, и она возражала ему:

– Твои турбины, твой способ расчета прочности лопатки – все это существует. Женя к тебе очень привязана, она редко пишет, но это ничего не значит. А друзья разве забыли тебя? Из-за суматошной жизни устают очень, а вспомни, сколько внимания оказывали тебе сослуживцы, когда ты слег...

– Да, да, да, да, Саша, – отвечал он и утомленно кивал головой.

Но и она понимала, что дело тут не только в мнительности больного человека.

Конечно, друзьям его, людям уже пожилым, трудно ездить на службу в набитых автобусах и троллейбусах, у них заботы, летняя дачная страда, служебные неприятности. И все же ему больно, что старые друзья редко справлялись о нем, а посещают его не ради живого

интереса и даже не ради него, а для самих себя, чтобы совесть не мучила.

Сослуживцы на первых порах, когда он заболел, привозили ему подарки: цветы, конфеты, но вскоре перестали его посещать... Движение его болезни их не интересовало, да и его перестала интересовать жизнь института.

Дочь, переехавшая после замужества в Куйбышев, раньше слала ему подробные письма, а теперь пишет лишь матери. В своем последнем письме Женя писала в постскриптуме: «Как папа, очевидно, без изменений?»

Дочь обижается на Александру Андреевну, ее сердит, что все свое время мать тратит на ненужных семидесятников и народовольцев, а теперь еще и на него, тоже забытого и ненужного.

Правда, почему Шура так привязана к нему? Может быть, это не только любовь, но и чувство долга? Ведь когда ее высылали в двадцать девятом году, он, обожавший Москву, бросил все – и любимую работу, и удобную комнату в центре, и друзей, – поехал на три года в Семипалатинск, жил в деревянном домике, служил на кирпичном заводишке.

Шура говорила: «Твои турбины, твои методы расчета живут» – и так далее. Турбин его конструкции нет, это Шурахватила, а его методом расчета прочности сейчас уже не пользуются, предложены новые.

Нельзя постоянно состоять в больных, надо либо выздороветь, либо перечислиться в умершие. Даря ему конфеты, сослуживцы как бы говорили: «Мы хотим помочь тебе преодолеть болезнь!» И когда его друг детства Афанасий Михайлович – Афонька – рассказывал об охоте, он подразумевал: «Мы еще будем с тобой, Митя, вместе ходить по лесам и болотам...» И дочь первые недели его болезни верила, что отец поправится, придет к ней летом на Волгу, будет нянчить внука, поможет ее мужу инженерским советом и связями, десятками способов коснется граней жизни... Но время шло, а в жизни Дмитрия Петровича уж не случилось то, что бывало со здоровыми людьми, которые работали, ухаживали за хорошенькими сослуживицами, спорили на совещаниях, получали зарплату, поощрения и выговоры, танцевали на именинах у друзей, попадали под дождь, забегали, идя с работы, выпить кружку пива...

Его занимало, будет ли принесено лекарство из аптеки в облатках или порошках, придет ли делать укол приветливая сестра с легкими деликатными пальцами или угрюмая, неряшливая, с холодными каменными руками и тупой иглой, что покажет очередная электрокардиограмма... И то, что занимало Дмитрия Петровича, не интересовало его друзей и сослуживцев.

В какой-то день и дочь, и сослуживцы, и друзья перестали верить в выздоровление Дмитрия Петровича и потому потеряли к нему интерес. Раз человек не может выздороветь, ему нужно умереть. Как жестоко! Для окружающих смыслом существования безнадежно больного человека становилась одна лишь смерть, она занимала здоровых людей, а жизнь обреченного больного уже никого не занимала. Интересы безнадежно больного человека не могли совпасть с интересами здоровых.

Его жизнь не могла вызвать никаких событий, действий, поступков – ни на службе, ни среди охотников, ни среди друзей, привыкших с ним спорить, пить водку, ни в жизни дочери. Но его смерть могла стать причиной некоторых событий и изменений и даже столкновений страстей. Поэтому сведения о том, что безнадежно больной чувствует себя лучше, всегда менее интересны, чем сведения о том, что безнадежно больной чувствует себя хуже.

Предстоящая смерть Дмитрия Петровича интересовала широкий круг людей – соседей по квартире, и управдома, и дочь, бессознательно связавшую с его смертью свой возможный

переезд в Москву, и регистраторшу в районной поликлинике, и охотников, совершенно бескорыстно любопытствовавших о судьбе его уникальной охотничьей винтовки, и дворничиху, приходившую раз в две недели убирать места общего пользования.

Его безнадежное существование интересовало лишь одного человека – Александру Андреевну. Он безошибочно, без тени сомнения чувствовал это, он ловил в ее лице смену радости и тревоги в зависимости от того, говорил ли он, что одышка стала меньше и днем не было за грудиных болей либо что у него был спазм и он принял нитроглицерин. Для нее он и безнадежно больным был нужен, да что нужен – совершенно необходим! Он чувствовал – ее ужасает мысль о его смерти, и в этом ее ужасе и была спасительная для него живая нить.

Был тихий субботний вечер, соседи в этот вечер обычно уезжали на дачу.

Дмитрий Петрович радовался воскресенью. В этот день с утра и до вечера он видел жену, слышал ее голос, шорох ее домашних туфель.

Он приоткрыл глаза и вздохнул – пора бы Александре Андреевне уже быть дома. Но он вспомнил, что она собиралась, идя со службы, зайти в аптеку и продуктовый магазин.

Он пытался задремать, во время дремоты не так ощущалось томительное движение – течение времени, а к концу дня он с силой, равной силе голода, испытывал потребность услышать знакомый звук ключа, потом услышать голос жены и увидеть в ее глазах то, что было для него важнее камфары, – живой интерес к его никому не нужной жизни.

– Ты знаешь, – сказал он несколько дней назад, – когда ты подходишь ко мне, у меня возникает чувство, словно мама рядом, а я, крошечный, в люльке.

– Я соскучилась по тебе, – говорила Александра Андреевна.

Он открыл глаза, в ночном мраке, просветленном уличными фонарями, на постели напротив спала жена, и Дмитрий Петрович припомнил, что Шура приехала с работы, напоила его чаем и он уснул.

Несколько мгновений он лежал в полудремоте, с каким-то неясным и тревожным ощущением тишины. И вот он разобрался, понял – ощущение тишины шло со стороны постели, на которой лежала Александра Андреевна...

Страх ожег его. Он ошибся! Ему померещилось, будто жена, придя домой, поила его чаем, отсчитывала в рюмочку капли лекарства. Это было вчера, позавчера, всегда, а сегодня этого не было.

Испарина выступила у него на груди и на ладонях... Дмитрий Петрович напрасно считал себя самым несчастным существом в мире – умирать, согретым любовью жены, казалось ему счастьем теперь. Вот Шуры нет рядом с ним.

Его пальцы медлили повернуть выключатель – темнота была надеждой, темнота защищала.

Но он зажег свет, увидел застеленную утром постель Александры Андреевны. Ее нет, она умерла!

Что было в его последнем смятении: горе о погибшей – ее дыхание, ее мысль и каждый взгляд были драгоценней всего в мире... или жгучая сила его отчаяния была в том, что погиб человек, единственно любивший Дмитрия Петровича, такого беспомощного, одинокого...

Он попробовал сползти с постели, стучал сухонькими кулачками в стену, лежал мгновение в беспомощности, снова стучал кулаком.

Но квартира была пуста, лишь в воскресенье вечером приедут с дачи соседи... Сестра из районной поликлиники придет в понедельник утром. Воскресенье вечером... послезавтра утром... Эти сроки бессмысленно огромны.

Где Шура? Разрыв сердца... сшиблена автомобилем, а может быть, Шура только что перестала дышать, и ее тело кладут на носилки, несут в анатомический театр.

Дмитрий Петрович уже не сомневался в смерти жены. В тот миг, когда он зажег свет и увидел ее пустую постель, он, продолжая существовать, стал, как ему казалось, безразличен для всех людей на земле.

Шурино преклонение перед народовольцами... Какая сила влекла ее к этим юношам и девушкам, к их короткой дороге, кончавшейся плахой... А его, своего больного мужа, Александра Андреевна любила не ради своего жалостливого сердца или ради своей совести и душевной чистоты, а вот так... Этого «так» – он не мог понять.

Мысли возникали из тьмы и порождали еще большую тьму.

Шура, Шура...

Хватило бы силы добраться до окна, он бы бросился вниз, на улицу.

Но смерть не только влекла его, она и страшила.

Все вокруг молчало – и сухой свет электричества, и скатерка на столе, и прекрасное задумчивое лицо Желябова.

Сердце болело, пекло, пронзенное горячей, толстой иглой. Дмитрий Петрович искал дрожащими пальцами пульс на руке, бессильный перед страхом смерти, которую он же призывал.

И вдруг глаза Дмитрия Петровича встретились с чьими-то медленными, внимательными глазами.

Многие годы видел он эту голову на стене и давно уж перестал замечать ее.

Когда– то он привез голову лосихи от препараторщика зоологического музея, и, казалось, она заполнила все пространство.

В утренней спешке, стоя в дверях уже в пальто и шляпе, он, прежде чем уйти, поглядывал на голову лосихи, а в трамвае вдруг вспоминал о ней...

Когда приходили знакомые, он рассказывал о том, как убил зверя. Александра Андреевна совершенно не выносила этой жестокой истории.

Шли годы, голова зверя покрылась пылью, глаза Дмитрия Петровича все безразличнее скользили по ней. И наконец эта мощная, длинная голова, с дышащей узкой пастью, окончательно отделилась от сумрачного осеннего леса, от запаха прели и мха, перешла в страну домашних вещей – и Дмитрий Петрович, вспоминая о ней лишь в дни квартирных уборок, говорил: «Надо голову лося посыпать ДДТ, сдастся мне, в ней завелись клопы».

И вот в страшный час его глаза вновь встретились со стеклянными глазами лосихи.

В октябрьское, холодное утро он вышел на лесную опушку и увидел ее... Это было совсем близко от деревни, где ночевал Дмитрий Петрович, и он даже растерялся – так неожиданно произошла эта встреча, в месте, где, казалось, не могло быть зверя: ведь с этой опушки видны были дымки над избами.

Он видел лосиху совершенно ясно и рассматривал ее черно-коричневый нос с расширенными ноздрями, большие, привыкшие ломать ветки и отдирать древесную кору широкие зубы под немного приподнятой, удлиненной верхней губой.

Лосиха тоже видела его: в кожаной куртке, в австрийских ботинках и зеленых обмотках, сильный, худой, с винтовкой в руках. Она стояла возле лежащего среди кустиков брусники серого теленка.

Дмитрий Петрович стал наводить винтовку, и была секунда – все вокруг исчезло – красная брусника, гранитное небо над головой – остались лишь два глаза, обращенных к нему. Они смотрели на него, ведь Дмитрий Петрович был единственным живым существом, свидетелем несчастья, постигшего лосиху в это утро...

И с ощущением силы, счастья, с не обманывающим охотника предчувствием прекрасного выстрела, медленно, плавно, чтобы не погнуть деликатно-паутинную линию прицела, он стал нажимать на курок.

Потом, подойдя к убитой лосихе, Дмитрий Петрович разобрался, в чем дело: лосенок покалечил переднюю ножку – она застряла в расщепленном ольховом стволе, – и телок, видимо, очень боялся остаться один; даже когда застреленная мать упала, теленок все уговаривал ее не бросать его, и она его не бросила...

Сейчас Дмитрий Петрович, присмирив, лежал подле лосихи, как тогдашний прирезанный в осеннее утро покалеченный теленок. Она внимательно смотрела сверху на человека с подогнутыми под одеялом высохшими ногами, с тонкой шеей, с лобастой лысой головой.

Стеклянные глаза лосихи подернулись синевой, туманной влагой, ему показалось, что в этих материнских глазах выступили слезы и от их углов наметились темные дорожки слипшейся шерсти, когда-то выдернутой пинцетом препаратора...

Он посмотрел на постель жены, на свои высохшие пальцы, потом на скорбное и непреклонное лицо Желябова, захрипел, затих.

А сверху на него все глядели склоненные добрые и жалостливые материнские глаза.

1938 – 1940

ТИРГАРТЕН

1

Обитатели Берлинского зоологического сада волновались, слыша едва различимый гул артиллерии. Это не был привычный свист и гром ночных бомб, бабахаящий рев тяжелых зенитных орудий.

Чуткие уши медведей, слонов, гориллы, павиана сразу же стали улавливать то новое, от ночных бомбардировок отличное, что несли в себе эти едва уловимые звуки, когда битва была еще далеко от окружных железнодорожных путей Большого Берлина и круговых автострад.

Тревога среди зверей происходила оттого, что чувствовался приход нового, измененного. Часто стал слышен скрежет проезжавших мимо стены зоологического сада танков. Этот скрежет не походил на знакомое шуршание легковых машин и звон трамваев, на шум проходившей над домами городской железной дороги. Новые звучащие существа почти всегда передвигались табуном; от них шел жирный запах горелого масла, отличный от привычного запаха бензиновых существ.

Звуки каждый день разнообразились. Гудение города, которое воспринималось жителями клеток как естественный и привычный шум жесткой степной травы, или шум дождя по кожано-плотной листве в экваториальном лесу, или шум льдин, шуршащих у берегов северного моря, – этот городской гул со своими очевидными, связанными с приходом дня или ночи усилениями и ослаблениями переменился, оторвался от движения солнца и луны. Ночью, в обычную пору городского затишья, воздух теперь был полон земного шума: человеческих голосов, топота, гуда моторов.

Небесный свист и гром, монотонное жужжание, доносившееся с неба, – все это прочно связывалось раньше с ночным временем, ночной прохладой, звездами, луной. И вот теперь небесные шумы, почти не ослабевая, продолжали существовать при солнце, и на рассвете, и на закате. В мутном воздухе стоял запах, томительно тревожный для всех существ, в чьей крови жил вечный ужас перед степными и лесными пожарами, перед гарной мутью, поднимающейся над августовской тундрой. На землю недоверчиво опускался черный, хрусткий пепел: то жгли министерские архивы, – и животные в вольерах, пугаясь, посапывая и чихая, нюхали его.

Изменение было и в том, что люди, с утра до вечера переходившие от клетки к клетке, вдруг исчезли. Остались железо и бетон – величественная, непознаваемая судьба.

Три человека в течение дня прошли перед клетками – это были старуха, мальчик, солдат. Животные, в которых, как в детях, живет простота и наблюдательность, запомнили и отличили их. Глаза старухи были полны страдания; обращенные к обитателям клеток, они просили сочувствия. Из глаз солдата в упор смотрел страх смерти; звери уже не участвовали в жизненной борьбе, но сохранили существование, и солдат завидовал им. В бледно-голубых глазах мальчика, обращенных к медведям, к горилле, была восхищенная любовь, мечта уйти из городского дома в лес.

Горе, ужас, любовь, с которыми пришли к животным старуха, солдат и ребенок, передавались от глаз к глазам и не прошли незамеченными.

Были замечены еще два посетителя: раненый в госпитальном халате с апельсиновыми отворотами, с головой, обвязанной пухлым комом ваты и бинтов, с большой гипсовой рукой, лежащей в марлевой люльке, и худенькая девушка в крахмальном чепце с красным крестом. Они сидели на скамье и ни разу не оглянулись; жители зоологического сада не видели их глаз и лиц. Они сидели, склонившись друг к другу, изгрызанный войной молодой крестьянин и девушка.

Изменились и сторожа, те существа, что внешнею походили на людей, но обладали большим могуществом. Они долгие годы делились с обитателями клеток мясом, добытым на неизменно удачной еженощной охоте.

В эти дни охота сторожей оскудела; иногда они вовсе не приносили добычи. Может быть, дичь разбежалась, напуганная шумом и пожарами. Может быть, сторожа, испытывая голод, собирались переменить место охоты, сопровождать травоядных на их новые пастбища. Чувствуя голод, тигры, львы пытались охотиться на воробьев, шнырявших по клеткам, на мышей. Но воробьи и мыши их не боялись, давно уже зная, что эти сонные, безобидные существа лишь внешнею напоминают городских кошек.

Была еще одна причина для волнения: в прелести утреннего воздуха, в молодой траве, взрывающей асфальт, в потемневших, налившись жизнью ветвях, в древесной листве, чья юность и нежность даже в плотоядных существах порождали желание стать травоядными.

В полные очарования апрельские дни мир и для уставших дышать стариков становится новым и непривычным. Все, что скользит мимо, не оставляя следов, становится выпукло, внятно и осязаемо. В эту пору и утрамбованная земля на площади, и вода в канавах, и темный, вечерний асфальт, и капля дождя на мутном стекле автобуса – все приходит как праздничное, непривычное.

И так случилось, что все это: и далекий подземный грохот, и запахи весны, и запахи пожаров – создало у многих жителей зоопарка чувство радостного и уверенного ожидания перемены, новой судьбы.

Одни из них были пойманы детенышами и ничего не помнили о воле, другие родились в клетке. У некоторых отцы, матери, деды, бабки родились здесь, и, казалось, даже из крови испарилось у них ощущение воли. Но существа, забывшие свободу, не знавшие ее, существа, чьи деды уже не знали ее, от одного лишь смутного предчувствия ее метались по клеткам, охваченные томлением.

2

Смотритель обезьянника Рамм был очень привязан к горилле Фрицци. Посетители, особенно женщины, вскрикивали от страха, глядя на коричневое, голое, бесшерстное лицо, желтые клыки огромной человекообразной обезьяны. Могучие длинные руки, черные базальтовые плечи гориллы казались еще толще, еще массивней от плотной шерсти.

Откованная по особому заказу на крупновском заводе решетка отделяла обездоленную обезьяну от посетителей. Когда горилла брался за железные прутья руками, люди тревожились. Но Рамм знал, что мало на свете существ добрее, чем Фрицци: его пальцы, способные скрутить в петлю толстую железину, с такой деликатной приязнью умели пожимать руку старика, благодарить его не только за лакомства, но и за улыбку приветия! Фрицци мило вытягивал свои синеватые каучуковые губы, требуя, чтобы Рамм позволил поцеловать себя.

И когда губы гориллы касались морщинистой шеи смотрителя, Рамм смущенно улыбался: мало кому придет охота целовать брошенного судьбой старика. Рамм знал, что люди равнодушно, а иногда брезгливо смотрели на его старое лицо, на бедную, заплатанную одежду, никто с ним не заговаривал в магазине, где он стоял в очереди за продуктами, никто не спрашивал его, какая сегодня сводка с Восточного фронта, никому не было охоты уступить ему место в автобусе. Поэтому старику делалось немного неловко, когда он видел, с каким восхищением и нежностью смотрит на него горилла.

Три сына смотрителя обезьянника погибли на фронте, четвертого сына Рамма, секретаря союза галантерейных приказчиков, забрала полиция, свирепо охранявшая жизнь немецкого народа. Спустя три года из Дахау прибыл черный пластмассовый ящичек с несколькими горстями бледно-серого пепла и извещение о том, что заключенный Теодор Рамм в возрасте двадцати девяти лет умер от воспаления легких. Серые хлопья, темные чешуйки, несколько запекшихся кусочков шлака – вот и все, что осталось от смешливого, милого кареглазого участника профсоюзного хора, который любил яркие галстуки и светлые пиджаки. Полиция была беспощадна не только к непокорным, пытавшимся бороться с Гитлером. Государственная тайная полиция считала, что нет в мире невиновных.

Черные пластмассовые урны с вохким пеплом приходили из Дахау, Мальтхаузена во многие квартиры: так наконец возвращались домой те, кого ночью увела полиция, охранявшая бесправие народа и государственную безопасность. Рамм понимал, чувствовал, что под лакированной, немой поверхностью гитлеровского государства нет счастья и довольства. Немало людей хотели свободы. Но как он мог найти их? Ведь люди боялись полиции, боялись доносов, молчали.

Когда-то Рамм сочувствовал социал-демократам, когда-то он слышал Бебеля, и в его старческом, склеротическом мозгу, державшем решать пустые вопросы, все смешалось. Он, собственно, не предполагал обдумывать немецкую жизнь по своей воле, он был вынужден, его заставил фашизм. Каждый, кто избег всеобщей попугаизации, делал это по-своему. Старики сторожа, старики мусорщики, кассиры и счетоводы безграмотно и ненаучно определяли то, что почти столь же дилетантски пытались определить в свое время некоторые частные лица, граждане великих государств: египтяне, евреи, греки и римляне.

Звери, казалось Рамму, самые угнетенные существа в мире. И он был на стороне угнетенных: он ведь когда-то сочувствовал социал-демократии. Заключенным в зоопарке никто не писал, они ни с кем не делились горем. Их личная жизнь, их счастье никого не интересовали. И конечно, за все время существования зоосада никто из них не вернулся на родину, их прах не отсылали в леса и степи. Их бесправие было беспредельно.

Ночами Рамм в своей одинокой комнате в служебном доме зоосада слушал гудение американских и английских самолетов, грохот орудий и бомб, а в тихие ночи прислушивался к воркотне легковых автомобилей.

Становилось жутко, когда возле служебного дома зоопарка вдруг стихал, гложнул мягкий, мурлыкающий рокот автомобильного мотора. Удивительная мощь была в новой, не знавшей колебаний породе людей, в доступных всем идеях национал-социализма, в построенном Гитлером бездумном государстве.

Когда перед каким-либо берлинским домом останавливался ночной автомобиль, все сердца замирали, не только еврейские сердца, если они по недосмотру продолжали еще биться. Быть может, бывали минуты, когда ночной ужас перед всеведающей, вездесущей и всемогущей государственной тайной полицией возникал в груди самого фюрера.

И вот старик Рамм, потерявший двух сыновей на Восточном фронте, одного сына – в африканском корпусе Роммеля, получивший урну с пеплом четвертого сына, погибшего в концентрационном лагере, похоронивший старуху жену, умершую от горя, своим склеротическим мозгом, никогда не отличавшимся развитостью и особой силой, стал думать в государстве, где думать не полагалось.

Ведь мысль – это свобода! Государство Гитлера стояло совсем на другом основании. Рамм сообразил, что национал-социалистское государство было построено на удивительной основе. Все, что гитлеровская партия провозглашала как народный идеал или как уже достигнутое в борьбе, она начисто отнимала у населения. Гитлер объявил, что борется за немецкую свободу, – и население попало в рабство. Величие национал-социалистской Германии было связано с мучительной зависимостью и бесправием немцев внутри достигшей суверенности империи. Если развивалось и богатело германское сельское хозяйство, – нищали крестьяне. Если росла промышленность, – снижались заработки рабочих. Шла борьба за немецкое национальное достоинство – и отвратительным унижениям подвергались люди, в том числе и немцы. Гитлер украшал города, устраивал цветники и парки – и жизнь в этих городах становилась все тусклее и беспросветнее. Если провозглашалась тотальная война за мир, – народ готовили к тотальной войне.

Оказалось, что государство, а не люди живое и свободное существо; люди в живом

государстве подобны камням, которые можно и нужно взрывать, дробить, тесать, полировать. Ненужные породы людей, подобно ненужным, пустым породам камней и строительному мусору, следует вывозить на свалку, заполнять ими рвы и ямы.

Шел дьявольский отбор: ненужными оказались смелые, свободолюбивые, с ясной мыслью и добрыми сердцами – их-то и везли на свалку; гранит был побежден известняком и песчаником.

Государство Гитлера легко, охотно тучнело, когда худели дети; оно любило лакомиться мозгом и душой. Чем меньше души, свободы, разума оставалось человеку, тем полнокровней, громогласней, веселей становилось государство. Но даже не это враждебное человеку государство особо ужасало Рамма. Самым ужасным было то, что среди людей, лишенных свободы, превращенных государством в камни, многие служили ему, жизнь отдавали за него, преклонялись перед гением фюрера. И в то же время в душе Рамма жила бессознательная вера, что человек, обращенный в рабство, становится рабом по судьбе, а не по природе своей. Он ощущал: стремление к свободе можно подавить, но его нельзя уничтожить. В лагерях и тюрьмах было немало людей, сохранивших верность свободе.

Ночью из зоологического сада доносились органное рычание львов, бронхитные голоса тигров, лай шакалов. Рамм по голосу отличал, что старый лев Феникс растревожен новолунием, что тигрица Лиззи, недавно родившая двух тигрят, пытается раздвинуть решетку, вывести на свободу детей – пусть поиграют при молоденькой, зеленой луне. Эти рычания, хрипы, урчания, кашель, лай были так милы, безобидны по сравнению с теми звуками, которые порождает ночной Берлин!

Однажды к Рамму пришел сын его умершего друга Рудольф. Рудольф служил в охранных отрядах, но его демобилизовали вчистую: у эсэсовца оказался кавернозный туберкулез. Он просидел у Рамма несколько часов, и оттого ли, что много выпил, оттого ли, что чувствовал близкую смерть, а старик, сидевший рядом с ним, соединил в себе все хорошее, что хранила память эсэсовца об отце, матери, детстве, он рассказал Рамму то, чего не рассказывают на исповеди. Трясаясь от кашля, обнажая черные и золотые зубы, харкая в бутылочку оранжевого стекла, ругаясь, утирая пот, всхлипывая, он сиплым шепотом рассказывал о газовых камерах и кремационных печах Освенцима, о том, как травили газом огромные толпы детей и женщин, о том, как сжигали их тела и удобряли их пеплом огороды.

Рамм смотрел на худого парня в мундире без погон, и казалось, что от этого больного эсэсовца, которого он когда-то мальчиком держал на руках и катал на спине, пахнет трупами и горелым мясом. И самое скверное заключалось в том, что Рудольф не был чудовищем, он, в общем, был человеком. А в детстве был он славным, добрым мальчиком. Но, видимо, не только жизнь делает людей ужасными, и люди делают ужасной жизнь.

Ночью старик встал с постели, оделся и под вой сигналов воздушной тревоги пошел в блок хищников. Там просидел он почти до рассвета. Он вглядывался в больные, слезящиеся глаза старика льва Феникса; в расширенные, как у всех кормящих матерей, глаза тигрицы Лиззи; в красно-карие, кажущиеся безумными глаза старой, начавшей сильно седеть гиены Бернара. Ничего плохого он не увидел в этих глазах. А на рассвете, возвращаясь домой, он зашел в обезьянник. Фрицци спал, лежа на боку, подложив под голову кулак, и не слышал, как подошел к нему Рамм.

Губы гориллы были приоткрыты, обнажились огромные клыки, и морда его могла показаться страшной.

Видимо, знакомый запах дошел до спящего животного, и оно, не просыпаясь, в сновидении, а может быть, еще как-то, воспроизвело в подвалах своего подсознания образ любимого существа. Губы во сне тихонько зачмокали, и лицо приняло то чудное выражение, которое

бывает лишь у маленьких детей, когда они просыпаются, но еще не проснулись и все же чувствуют тепло, запах, улыбку склонившейся над ними матери.

Сколько в животных было простоты! Как они любили своих сторожей! А ведь сторожа обкрадывали их. Но Феникс радовался, слыша скрип ботинок сторожихи, хотя ботинки эти были куплены за счет Феникса. Да не только ботинки! Брючки для внуков, фартучки для внучек, мотки шерстяных ниток для вязания – все покупалось за счет обездоленных. Сторожа оправдывали такие дела тем, что жалованья едва хватает на еду, а уже одеться на эти деньги никак нельзя. Что ж тут делать? И Рамм был грешен перед животными. И он хаживал на рыночек у северной стены зоопарка, куда приходили любители животных, покупали у сторожей корм для своих белок, кроликов, птиц, тропических рыбок.

Рамм любил выпить...

Простодушный Фрицци, конечно, не знал о грехах старика, радовался, когда сторож делился с ним сахаром, апельсинами, морковкой, рисовым супом, молоком, белым хлебом. Все это вызывало у Рамма беспокойство совести, и звери ему казались особенно милыми. Конечно, у них не было цейсовской оптики и достижений в области производства синтетического бензина. Но ведь не звери придумали национал-социализм.

В своей потребности самостоятельно, без помощи фюрера понять жизнь – невольной, непреодолимой потребности человека, потерявшего четырех сыновей и похоронившего старуху жену, – он начал создавать какой-то нелепый дарвинизм наизнанку. При Гитлере развитие, казалось ему, шло в обратном порядке: живые существа не подымались, а опускались по лестнице эволюции вниз, в бездну. Процветали рабы, подлецы, посредственности, люди без совести; гибли свободолюбивые, неподатливые, умные и добрые! Эволюция наизнанку создавала при фашизме новую, низшую, жалкую породу.

3

Среди сторожей зоологического сада имелось немало чудаковатых людей. Но даже среди чудаковатых людей Рамм прослыл чудаком; некоторые его перевели в высший ранг: считали сумасшедшим.

В субботу утром заместитель директора командировал Рамма на скотобойню, поручил оформить накладные и договориться, чтобы городские скотобойни отпускали для животных обрезки и кости, а не только кондиционное мясо. Зоопарк готов теперь принимать любое мясо, даже падаль. Ведь в связи с приближением фронта снабжение мясом шло очень плохо. Население получало несвежую солонину, где думать о снабжении животных!

К счастью, обезьяны и травоядные были сравнительно хорошо обеспечены: имелись запасы на складе. Но мяса нельзя напасти надолго, даже при наличии холодильника.

Теплым апрельским утром Рамм отправился на бойню в кабине грузовика. Шла утренняя уборка столицы. Разнообразные машины поливали, подметали, скребли улицы, и сверкающая, веселая, гибкая вода бежала по асфальту; шуршали круглые, жесткие щетки, вздувая радугу из водяных брызг. Огромный, охваченный военной тоской, полуразрушенный город казался веселым и беспечным в это весеннее утро.

Рамм подъезжал к конторе скотобойни в то время, когда выгруженный из товарных вагонов скот гнали по асфальтовым дорожкам к широко раскрытым воротам бойни. Обычно это происходило в полумраке, на рассвете. Но в эту ночь, объяснил Рамму водитель грузовика

Бунге, из-за бомбежки западных подъездных путей выгрузка скота задержалась.

Медленно движущиеся животные преградили путь грузовику, и Рамм смотрел, прильнув к мутному, пыльному ветровому стеклу, на стада рогатого скота, овец, свиней, идущих по своей последней дороге. Коровы и быки шли, опустив мотающиеся тяжелые, лобастые головы, облизывая пересохшие от волнения губы, с виду равнодушные и покорные, но полные тревоги. Их прекрасные, тронутые туманом глаза смотрели на весело блестящую в лужах воду, которую наплескал короткий дождь, их ноздри улавливали запах цветущей сирени, утреннюю свежесть воздуха, особенно восхитительную после тьмы и духоты вагона.

Каким чужим было все вокруг, и этот асфальт под ногами, и серые бетонные заборы, и блестящие окна многоэтажного мясокомбината, где по конвейеру плавно двигались теплые, еще содрогающиеся тела умерщвленных животных! Едва уловимый запах крови витал вокруг этого построенного по всем санитарно-гигиеническим требованиям здания... Даже легкомысленные годовалые бычки и телки ощущали тревогу.

Люди в синих и белых халатах, осматривая прибывшее стадо, не били животных палками, не кричали, не пинали их подкованными сапогами. Люди в халатах определяли сортность, среднюю упитанность, процент жира движущегося, еще живого мяса. Двигалось мясо, способное мычать, кричать, смотреть, биться в конвульсиях, хрипеть, но животные, входившие в ворота бойни, не были для людей в белых и синих халатах явлением жизни – шло белковое органическое вещество, жиры, эпидерма, рога, кости.

В грубости погонщика, хлестнувшего по глазам задумавшуюся и отставшую от стада, страдающую одышкой старуху корову, заключалось признание за четвероногими скотами права считаться живыми. Злоба погонщиков вызывалась именно тем, что обреченные на убой скоты все еще, до последних часов и минут, были живыми: упрямылись, путались темных предметов, останавливались помочиться или вдруг испытывали желание торопливо коснуться сухим языком мокрого асфальта.

Бычок мотнул головой, сделал несколько шаловливых прыжков, радуясь утру, и вдруг остановился, охваченный предчувствием, словно вкопанный в землю, опустил лобастую взъерошенную головенку с детскими рожками, которые он наставил против надвигающейся на него судьбы; он негромко замычал, жалуюсь, прося успокоения и любви... И старая рыжая корова, с трудом передвигавшая ноги, оглядела его слезящимися глазами, остановилась рядом, положила морду на его теплую крутую шею и лизнула его детскую голову. Эта остановка двух скотов вызвала заминку в движении стада, и погонщик со спокойным бешенством ударил палкой бычка по бархатистому розовому носу, а старуху корову – по сухожилиям грязных задних ног.

По смежной асфальтовой дороге двигались овцы, темно-серые от дорожной пыли, с худыми, измученными мордами. Их движения были дробны, торопливы – движения растерявшихся пожилых женщин, вдруг из полусумрака своих мирных домиков попавших в гремящую гущу житейской битвы. Их жалкие усилия в последние минуты жизни заключались в том, чтобы поплотней сбиться в кучу. Их беспомощность в минуту гибели представлялась необъятной: они не могли обидеть зайца, мышшь, цыпленка. Их кроткие, полные библейской печали и евангельской чистоты глаза без упрека и даже без страха глядели на людей; их милые копытца отбивали последнюю дробь. Сбиваясь в плотную живую кучу грязной шерсти, они ощущали, что им нет спасения, нет для них милосердия и немыслима надежда. Они находили в горький час утешение в том, чтобы через огрубевшую, пыльную шерсть почувствовать живое тепло родственного овечьего тела, единственно не враждебного овце в величественном и прекрасном мироздании; они погружали головы в полумрак густой овечьей шерсти, и глаза их переставали видеть на миг весну, солнце, синеву неба, и их сердца получали секундное облегчение в этой тьме, родном запахе и тепле, в горестной артельности обреченных.

А по третьей дороге шли свиньи, одни грязные, другие розовые, отмытые. Их разумные маленькие глаза были наполнены страхом. Их нервы не выдерживали перенапряжения, и крик свиней почти все время стоял в воздухе.

А по дороге, где недавно проходило в ворота скотобойни стадо коров и быков, сейчас медленно двигались, подгоняемые двумя плечистыми женщинами в желтых кожаных пальто, старые, изможденные трудом лошади. Они-то и служили пищей для обитателей зоологического сада. Они двигались медленно, припадая на искалеченные ноги, и при каждом шаге их головы мотались и всплескивались тощие, стариковские гривы и хвосты. В глазах их было много печали: казалось, взглянув в их трудовые стариковские глаза, уж никогда нельзя оставаться спокойным.

Водитель Бунге, молодой парень, отпущенный из армии после трех ранений, подтолкнул Рамма пальцем в бок и сказал:

– А, папаша, поглядываете на свинок, и, наверное, слюнки текут? Какие сосисочки, какие гороховые супчики с грудинкой? Слышите, как они кричат, толкаются? Спешат превратиться в ветчинку. Но ветчинка будет не на нашем столе, поэтому не разевайте на нее рот.

Бунге говорил весело, возбужденно, и чувствовалось, что он немного играет, что чуть-чуть, на маленькую капельку, ему неприятен вид этих животных.

Сторож из обезьянника молчал, и Бунге задумчиво проговорил:

– С детства не люблю баранины. Дай мне хоть отборного молодого барашка – никакого интереса. Я был в кавказской группе армий, там только баранов и ели. Ребята даже смеялись надо мной: отощал.

Он поглядел на молчавшего Рамма, не заснул ли он. Нет, смотритель обезьянника не спал, посматривал себе в окошечко да помалкивал. Мало ли что может вспомниться старику!

4

Субботный вечер Рамм обычно проводил в пивной.

О каждом постоянном посетителе пивной у владельца, кельнерш складывается короткая, неглубокая характеристика, что-нибудь вроде: «Тот, кто пьет только мартовское пиво», «Тот, кто каждый день меняет галстук», «Тот, кто не дает на чай», «Тот, кто читает „Das Reich“».

Посетители имеют прозвища, не очень уж меткие, обычно связанные с противоположным истинному определению: если посетитель толст, то его зовут «Худышка», если он расчетлив и скуп, его зовут «Кутила». Рамм получил прозвище «Болтун».

Но в этот субботний вечер смотритель обезьянника, шевелением поднятого пальца заказывающий кружку пива, стуком никеля извещавший о своем желании расплатиться, неожиданно оправдал свою кличку.

Все заметила смышленная, обладавшая в царстве пивных столиков почти Саваофовым всеведением старшая кельнерша, толстая фрау Анни. Сторож из обезьянника заказал пива, и Анни по его неестественному и размашистому жесту поняла, что он не в себе.

Скосив свой узкий, зеленовато-желтый пивной глаз, Анни увидела, что старик неумело и торопливо выливает в пиво водку из бутылки. Этого не полагалось делать. Но Анни, конечно,

ничего не сказала старику. Однако потом уж, проходя мимо его столика, она выразительно вздохнула: видимо, старикан из обезьянника вылил в кружку не полстакана водки, как принято, и не стакан даже – пиво в его кружке стало совсем светлым, почти как вода.

Анни не изучала калориметрического анализа, но практические основы калориметрии она все же понимала...

Пришли грозные дни. Обыденность жизни была подобна обманной тишине воды, стремительно скользящей к водопаду. Анни не удивлялась, что привычное нарушалось и чопорный посетитель, кичившийся своими галстуками, вдруг приходил в пивную с расстегнутым грязным воротом, а многолетний потребитель мартовского пива неожиданно требовал бутылку шнапса. Случались и более странные дела.

В общем, старик напился. Он уже допивал кружку «динамита», когда к его столику подсел забредший субъект в спортивном костюме.

Анни совершала мимо маленького столика свой очередной рейс и слышала слова этого субъекта – не то насчет удачной охоты, не то насчет неудачной охоты...

Спустя день Анни встретила с Лахтом, сотрудником районного управления безопасности, уполномоченным по сбору агентурных сведений в пивных, кафе и ресторанах. Это был немолодой человек, несколько тучный, румяный, но болезненный, с высоким лбом мыслителя, с прекрасными внимательными и задумчивыми серыми глазами. Он принимал своих клиентов в одной из комнаток районного полицейского управления, в том подъезде, куда разрешалось входить без пропусков.

Анни поднялась по стертым каменным ступеням. В полутемном коридоре она столкнулась с выходящим из кабинета Лахта старшим кельнером ресторана «Астория». Они подмигнули друг другу. Знакомство их длилось много лет, в молодости они начинали вместе в загородном кафе. Анни, на ходу попудрив нос и подмазав и без того красные губы, вошла в кабинет шефа, ощущая влюбленность и чувство легкой тревоги. Оно обычно сопровождало ее при посещении Лахта. Это чувство исчезало, как только начинался разговор; очень уж обаятельным и милым собеседником был Лахт. Но когда Анни выходила из его кабинета, к ней возвращалось тянущее чувство тревоги и длилось минуты две-три. Иногда это чувство появлялось ночью, если Анни не могла уснуть от усталости, от гудения в голове, вызванного гудением в пивном зале.

В этот свой приход она рассказала о происшествии со стариком сторожем из зоологического сада. С уполномоченным Лахтом было легко говорить. Он не пил, а мужчины раздражали Анни тем, что, едва увидев ее, они просили принести пива.

Анни чувствовала в присутствии Лахта удивительный подъем, словно сладко сплетничала с закадычной подругой, знающей всю подноготную в жизни Анни.

– Значит, они поругались, – сказал протяжно Лахт с выражением того сдержанного, но глубокого любопытства, которое зажигает в рассказчице энтузиазм.

– Ну еще бы, получился сильный номер!

Анни умела показывать в лицах происшествия в пивной, подражать голосам, воспроизводить смешные жесты. Она гордо протянула руку, откинув голову, нацелив глаза в потолок.

– Проповедь Мартина Лютера? – спросил Лахт.

Анни, входя в роль, не ответила, презрительно сжала губы, немного отвисшие щеки ее припухли, зашевелились.

– Как вы смеете так говорить о хищниках! Вы хищники, а не они! – вдруг хрипло заголосила Анни, и Лахт мгновенно затрясся от смеха.

Талант этой женщины состоял в том, что слушатель ясно видел прежде неведомого ему человека, верил подлинности каждого жеста, слова, каждой интонации. Казалось загадкой, как эта женщина умела изобразить и сутулость худой старческой спины, и сведенные склерозом дрожащие пальцы, и прыгающую от волнения челюсть! Вот-вот – и на ее щеках зрители увидят седую щетину. Но не в щетине и не в спине заключалось главное дело. Суть состояла в том, что человек заглядывал в душу другого человека.

– Разве сытый тигр, лев совершают убийства? Животные должны питаться, кто же их обвинит в этом? А вот тебе приятно поехать в воскресенье на охоту. Тебе плевать на их раздробленные косточки, на их окровавленные лапы, головы. Заяц плачет, кричит, как дитя, а ты стоишь над ним, рыгаешь от сытости, а потом бьешь его головой о камень! – закричала она дрожащим старческим голосом.

Лахт слушал, полузакрыв глаза, и перед ним стоял пьяный, жалкий старик с трясущимися руками, с дергающимся лицом, с безумными глазами. Лахт даже увидел пьяные лица слушателей, услышал смех и злое шиканье: «Тише, тише, не мешайте ему говорить!» Нешуточный талант у этой кельнерши!

– Что? Охота – честное дело? Подделывать запахи любви, голоса любви, травить стрихнином голодных – это все честное дело? Что? Простите, пожалуйста, я плохо слышу, если можно, повторите громче... – При этом Анни прикладывает руку к уху и, идиотски полуоткрыв рот, вслушивается. А через миг она уже вновь, подобно древнему пророку, обличает зло: – Ах, вот как! Вы считаете, что животные также охотятся из удовольствия? Это вы, вы превратили охотничьих собак в изменников, убийц! И все это не для спасения жизни, а для игры, пожрать повкусней. Что? А умерщвление состарившихся собак и кошек! Умиравших, отдавших вам свою любовь, честь, берут в научные институты и там их, прежде чем убить, подвергают пыткам. Вы видели глаза этих умирающих, когда их выволакивают из квартир и они тянутся к хозяину: «Заступись, помоги!»? – Анни в изнеможении произносит: – Не будет вам счастья!

Она откашливается, сморкается, достает из сумочки зеркальце и пудреницу – представление окончено. Но, видимо, велика сила искусства, и Лахт не сразу заговаривает профессиональным языком. Он восхищен, качает головой, разводит руками и не только смеется, но и вздыхает. Ведь что-то щемящее, тревожное все же есть в комической, пьяной проповеди полусумасшедшего старика.

– Прелестная миниатюра, законченная и отточенная. Вы бы могли выступить в варьете.

Лахт – образованный, тонкий человек. Он связан с ресторанами и клубами, где бывает и философствует подвыпившая интеллигенция. Ведь пивная, которую представляет Анни, только потому занимает его, что она находится в районе Тиргартена, недалеко от рейхсканцелярии. Он открыл ящик стола и предложил Анни шоколаду. Как все непьющие, он любил сладкое.

Но дело есть дело. Оказывается, что проповедь сумасшедшего вызвала политические намеки. Посетитель, видимо сильно пьяный, крикнул:

– В такое время надо жалеть не животных, запертых в клетки! Я тоже хочу свободы! И не я один хочу ее. Может быть, и ты ее хочешь. Но попробуй скажи об этом фюреру! Скотобойни никого сейчас не ужасают, для людей есть штуки получше!

Как обычно в таких случаях, когда пьяный вдруг ляпал антигосударственную гнусь, никто его, конечно, не поддерживал, но и никто не опровергал: это тоже могло кончиться неприятностями – все сделали вид, что ничего не слышали, удивленно поморгали и с

невинными лицами вернулись к своим столикам.

Они долго уточняли приметы этого пьяного. Анни ничего не знала о нем, люди, сидевшие с ним за столом, не были с ним знакомы.

Лахт встал, охваченный внезапным вдохновением:

– Ах, фрау Анни! У национал-социализма есть главный враг, он не слабее, чем танки и пушки, движущиеся с востока и запада, – низменное, неразумное стремление людей к свободе!

Свобода – это первая потаскуха дьявола! Как прекрасна наша задача: мощью нашего кулака и наших идей освободить от яда свободы всесильного и мудрого человека! В отказе от культа свободы – победа нового человека над зверем!

Лахт сел, отдуваясь, посмеиваясь над своей горячностью.

– В общем, ясно: этот старик – сумасшедший, – сказал Лахт, – но, по существу говоря, все, что возгласил этот озверевший старец, является плохо замаскированной проповедью антигосударственных идей. От долгого общения со зверями этот зоологический старик сам стал животным. Старик этот – враг немецкого народа, опаснейший, заклятый враг, хотя фюрер лично опекает имперское общество защиты животных. Анни, прошу вас, не обижайте меня, кушайте и возьмите эту шоколадку для внучки.

Он был внимателен и деловит, как будто война шла не на Одере, как будто не было важнее дела в Берлине, чем дело сумасшедшего сторожа. «Новый порядок» породил новых людей, высшую породу немцев.

Как всегда, Анни ушла, унося впечатление тепла. Ведь она была влюблена в Лахта – тайно, конечно. И, как всегда, на улице ее охватило минутное неприятное томление: не исчезнет ли этот сумасшедший из зоологического сада, как исчезали из жизни некоторые люди, о которых она рассказывала своему милому и умному собеседнику? Но к этому неясному томлению сегодня добавилось новое непроходящее беспокойство: на всех лицах тревога, в глазах угрюмое напряжение: по улицам мчатся машины с чемоданами, наспех увязанными узлами.

Кто половчей, бегут из Берлина на запад.

Если все записи милого Лахта, которых так много скопилось за восемь лет их знакомства, попадут в руки тех, кто идет с востока на запад, – хорошего не будет.

И Анни, несмотря на приступ тоски, математически точно пародируя жест, улыбку, интонации шефа, смеясь над самой собой, произнесла:

– Да, уважаемая Анни, это драгоценные миниатюры, вам причитается за них. Сдачи не нужно!

5

Последние дни Фрицци дулся на старого зрителя, Сердиться на Рамма Фрицци не мог: слишком велика была его любовь к старику. Он ревновал. У Рамма появилась новая симпатия. Это была не многодетная, погрязшая в мелких тревогах мартышка Лерхен, не двоедушная, расчетливая обезьяна капуцин, подлизывающаяся к старику, это не был веселый и общительный, но равнодушный ко всему миру, себялюбивый, курчавый, круглолицый, молодой шимпанзе Улисс. Новой симпатией Рамма оказался человек.

Внешностью он напоминал Рамма. Издали их можно было спутать. Вблизи сходство исчезало. Это был плохо одетый мужчина с впалыми, бледными щеками, с молящими, грустными глазами, с тихим, слегка заикающимся голосом, с округлыми, робкими движениями.

Утром они вместе пришли в обезьянник, и этот человек наблюдал, как Рамм, войдя в клетку к Фрицци, готовил завтрак, расставлял голубые чашки и розовые тарелки.

Рамм не стал менее внимательным к Фрицци. И желудевый кофе с молоком, и салат из капусты и брюквы, и компот из сухих болгарских яблок с вырезанной сердцевинкой, и традиционная рюмка кислого мозельского вина на десерт – все было подано им так же заботливо, как всегда. С обычным выражением внимания стоял Рамм подле Фрицци, и горилла, вытирая рот бумажной салфеточкой и протягивая коричневые пальцы за новой тарелкой, быстро, снизу вверх, глянул на старика – ценит ли Рамм его воспитанность: он не тянется к десерту, а добросовестно доедает разварной картофель с маслом. Обычно глаза их в такую минуту встречались, и Фрицци до обеда сохранял хорошее настроение, вспоминая ласковый, гордящийся взгляд своего друга. Но сейчас глаза их не сошлись: старика окликнул спутник, стоявший у клетки.

Фрицци помог Рамму сложить в горку грязные тарелки, сам установил их на поднос и проводил смотрителя до двери. Там он, как обычно, поцеловал старика в плечо и щеку. Спутник Рамма рассмеялся, и этот добрый, ласковый смех огорчил Фрицци.

После завтрака горилла прошел из внутреннего помещения в летнюю, выходящую на воздух клетку.

К полудню стало необычайно жарко для этой весенней поры; после обильного ночного дождя воздух наполнился душной влагой. Парк казался в это утро особенно пустым. Фрицци подбросил деревянный мяч, с грохотом покатил его в угол и, подойдя к решетке, ухватившись за нее рукой, рассеянно огляделся.

Как и прежде, как всегда, с безумной тоской бегал по клетке живший на соседней улице худой, сутулый волк. Он пробегал от одного угла клетки до другого, становился на задние лапы, закидывая голову и перебирая в воздухе передними лапами, делал поворот и снова бежал вдоль решетки, подгоняемый неутолимой жаждой свободы. Волк увидел Фрицци, мотнул головой и продолжал бег. Ему нельзя было останавливаться. Ведь должна же кончиться эта решетка, это нищее пространство рабства, и он побежит по свободной, счастливой и нежной, прохладной лесной земле!

Так же как обычно, два гималайских медведя с фанатическим упорством занимались разрушением клетки. Один, навалившись белой грудью на решетку, тербил толстые прутья, просовывал меж ними свой длинный черный нос; второй узким языком облизывал решетку. Казалось, прут разрыхлится от слюны и поддастся, согнется, и тогда наступит сказочный мир горных лесов и прозрачные кипучие реки поглотят прямоугольное нищее пространство клетки.

Леопард, лежа на боку, пытался своей мягкой лапой расширить расстояние между оцинкованным полом и ободом железной решетки. Когда-то старик – рурский шахтер, глядя на его работу, сказал рядом стоявшей старухе:

– Помню, как меня засыпало в шахте «Кронпринц». Я так же лежал, как этот бедняга, в завале и отдирал пальцами куски породы. Мы ведь тоже хотим свободно дышать.

– Помолчи-ка лучше, – сказала старуха.

Но Фрицци, конечно, не мог знать ни о том, что сказал старый шахтер, ни о том, что ответила

ему жена.

Тигрица Лиззи, обычно занятая детьми, в это утро была охвачена тоской. Тяжело, но бесшумно и мягко ступая, она бродила по клетке, маялась, позевывала, поводила хвостом, под ее полосатой шкурой то взбухали, каменея, то вдруг исчезали, растворялись сгустки мышц... Она раздражалась на мяукающих детей, упрашивавших мать прилечь, покормить их. Видимо, в эти минуты ей казались постылыми рожденные в неволе дети.

Бернар, гиена, лежал, обессилев: откинутый хвост, красноватые, в слезах, полуприкрытые глаза Бернара выражали изнеможение и апатию.

Кондоры и орлы издали казались холодными глыбами гранита: так неподвижны были они! Вся сила их духа, выросшего в той холодной высоте, где разреженный воздух уж называется небесным простором, была собрана в глазах. В неподвижной светлой пронзительности этих глаз выражалась жестокая мощь, и казалось, эти глаза могут, как алмаз, пробурить любую каменную толщу, резать стекло... Пятьдесят два года сидит в клетке широкоплечий сутулый орел, пятьдесят два года следят его неподвижные, астрономически зоркие глаза за движением облаков, а в последнее время за ходом барражирующих истребителей. Страсть, большую, чем тоска и мука, выражают глаза вечного каторжника. В свободе – богатство жизни, она отличается от нищеты рабского существования, как простор неба отличается от решетчатого куба оцинкованной клетки.

Одряхлевший лев лежит, положив тяжелую курчавую голову на склеротические лапы; его большой, похожий на микропористый старый каблук нос высох и не воспринимает, как выключенный радиоприемник, постылых запахов бензина, чадных выхлопных газов, зловония из подвалов продовольственных и винных магазинов, запаха от неполного сгорания газа в бесчисленных ваннах комнатах и кухнях, скучного сернистого дыхания заводских труб Веддинга, прогоркло-маслянистого запаха речных моторных судов и дневного запаха пота и вечернего кисло-алкогольного, которым пахнут люди, живущие в каменных ущельях...

Но вот лев проводит языком по сухому носу, увлажняет его слюной и запускает на прием тончайший, многосложный аппарат. Лев лежит неподвижно, кажется куском желто-серого песчаника, но увлажненный нос его работает, ловит, фильтрует, разделяет огромный сгусток бесполезных плохих запахов, которыми пахнет столица Третьей империи.

Едва заметно каменное тело льва оживает, шевелится кончик хвоста, и дрожь волнения проходит по песчаной шкуре... И вдруг тихо, плавно поднимаются большие веки, и два огромных, светлых, суровых глаза пристально смотрят на могучую прямоствольную решетку, и вновь, как совершенный, смазанный механизм, опускаются веки, глаза исчезают под ними. Опять окаменел лев, вновь высыхает, выключается микропористый нос и перестает принимать, фильтровать запахи города.

Так повторяется много раз в течение дня, эти почти неуловимые движения выражают горе, надежду, которые будут жить, пока лев дышит, глядит. Ведь каждый раз среди нищих запахов неволи старик различает паутинно-горький запах степи – это разгружают сено в кавалерийских казармах, – дыхание речной воды и дикорастущих деревьев. Свобода! Она в огромности освещенной луной африканской степи, в горячем, страстном воздухе пустыни... Лев с надеждой подымает глаза: вдруг исчезла решетка и свободная жизнь поглядит ему в глаза?

Ясность жаркого, душного утра неожиданно сменилась бурным ливнем. Желтые и черные тучи, клубясь, нависли над Берлином. Вихрь пронесся над улицами, белая, кремовая, красная, кирпичная пыль поднялась над сотнями и тысячами разрушенных бомбежкой зданий, песок, желтая мятая бумага, грязная вата, сжеванные сигарные окурки и красные от губной помады окурки сигарет взметнулись вверх, а сверху хлынул огромный, горячий,

желтый ливень, и все смешалось в водяном тумане, зашумели по асфальтовым руслам темно-коричневые, густые и плоские реки.

Фрицци сидел в креслице; грохот дождя по оцинкованной жести и листве, влажная духота, туман, желтые рыхлые облака – все это смешалось в дремлющем сознании гориллы и породило сновидение более яркое, чем сегодняшняя реальность...

Это было в лесах тропической Африки, где днем под могучей плотной массой древесины, лиан, листвы стоял мрак, где духота была так ужасна, а воздух так неподвижен, что казалось, здесь спящие молекулы газов, составляя воздух, не подчиняются законам Авогадро и Жерара. В этих лесах горячие ливни почти весь год со страшной силой, способной вызвать всемирный потоп, хлопывали по черной, трясиноподобной земле. Здесь обезумевшие от влаги, жары, от жирного, сытного перегноя деревья, теряя индивидуальность, переплетаясь ветвями, прижимались друг к другу сочными стволами, стянутые, связанные между собой сотнями тысяч лиан, кишочек и кишок, мышц, артерий, со свинцово-тяжелой жаркой папахой толстокожей листвы, создали лес, подобный единому грандиозному телу.

Живой, дышащий, древесно-лиственный сплошняк был так плотен, неподвижен, тяжел, что мог быть сравним только с геологическим напластованием. Лес лишь казался мертвым, в нем шла бешеная жизнь. На потоки горячих ливней лес отвечал взрывом жизни – бившими вверх потоками чудовищно быстро и энергично делящихся клеток. Тяжесть лесного воздуха, равного по плотности горячей воде, была непереносима для человека и большинства зверей, здесь, как в воде, можно было задохнуться без скафандра. В промежутках между ливнями из-под каждого листа выходили, разминая лапки, прочищая свои дуделки, сотни насекомых, а листьев здесь имелось много. Гудение делалось густым, и казалось, гудит не воздух, а сам лес низко и тяжело звучит миллиардами своих стволов, лиан, ветвей, листьев. Москиты и комары во тьме леса висели еще более темной, неподвижной тьмой, мешая друг другу двигаться, не уместаясь в кубе воздуха. Их количество было выразимо лишь тем же числом, каким в граммах выражается масса галактики.

Прожив здесь день, молодой человек мог состариться, одряхлеть от страдания. В этих лесах обитали гориллы. И дремлющий в клетке Берлинского зоологического сада горилла увидел себя во сне в горячей тьме леса, увидел мать, старших братьев и сестер, обмахивающихся от комаров ветвями, и слезы счастья выступили на его спящих глазах из-под коричневых век.

6

Во время дождя Рамм и его спутник Краузе укрылись в павильоне, где в летнее время продавалось мороженое. Павильон еще не был открыт, но плетеные кресла и столы уже были привезены со склада.

Старик сторож и Краузе, пережидая дождь, сидели в креслах, курили и разговаривали.

Краузе был переплетным мастером, ему искалечило при трамвайной катастрофе руку, помяло грудь, и теперь он жил на пенсии. Казалось, пустой случай свел их несколько дней назад, когда Рамм совершал вечерний служебный обход. У Рамма было доброе и чистое сердце, но бедный ум его не мог разобраться в вихре жизни. И его ненависть к страшным хозяевам Германии, выдумавшим расу господ, превращала его сочувствие и любовь к людям в презрение.

Именно теперь, в эти минуты, во время дождя, Рамм высказал свою главную мысль; он никому ее раньше не высказывал:

– Наша раса господ живет так, словно мир ничего не стоит по сравнению с ней. Добрые, честные, славные, бессловесные существа стали обездоленными, а раса господ захватила в свои руки все лучшее, что есть в жизни. Если господам мешают или, наоборот, нужны какие-нибудь животные, они умертвляют их целыми народами. Они для них как песок, как кирпичи. Раз они решили ради выгод или забавы истребить какую-нибудь породу животных, то уж они бьют и стариков, и беременных, и новорожденных, они их выкурят из родных нор, уморят голодом, задушат дымом.

Раньше выживали те, у кого хорошая шуба, слой жира, процветали красивые, те, у кого пышная окраска, богаче оперение. Но ныне установлен новый, свехистребительный закон отбора, более жестокий, чем морозы, муки голода и борьба за любовь; теперь выживают голые, костистые, серые, лишенные шерсти и меха, с вонючим мясом, без красок... Вот это отбор! Он направлен на гибель всего живого. Хорьков надо причислять к лику святых.

Почему убийство животных не считается преступлением? Почему, почему? Высшее существо должно бережно, любя, жалея относиться к низшему, как взрослый к ребенку.

– Каков мой вывод? – задумчиво спросил он, точно проверяя свои мысли. – Если хочешь называться царем вселенной, то надо научиться уважать даже вот этого дождевого червя.

Он указал на бледно-розового червяка, выползшего из раскисшей земли. Краузе, не жалея своего бедного, старенького пиджака, выйдя под дождь, перенес червя на высокую часть цветочной клумбы, под широкие листья канны, где ему не грозили потоки воды.

Вернувшись в павильон, вытирая воду с впалых, бледных щек и сильно притоптывая, чтобы с подошв сошла прильнувшая к ним земля, Краузе сказал:

– Вы правы. Надо учиться уважать, чтить жизнь.

До встречи с Краузе Рамму казалось, что всякий человек, узнав его взгляды, назовет его выродком, сумасшедшим. Но вот оказалось не так!

Краузе закурил сигарету и, указывая на клетки в дождевом тумане, сказал:

– Но вот здесь нет надежд, отсюда нет другого выхода, как на свалку.

– Это не совсем верно, – сказал Рамм. – Животных убивают на скотобойнях в течение веков. Об этой обреченности страшно даже думать, настолько привычно все это. И все же они всегда надеются! Даже те, кто перешел на сторону тюремщиков.

Краузе вдруг нагнулся к старику и, взмахнув левым пустым рукавом, сказал:

– Война идет в наш Берлин. Гитлер нас обманул. Люди хотят перемены. Чего уж говорить! Хотя многие люди в последние годы бывали хуже зверей.

Он вздохнул: того, что он сейчас сказал, по военному времени достаточно, чтобы быть казненным топором Моабита. Теперь судьба его была в руках небритого чудаковатого старика, смотрителя обезьянника.

Рамм замотал головой:

– Даже червям нужна свобода! Я все прислушиваюсь по ночам. А потом я хожу в темноте от клетки к клетке и говорю им: «Терпение, терпение...» Ведь только с ними я могу говорить.

Он посмотрел на ручьи, бегущие между клетками, и сказал:

– Настоящий потоп, но, может быть, праведники спасутся. Люди уж очень здесь несчастны, и

когда их самих гонят на бойню, то кажется моему сердцу – я хочу верить – они достойны лучшей участи.

Вечером Краузе, сменив пиджак, зашел в пивную.

Кельнерша не скоро принесла ему кружку, и он, сдувая с пива пену, сказал:

– Долго, долго пришлось сегодня ждать, а у меня, как ни странно, все еще есть дело – разговор об одном праведнике.

Кельнерша посмотрела на Краузе заплаканными и одновременно насмешливыми глазами и, нагнувшись к его уху, произнесла:

– Твой праведник никому не нужен: шеф застрелился. Их дело пришло к концу.

7

В теплую и темную весеннюю ночь завязался бой в центре Берлина.

Могучие силы, шедшие с востока, охватили кольцом злое сердце гитлеровской столицы.

Подвижные части, танки, самоходная артиллерия прорвались в район Тиргартена.

Во мраке вспыхивали выстрелы, проносились трассирующие очереди, воздух наполнился запахами битвы, не только теми, что различает обоняние человека, – окислов азота, горящего дерева, дыма и гари, – но и теми едва различимыми, что доступны лишь чутью зверя. И эти запахи среди ночи волновали животных больше, чем выстрелы, больше, чем пламя пожаров.

Влажный океанский ветер, жар песчаной пустыни, прохлада душистых пастбищ в отрогах Гималаев, душное дыхание леса, запах весны – все смешалось, комом покатилося, закружило от клетки к клетке.

Медведи, встав на задние лапы, потрясали железные прутья, всматривались в темно-красную мглу.

Волк то прижимался брюхом к оцинкованному полу клетки, то вскакивал на лапы. Вот-вот опустятся гибкие нежные ветви лещины над его сутулой спиной, стук его когтей утонет в мягком, нежном мхе, дохнет лесная прохлада в его измученные глаза. На боку шерсть его стерлась от многолетнего бега вдоль шершавой решетки, и холодное, ночное железо прикасалось к коже; касание железа говорило о рабстве, и тогда, забывая вечно живущую в его крови осторожность, волк, охваченный опасением, что свобода пройдет мимо и не заметит его, вскидывал голову и выл, звал ее к себе.

Зарево берлинского пожара отразилось на металлическом полу клетки, отполированном когтями Феникса... Казалось, дымная луна всходит среди темных камней, над огромной, еще дышащей дневным жаром пустыней.

Фрицци ушел, как обычно, на ночь во внутреннее помещение обезьянника и не увидел огней битвы. В эту ночь он очутился совершенно один в темноте, отделенный от мира толстыми стенами.

В середине ночи район зоологического сада был очищен от немецких войск и эсэсовских

отрядов. На некоторое время грохот битвы затих.

Советские танки и пехота стали накапливаться у стен зоологического сада для нового, быть может, последнего удара. Немцы поспешно подтягивали артиллерию, чтобы помешать сосредоточению танков.

Разбуженный грохотом, Фрицци стоял, ухватившись своими широко раскинутыми руками за решетку, и казалось, то распластаны огромные, трехметрового размаха, черные крылья. Его глаза часто моргали, он невнятно бормотал, вслушиваясь в затихавшие звуки боя, коротко, шумно втягивал в ноздри воздух.

Мрак в бетонных стенах, казалось, расширился и переходил в мягкий, покойный сумрак леса.

Вечером, когда Фрицци перешел из наружного помещения в свою спальню, Рамм укрыл ему одеялом плечи и сел возле него на стульчике. Фрицци не мог уснуть, если оставался один. Как всегда, Рамм гладил Фрицци по голове, пока тот не задремал. Но в этот вечер в глазах Рамма не было всегдашней грусти. Фрицци не понимал человеческую речь, но его волновало звучание торопливых негромких слов, которые произносил старик, укладывая его спать.

Он не умел не верить старику и теперь, проснувшись, стоя во мраке, тревожился, почему в эту ночь старого друга нет рядом.

Вдруг раздались тяжелые удары, от них вздрагивала земля и воздух звенел. То начался ураганный артиллерийский огонь по советским танкам, скопившимся в районе Тиргартена.

Широко распахнулись двери обезьянника, сорванные разрывом снаряда; кинжальный свет ослепил Фрицци.

Казалось, через мгновение, когда он откроет глаза, уже не будет ни бетонированных скучных стен, ни решетки, ни любимых игрушек, ни кровати с полосатым матрацем, ни одеяла, ни чашечки с молоком, которую Рамм ставил ему перед сном на маленький столик возле кровати. Пришло время вернуться в родные леса у озера Киву.

Утром представитель комендатуры, офицер интендантской службы, сутулый, очкастый человек, с утомленным, озабоченным лицом, обходил дорожки зоологического сада.

У клеток, в которых жались оглушенные ночным боем животные, стояли красноармейцы, окликали их, просовывали сквозь решетку хлеб, сахар, печенье, колбасу.

Зайдя в обезьянник, представитель комендатуры увидел старика смотрителя в форменной фуражке, сидевшего возле трупа огромной черной обезьяны с грудью, развороченной осколком снаряда.

Представитель комендатуры на ломаном немецком языке сказал, что старик – единственный, не покинувший своего поста – временно назначается директором зоологического сада, что плотоядных животных следует пока что кормить кониной: кругом много убитых лошадей, – а через несколько дней начнут работать городские скотобойни.

Старик понял, поблагодарил и вдруг заплакал, показывая на труп обезьяны.

Представитель комендатуры сочувственно развел руками, похлопал старика по плечу, вышел из обезьянника, пошел по боковой дорожке.

На скамейке под начавшей зеленеть липой сидели двое немцев – раненый в госпитальном халате с апельсиновыми отворотами и девушка в белой наколке с красным крестом. На земле и в небе было тихо. Голова раненого была повязана грязными бинтами, рука лежала в гипсовой люльке. Солдат и девушка, как зачарованные, молча смотрели друг на друга, и

представитель комендатуры, оглядев их лица, подмигнул шедшему рядом с ним патрулю.

1953 – 1955

ЗА ГОРОДОМ

Я проснулся. Кто-то дергал дверь на застекленной террасе.

Недавно грабители в соседнем дачном поселке убили двух стариков зимников, мужа и жену. Осторожное, негромкое позванивание стекол показалось мне зловещим. Я привстал с постели, отодвинул оконную занавеску: темень, чернота.

– Эй, кто там? – деланным басом крикнул я.

Тишина, и опять постукивание, шорох... Зачем я оставил на террасе свет? Внезапно громко зазвенело стекло, а затем вновь и вновь. Алмаз, что ли, у злодея есть?

К чему я поехал один, в конце февраля, на пустую дачу! Не город с ночным стуком парадной двери и железным шипением лифта подстерегал меня, а эта угрюмая снежная равнина, зимние леса, холодный и безжалостный простор. Я пошел навстречу беде, покинув город, где свет, люди, где помощь государства.

Я нащупал в темноте топор и сел на постель. Ладонь моя то и дело касалась широкой холодной скулы топора.

На террасе стало тихо. Ждал ли грабитель сообщника, подозревал ли он, что я бодрствую с топором в руках? Убийца возникает из этой тихой тьмы.

Тишина стала невыносимой, и я решил пойти навстречу судьбе. Я снял дверные запоры и, сжимая топор, вышел на освещенную электричеством террасу.

На дощатом полу, припорошенная снежной крупой, раскинув крылышки, лежала мертвая синичка с темной брусничной каплей крови на клюве.

1953

ИЗ ОКНА АВТОБУСА

Автобус подали после завтрака к подъезду дома отдыха Академии наук.

На турбазе для поездки ученых выделили лучшего работника – образованного и умного человека.

Как приятен перед поездкой этот миг неподвижности – люди уселись, притихли, глядят на пыльные пальмы у входа в столовую, на местных франтов в черных костюмах, на городские часы, показывающие неизменно абсолютное время – шесть минут четвертого.

Водитель оглянулся – все ли уселись. Его коричневые руки лежат на баранке.

Ну, поехали...

И вот мир открылся перед людьми: справа пустынное море – не то, оставшееся за спиной, море купальщиков и прогулочных катеров, а море без берега, море беды и войны, море рыбаков, боцманов и адмиралов.

А слева, среди пальм, бананов, среди мушмулы и магнолий, домики, обвитые виноградом, каменные заборы, огородики, и вдруг пустынные холмы, кусты, осыпанные красными ягодами шиповника, дикий хмель в голубоватом, туманном пуху, библейские кроткие овцы и дьяволы – козлы на желтых афро-азиатских осыпях – и снова сады, домики, чинары, хурма...

А справа одно лишь море.

И вот автобус круто сворачивает, дорога вьется рядом с рекой, река вьется в узкой долине, горы ее зажали с двух сторон.

Как хороша эта дорога! Можно ли передать огромный размах земной высоты и земной глубины, это соединение: рвущийся вверх мертвый гранит и мутный, зеленоватый сумрак в ущелье, застывшая тишина и рядом звон, плеск горной реки.

Каждый новый виток дороги открывает по-новому красоту мира. Нежный солнечный свет легко лежит на голубоватом асфальте, на полукруглой воде, скользящей по круглым камням. У каждого пятна света своя отдельная жизнь, со своим теплом, смыслом, формой.

И то ли постепенно, то ли вдруг, душа человека наполняется своим светом, ощущает самое себя, видит себя в этом мире с пустынным морем, с садами, с горным ущельем, с пятнами солнца; этот мир – она и не она, – она его видит, то ли не видит, она полна сама в себе покоя, мыслит и не мыслит, прозревает глубины жизни и близоруко, слепо дремлет. Она не думает ни о чем, но она погружена в глубину большую, чем та, в которую может проникнуть межзвездный корабль.

Дивное состояние, подобное счастью ящерицы, дремлющей на горячем камне вблизи моря, кожей познающей соленое тепло воздуха, тень облаков. Мудрость, равная счастью паучка, застывшего на нити, протянутой между двумя травинками. Чувство познания жизненного чуда теми, кто ползает и летает.

Время от времени автобус останавливался, и Иван Петрович, экскурсовод, негромко, словно боясь помешать кому-то в горах, рассказывал о геологической истории абхазской земли, о первых древнейших поселениях людей.

Участники экскурсии спрашивали Ивана Петровича о множестве вещей – он рассказывал и о нравах горной форели, и о храмах шестого века, и о проекте горной электростанции, и о партизанах времен гражданской войны, об альпийской растительности, о бортничестве и овцеводстве.

Ивана Петровича чем-то тревожил один пожилой человек – во время остановок он стоял поодаль от всех и не слушал объяснений. Иван Петрович заметил, что все путешественники часто поглядывают на этого пожилого, неряшливого человека.

Экскурсовод спросил:

– Кто сей дядя?

Ему шепотом назвали знаменитое имя. Ивану Петровичу стало приятно – исследователь сложнейших вопросов теоретической физики, создатель нового взгляда на происхождение

вселенной участвует в его экскурсионной группе. В то же время ему было обидно: знаменитый ученый, в одной статье его назвали великим мыслителем, не задавал Ивану Петровичу вопросов и, казалось, не слушал его объяснений.

Когда экскурсия вернулась в курортный городок, одна ученая женщина сказала:

– Поездка чудесно удалась, и в этом немалая заслуга нашего замечательного экскурсовода.

Все поддержали ее.

– Надо написать отзыв, и все мы подпишем его! – предложил кто-то.

Через несколько дней Иван Петрович столкнулся на улице со знаменитым ученым. «Наверное, не узнает меня», – подумал Иван Петрович.

Но ученый подошел к Ивану Петровичу и сказал:

– Я вас всей, всей душой благодарю.

– За что же? – удивился Иван Петрович. – Вы не задали мне ни единого вопроса и даже не слушали моих объяснений.

– Да, да, нет, нет, ну что вы, – сказал ученый. – Вы мне помогли ответить на самый важный вопрос. Ведь и я экскурсовод вот в этом автобусе, – и он показал на небо и землю, – и я был очень счастлив в этой поездке, как никогда в жизни. Но я не слушал ваших объяснений. Мы, экскурсоводы, не очень нужны. Мне даже показалось, что мы мешаем.

1960 – 1961

МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Уже в двадцатых числах апреля Москва начинает готовиться к празднику. Карнизы домов и железные заборики на бульварах заново красятся, и матери всплескивают руками, глядя вечером на сыновьи штанишки и пальто. На площадях плотники, посмеиваясь, пилят пахнущие смолой и лесной сыростью доски. Агенты по снабжению везут в директорских легковых машинах кипы красной материи.

В учреждениях посетителям говорят:

– Давайте уже после праздника.

Лев Сергеевич Орлов стоял на углу со своим сослуживцем Тимофеевым. Тимофеев говорил:

– Вы совершеннейшая баба, Лев Сергеевич, пошли бы в пивную, ресторанчик... наконец, просто пошляемся по улицам, посмотрим народ. Подумаешь, жена волнуется. Право же, вы баба, совершеннейшая баба.

Но Орлов простился с Тимофеевым. Он от природы был грустным человеком и говорил о себе:

– Я устроен таким образом, что мне дано видеть трагическое, скрытое под розовыми лепестками.

И во всем Орлов видел трагическое.

Вот и сейчас проталкиваясь среди прохожих, он размышлял, как тяжело в такие веселые дни лежать в больнице, как мрачно пройдут они для фармацевтов, вагонных проводников и машинистов, чьи дежурства выпадут на день Первого мая.

Придя домой, он рассказал жене о своих мыслях, и, хотя она принялась смеяться над ним, Орлов все качал головой и никак не мог успокоиться.

Он до ночи громко вздыхал, размышляя об этом предмете, и жена сердито сказала:

– Лева, чем жалеть фармацевтов, ты бы меня лучше пожалел и не мешал спать, мне ведь завтра к восьми часам нужно быть на работе.

И действительно, она ушла на работу, когда Лев Сергеевич еще спал.

Утром на службе он бывал в хорошем настроении, но обычно к двум часам дня его охватывала тоска по жене, он начинал нервничать и поглядывать на часы. Сослуживцы знали нрав Орлова и посмеивались над ним.

– Лев Сергеевич уже на часы смотрит, – говорил кто-нибудь, и все смеялись, а старший счетовод, престарелая Агнесса Петровна, со вздохом произносила:

– Счастливейшая в Москве женщина эта жена Орлова.

И сегодня к концу рабочего дня он занервничал, недоуменно пожимая плечами, глядел на минутную стрелку часов.

– Лев Сергеевич, вас к телефону, – позвали из соседней комнаты. Звонила жена. Она сказала, что ей придет -ея перепечатать доклад управляющего и поэтому она задержится на час или полтора.

– Вот так-так, – огорченно сказал Орлов и повесил трубку.

Домой он возвращался не спеша. Город гудел, и дома, улицы, мостовые казались особенными, непохожими на самих себя. И это неуловимое, рожденное общностью, было во многом, даже в том, как милиционер волок пьяного, – точно по улицам сплошь ходили племянники и двоюродные братья.

Вот сегодня, пожалуй, он бы пошлялся с Тимофеевым. Очень тяжело приходиться домой первому. Комната кажется пустой, неуютной, в голову лезут беспокойные мысли – вдруг с женой что-нибудь случилось – вывихнула ногу, неловко прыгнула с трамвая.

Орлов начинал представлять себе, как лобастый троллейбус сшиб Веру Игнатьевну, как толпятся вокруг ее тела люди, с зловещим воем мчится карета «скорой помощи»... Ужас охватывал его, ему хотелось звонить по телефону к знакомым, родным, бежать к Склифосовскому, в милицию.

Каждый раз, когда жена опаздывала на десять – пятнадцать минут, происходили с ним такие волнения.

Сколько народу на улицах! Почему они без дела сидят на скамейках, шляются по бульвару, останавливаются перед каждой расцвеченной лампочками витриной? Но вот он подошел к своему дому, и сердце радостно вздрогнуло: форточка открыта, – значит, жена уже вернулась.

Он несколько раз поцеловал Веру Игнатьевну, заглянул ей в глаза, погладил ее по волосам.

– Чудак ты мой, – вздохнула она, – каждый день мы встречаемся, словно я не из «Резиносбыта» прихожу, а приехала из Австралии.

– Для меня не видеть тебя день равносильно Австралии, – сказал он.

– О господи, у меня эта Австралия вот тут сидит, – сказала Вера Игнатьевна. – Попросят помочь печатать стенную газету – я отказываюсь, Осовиахим пропускаю, сломя голову мчусь к тебе. У Казаковой двое маленьких детей, а она прекрасно остается и в автомобильном кружке состоит.

– Ну, ну, дурочка, курочка ты моя, – сказал Орлов, – где это ты видела жену, которая в претензии к мужу за то, что он домосед?

Вера Игнатьевна хотела ему возразить, но вдруг вскрикнула:

– Да ведь у меня сюрприз для тебя... У нас местком сегодня записывал на ребят из детских домов на праздничные дни, и я подала заявку на девочку. Ты не сердишься?

Орлов обнял жену.

– Умница моя, чего мне сердиться, – сказал он, – мне страшно только думать, что бы я делал и как жил, если бы случай не столкнул нас на именинах у Котелковых.

Вечером двадцать девятого апреля Вера Игнатьевна приехала домой на «фордике» и, поднимаясь по лестнице, раскрасневшаяся от удовольствия, говорила своей маленькой гостье:

– Что за прелесть ездить на легковой машине, – кажется, всю жизнь бы каталась.

Это была ее вторая поездка на автомобиле – в позапрошлом году они со свекровью, приехавшей погостить, наняли на вокзале такси. Правда, та первая поездка была немного омрачена – шофер всю дорогу ругался, говорил, что у него камеры спустят и что для такого багажа нужно нанимать трехтонку.

Не успели они зайти в комнату, как раздался звонок.

– А вот и дядя Лева пришел, – сказала Вера Игнатьевна и взяла девочку за руку, повела ее к двери.

– Знакомьтесь, – сказала она, – это Ксения Майорова, а это товарищ Орлов, дядя Лева, мой муж.

– Здравствуй, дитя мое, – сказал Орлов и погладил девочку по голове.

Вид гостьи разочаровал его, он представлял ее себе крошечной, миловидной, с печальными, как у взрослой женщины, глазами. А Ксения Майорова была коренастая, некрасивая, у нее были серые узкие глаза, толстые, красные щеки и немного оттопыренные губы.

– Мы на машине ехали, – хвастливо сказала она басовитым голосом.

Пока Вера Игнатьевна готовила ужин, Ксения ходила по комнате и осматривалась.

– Тетя, а радио у вас есть? – спросила она.

– Нет, деточка, пойди-ка сюда, мне нужно тебе кое-что сказать.

Вера Игнатьевна увела ее по всяким делам, и в ванной комнате они беседовали про зоологический сад и планетарий.

За ужином Ксения посмотрела на Орлова и ехидно рассмеялась:

– А дядя рук не помыл.

Голос у нее был густой, а смех тоненький, хихикающий.

Вера Игнатьевна спрашивала Ксению, как по-немецки называется дверь, сколько будет семь и восемь, расспрашивала, умеет ли она кататься на коньках. Она поспорила, как называется столица Бельгии, – Вера Игнатьевна предполагала, что Антверпен.

– Нет, Женева, – утверждала Ксения и упорно трясла головой, надувала щеки.

Лев Сергеевич отвел жену в сторону и шепотом сказал:

– Уложи ее, и я посижу возле нее, расскажу что-нибудь, она чувствует себя у нас как-то по-казенному.

Вера Игнатьевна сказала:

– Лев, может быть, ты выйдешь покурить в коридор, а мы пока проветрим.

Орлов ходил по коридору и старался вспомнить какую-нибудь сказку. Красная Шапочка? Эту она, наверное, знает. Может быть, просто рассказать ей о тихом городе Касимове, о лесах, о прогулках по берегу Оки, рассказать про брата, бабушку, сестер.

Когда жена позвала его, Ксения уже лежала в постели. Лев Сергеевич сел рядом с ней и погладил ее по голове.

– Ну как, нравится тебе у нас? – спросил он.

Ксения судорожно зевнула и потерла кулаком глаза.

– Ничего, – сказала она и серьезно спросила: – Вам, верно, очень трудно без радио?

Лев Сергеевич принялся рассказывать ей про свое детство, а Ксения зевнула три раза подряд и сказала:

– Одетым сидеть на кровати вредно, с вас микробы переползут.

Глаза ее закрылись, и она, полусонная, начала лопотать неясным голосом, рассказывать какие-то дикие истории.

– Да, – плаксиво говорила она, – меня на экскурсию не взяли. Лидка в саду видела, почему она не сказала, а я два раза в кошельке его носила, вся поколотая хожу... а про стекло не я сказала... сама она легавая...

Она уснула, а Лев Сергеевич и Вера Игнатьевна молча смотрели на ее лицо. Спала она бесшумно, губы ее еще больше оттопыривались, рыжие хвосты косичек шевелились на подушке.

Откуда она – с Украины, с Северного Кавказа, с Волги? Кто отец ее? Может быть, он погиб на славной работе в забое, в дыму на колосниковой площадке или он утонул, сплавливая лес? Кто он? Слесарь? Грузчик? Маляр? Лавочник? Что-то величественное и трогательное было в этой спокойно спящей девочке.

Утром Вера Игнатьевна ушла за покупками, нужно было запастись продуктов на три праздничных дня. Кроме того, она хотела сходить в большой «Мосторг» и купить шелкового полотна на летнее платье. Лев Сергеевич остался с Ксенией.

– Слушай, mein liebes Kind, – сказал он, – гулять мы сейчас не пойдем, а посидим дома.

Он усадил Ксенью к себе на колени, рукой обнял ее за плечи и принялся рассказывать.

– Тихо, тихо сиди, будь умницей, – говорил он каждый раз, когда Ксения пыталась сойти с его колен. И она успокоилась, сидела, посапывая и внимательно глядя на говорившего дядю Леву.

Вера Игнатьевна вернулась к четырем часам, очень уж много народу было в магазинах.

– Что это ты такая надутая? – испуганно спросила она.

– Да, надутая, – сказала Ксения, – может быть, я есть хочу.

Вера Игнатьевна побежала на кухню готовить обед, а Лев Сергеевич продолжал развлекать девочку.

После обеда Ксения попросила бумаги и карандаш, чтобы написать письмо.

– Марки не нужно, я его сама Лидке отдам, – сказала она.

Пока Ксения писала, Вера Игнатьевна предложила мужу пойти всем вместе в кино, но Лев Сергеевич замахал на нее руками:

– Что ты говоришь, Вера, сегодня жуткая толкотня, мы, во-первых, билетов не достанем, во-вторых, в такой вечер хочется посидеть дома.

– Мы, слава богу, все вечера дома сидим, – возразила Вера Игнатьевна.

– Ну, не спорь, пожалуйста, – рассердился Орлов.

– Ей скучно, она ведь привыкла всегда на людях, с подругами.

– Ах, Вера, Вера, – ответил он.

Вечером все пили чай с кизилковым вареньем, ели торт и пирожки. Торт очень понравился Ксеньи, и Вера Игнатьевна забеспокоилась, пощупала живот девочки и покачала головой. А у Ксеньи после чая действительно заболел живот, она помрачнела и долго стояла у окна, прикладывая нос к холодному стеклу, – когда стекло делалось теплым, она передвигалась немного и снова грела носом стекло.

– Ты о чем думаешь? – спросил, подойдя к ней, Лев Сергеевич.

– О всем, – сердито сказала она и снова расплющила нос об стекло.

Теперь, наверное, собираются ужинать. Подарки она не успела взять, и ей оставят что-нибудь плохое – книжку про животных, а у нее уже есть такая книжка. Правда, можно будет обменяться... Очень славная тетя эта Вера. Жалко, что она не воспитательница. А девочки, которые остались, целый день катаются на грузовике. Вот она сделается летчиком и сбросит на этого дяденьку газовую бомбу. Какие-то старые девочки во дворе – наверное, из седьмой группы.

Она стоя задремала и ударилась лбом об стекло.

– Иди спать, Ксанка, – сказала Вера Игнатьевна.

– Как баран об стекло стукнулась, – сказала Ксения.

Ночью Орлов проснулся, он протянул руку, чтобы тронуть жену за плечо, но ее не было рядом с ним.

«Что такое, где Верунчик?» – в испуге подумал он.

С дивана раздавался негромкий голос, всхлипывания. Он прислушался.

– Ну, успокойся, дурочка ты такая, – говорила Вера Игнатьевна, – куда я тебя ночью поведу, трамваев нет, а нужно через весь город идти.

– Да-а-а, – сквозь всхлипывание говорил басистый голос, – он у вас какой-то малахольный.

– Ну, ничего, ничего, он ведь хороший, добрый, видишь, я ведь не плачу.

Лев Сергеевич закрыл голову одеялом, чтобы дальше не слушать, и, притворяясь спящим, тихонько захрапел.

1936

ОСЕННЯЯ БУРЯ

В ноябре Гагры стояли тихими, безлюдными, но они были полны света, осеннего тепла, а в маленьких садиках, в тесноте некрупных деревьев, вызревали оранжевые центнеры мандаринов и апельсинов.

Мне отвели комнату на втором этаже, в санаторном корпусе, расположенном над самым береговым обрывом, укрепленным каменными глыбами и бетоном.

Двадцать первого ноября я лег в постель как обычно, в одиннадцать часов, немного почитал и уснул.

Ночью я проснулся: кто-то грубо тряс балконную дверь. Словно опасаясь хищного существа, я потушил свет и подошел к балконной двери.

Из тьмы на одном уровне с балконом неясно возникали огромные светлоголовые волны, и казалось, одно лишь оконное стекло отделяло меня от ревущей воды.

При каждом ударе волны дом дрожал, а затем слышался новый, непривычный всплеск, – очевидно, шумела вода, поднятая штормом выше прибрежной стены.

Я вышел в полутемный пустой коридор, потом вернулся в комнату, снова подошел к балконной двери. Мне стало страшно – теперь волны поднимались выше балкона, море шло на сушу.

И вдруг меня взяло зло. Я лег, накрылся одеялом и не стал думать о волне, которая ворвется в комнату и утащит меня, козьяку, в ночное ноябрьское море,

Я лежал с закрытыми глазами, думал о своей жизни; вдруг дом пошатывало, вдруг трещала балконная дверь.

Мне уже не было страшно в почти пустом доме, дрожащем на обрыве, рядом с этим недобрым вселенским гулом; иногда по стеклу резко била тяжелая ладонь, иногда

пронзительно звонко лупила галька.

Я испытывал странный душевный подъем, точно я, забившийся под одеяло человек, как-то тайно связан с морем, а не чужд и враждебен ему.

Сила огромной волны не унижала меня, не обращала меня в ничтожество.

Козявка петушилась, и, когда внезапно зазвенело разбитое стекло и полтонны быстрой, мускулистой воды влетело в комнату, грохнуло по стене и потолку, обдало постель, я побежал босыми ногами по воде, крикнул: «Ах, вот ты как!» – и, вместо того чтобы бежать из комнаты, достал бритву и, стоя спиной к морю, начал бриться.

Из соседних комнат уборщицы и рабочие вытаскивали столы, диваны, помогали немногочисленным жильцам перебраться в главный корпус, расположенный вдали от моря.

Перебрался в главный корпус и я.

Утром все мы вернулись к морю. Оно тянуло к себе.

Сад залило беспокойной водой. Огромные банановые листья, юкковые шапки, сбитые волнами ветви мушмулы, лавра и магнолий колыхались в воде. Высокая многолетняя пальма была сломана волной, и ее большую и прекрасную зеленую голову унесла вода.

Погода была особенной в этот день.

Тяжело, низко стояла над морем черная туча, вспыхивали молнии. Ноябрьский воздух был необычайно теплым. При каждом набеге волны ощущался влажный жар, шедший из моря.

Люди невольно отступали, когда волна, склонив чугунную голову, неслась по финишной прямой к берегу, заслоняя своим огромным телом не только море, но и все небо.

Над морем вспыхивали молнии, а в горах шел снег. На плавной крутизне горных склонов, среди рыжей, красной и зеленой листвы сияла новорожденная зима.

Волна, пригибая и подминая вздрагивающую землю, взбегала на берег... Море в этот день было сильнее земли.

В дыму вдруг выросли обтесанные водяные стены, и тут же тысячетонные обломки воды летели вкривь и вкось, рушились на землю. Вода стала черной от подхваченного ею несметного миллиона гальки и груд песка. И из этой полукаменной, тяжелой и черной воды рождались ворохи белых летучих брызг.

Вода была теплее воздуха, и парное тепло от разгоряченных водяных туш усиливало ощущение одухотворенности природы – море казалось живым.

От пушечных ударов дрожала набережная, высокие эвкалипты, дома. Казалось, и горы дрожали.

Да, это была самая тяжелая артиллерия, артиллерия резерва главного командования. Но не того командования, которое осуществляют земные маршалы и генералиссимусы.

Это был гнев грозного и милосердного главного командования, чья ставка и штаб артиллерии были скрыты за нависшими тучами.

Истопники и уборщицы, подавальщицы из столовой, вытаскивая из затопленного водой дома ковры, кресла, свернутые в узлы портьеры, свертки постельного белья, то

к делу оглядывались на море и говорили:

– Красиво как, как красиво...

Праздничный подъем и оживление испытывали оглушенные грохотом люди, с лицами, мокрыми от водяной пыли...

Какое– то странное желание томило душу, и хотелось, чтобы еще сильнее дрожала земля от морских ударов.

Люди словно участвовали в гневном море; сила моря не принижала человека, а делала счастливым, наполняла его торжеством.

1960 – 1961

ПТЕНЦЫ

Горы над морем были высокими, и людям, глядевшим с берега на их вершины, приходилось придерживать рукой шляпы и тубетейки.

На берегу находились дома отдыха и деревня, где летом жили московские и ленинградские «дикари».

На нижних склонах гор имелись клочки распаханной земли. Выше на горной круче росли заросли карагача, кизила, дикой груши, колючки; изредка по пустынной дороге скрипя ползла арба, груженная кривыми, как змеи, дровами.

Еще выше на круче, среди каменистых обрывов, стоял сосновый лес. Лес всегда был сумрачным, пустынным, то печально, то грозно шумел.

А над лесом высились отвесные скалы, шумели ледяные ручьи, в каменистых расселинах лежал зернистый снег, он не таял и в летнюю жару.

Редко, раз в несколько лет, альпинисты добивались с помощью веревок и железных кошек до горных вершин.

Взобравшись на вершину горы, человек испытывал гордость. Под его ногами лежало море, и казалось, глаз мог различить туманный, таинственный берег чужой страны. Победа над высотой доставляла людям счастье, но они почему-то стремились поскорей спуститься вниз.

На скале жили орлы.

Когда ревела буря, орлиные гнезда, сложенные из толстых сучьев, колыхались и поскрипывали.

Орлы после охоты сидели на скалах, дремали, прочищали клювы, отрывали птичьих перья и заячьи кости, оглядывали каштановыми глазами пространство.

Здесь, на каменных вершинах, они рождались, старились, умирали. Огромность простора, слепящий свет, жгучая чистота воздуха были привычны и милы им, как привычен и мил теплый чавкающий сумрак для болотных лягушек.

Часами парили орлы в воздухе и вдруг, словно наискось пущенный с неба камень, падали на землю, и воздух выл от стремительной скорости их падения. В эти мгновения их клювы, веки,

лапы холодели, а сердца горели. Схватив добычу, они спешили покинуть низину. Цветущие поляны были тошны им.

Молодая орлица высиживала птенцов. Иногда, не выдержав томительного сонного покоя, она улетала вместе с орлом поохотиться.

Он радовался, что подруга снова с ним, но материнская тревога заставляла ее возвращаться в гнездо.

Старые орлицы, пролетая в отсутствие молодухи над гнездом, покачивали головами. Им многое не нравилось здесь. Необычного цвета были лежавшие в гнезде яйца.

Неосмотрительно построил молодой орел свой дом на краю площадки, до которой добирались люди.

Вскоре в гнезде будут птенцы, ведь к ним может подобраться человек, дикий кот, змея.

Но опасения старух оказались напрасны.

Молодая мать благополучно высидела своих птенцов.

Ни у кого не было таких красивых, милых детей! На них были желтые пуховые шубки, их круглые глаза блестели весело и задорно. Они легко научились выбираться из гнезда, стремительно двигались по площадке, ловко прыгая с камня на камень, расшвыривали своими когтистыми ножками щебенку, выискивали высокогорных мошек и мелких жучков.

Один птенец был побольше. Мальчик и две девочки – удачное сочетание. Сестры неотступно ходили за братцем, оглядывались на него.

Соседи прилетали полюбоваться малышами, таких складных птенцов никогда еще не видели на горных вершинах.

У малыша на голове появилась красная шапочка, он не сутулился, как другие орлята, ходил грудью вперед. Орлица, гордясь, все поглядывала на мамаш-соседок.

Отец, после охоты сидя на камне, наблюдал, наблюдал своих детей.

Он заметил, что высота, обычно влекущая детей, пугала его сына и дочерей. Если птенец в погоне за мотыльком подбегал к краю пропасти, он пятился и по-смешному, не по-орлиному топорщил крылышки. Крылья у детей были подвижными, но короткими.

У детей оказались зоркие глаза, они замечали самую мелкую букашку. Но воздушную глубину, туман над морем, земную даль глаза детей не видели.

Однажды орел сказал жене:

– Наши дети видят не дальше своего клюва, а клювы у них короткие, ни у кого в нашем роду не было таких. Дедушка отличался особенно огромным кривым клювом, мы все пошли в него.

– Я не понимаю тебя, – раздраженно сказала орлица. – О чем, собственно, твоя тревога: о дедушкином клюве или о зрении наших детей?

– Не сердись, пожалуйста, – сказал орел, – право, кое в чем они странные: едва-едва в долине начинаются сумерки, а у нас еще солнце, и никто не помышляет о луне и вечерней звезде, они зевают, лезут в гнездо, топчутся, как слепые.

– Нужно радоваться, что у детей хороший сон.

– Они не глядят вдаль, вверх, а только себе под лапы. Их интересуют лишь мошки, что бегают меж камней.

– Ведь они дети! Вскоре и их заинтересует небо.

Орел сказал:

– Помню, как ребенком я глядел на перистые облака и обмирал от желания подняться в небо, вонзить когти в облако, поросшее нежным пухом.

– Сколько в тебе самовлюбленности, – сказала орлица. – Иногда я каждым перышком своим сожалею, что не послушалась подруг и мамы, пошла за тебя.

Орел сжал клюв и после этой ссоры перестал говорить с орлицей о детях.

А время шло.

Уж кое– где над скалами неловко взлетали молодые орлы. Один паренек даже ухитрился пролететь над бездной и на восходящем токе воздуха взмыл вверх.

Тревога вновь овладела отцом. Детей не интересовали успехи сверстников, их пугала пропасть над морем, они все поглядывали на горный склон, поросший соснами. То один, то другой птенец пытался спуститься со скалы, туда где начиналась тропинка, ведущая в долину.

Сколько причин придумывали они, чтобы оттянуть начало полетов. Головокружение, дурные приметы, расстройство желудка, опухло в плече крыло, соседи ждут их в гости.

Неужели орлица ничего не замечала? Но мать любила своих детей и не хотела видеть плохого в них. Она видела в них только хорошее.

Орла особенно тревожил сын. Маленький, на коротких толстых лапках, с выпяченным брюшком, он проявлял большое умение добывать пищу, не знал усталости в своем трудолюбии. Родители кормили ребят клочьями птичьего, заячьего, козьего мяса, но парнишке этого было мало.

Коротыш завел знакомства с соседними гнездами. Подолгу он мог слушать стариков, и старики ценили в нем хорошего слушателя. Он с какой-то особой чуткой остротой ощущал все прекрасное, величественное в орлах, в их охоте, обычаях.

Коротыш изучал семейные истории знатных и древних орлиных родов, запоминал меткие словечки и выражения, стал не только хорошим слушателем, но и удивительно приятным собеседником. Хорошо было, полузакрыв глаза и время от времени отрывая, слушать складные рассказы Коротыша о далеком прошлом.

Отца тревожило – не ради ли угощения ходит сын в гости?

Плотно наевшись, Коротыш иногда вскарабкивался на камень, расположенный подальше от бездны, и беседовал с сестрами. Он говорил о счастье воспарить в небо, о горькой и тусклой жизни птиц в долине.

Дуры слушали его, раскрыв клювы. Он воспевал небо, но он ведь боялся летать.

Слова его трогали, орел, налетающий тысячи километров, не смог бы подобрать более точных, идущих от сердца слов. Коротыш удивительно понимал малоприметные тонкости орлиной души, умел выразить и передать самые сложные переживания летящего орла. Но все же это были слова.

Как– то отец, глядя на сына, ощутил нехорошее, странное чувство. Каштановые глаза его расширились, огромный клюв щелкнул, железные когти затомились –сын в нем вызвал чувство охотника, чувство, которое орел испытывал, глядя на кур.

Орел испугался этого чувства.

А Коротыш все чаще навещал соседей, рассказывал им легенды об охотах прошлого, воспевал орлов-богатырей. Коротыш ел и пил, а то, чего он не в силах был съесть, закапывал своими сильными короткими и толстыми лапами в расщелине, засыпал кладовки гранитной щебенкой.

Как– то орлица сказала мужу:

– Я не тревожусь, что дети еще не начали летать. Посмотри, как хорошо прыгают они по камням, а колченогие ребята соседей спотыкаются, падают. Наши орлята, научившись летать, опередают остальных птенцов, вот так же как они опередили их в прыжках по скалам.

– Конечно, – сказал орел, он был под когтем у своей жены, – и я уверен в этом. Вот только несколько коротки у них крылья. Но это пустяки, они будут летать быстрее и выше всех.

Потом, набравшись смелости, а он ведь был полон смелости, и ему не хватало ее только для споров с женой, орел произнес:

– Поговори с Коротышом, я не могу его понять.

И он рассказал слепой от любви орлице о своих наблюдениях.

Коротыш славит кровавую орлиную охоту, и соседи угощают его курятиной. Песни его правдивы и искренни, но, забравшись в гнездо, он шепотом оплакивает кур, уток, индеек, чьим мясом его угощали. Он говорит о радости быть в небе, о шуме волн под крыльями, но боится полетов, с утра до вечера разгребает лапами гранитную щебенку, ищет крохи пищи. Он все чаще задумывается, вглядывается в лежащую внизу долину, где расплылось по горному склону овечье стадо, где среди зелени видно белое озерцо – куриные толпы на птицеферме смерти.

Мать решила расспросить сына.

Больше всего допытывалась она, почему Коротыша печалит судьба кур.

Коротыш молчал.

– Ты молчишь, но мне кажется, я понимаю тебя: ты хочешь помочь им! Что ж! Значит, у тебя благородное сердце, сердце орла. Но мне твоя нелепая доброта и тревога о птицах долины смешна.

А отец добавил:

– Да, да, мама права, поступай по велению сердца. Сердце орла! Оно не подведет тебя. Но об одном прошу тебя! Научись летать! Я ведь немногого хочу от тебя и от твоих сестер.

Коротыш молчал.

Мог ли он признаться родителям, что каждый день на горных вершинах невыносим ему – его мучила одышка, ветер леденил ему лапы, близость пропасти вызывала головокружение, а при мысли о полете над бездной он обмирал.

Мог ли он объяснить им то, чего и сам до конца не понимал? Жизнь орлов, которую он

искренно прославлял, была ему отвратительна. А жизнь домашних птиц в долине, обреченных любить тех, кто сделал их бескрылыми, ужасала его и в то же время непреодолимо влекла. Ужасно брать корм из рук, что лишили жизни твоего отца, лишат и тебя жизни, убьют твоих внуков и правнуков. Он пел об этом словами гнева. Но сердцем он тянулся к жизни домашних птиц. Его томительно влекло к ним, ему снился покой насестов, шелковая россыпь пшена.

Он не мог объяснить этого чувства ни себе, ни отцу, ни матери.

В ясный осенний день орел и орлица улетели на охоту. Улетели и другие орлы, ушла в полет молодежь. На вершине горы остались лишь Коротыш и его сестры Марфа и Дарья.

Коротыш подозвал своих сестер и сказал:

– Теперь или никогда! Не отставайте от меня ни на шаг. Перед нами царство покоя и мира. Не теряйте из виду моего хвоста и красной шапки.

Он оглядел в последний раз горную высь, небо, глаза его наполнились печалью и стали влажными от слез.

Сестры, вскрикивая от страха и взмахивая крыльями, торопливо прыгая с камня на камень, бежали за братом.

Его красная шапка мелькала меж серых скал.

А орел и орлица, тщетно высматривая добычу, пилотировали над лесом и прибрежной полосой. Казалось, в этот день земля вымерла.

Только на птичьей ферме сотни птиц ходили в ограде, толпились, ожидая пищу, у кормушек.

Куриное стадо охраняли меткие стрелки, и орлы не решались нападать на птиц в ограде.

Орлица, летевшая следом за орлом, сказала:

– С завтрашнего дня дети начнут свои первые полеты. Так я решила!

– Внимание! – крикнул орел.

По горному склону в сторону птичьей фермы, помогая себе взмахами толстых, неловких крыльев, бежали две куры за молодым петухом.

В тот миг, когда орел готовился кинуться на добычу, орлица крикнула:

– Это Коротыш и девочки!

Сердце матери наполнилось светом. Ее милый сын, ее славный мальчик, еще не научившись летать, шел вниз, чтобы пожертвовать своей жизнью ради жалких птиц в долине.

– Мы должны помочь ему! – крикнула она. – Он ведь не слышал о людях с винтовками, а его молодое сердце не знает страха.

– Да, да, – сказал орел, – только теперь я понял нашего сына! Если мы погибнем, там, наверху, останутся песни свободы, которые пел Коротыш.

Они сложили крылья и не колеблясь ринулись вниз, в сторону грешной земли, и навстречу им ударил кинжальный огонь сторожевых винтовок.

СОБАКА

I

Ее детство было бесприютным и голодным, но детство самая счастливая пора жизни.

Особенно хороша была первая весна, майские дни за городом. Запах земли и молодой травы наполнял душу счастьем. Ощущение радости было пронзительным, прямо-таки невыносимым, ей иногда даже есть не хотелось от счастья. В голове и глазах весь день стоял зеленый теплый туман. Она припадала на передние лапы перед цветком одуванчика и отрывисто лаяла сердитым и счастливым детским голосом, приглашая цветок участвовать в беготне, сердясь, насмехаясь, удивляясь неподвижности его зеленой толстой ножки.

Потом, вдруг, она исступленно начинала рыть яму, и комья земли вылетали у нее из-под животика, ее пегие, черно-розовые ладошки и пальчики становились горячими, их обжигала каменистая земля. Мордочка ее при этом делалась озабоченной, словно она рыла себе убежище для спасения жизни, а не играла в игру.

Она была упитанной, с розовым пузом, с толстыми лапами, хотя ела она и в эту добрую пору мало. Казалось, она толстела от счастья, от радости быть живой.

А потом уж не стало легких детских дней. Мир наполнился октябрем и ноябрем, враждой и равнодушием, ледяным дождем, смешанным со снегом, грязью, осклизлыми, отвратительными объедками, они и голодной собаке казались тошными.

Но случалось и в ее бездомной жизни хорошее – жалостливый человеческий взгляд, ночевка возле горячей трубы, сахарная кость. Была в ее собачьей жизни и страсть, и собачья любовь, был свет материнства.

Она была безродной дворнягой, маленькой, кривоногой. Но она успешно преодолевала вражью силу, потому что любила жизнь и была очень умна. Лобастая дворняжка знала, откуда крадется беда, она знала, что смерть не шумит, не замахивается, не швыряет камней, не топает сапогами, а протягивает кусок хлеба и приближается вкрадчиво улыбаясь, держа за спиной мешковую сетку.

Она знала убойную силу грузовых и легковых машин, она точно знала различие их скоростей, умела терпеливо пережидать транспортный поток и стремительно пробегать мимо остановленных светофором автомобилей. Она знала всеокрушающую прямолинейную мощь электричек и их детскую беспомощность, неспособность подшибить мышь в полуметре от рельсового пути. Она различала рев, посвист, гул винтовых и реактивных самолетов, тархатенье вертолетов. Она знала запах газовых труб, умела распознавать тепло, идущее от скрытых в земле труб теплоцентралей. Она знала ритм работы автотранспорта, обслуживающего мусоропроводы, она знала способы проникать в мусорные контейнеры и урны, мгновенно отличала целлофановую обертку мясных полуфабрикатов, вощеную обертку трески, пломбира, морского окуня.

Черный электрокабель, вылезший из-под земли, внушал ей больше ужаса, чем гадюка, – однажды она коснулась мокрой лапой кабеля с нарушенной изоляцией.

Вероятно, объем технического опыта у этой собаки был больше, чем у бывалых, умных людей, живших за два-три века до нее.

Она была умна, мало того, она была образованна. Не накопи она опыта, соответствующего технике середины XX века, она бы погибла. Ведь случайно забредшие в город сельские собаки погибали сразу, прожив на городских улицах считанные часы.

Но для ее борьбы мало было технического опыта и знаний, необходимо было понимание сути жизни, нужна была жизненная мудрость.

Безыменная, лобастая дворняга знала, что в вечной перемене, в бродяжничестве основа ее существования.

Иногда сердобольный человек проявлял жалость к четвероногой страннице, подкармливал ее, устраивал ей ночлег на черной лестнице. Измена бродяжеству сулила гибель. Становясь оседлой, бродяжка связывалась с одним добрым человеческим сердцем и со ста злыми. А вскоре появлялась смерть с вкрадчивыми движениями, в одной руке она держала кусок хлеба, в другой мешковую сетку. Сто злых сердец сильнее одного доброго.

Люди считали, что собака-странница не способна на привязанность, что бродяжничество развратило ее.

Люди ошибались. Тяжелая жизнь не ожесточила бродячую собаку, но добро, жившее в ней, никому не было нужно.

2

Ее поймали ночью, когда она спала. Ее не убили, а отправили в институт. Ее выкупали в теплом, вонючем растворе, и блохи перестали ее мучить. Несколько дней она прожила в подвале, в клетке. Кормили ее хорошо, но ей не хотелось есть. Ее неотступно томило предчувствие смерти, она страдала без свободы. Только здесь, в клетке с мягкой подстилкой и вкусной едой в опрятной мисочке, она оценила счастье вольной жизни.

Ее раздражал глупый лай соседей. Ее долго осматривали люди в белых халатах, один из них, светлоглазый, худой, щелкнул ее по носу и потрепал по голове; вскоре ее перевели в тихое помещение.

Ей предстояло знакомство с наивысшим разделом техники двадцатого столетия, ее начали готовить к великому делу.

Она получила имя Пеструшки.

Вероятно, даже больным императорам и премьер-министрам не делали столько анализов. Светлоглазый, худой Алексей Георгиевич узнал все, что можно знать о сердце, легких, печени, газообмене, составе крови Пеструшки, об ее нервных реакциях и об ее желудочном соке.

Она понимала, что не уборщицы и лаборанты, не генералы в орденах хозяева ее жизни, смерти, свободы, ее последних мук.

Она понимала это, и сердце ее обратило свою нерастрченную любовь к Алексею Георгиевичу, и весь ужас ее прошлого и настоящего не мог ожесточить ее против него.

Она понимала, что уколы, punctии, головокружительные и тошнотные путешествия в центрифугах и виброкамерах, томящее ощущение невесомости, вдруг вливающееся в сознание, в передние лапы, в хвост, в грудь, в задние лапы, – все это шло от Алексея Георгиевича, хозяина.

Но практический разум ее оказался бессилён. Она ждала его, обретенного ею хозяина, томилась, когда его нет, радовалась его шагам, а когда он вечером уходил, ее карие глаза, казалось, увлажнялись слезами.

Обычно после утренней, особо тяжелой тренировки Алексей Георгиевич заходил в виварий – Пеструшка, высунув язык, тяжело дышала, положив лобастую голову на лапы, смотрела на него кротким взором.

Каким– то странным, непонятным образом этот, ставший хозяином ее жизни и судьбы, человек связывался у нее с ощущением весеннего зеленоватого тумана, с чувством воли.

Она смотрела на человека, обрекшего ее клетке и страданиям, и в сердце ее возникала надежда.

Алексей Георгиевич не сразу заметил, что Пеструшка вызывает у него жалостливое, сердобольное чувство, а не только обычный деловой, многоплановый интерес.

Как– то, глядя на подопытную собаку, он подумал, что обыденная для тысяч и тысяч птичниц, свиная привязанность к животным, которых они готовят к смертной, казни, – нелепа, безумна. И столь же безумны, нелепы были эти добрые собачьи глаза, этот влажный нос, доверчиво тычащийся в руку убийцы.

Шли дни, приближалось исполнение дела, к которому готовили Пеструшку. Она проходила испытания в просторной кабине – контейнере; сверхдальнее путешествие четвероногого предшествовало длительному и дальнему полету человека.

Алексей Георгиевич пользовался дружной нелюбовью своих подчиненных. Некоторые научные сотрудники сильно побаивались его – он был вспыльчив, случалось, принимал в отношении работников лаборатории жестокие дисциплинарные меры. Старшее начальство не любило его за склонность к тяжбам и злопамятность.

Дома он тоже не был легким человеком – у него часто болела голова, и тогда малейший шум раздражал его. Из-за недостатка кислот он страдал изжогой, и ему казалось, что кормят его не так, как нужно, что жена невнимательна к нему и тайно от него помогает своим многочисленным родственникам.

И с друзьями у него были не легкие отношения – он часто вспыхивал, подозревал друзей в равнодушии, завистливости. Поссорившись с другом, он страдал, потом начинал мириться, мучительно выяснял запутавшиеся отношения.

Но и к самому себе Алексей Георгиевич относился без обожания и восторга. Иногда он кисло бормотал: «Ох, и надоед же я всем, и прежде всего самому себе».

Кривоногая дворняга не участвовала в служебных интригах, не пренебрегала его здоровьем, не проявляла зависти.

Она, подобно Христу, платила ему добром за зло, любовью за страдания, что он приносил ей.

Он просматривал электрокардиограммы, данные о кровяном давлении и рефлексах, а на него преданно глядели карие собачьи глаза. Однажды он вслух стал объяснять ей, что подобные тренировки проходят и люди, им тоже нелегко; риск, предстоящий ей, конечно, больше того

риска, с которым столкнется человек, но ведь ее положение несравнимо с положением собаки Лайки, чья гибель была предрешена.

А однажды он сказал Пеструшке, что она первая за все время существования жизни на земном шаре увидит истинную космическую глубину. Ей выпала дивная судьба! Вторгнуться в мировое пространство, стать первым посланником свободного разума во Вселенной.

Ему казалось, что собака понимает его.

Она была необычайно умна, по-своему, по-собачьи, конечно. Лаборанты и служители шутили: «Наша Пеструшка сдала техминимум». Она легко существовала среди научной аппаратуры, казалось, понимала принципы приборов и потому так поворотливо ориентировалась в мире клемм, зажимов, экранов, электронных ламп, автоматических кормушек.

Алексей Георгиевич как никто умел высосать, выжать совокупную картину жизнедеятельности организма, летящего за тысячи километров от земных лабораторий в пустом пространстве.

Он был одним из основателей новой науки – космической биологии. Но на этот раз его не увлекала сложность задачи. С кривоногой Пеструшкой все получалось не по-обычному.

Он всматривался в глаза собаки. Эти добрые собачьи глаза, а не глаза Нильса Бора первыми увидят мировое пространство, не ограниченное земным горизонтом. Пространство, в котором нет ветра, одна лишь сила тяготения, пространство, в котором нет облаков, ласточек, дождя, пространство фотонов и электромагнитных волн.

И Алексею Георгиевичу казалось, что глаза Пеструшки перескажут ему, что видели. Он прочтет, он поймет самую тайную из кардиограмм, сокровенную кардиограмму мироздания.

Казалось, собака инстинктом ощущала, что человек приобщил ее к самому большому, что происходило на земле за все времена истории, предоставил ей великое первенство.

Начальники и подчиненные Алексея Георгиевича, его домашние и друзья замечали в нем странные изменения – никогда он не был таким уступчивым, мягким, грустным.

Новый опыт будет особым. Различие его от предыдущих не только в том, что космический снаряд пренебрежет круговой орбитой, врежется в пространство, уйдет от земли на сотню тысяч километров.

Главным в новом опыте будет то, что животное вторгнется в космос своей психикой. Нет! Обратное! Космос вторгнется в психику живого существа. Тут дело уже не в перегрузке, не в вибрациях, не в ощущении невесомости.

Вот перед этими глазами земная прямизна начнет искривляться, глаза животного подтвердят прозрение Коперника. Шар! Геоид! И дальше, дальше... Омоложенное солнце, сбросив два миллиарда лет, встанет из черного простора перед глазами криволапой сучки. В оранжевом, сиреневом, фиолетовом пламени уйдет земной горизонт. Дивный шар в снегах и горячих песках, полный чудной, беспокойной жизни уплывет не только из-под ног, ускользнет из жизненного ощущения животного. И тогда звезды обретут телесность, обрастут термоядерным мясом, горящим и светящимся веществом.

В психику живого существа вторгнется царство, не прикрытое земным теплом, мягкостью кучевых облаков, влажной силой флогистона. Впервые живые глаза увидят безвоздушную бездну, пространство Канта, пространство Эйнштейна, пространство философов, астрономов и математиков не в умозрении, не в формуле, а таким, какое оно есть, без гор и деревьев, высотных зданий и деревенских изб.

Окружавшие Алексея Георгиевича люди не понимали того, что происходит с ним.

Ему казалось, что он открывает новое познание, выше того, что рождается в дифференциальных уравнениях и показаниях приборов. Новое познание шло от души к душе, от живых глаз к живым глазам. И все то, что волновало его, сердило, вызывало его подозрения и злобу, перестало значить.

Ему казалось: новое качество готовилось войти в жизнь земных существ, обогатить и возвысить ее, и в этом новом было прощение и оправдание Алексея Георгиевича.

3

И вот полет совершился.

Животное ушло в прорубь пространства. Иллюминаторы и экраны были устроены так, что животное, куда бы ни поворачивалась его голова, видело одно лишь пространство, теряло ощущение земной привычности. Вселенная вторгалась в мозг собаки, сучки.

Алексей Георгиевич был убежден, что связь его с Пеструшкой не порывается, он ощущал ее и когда корабль был отдален от земли на сто тысяч километров. И дело тут не в телеметрии и не в радио-автоматике, регистрировавших бешеное ускорение пульса Пеструшки, прыжки ее кровяного давления.

Лаборант Апрестьян утром доложил Алексею Георгиевичу:

– Она выла, долго выла, – и добавил негромко: – Жутко, во Вселенной воет одинокая собака.

Приборы сработали с идеальной, прямо-таки фантастической точностью. Ушедшая в пространство песчинка нашла путь к земле-песчинке, породившей ее. Тормозные устройства сработали безотказно, контейнер приземлился на заданной точке земной поверхности.

Лаборант Апрестьян, улыбаясь, сказал Алексею Георгиевичу:

– Удары неких космических частиц перестроят Пеструшкины гены, и щенки у нее пойдут с выдающимися способностями в области высшей алгебры и симфонической музыки. Кобельки, внуки нашей Пеструшки, будут создавать сонаты не хуже бетховенских, конструировать кибернетические машины – новых Фаустов.

Алексей Георгиевич ничего не сказал шутнику Апрестьяну.

Алексей Георгиевич сам поехал к месту приземления космического контейнера. Он должен был первым увидеть Пеструшку. Его заместители и помощники на этот раз не могли заменить его.

Они встретились так, как хотел того Алексей Георгиевич.

Она бросилась к нему, робко повиливая кончиком опущенного хвоста.

Он долго не мог увидеть глаз, вобравших в себя мироздание. Собака лизала его руки в знак своей покорности, в знак вечного отказа от жизни свободной странницы, в знак примирения со всем, что есть и будет.

Наконец, он увидел ее глаза – туманные, непроницаемые глаза убогого существа с помутившимся разумом и покорным любящим сердцем.

ОБВАЛ

Операция и облучение радиевой пушкой не спасли Ксению Александровну. Метастазы образовались в печени и в желудке, и старая женщина в муках умирала. Лишь в последние часы жизни она потеряла сознание. Но когда одна из племянниц негромко спросила, приложить ли к ногам умирающей грелку, Ксения Александровна произнесла:

– Не надо.

Находившиеся у постели переглянулись: значит, беспамятство умирающей было кажущимся.

Родные переглянулись и потому, что подумали о своих разговорах в комнате умиравшей.

Тяжело дышавшая, с укатившимися под верхние веки глазами, с обострившимся бледным носом, Ксения Александровна, казалось, уж ничего не слышит, ушла в тот туман, где нет ни дорог, ни тропинок к другим людям, одна лишь глухая вечность...

Студентка Ира сказала:

– У тети Ксении удивительный характер: она была скупой и одновременно доброй.

Потом они говорили о делах житейских. Ксения Александровна прожила долгую, почти семидесятилетнюю жизнь, пережила трех мужей, жила экономно, берегла каждую тряпочку, старые костюмы, обувь...

Старшая племянница, Леночка, инженер, работавшая на заводе, растившая двух детей, сказала:

– В комиссионные ношенных вещей не принимают, говорят, на Преображенском рынке есть палатка, где берут старое барахло.

Сестра Ксении Александровны, Варвара Александровна, мать Иры, вздохнула от бестактных слов Леночки и проговорила:

– Ксения меня всегда упрекала за непрактичность и транжирство, – и задумчиво добавила: – Странно, она вдруг дней десять тому назад достала из комода и надела какие-то дешевенькие бусы, я говорю: «Сними, они беспокоят тебя». – «Нет, – говорит, – пусть на мне будут». А я их никогда не видела на ней и не помню их совершенно... Кто бы это ей подарил их?

Ира посмотрела на умирающую и сказала:

– Слезы текут у тети по щекам, точно она сознает...

– Какое уж сознает, – сказала Лена, – это непроизвольно, как она мучилась все эти дни, бедная. Скорей бы конец, столько мучений, а мой Ваня с детьми один справляется.

Ксения Александровна удалилась в прошедшее время, о ней говорили: «была», а она дышала тяжело и шумно, и чувствовалось, что дыхание для нее непосильная работа.

Лицо ее похудело за дни болезни и потому помолодело, напоминало Варваре Александровне ту большеглазую девушку, которую считали самой красивой в семье, в гимназии, в Самаре.

Варвара Александровна заплаканными глазами смотрела на шкафы, на картины, на горку с посудой и подумала, что, вероятно, Ксения ни в одном из своих трех замужеств не была счастлива.

Как– то по-новому видела Варвара Александровна комнату сестры, –с каждым часом рвалась связь между Ксенией и Ксениными вещами, таяла ее безраздельная власть над ними. И Варвара Александровна, плача о сестре, не могла отделаться от беспокойных мыслей. Завещание, сделанное сестрой, давало Варваре Александровне право по своему усмотрению делить наследство между родственниками. И хотя Варвара Александровна гордилась тем, что без всякой жадности, в ущерб себе разделит наследство, она стыдилась того, что мысли об этом справедливом разделе не оставляли ее, и тогда она склонялась над умирающей.

Ее кольнули слова Лены о старых, ношенных вещах.

Видимо, Лена была чем-то недовольна.

Лена была известна в семье своей практичностью, а в суждениях отличалась прямоотой и даже некоторым цинизмом.

Ей прощали это – уж очень тяжелой жизнью жила она: всегда в денежных недостатках, работая на заводе с восьми утра, а дома, в жестокой девятиметровой тесноте, занятая до ночи готовкой обеда, стиркой, шитьем. А муж ее, Ваня, зарабатывал мало и имел пристрастие к пиву и портвейну.

Но на этот раз она не высказала своей раздраженной мысли.

И вот на слова Иры о грелке умирающая произнесла: «Не надо»...

Она уж не могла делить с людьми свои мысли и чувства, а в ее душе, мозге продолжались боль, страх, воспоминания... Вот так же засыпанный обвалом шахтер царапает ногтями камень, зовет, но никто в мире не слышит его. Неужели она слышала, как молодой врач с широким, мясистым лицом негромко и раздраженно сказал:

– Вопрос часов, больше вызовов не делайте, это бесполезно.

Всю жизнь, со школьных лет, Ксения Александровна удивлялась беспечности младшей сестры; поражалась безрассудности ее увлечений – почти сорокалетней женщиной Варвара Александровна покинула мужа, известного ученого, ради полюбившего ее никчемного и неудачливого женатого человека, прихватив грудную Ирочку, ушла в комнату-клетушку, в деревянном домике, в московском загороде...

Ксения никогда не упрекала сестру за этот безумный шаг, но Варвара Александровна понимала свой грех – она, измученная, вернулась домой, и муж, Ирин отец, сам измученный и исстрадавшийся, простил ее и ни в чем ни разу не упрекнул.

А Ксения Александровна умела подавлять свои сердечные порывы, поступать в жизни разумно и обдуманно, но в то же время честно и самоотверженно. Первый муж ее, знаменитый московский юрист, был арестован через четыре месяца после того, как они поженились. Она двенадцать лет ждала его, ездила к нему в лагерь и вышла вторично замуж лишь после его смерти. А ведь она его не любила, и был он старше ее на семнадцать лет.

По щекам ее текли слезы, а грудь трудно дышала, и на лице ее было ужасное выражение жизни и смерти, и Варвара Александровна, сжимая пальцы, исступленно повторяла:

– Ксенюшка, Ксения, почему ты плачешь, ну скажи мне, скажи...

Но умирающая уж не произнесла ни слова, лишь хрипела.

– Ксенюшка, Ксения, почему ты плачешь...

Она была странная натура – необычайно разговорчивая, ее считали болтливой, и в детстве папа звал ее сорокой, одновременно ее отличала ужасная скрытность, ведь ни разу в жизни она ни с кем из близких не говорила о том, что происходит у нее на сердце. Все три замужества ее были разумны, она выходила за людей старше себя, за людей обеспеченных, очень образованных, с положением в жизни. Но была ли она счастлива со своими мужьями? Они были людьми разными, но все они не пили, не курили, не ходили в гости и в театры, были бережливы, и все они, как и Ксения Александровна, любили красивые, изящные вещи. Может быть, они поэтому и влюблялись в Ксению Александровну – она ведь была очень красива и, даже растолстев и поседев, сохранила очарование. Ее изящная седая голова так гармонировала с красивыми предметами, окружавшими ее.

– Ксенюшка, Ксения, почему ты плачешь...

И так странно среди фарфора, хрусталя выглядели аптечные склянки, надломленные пантопонные ампулы, рваная марля, клочья ваты и жалкие дешевенькие бусы на груди Ксении Александровны.

И умирая, Ксения Александровна не нарушила свою скрытность – сестра не знала, почему слезы текут по ее щекам, почему надела она перед смертью эти жалкие, стеклянные бусы... Плакала ли она в свой смертный час о том, что прожила жизнь без счастья? Или она плакала от боли, так стонет, скрипит, льет сок и смолу и слезы сломанное, падающее дерево?

Об этом никто не узнал.

В четыре часа десять минут она перестала дышать. Робко, едва-едва заметно на измученном лице из бездны страдания всплыла улыбка. Впервые за много недель на лице мученицы появилось выражение покоя. Смерть осушила ее слезы. Не стало в ее душе сожалений и страданий. Не стало ее души. Не стало ее разума. Не стало ее памяти о прошлом. Не стало страха перед будущим и надежды на будущее. Наступила тишина, отсутствие тепла, холода...

Так поразительно, так странно – ведь самое маленькое, крошечное событие связано с действием. Божья коровка всползла на травинку, травинка вздрогнула, качнулась. Листочек зашевелился, подул крошечный ветерок, камушек упал на землю, и человек оглянулся: «А, камушек упал на землю». Но в тишине совершается огромное событие смерти, – рушится необъятная вселенная, обваливается небесный свод, рассыпаются горы, расторгается земля, и ни ветерка, ни шороха. Так странно: сотни высоких парусов при дивном безветрии упруго наполнились, и жизнь ушла, растворилась в просторе океана, и нет на соленой воде следа ее, и нет ветерка, и в то же время кричат птицы, галдят дети, стучит маятник, бежит секундная стрелка, мухи жужжат на стекле, и вот дребезжит стекло, подрагивают стены: под землей тяжело мчится поезд метро...

И все, все как прежде – и кольцо с изумрудом возле золотых часиков, и бедные бусы на груди мертвой старухи.

Варвара Александровна не заплакала, вглядывалась в затаившую дыхание сестру. Дочь и племянница молча глядели на Варвару Александровну... О чем думала она, что чувствовала, глядя на переставшую дышать седую старуху, которую так ясно, точно это было вчера, помнила девочкой?... Смерть огромна, как жизнь.

Многим страшна смерть, страшна она и тем, что делает ясной жизнь, без тумана и путаницы, всю от прозрачного младенческого ключика до мутного, горького, соленого устья. Изнемогая от непосильного, озарившего ее разумения, Варвара Александровна громко проговорила:

– Отмучилась Ксения.

Жизнь, боясь, что смерть разъяснит ее спасительную, туманную неразбериху, отвлекала сердца и мысли десятками суетливых дел и тревог.

Вызов врача для получения справки о смерти, вызов специалиста по замораживанию, поездка в загс для регистрации смерти, покупка гроба, венка, живых цветов, хлопоты о кладбищенском месте, звонки близким.

И все, кто имел отношение к бумаге, дереву, земле, сопутствующим уходу умершего из своего дома в могилу, каждым движением, взглядом стремились объяснить, что смерть проста, плоска, как и жизнь. Это успокаивало, отвлекало, и все хотели побольше суеты, разговоров, телефонного звона.

Вечером приехал брат покойной, отец Лены, Сергей Александрович со своим младшим сыном Костей.

Сергей Александрович посмотрел на застывшее тело, прикрытое кисеей, всхлипнул, забормотал, зацепился ногой за стул, потом подошел к Варваре Александровне, обнял ее, и оба они заплакали. Костя нахмурился, засопел. Лена, которая не боялась сказать живым любую грубость, но боялась покойников, глядела в темное ночное окно, а студентка Ира, полуоткрыв бледные губы, неотступно смотрела на лицо умершей. О, теперь уже видно было, что смерть, а не жизнь хозяйка этого лица...

Казалось, именно в эти минуты и придет разумение жизни Ксении Александровны, но послышался звонок, и в комнату вошла женщина с накрашенными губами, быстрыми карими глазами оглядела покойницу и существующих, оглядела предметы и сказала:

– Такая вещь: я, как техник-смотритель, обязана комнату опечатать. Дела с похоронами и наследством закругляйте к этому сроку. Тут вещей столько, что вам днем и ночью придется работать.

Грубость техника-смотрителя всех возмутила, но втайне все почувствовали благодарность к ней – ее грубость спасительно отвлекала от понимания жизни через смерть.

Вещей было много, а времени мало. Все были связаны со службой, а Ира с институтом, потому решили, не дожидаясь похорон, начать разбор вещей, надо было также организовать перевозку на дачу к знакомым мебели; Леночка уверяла, что комиссионные мебельные магазины забиты красным деревом, отказываются принимать старинную мебель на комиссию.

Но долго, долго, не приступая к делу, все сидели у постели умершей, всхлипывали, молчали, снова всхлипывали, вполголоса произносили несколько слов, вновь замолкали.

– Ну что ж, ничего не поделаешь, – наконец произнесла Варвара Александровна.

– Да, да, – сказала Леночка. – Если вот так бросить все, в этом будет неуважение к тете Ксении, она ведь так любила, так берегла все эти вещи.

Вот и началось...

Ксения Александровна неподвижно лежала на постели, а вокруг нее были шум и движение, отрывочные разговоры.

Леночка, снимая со шкафа большую картонку, сказала что-то вполголоса Косте, и тот рассмеялся.

Варвара Александровна испуганно проговорила:

– Костя, Костя, бог с тобой.

Костя смутился, оглянулся на покойницу.

Лена помахала в воздухе дамской шляпой с огромным страусовым пером, проговорила:

– И моды же были, и для чего только тетя хранила это древнее барахло.

Варвара Александровна по-своему, по-особому разглядывала дореволюционные форменные мужские фуражки, с блестящими, точно лишь вчера купленными, козырьками, фарфор, пыльные банки с многолетним, окаменевшим вареньем, бриллиантовые кольца, золотые часы.

Все это было для нее живые свидетели жизни сестры... Вот эта шляпа с пером принадлежала покойной маме, – сколько десятилетий Варвара Александровна не видела ее и тотчас же, с первого взгляда, узнала...

Боже мой, боже мой, но для чего Ксения собирала, хранила все это старье, – до потолка высятся чемоданы, прикрытые коврами и портьерами, завалы вещей в шкафах, под письменным столом. Десятилетиями бережливая, расчетливая и ласковая Ксения хранила эти вещи, волновалась, когда выезжала на дачу, не заберутся ли воры. Лена выкладывала из шкафа на пол стопки дорогого белья, скатертей, полотенец... А Ксения жалела льняное полотно, покупала дешевые хлопчатобумажные полотенчики и скатерки...

А сколько всего погибло: вот новые мужские, неношеные костюмы с коленями, изъеденными молью, пиджаки английского сукна с зияющими дырами на спине.

Молодежь уже в четвертый раз выносила на мусорный ящик большие тюки тряпья, которое не возьмет ни «скупка», ни самые маломощные старушки.

А тут же, рядом со старым, траченным молью тряпьем, кольца с прелестными бриллиантами, жемчуг, хрусталь, фарфор...

Ксения почти никогда не надевала этих драгоценностей – боялась, что соседи позавидуют, сглазят, воры обокрадут.

И хотя Варвара Александровна понимала, что это нехорошо, она сказала:

– Да посмотрите вы, какая прелесть колечко.

Она сказала брату:

– Сережа, да взгляни хоть, уставился в книгу...

Сергею Александровичу, чья непрактичность и отрешенность от житейских дел стала предметом семейных добродушных насмешек, поручили рассматривать книги – те, что следует взять себе, те, что пойдут к букинистам, те, что отправятся на свалку. Дело у него не пошло, он взял в руки книгу, вытер влажные глаза, увлекся, стал читать, зачитался...

Пыль, поднятая со старых, лежащих за шкафом вещей, запах лекарств, папиросного дыма, лицо умершей – все было так страшно и странно, так несоединимо с тем, чем до этого дня жила студентка Ира.

Все, чему посвятила Ксения Александровна свою жизнь, ушло от нее, расставалось с ней, навеки уходило от нее в комиссионные магазины, чужие шкафы, в ящики безвестных столов,

в мусорные контейнеры и на склады вторичного сырья, бессмысленно и ненужно пролежав десятилетия в этой комнате, что через день-два займут неизвестные люди. Все, чему посвятила она свою жизнь, равнодушно отвернулось от нее, изменило ей, словно она и не жила на свете... Никаких следов ее жизни, ее души не осталось на этих вазах, кольцах, бокалах... Оботрут их мокрой тряпкой – и все. И никому не будет дела до Ксении Александровны, ее жизни и смерти.

Одно лишь стеклянное ожерелье оставалось с Ксенией Александровной, не изменило ей, не уходило от нее, собиралось сопутствовать ей в огонь крематория и в тишину могилы... Оно уходило с ней – грустное напоминание о том, что когда-то она ради благоразумия и покоя отвернулась от счастья...

Сколько превосходства было в насмешливой брезгливости Леночки, выносившей на свалку не имеющее ценности барахло, которому тетя отдала жизнь. Как мудр по сравнению с умершей старухой был Костя – молодой инженер, перворазрядник-альпинист, когда, волоча на мусорный ящик узлы лоскутов, грубо говорил:

– Ох и барахольщицей была тетя Ксения.

Какой невысказанный укор был в глазах Ириной мамы – Ксения была так бережлива, расчетлива, а ведь так просто и легко могла бы она помочь сестре, брату, племянникам в тяжелые дни нужды, к чему же было жалеть все эти вещи, не делаясь с близкими, скрывая их от близких.

И дядя Сережа, цеховой экономист, робкий, стеснительный книжник, всем своим видом показывал равнодушие к тому миру, которому тетя Ксения отдала свою жизнь.

Характеры и склонности трех мужей Ксении Александровны были запечатлены в тех вещах, что остались в ее комнате. И словно палеонтологи, восстанавливающие картины жизни прошедших эпох, родные, разбиравшие вещи, вскрывая все более древние геологические пласты, восстанавливали жизнь, шедшую в эти давние времена.

Третий муж Ксении Александровны, умерший восемь лет тому назад от разрыва сердца, был профессором-искусствоведом – от него остались книги, альбомы репродукций, две картины – пейзаж Федора Васильева и великолепный женский портрет, написанный неизвестным в России итальянским мастером. Второй муж Ксении Александровны, главный инженер номерного КБ, погибший при автомобильной катастрофе, был охотником и любителем фотографии – в нижних ящиках столов и комодов лежали фотоаппараты, охотничьи складные ножи, за портьерой висело в кожаном футляре ружье Перде.

А ее первый муж, умерший в лагере, коллекционировал фарфор, посуду, золотые хронометры, редкие монеты.

Ира видела, что безысходность и тоска не только в полной ненужности старого барахла, которое она вместе с Леной и Костей выносила на мусорный ящик.

Она ощутила раздражение Леночки, едва Костя сказал:

– «Лейку» я хочу взять себе.

Леночка сказала:

– Костенька, почему же именно ты, ведь ты знаешь, что Ваня давно мечтает о таком аппарате.

Костя усмехнулся, с предупредительностью произнес:

– Пожалуйста, пожалуйста... – и не стал спорить с Леной.

Но что с того, что Костя не поспорил с Леной, – Ира ясно ощутила напряженность, возникшую между близкими людьми.

Да уж, казалось, чем проявлять друг к другу фальшивую предупредительность, лучше бы все вслух перессорились.

Мама говорила одни лишь трогательные слова, мама от всего отказывалась, благородно все отдавала дяде Сереже, Лене, ее мужу Ване, альпинисту Косте, но никогда у мамы не было такой неправды в глазах и такого фальшивого голоса. И даже когда мама отходила от стола и стояла около тети Ксении, молча смотрела на нее, Ире казалось, что поза у мамы какая-то чрезмерно красиво печальная, театральная, и, когда мама плакала, Ира начинала стыдиться и не верила ей.

А ведь когда мама ушла от папы, маленькая Ира ничуть не стыдилась того, что соседки шушукались, смеялись, жутко сплетничали.

И в то же время Ира раздражалась на мать за то, что та отказывалась от вещей, что тускло и ярко поблескивали при свете электричества: ведь видно было, что нравятся они Варваре Александровне. И ведь Ире они нравились. И даже заплакать с досады ей хотелось. Почему это считается, что она должна ходить в лыжных штанах, заниматься спортом и носить колечко, купленное за три рубля в универмаге?

Дядя Сережа сказал маме:

– Ну, знаешь, Варюша, ты, очевидно, забыла, что я всю жизнь прожил в безысходной нужде, думал не только о своем счастье, как ты.

Дядя произнес эти слова с несвойственным ему раздражением.

Мама, растерявшись, сказала:

– Сережа, как же ты можешь...

Дядя Сережа сказал:

– Что ты, что ты, прости меня, это нервы, нервы.

Мама сказала:

– Нет, нет, нет, будет именно так, как ты хочешь.

А спустя некоторое время, когда Ира и мама вышли на

кухню, мама сказала:

– Неужели именно в этот ужасный день мне было суждено услышать такой жестокий упрек от Сережи?

Но и в эти минуты мама не была той, для которой Ира была готова жизнь отдать, с которой сидеть в воскресенье дома было приятней и веселей, чем ходить в загородные походы.

Ира подумала: «А ведь дядя прав, мама думает о себе, а говорит, что думает обо всех, только не о себе».

И чувство обиды охватило девушку: почему не подумает Варвара Александровна о том, что Ире хочется иметь кольцо с настоящим, а не со стеклянным камнем?

Большая, светлая, нарядная комната, куда Ира приходила ребенком, сейчас была такой угрюмой, неопрятной, нехорошей, полной пыли, нафталинового запаха... столы с выдвинутыми ящиками... распахнутые дверцы шкафов... белье, одежда, шубы, лежащие на стульях и на полу... и мысли были нехорошие, стыдные, неловкие, необычные.

Какая долгая это была ночь.

Новый едва уловимый запах шел от мертвой Ксении Александровны. Она лежала, полная смерти, среди разоренной комнаты, и стеклянные бусы были вокруг ее старенькой, мертвой шеи; с ней осталось лишь то, что не было ее жизнью, а то, что было ее жизнью, вышло из ящиков, комодов, шкафов и уходило от нее в мусорные ямы, в чужие столы и шкафы... И даже ее лицо уже не было ее лицом.

И то, что осталось от ее жизни и уходило к ее родным, не объединяло их в круг любви и близости. Казалось, не только лицо мертвой стало иным, и лица живых в эту ночь стали измененными, новыми.

О чем бы ни думала Ира, все вызывало у нее стыд – и жизнь в замужестве, и родной дом, и дети, которым надо посвятить все свое время, а они превращаются в ничтожных, мелочных взрослых... и неожиданные плохие, продажные мысли о красивых вещах.

Казалось, что эта ночь никогда не кончится, что уж всегда все вокруг будет темным и серым.

Рано утром Ира пошла в институт.

Осеннее солнце светило в холодном и ясном небе, затянутые ледком лужи и покрытые инеем деревья казались звонкими, светлыми.

В этот ранний час людей и машин на улице было мало. По противоположной стороне улицы торопливо шел молодой человек в резиновом плаще, без шапки и насвистывал песенку тореадора из «Кармен».

Шагавший рядом с Ирой человек в кашне и меховой шапке, видимо, услышал посвистывание и неумело стал подпевать молодому человеку без шапки.

Ира увидела, как два человека, идущих по противоположным тротуарам, одновременно поглядели друг на друга, ощутив связь, что возникла между ними.

Ира подумала: «Вот как легко делится наследство Бизе».

1963

В КИСЛОВОДСКЕ

Николай Викторович уже собирался домой, снял халат, когда запыхавшаяся Анна Аристарховна, знаменитая тем, что у нее в саду росла лучшая в городе клубника, сказала:

– Николай Викторович, полковник на машине к нам приехал.

– Что ж, полковник так полковник, – сказал Николай Викторович и снова стал натягивать халат.

Он знал, что восхищение на лице Анны Аристарховны обращено к его позевывающему спокойствию. А ведь он был испуган и взволнован не меньше Анны Аристарховны приездом полковника. Да и в театр он собирался с женой, как бы не опоздать.

Но так уж велось, что ему приходилось в присутствии женщин казаться лучше, чем он был на самом деле. Всю жизнь он нравился женщинам и из деликатности, да и жалко было ореола, не показывал им, что многие черты его не соответствовали его внешности.

Да и в самом деле, уже седой, он все же был красив – стройный, высокий, легкий в движениях, всегда со вкусом одетый, с тонким красивым лицом, с тем выражением, которое портретисты стремятся придать призванным украсив этот мир великим людям.

Женщины влюблялись в него, и им в голову не приходило, что Николай Викторович вовсе не походил на свою внешность, был совершенно обычным человеком, равнодушным к мировым проблемам, несведущим в литературе и музыке, человеком, обожавшим элегантную одежду, комфорт и массивные, шафранно-желтые перстни с вчekanенными в них крупными драгоценными камнями, а врачебную работу свою не очень любил, ему нравилось вкусно ужинать в ресторанах, ездить в отпуск в Москву в международном вагоне, появляться со своей Еленой Петровной, такой же красивой, высокой и элегантной, как и он, в театральном партере, ловить восхищенные взгляды: «Вот это пара!»

Он из тяги к светской жизни и фатовства, из житейских соображений не стал работать в университетской клинике, а сделался главным врачом пышного правительственного кисловодского санатория. Конечно, научной работы он не вел, но до чего же приятно было шагать под мраморными колоннами, окруженным медицинским офицерством и с фатовским шиком одновременно почтительно и небрежно раскланиваться с знакомыми людьми, хозяевами государства...

Его любимым героем был Атос из «Трех мушкетеров». «Эта книга – моя библия», – говорил он друзьям.

В молодые годы он по крупной играл в покер и считался знатоком скаковых лошадей. А бывая в Москве, он иногда звонил своим знатным пациентам, чьи имена значились в истории партии, а портреты печатались в «Правде», и его тешило, что они любезны с ним.

Из любви к своему удобному сафьяновому креслу, к роскошной и удобной мебели он, устрасясь бесприютства теплушек, дымящих печурок, жестяных чайников с кипятком, не уехал в эвакуацию, когда к Кисловодску стали приближаться механизированные и горноегерские части германского вермахта.

И Елена Петровна так же, как и он, не испытывая к немцам никаких симпатий, одобрила его решение. Она, как и он, очень любила драгоценные инкрустированные старинные столы и диваны красного дерева, фарфор, хрусталь, ковры.

Елена Петровна любила заграничные наряды, и особенно приятны были ей те, что вызывали зависть знакомых женщин, жен высокопоставленных советских деятелей. А она, надевая невиданные среди дам текстильные раритеты, делала скромное, утомленное лицо, безразличное к суете и мишуре...

Когда Николай Викторович увидел на улице Кисловодска немецкую моторизованную разведку, его охватили тоска и смятение. Лица немецких солдат, их боевые рогатые автоматы, шлемы со свастикой казались омерзительными, невыносимыми.

Впервые, пожалуй, в жизни он провел бессонную ночь... Бог с ними, с павловским секретером и с текинскими коврами, он, видимо, поступил легкомысленно, не уехав в эвакуацию.

Ему всю ночь вспоминался товарищ детства Володя Гладецкий, ушедшей добровольцем на гражданскую войну...

Гладецкий, худой, со впалыми бледными щеками, в стареньком пальтеце, подпоясанном ремнем, прихрамывая, шел по улице в сторону вокзала, а за спиной его оставалось все, что он любил и что было так дорого ему: дом, жена, сыновья. Долгие годы не виделись они, но отголоски судьбы Гладецкого доходили до Николая Викторовича.

В эту ночь он словно видел две дороги – свою и Гладецкого. Как разны были они!

Гладецкий при царизме был исключен из последнего класса гимназии, потом был выслан, потом возвращен на родину. Когда началась война 1914 года, он был взят в армию и к концу 1915 года, после ранения, вернулся домой... И всегда его большевистская душа была сильнее его житейских привязанностей, и так случалось, что все суровое, кровавое в жизни страны и народа становилось его жизнью и судьбой...

А Николай Викторович не участвовал в большевистском подполье, не подвергался преследованию со стороны полиции, не вел в атаку батальон на колчаковском фронте, не был в 1921 году, как Гладецкий, опродкомгубом, не громил с окровавленной душой, стиснув зубы, своих друзей юности, левых и правых оппозиционеров, не проводил бессонных ночей на великой уральской стройке, не мчался с докладом в ночной, залитый белым электричеством кремлевский кабинет...

Николай Викторович с помощью знакомств освободился от мобилизации в Первую Конную армию, он учился на медицинском факультете, сходил с ума по красивой Лене Ксенофонтовой, ставшей впоследствии его женой, ездил в деревню, где менял семейные шубы, пальто, отцовские охотничьи сапоги на муку, сало, мед, – поддерживал этим свою мать и старуху тетку... В романтические годы великой бури он жил совсем не романтично – правда, иногда вместе с салом и медом он привозил из деревни самогон, и тогда устраивались при свете масляных каганцов вечеринки с пением, танцами, шарадами, поцелуями в морозных кухнях и темных прихожих, а из-за окон завешенных одеялами, слышались выстрелы, тяжелый топот сапог...

Страна жила своей жизнью, а жизнь Николая Викторовича не совпадала с грозой, бедой, трудом, войной... И случалось так, что в дни побед на фронтах и стройках его охватывало отчаянье: женщина отвергла его, а грозный, страшный народный год был для него годом света и любви...

И вот он стоял у темного окна своей комнаты и прислушивался к военному шуму – скрежету танковых гусениц, гортанным окрикам команды, вглядывался в огоньки электрических унтер-офицерских фонариков.

...За год до войны в приезжавшем в санаторий седом, морщинистом, измученном человеке, с оливковыми мешками под глазами, Николай Викторович узнал своего гимназического друга – Володю Гладецкого...

Странная это была встреча – они обрадовались и насторожились, их тянуло друг к другу и отталкивало друг от друга, они хотели откровенных разговоров и боялись этих разговоров, детское, школьное доверие вдруг возникало в них, словно вернулось время, когда они доверительно перешептывались в мужской уборной о школьных злодеяниях, и в то же время бездна лежала между Николаем Викторовичем и больным парработником.

В каждый сезон в санатории лечился какой-нибудь знаменитый человек, о чьем приезде сообщали заранее из Москвы, к чьему приезду освобождали роскошную комнату и после отъезда которого сотрудники говорили: «Это было в тот год, когда у нас жил Буденный».

В предвоенный год таким человеком был старый большевик, знаменитый академик, друг Ленина, тот самый Савва Феофилович, что в юности сочинил, сидя в каторжном центре, прекрасную революционную песню...

С ним встречался Гладецкий – они вместе гуляли и проводили вечера, а иногда, когда старику нездоровилось, им приносили обед в комнату Саввы Феофиловича.

Как– то Савва Феофилович и Гладецкий гуляли по парку, столкнулись с Николаем Викторовичем. Они присели на скамейку под кустами лавра. Николай Викторович испытывал привычное и всегда странное, томящее одновременно милое чувство, соединявшее силу первого врача санатория, имевшего право без доклада входить в любое больное вельможное сердце, и одновременно удивления оттого, что он сидит рядом с большеголовым, седым и лысым плотным стариком, чья большая белая рука много раз пожимала руку Ленина.

Гладецкий сказал:

– Ведь мы с Николаем Викторовичем товарищи по гимназии, и знаете, Савва Феофилович, у нас с ним было столкновение, связанное с вами.

Старик удивился, и Гладецкий рассказал забытый Николаем Викторовичем случай: в стародавние гимназические времена Гладецкий позвал Николая Викторовича на собрание кружка, где должны были разучиваться революционные песни. Когда Гладецкий спросил Николая Викторовича, почему он не пришел, – тот ответил, что его пригласили на именины к знакомой гимназистке. На этом, кажется, закончилась его конспиративная деятельность.

Песню эту, ставшую знаменитой, написал в тюрьме Савва Феофилович.

Старик добродушно рассмеялся, сказал:

– Года за два, говорите, до войны это было? Я в это время сидел в Варшавской цитадели.

А при очередном медицинском осмотре Николай Викторович сказал Гладецкому:

– Удивительно – у Саввы Феофиловича сердце лучше, моложе, чем у многих молодых. Чище тона!

И Гладецкий вдруг заговорил искренне, с давней гимназической доверительностью:

– Ведь он сверхчеловек, у него сверхсила! И, поверь мне, она не в том, что он вытерпел Орловский централ, и Варшавскую цитадель, и голодное подполье, и холодную якутскую ссылку, и бесштанное житье в эмиграции...

Сверхсила его в другом – она позволила ему выступить во имя революции с речью, требуя смертной казни для Бухарина, в чьей невинности он был убежден, она позволила ему изгонять из института талантливых молодых ученых только потому, что они числились в нехороших, черных списках. Думаешь, легко делать такие вещи другу Ленина? Думаешь, легко крушить жизнь детей, женщин, стариков, жалея их, в душе содрогаясь, делать великие жестокости во имя революции? Поверь мне, я это знаю по своему опыту, вот на этом и проверяется сила и бессилие души.

И вот эта предвоенная встреча вспомнилась Николаю Викторовичу в ночь прихода немцев, и он, чувствуя себя жалким и слабым, сказал своей по-прежнему молодой и удивительно красивой Елене Петровне:

– Лена, что ж мы с тобой наделали, очутились вот здесь, с немцами!

Она серьезно сказала:

– Хорошего в этом нет, понимаю. Но ничего, Коля, кто бы тут ни был – немцы, итальянцы, румыны – наше спасенье в одном – мы не хотим людям зла, тем что остаемся самими собой. Проживем...

– Но, знаешь, как-то жутко стало, вот немцы, а мы остались, собственно, из-за барахла.

Но он не рассказал жене, как Гладецкий, посмеиваясь, сообщил старому другу Ленина об именинах гимназистки, которые он предпочел собранию революционного кружка... Гимназистку звали Лена Ксенофонтова.

Елена Петровна раздраженно сказала:

– Почему ты говоришь – барахло? Ведь в этом барахле годы нашей жизни! Наш фарфор, а хрустальные бокалы – тюльпаны, и розовые океанские раковины, и ковер, ты сам говорил, что он пахнет весной, выткан из апрельских красок. Вот такие мы! Будем такими, какими прожили жизнь... Что же нам еще остается, как не любить то, что мы любим всю жизнь.

Она несколько раз ударила своей узкой, длинной и очень белой рукой по столу и упрямо приговаривала в такт ударам:

– Да, да, да, да. Вот мы такие, что же с нами делать – такие мы есть.

– Умная моя, – сказал он. Они редко говорили о своей жизни серьезно, и ее слова утешили его.

И они продолжали жить, и жизнь шла. Николая Викторовича вызвали в городскую комендатуру и предложили ему стать врачом в госпитале, где лежали раненые красноармейцы. Ему выдали хорошую карточку и Елене Петровне выдали карточку похуже – они получали хлеб, сахар, горох. У них дома были запасы сгущенного молока, топленого масла, меда, и, добавляя к немецкому пайку из своих запасов, Елена Петровна готовила сытно и довольно вкусно. Они по-прежнему пили по утрам кофе, к которому привыкли за долгие годы. Запас кофе был у них очень большой, а молочница по-прежнему носила хорошее молоко, и молоко вообще стоило не дороже, чем до прихода немцев, только деньги были другие.

И на базаре можно было купить хорошую курицу, и свежие яйца, и ранние овощи, и цены были не такие уж страшные. А желая полакомиться, они ели бутерброды с паюсной икрой – в период безвластия Николай Викторович принес из санаторного склада домой две банки икры.

В городе открылись кафе. В кинотеатре показывали немецкие фильмы – некоторые были невыносимо скучные – о том, как партия национал-социалистов перевоспитывала молодежь и молодежь из безыдейной, распушенной, никчемной становилась сознательной, волевой и боевой. А некоторые фильмы были хороши – особенно понравился Николаю Викторовичу и Елене Петровне «Рембрандт». Открылся русский театр – в нем имелись отличные актеры и необычайно хорош был знаменитый Блюменталь-Тамарин. Сперва театр показывал только «Коварство и любовь» Шиллера, а потом стал ставить Ибсена, Гауптмана, Чехова, в общем, можно было и в театр сходить. И оказалось, что в городе сохранилось общество интеллигентных людей – врачи, артисты, очень милый и образованный человек, ленинградец, театральный художник, и жизнь шла со своими волнениями, и у Николая Викторовича, как и до войны, собирались гости, умевшие ценить прелесть фарфора и хрусталя и дивный изгиб старинной мебели, люди, понимавшие восхитительный рисунок персидского ковра, и оказалось, что люди эти старались держаться подальше от полковников и генералов из штаба группы войск «Б», от коменданта и городской управы, что они радовались, а не огорчались, если не получали приглашения на прием, устроенный хозяином Кавказа генерал-полковником Листом. Но уж получив приглашение, они, конечно, одевались лучше

и волновались, в соответствии ли с модой одеты их жены, не выглядят ли они по-уездному смешно.

Госпиталь, в котором работал Николай Викторович, размещался в трех небольших палатах, и обслуживали его две сестры и две санитарки.

Раненых кормили сносно, так как продуктов на складе было много, медикаментов и перевязочных средств хватало, и главной заботой Николая Викторовича было не напоминать о госпитале немецким властям – он боялся, как бы легкораненых не перевели в лагерь, и поэтому продолжал их держать на постельном режиме.

Казалось, что маленький домик, расположенный в глубине санаторного парка, совсем забыт немцами. Легкораненые играли в подкидного дурака, крутили любовь с пожилыми сестрами и боготворили Николая Викторовича – им казалось, что своей тихой райской жизнью они обязаны ему.

Когда Николай Викторович приходил из госпиталя домой, жена спрашивала:

– Ну, как там наши мальчишки?

У них детей не было, и им обоим приходилось называть так молоденьких раненых красноармейцев. И он, посмеиваясь, рассказывал жене о смешных происшествиях в маленьком госпитале.

Но немцы не совсем забыли о флигельке в глубине парка. Однажды Николая Викторовича вызвали в санаторный отдел Управы и попросили представить список находящихся в госпитале раненых. Николай Викторович, составляя список, волновался, но чиновник в Управе, приняв список, даже не прочел его, а небрежно положил в папку: очевидно, список нужен был для какой-то отчетности, формальности.

Немцы на фронтах продолжали побеждать, их военные сводки были полны ликования, и Николай Викторович старался не читать их...

Уже поговаривали о том, что вскоре откроются санатории и в них будут лечиться не только оберсты и генералы, но и интеллигенция рейха.

Оказалось, что кое у кого на квартире стояли интеллигентные немцы, которые, видимо, боялись Гитлера и Гимmlера и, видимо, не одобряли тех ужасов, о которых рассказывали живущие вблизи гестапо люди. И в общем жизнь чем-то стала похожа на ту, что шла раньше, и по-прежнему Николай Викторович радовался уюту своего дома, очарованию Елены Петровны и верил, что хорошо сделал, когда собранию кружка предпочел именины Лены Ксенофоновой.

И вот, когда Николай Викторович собирался домой, чтобы, пообедав и отдохнув, отправиться с женой в театр на представление «Потонувшего колокола», к маленькому флигельку подъехала, шурша по гравию, машина и из нее вышел толстый скуластый и курносый человек, с серыми глазами и светлыми волосами, совершенно похожий на советского районного агронома, либо завмага, либо лектора, читающего в группке домашних работниц лекции на темы социального страхования.

Фуражка, серый мундир с погонами, пояс, перевязь на руке, партийный значок со свастикой и железный крест на груди подтверждали, что это чин гестапо, чье звание по ведомству безопасности соответствовало строевому полковнику вермахта.

Николай Викторович – высокий, холеный, со своей элегантною сединой, красивым румяным лицом и чрезмерно, до пошлости, выразительными глазами – казался рядом с плебейски

коротким, пузатым, срубленным и слепленным из простонародного дерьмового и бросового материала немцем, знатным и веселым владельцем имения, то ли большим русским баринoм, то ли иноземным герцогом.

Но это только казалось.

– Sie sprechen deutsch?

– Ja vohle, – ответил Николай Викторович, которого в раннем детстве Августа Карловна обучала немецкому языку.

«Ох, – подумал он о самом себе, – сколько грации, готовности, кокетства, страстного желания быть милым, послушным и хорошим вложил он в это воркующее: „Ja vohle“.

И немец, услышав голос седого красавца барина и мельком оглядев его своим почти по-божьи всеведущим взором, взором существа, чьи деяния совершались на божественной высоте – где лишь смерть и живот, сразу определил, с кем он имеет дело.

Огромные груды человечины пришлось сокрушить толстому, низкорослому чину из ведомства «Sicher Dinst».

Он рушил, разваливал, раскалывал, гнул и ломал тысячи душ – тут были и католики, и православные, и боевые летчики, и князья-монархисты, и партийные функционеры, и вдохновенные, топтавшие каноны поэты, и исступленные, ушедшие из мира монахини. Перед угрозой жизни все рушилось и раскалывалось, летело кувырком, то упрямясь, то даже упорствуя, то с невероятной анекдотической легкостью. Но итог был один, исключения подтверждали закон. Люди, как дети перед рождественской елкой, толкаясь, тянулись к простенькой, грубой игрушке, которую им то протягивал, то грозился отнять дед-мороз из «зихер динст»... жить всем хочется – и Вольфгангу Гете, и Шмулику из гетто...

Дело было несложное, и чиновник изложил его в коротких и ясных словах, без единого грубого либо циничного выражения, и даже произнес несколько неделовых фраз о том, что цивилизованные люди отлично понимают, что в всемирно-исторических деяниях армии и государств есть лишь одна мораль: государственной целесообразности. Немецкие врачи давно уже поняли это.

Николай Викторович слушал, торопливо и покорно кивая, и в красивых глазах его была угодливость ученика, во что бы то ни стало стремящегося получше, добросовестней запомнить все то, что ему говорит учитель. В этом стремлении получше запомнить и усвоить выражалась лакейская преданность силе, а не жажда ученика понять учителя.

И, глядя на холеного барина, курортного врача, чиновник гестапо добродушно подумал, что и смеяться тут нечему – ведь так сильны соблазны, так поработчен своей многолетней сладкой жизнью в чудном климате курорта, среди цветников и журчащей, пузырящейся лечебной русской воды этот человек. У него, конечно, много отлично сшитых костюмов, дорогая старинная мебель в квартире, он припас ценные, калорийные продукты, он, вероятно, ест у себя дома русскую икру, уворованную им из санаторного склада, он, должно быть, коллекционирует хрусталь, либо янтарные мундштуки, либо палки с набалдашниками из слоновой кости... И уж, конечно, у него жена красавица...

Низкорослый человек, с толстой шеей, слепленный из дерьмового простого материала, был не так уж прост, его работа касалась тайного тайных в людских душах, и в зоркости, да и еще кое в чем, он уже мог поспорить с богом.

Они вместе вышли из госпиталя, и Николай Викторович увидел, что у дверей флигеля стоят два немецких часовых – ни выйти, ни войти в госпиталь никто уже свободно не мог.

Чиновник гестапо предложил довезти Николая Викторовича до дома, и, сидя на жестких подушках военного штабного автомобиля, они молча глядели на милые улицы, уютные дома всемирно известного курортного городка.

Перед тем как проститься с Николаем Викторовичем, он кратко повторил уже сказанное:

– Утром за доктором заедут на машине. Всех сотрудников госпиталя надо на короткий срок удалить из госпиталя, а после того, как Николай Викторович исполнит медицинскую часть дела и крытые санитарные фургоны отъедут от госпиталя, сотрудникам надо объяснить, что всех тяжелораненых и калек по распоряжению германского командования увезли в специальный госпиталь, расположенный за городом. Естественно, что Николаю Викторовичу следует молчать – он, пожалуй, больше всех будет заинтересован в том, чтобы дело не имело огласки.

После того как Николай Викторович рассказал обо всем Елене Петровне и сказал: «Прости меня», – они молчали.

Она сказала:

– А я приготовила твой костюм и отгладила свое платье для театра.

Он молчал, потом она сказала:

– Иначе тебе нельзя, ты прав.

– Знаешь, я подумал – ведь за двадцать лет я ни разу не был без тебя в театре.

– Сегодня я тоже буду с тобой, и в этот театр мы тоже пойдем вместе.

– Ты с ума сошла! – крикнул он. – Ты-то отчего?

– Тебе остаться нельзя. Значит, и я.

Он стал целовать ей руки, она его обняла за шею и поцеловала в губы, стала целовать его седую голову.

– Красивый ты мой,– сказала она, – сколько мы сирот оставим.

– Бедные мальчики, но я ведь ничего не могу сделать, вот только это.

– Я не о них, я об этих наших сиротах.

Они вели себя очень пошло. Они оделись в приготовленные для театра костюмы, она надушилась французскими духами, потом они ужинали, ели паюсную икру, пили вино, и он чокался с ней, целовал ее пальцы, точно они были влюбленными, пришедшими в ресторан. Потом они заводили патефон и танцевали под пошлое пение Вертинского и плакали, потому что они обожали Вертинского. Потом они прощались со своими детьми, и это было совсем уж пошло: они целовали на прощание фарфоровые чашечки, картины, гладили ковры, красное дерево... Он раскрыл шкаф, целовал ее белье, туфли...

Потом она грубым голосом сказала:

– А теперь трави меня, как бешеную собаку, и сам травись!

1962 – 1963

В БОЛЬШОМ КОЛЬЦЕ

На завтрак в воскресенье мама дала витаминного салата из сырой капусты, побрызганного лимонным соком, ломтик ветчины, чаю с молоком, две конфеты – мармеладку и театральную.

После завтрака папа, как обычно, сказал:

– Машка, поставь-ка нам скрипичную сонату.

– Чью, папочка?

И папа протяжно, в нос ответил:

– Как ни странно, в этом случае Ойстрах мне приятней Крейсlera, а Оборин – Рахманинова.

И Маша поставила на проигрыватель восьмую скрипичную сонату Бетховена в исполнении Оборина и Ойстраха.

Ей, как и папе, казалось, что Ойстрах и Оборин играют мягче, не так резко, как Рахманинов и Крейслер. Но девятилетняя Маша не только с папиных и маминых слов понимала, кто такие Рахманинов и Крейслер.

Вертелся диск проигрывателя, и из его медленного, округлого движения рождался мир, в котором не было ничего плавного, округлого.

Маша слушала музыку, морщила нос и хмурила белые брови, потому что папа и мама смотрели на нее, и ее это сердило.

– Какое наслаждение, – сказала мама о музыке.

– Да, да, – сказал папа, – радость, счастье.

Папа обычно говорил горячо, а мама спокойно и почти никогда не соглашалась с папой. А когда спустя день или неделю мама учительски высказывала папины мысли, он протяжно произносил своим милым, гортанным голосом:

– Ах, Любочка, как верно ты это сказала.

Мама раньше преподавала в институте и теперь постоянно поправляла произношение у Маши. И Маша старательно повторяла за мамой слова, как они должны звучать по-правильному: не красивей, а красивее.

Маша после переезда в новый дом в школу не ходила, так как у нее держалась от желез температура и доктор советовал некоторое время не учиться. Она проводила все время со взрослыми, и папа и мама не предполагали, что курносенькая, беловолосая и сердитая Маша замечает многие тонкости их отношений.

Вот папа заговорил о судьбе русской музыки и о Скрябине, потом папа говорил о Модильяни, а мама возражала ему, а на следующий день мама сказала тете Зине: «Все же нельзя говорить о музыке двадцатого века, тотчас не назвав имя Скрябина», – и это были папины слова, над которыми мама смеялась, а спустя несколько дней она сказала тете Зине, указав на картину над роялем: «Ах, Модильяни, Модильяни, сводит он меня с ума».

Самой большой и приятной комнатой был папин кабинет, но и в просторном папином кабинете было тесно от множества книг и картин; да и рояль занимал много места.

Как-то Маша забыла на папином диване свою тряпичную дочку, Мотю, и слышала папины слова:

– Любочка, эвакуируй, пожалуйста, это страшилище.

Впервые Маша обиделась на папу – он ведь был очень добрый.

И в этот воскресный день они слушали любимую папой скрипичную сонату Бетховена, и папа сказал:

– Какая для меня радость слушать эту музыку!

Машу не удивляло, почему радуется папа, музыка была прекрасна.

Потом папа предложил маме и Маше сделать прогулку.

Они жили в девятиэтажном доме на окраине Москвы. Дом был оборудован хорошо, с лифтами и мусоропроводами, с кондиционированным воздухом, ванны были устроены в виде бассейна, выложены бледно-голубой плиткой.

Во всех девяти этажах жили деятели науки и искусства, машин у жильцов было много, они не помещались на асфальтовой площадке перед домом. И машины были такие же важные, как жильцы: все «Волги», «Волги», а у некоторых даже «Чайки», а у одного физика американский «бьюик».

На плане, который видел папа, вокруг их дома стоял новый квартал с огромными магазинами, парками, фонтанами. Но строительство нового района отложили на некоторое время, и вокруг их дома стояли деревянные домики с садами и огородами, чуть подальше от шоссе, в низине, раскинулась настоящая деревня, где мычали коровы, пели петухи, а в огромной луже, такой огромной, что в ней бывали морские волны, плавали утки и мальчишки путешествовали на парусном кон-тики. А дальше было поле, а еще дальше лес.

Они пошли гулять по асфальту, а потом по тропинке к лесу, где среди темного елового узора темнел свинцовый купол старинной церкви – папа говорил, что эта церковь построена в шестнадцатом веке.

На новой квартире мама часто жаловалась: «Жутко далеко». А папа говорил, что ему приятна тишина и что глаза людей, живущих в избах, спокойные, ясные, нет в них лихорадки московского центра. Маша замечала, что в этом вопросе мама действительно была не согласна с папой, и, когда папа говорил, что здесь работается лучше, чем на старой квартире, она произносила: «Игра, игра!»

И правда, папа так же, как и мама, не любил гулять в сторону деревни, там встречались пьяные, которые говорили неприличные слова и задирались. Особенно много плохого бывало по воскресным дням.

Когда они вышли в поле, папа сказал:

– Опасность воздушного нападения миновала.

– Да тебе-то что, – сказала мама, – ведь тебе нравится жить на краю большого кольца Москвы.

Но еще злей был барачный поселок, который стоял между их домом и Москвой. В этом поселке и трезвые говорили жильцам большого дома неприличные слова, такие, что мама сказала одной женщине в магазине:

– Вы хоть ребенка постыдитесь...

Но эта женщина сказала очень плохое насчет ребенка, мама поспешно проговорила:

– Идем, идем, Машка!

Они молча, держась за руки, шли по улице, окна старых бараков были на одном уровне с кучами шлака, угля, мусора, и Маше казалось, что бараки смотрят исподлобья, словно злые старушечьи лица, по самые глаза обмотанные платками.

Грязные белые куры, с крыльями, мечеными цветными чернилами, разбойничьи сигали по дворам, застиранное и залатанное пестрое белье грозно хлопало, парусило на веревках, чулки, казалось, шипели, как змеи, хотели броситься на Машу и ее маму.

А когда на шоссе Маша спросила, почему сердилась женщина, мама ответила:

– В нашем доме холодильники, хвойные ванны и гибкие души, а кругом эти избы с клопами, бараки, холодные уборные, колодец с журавлем, вот она и сердится.

После случая в продмаге, куда мама и Маша зашли купить трески для соседской кошки, они уж больше не ходили в барачный поселок, да и что там было делать? Продукты и хлеб они привозили на машине из центра.

Правда, соседка сказала маме, что в поселковой аптеке оказалось очень редкое венгерское лекарство, которого во всей Москве не достать, только в кремлевской аптеке, но мама сказала:

– Нет, уж бог с ним.

А в деревенском сельмаге продавался желудевый кофе в пачках и одеколон; там всегда было мало народу, но иногда у сельмага либо у поселкового продмага выстраивались шумные и нервные очереди. Как-то лифтерша, покинув пост, побежала в эту очередь, а потом объяснила Маше, что люди стоят за гольем – костями, требухой, за холодцом из голов и копыт – цена на все это дело дешевая, а продукция свежая, хорошего качества, прямо с бойни. Обычно же деревенские на загородном автобусе и на попутных машинах ездили в Москву покупать белые батоны, крупу, а некоторые и молоко.

Вблизи Машиного дома, на шоссе, стояли по утрам старухи в ватниках и сапогах, предлагали перья зеленого лука. Старухи разговаривали с покупателями вкрадчиво, но когда они глядели вслед жильцам дома, в брючках и курточках прогуливающим своих собак либо делающим пробежку, у них было какое-то странное, смеющееся и одновременно отчаянное выражение глаз. А когда вдруг со страшным треском появлялся милиционер на мотоцикле, старухи, подхватив свои мешки, молча бежали в сторону деревни, тяжело топя сапогами.

Однажды к дому пришел из леса молодой лось. Он осмотрел медленным думающим взглядом автомобили, сверкающие подъезды, черные лужи масла, натекающие на асфальт, понюхал бесконечно чуждые ему запахи бензина и мусорных контейнеров и неторопливо зашагал по шоссе, обратно в лес.

Воскресная прогулка удалась: небо было голубым, а трава зеленой. Папа и мама шли по траве, уступая друг другу тропинку, и Маша пробегала по тропинке, опережая родителей, потом, поворачивая, вновь пробегала между ними и ловила слова их разговора и вновь проносилась вперед.

Ей было хорошо. В небе плыли облака, но небо было большим, и облака не заслоняли солнца – хватало в нем места и облакам, и солнцу. Поле и лес молчали, но Маша чувствовала, что вокруг идет жизнь дятлов, ежей, кротов и что эта жизнь на земле и под землей связана с жизнью облаков, что темнели и наливались дождем и вновь светлели, и связана с жизнью Маши, которая бегала по тропинке мимо папы и мамы.

Маша любила отца и мать, и, наверное, эта любовь помогла связать в веселый, счастливый узел и небо, и поле, и Машу.

А под конец прогулка испортилась: в небе реактивный самолет стал чертить скучный меловой след, а на земле рывкнула гармоника, запели вкривь и вкось режущие женские голоса. И хотя небо по-прежнему было голубым, а трава зеленой и хотя геометрический след от самолета был белее облачка, а на земле слышались пение и музыка, а не крик и брань, все сразу стало само по себе, и веселый, счастливый узел развязался.

И папа с мамой заторопились домой.

– Странно, – сказал папа, – есть рядом и поле, и лес, а встрече с ним мешают вот эти ругатели и певички, но когда здесь возникнет современный городской район, естественно, не станет ни леса, ни поля... Вчера перед вечером я стоял у открытого окна и услышал кукушку – вот ведь какая прелесть.

– Это у генерала, что в квартире напротив, – сказала Маша.

– Ага, видишь, – сказала мама, – сегодня ты со мной согласен. Ну ее, эту прелесть, не надо кукушек, только бы не было вечной тревоги, я боюсь Машу одну на улицу выпустить, кругом злоба этих баб и старух, бродят поллитровщики, и не знаешь, чего ждать от них.

Обедали, как всегда в воскресенье, рано. К обеду пришла в гости жившая в трех комнатах одна, веселая, толстая женщина с блестящими глазами, четырежды орденоносная профессор Скобова, а из Москвы приехал папин друг, молчаливый, бледный Станислав Иванович, вернувшийся недавно из Африки.

Про огромную толстую Скобову все говорили, что замуж ей не выйти, но что она очаровательный, прелестный человек. Она почему-то удивительно легко краснела, чуть что – во всю белую пухлую щеку заливалась малиновым румянцем.

На первое был суп-пюре, на второе жареная утка, а на третье абрикосовый мусс из диетического магазина. Так как толстая Скобова боялась стать еще толще, она сладкого не ела, и ее порция досталась Маше.

Когда Маша доедала мусс, она спросила у Скобовой:

– Вам, наверное, завидно?

И Скобова очень покраснела, а потом смеялась так сильно, что на ее карих блестящих глазах выступили слезы. Смех у нее был удивительно приятный.

Маша очень наелась и, отодвинув пустое блюдечко из-под сладкого, сказала:

– У-ф-ф! – и громко икнула.

Никто не сделал ей за это замечания и не стал смеяться над ней, только папа обнял ее и сказал:

– Мужичок мой дорогой.

После обеда Станислав Иванович проиграл папе партию в шахматы и объяснил Маше, что это произошло оттого, что он выпил вина, а Маша ему сказала:

– А ведь папа тоже пил вино.

Потом пришли Барабановы со второго этажа, и все вместе пили чай и разговаривали... О Барабанове всегда говорили: «Он очень талантлив».

Он занимался кибернетикой и то шутя, то серьезно говорил, что его электронные машины скоро смогут заменить поэтов и шахматистов. Его за глаза называли «гордость русской науки», а при встречах Володей и посмеивались над его пристрастием к модным костюмам, а жена каждый раз в разговоре останавливала его: «Володя, не говори глупостей» – и снимала с его пиджака пушинки.

Разговоры за столом были о концертах в филармонии, о том, как скучно было на приеме в посольстве, как смешно жадничала чья-то жена, совершая покупки в парижских и лондонских магазинах, о диете, о многокомнатных академических дачах и о том, как их смешно делили при разводах мужа и жены, о смешных поступках пуделей и скотчей и о том, чья голова светлей – Льва Абрамовича или Александра Сергеевича. Об африканских львах и крокодилах Станислав Иванович ничего не рассказывал.

И странно, говорил ли композитор, либо жена знаменитого онколога, либо жена еще более знаменитого физика, либо сам знаменитый физик, но предметы застольного разговора и слова, из которых делался разговор, были совершенно одинаковы. Маша отличала лишь голоса.

Маша заметила, что физики и медицинские доктора особенно заинтересованно говорили о музыке и живописи, точно и часа не могли без них прожить, а художники и поэты горячились по поводу протонов и нейтронов, хотя Маше иногда казалось, что делали они это для того, чтобы казаться особенно умными. Обычно гости называли одни и те же имена и отчества. Маша их знала наизусть: Игорь Васильевич, Николай Николаевич, Андрей Николаевич, Борис Леонидович, Илья Григорьевич, Дмитрий Дмитриевич... Кроме этих нескольких имен, казалось Маше, в Москве не было жителей, с которыми встречались папины и мамины знакомые.

Только папа не козырял этими именами, у папы имелась своя особая особенность. О чем бы папа ни говорил – о новой небесной звезде, о музыке Прокофьева, о картинах на выставке – он одновременно говорил о себе. Маша ощущала, что папа начинает разговор издалека, имея цель перевести его на себя: такой-то любит, но не понимает папу, близок ли папе тот-то, как плохо пишут о папе там-то, как сильно хвалит его англичанин, но папу раздражает: англичанин совершенно не понял папиной сути.

Маша любила папу, гордилась им, но ее тревожило, что не только чужие, даже мама не может оценить, какой он милый, как он неумело, по-детски хитрит, когда, желая поговорить о себе, начинает с разговора о звездах или о концертах Бостонской филармонии.

Вот сегодня, обращаясь к Скобовой, папа сказал:

– Я убежден, что вы можете подтвердить мою мысль: в физике, как и в литературе и живописи, есть декаденты и есть так называемая народность...

Сказал папа эти слова невинным голосом, никто, даже мама не сообразила, в чем дело, а Маша сразу поняла. И действительно, так и оказалось: вскоре папа стал рассказывать о стокгольмском институте, выдвинувшем его на премию.

Маша знала, что всем нравится ее наружность – скуластая, с чуть-чуть татарскими глазами

белоголовая девочка... Мама ее и одевала похоже на деревенскую: в полотняное платье с вышитыми красными крестиками петушками, и волосы ей стригла по-простому в скобку, с челкой на лбу. И все ее тормозили, восхищались ею, говорили: «Ей бы лапоточки, а не туфли, ну просто Нестеров».

Маша почему-то очень устала за день. То ли она объелась за обедом, то ли от усталости она все время чувствовала противный вкус во рту.

Наконец гости ушли, остался лишь Станислав Иванович.

Маша особенно любила эти часы. Однообразные застольные разговоры прекращались, когда папа со Станиславом Ивановичем оставались вдвоем, они оба сразу менялись, они точно молодели, начинали смеяться, ссориться, бледный, молчаливый Станислав Иванович розовел, краснел, становился необычайно разговорчив, а папа однажды, горячась, ударил кулаком по столу и даже назвал Станислава Ивановича дураком.

И теперь они спорили и даже ссорились по поводу кибернетики, и папа сказал:

– Да пойми, все волнуются вовсе не потому, что машина станет равной человеку или даже там выше. Это никого не оскорбляет и не ужасает. Не в страхе перед равенством человека и машины суть. Боятся не машины, боятся человека. Суть в бессознательном ужасе человека перед человеком, не машина – человек грозит человеку. Понимаешь? Не равенства с машиной боятся, а неравенства людей, которое рождается из равенства с машиной. Вот где беда! Боятся, что равенство с машиной сделает человека беспомощным в борьбе за свою свободу, сделает его вечным рабом не машины, а людей. Боятся, что равнозначность с неодушевленной конструкцией утвердит невиданную бесчеловечность, и уж барабановская машина будет по сравнению с человеком казаться вольным сыном эфира, жаждущим бури.

– Глубокая мысль, – сказал Станислав Иванович, – не в том беда, что машина станет выше человека, беда, оказывается, в том, что человек будет ниже машины.

– Чепуха! Не понял ты! – сказал папа. – И смешного в этом ничего нет.

А затем папа сказал:

– Да я ради сердечной правды брошу все – семью, дом, книги, возьму мешок и пойду.

Тогда мама очень зло и кротко сказала:

– Слова, слова, поза, поза... Единственным, чем ты действительно можешь пожертвовать, это мною, но вовсе не ради дороги и мешка, тебя не отличает постоянство.

Папа уже не в первый раз говорил о мешке и дороге.

Но на этот раз Маша слушала разговор невнимательно и не волновалась. У нее к вечеру отяжелело тело и особенно тяжелой стала голова.

Она отказалась от ужина, даже думать о еде было неприятно, а когда на проигрыватель поставили пластинку с новым итальянским певцом, она задремала под «Аве Мария», и ей представилась кошка на мусорном ящике, Маша прижимала кошку к груди, и от нее очень пахло.

Потом, сонную, ее укладывали спать, и она, засыпая, услышала из соседней комнаты мамин голос:

– Увы, это уже не Марио Ланца.

И действительно, за окном не пел Марио Ланца, Маша знала это слово, оно называлось: матерщиться.

Ночью Маша проснулась от боли в животе и разбудила родителей. Когда мама прикоснулась к Машину животу, девочка вскрикнула. Папа посмотрел на градусник и тихо произнес:

– Боже мой.

Это было ужасно: горячий керосин, осколки бутылки в кишках, боль, от которой пот выступал на лице и становились вдруг ледяными руки и ступни ног, и тут же, рядом с Машей, беспомощной девочкой, бледные лица отца и матери.

В полубеспамятстве она слышала, как мама глупо и подробно перечисляла все, что Маша съела за день: «Суп-пюре... ломтик ветчины из диетического... да нет, нет, не может быть».

Маша не слышала, как хлопнула наружная дверь и папа проговорил: «Дозвонился, дозвонился, но из города категорически отказываются сюда выезжать, удалось соединиться с районной больницей... обещали дежурную прислать».

– Боже мой, что же это такое, – сказала мама, – там ведь неквалифицированные врачи.

Эта беспомощность родителей была такой необычной. Ведь мир, в котором жила Маша, был миром сильных людей, они летали по всему свету на самолетах, их портреты были в газетах, они рассказывали о приемах в Кремле, о своих беседах с самыми великими людьми в стране, их работой интересовался весь мир... Ведь и папа, такой добрый и чувствительный, был из привычного Маше мира сильных.

В его нынешних растерянных, беспомощных глазах понимала Маша свою беду.

И у молоденькой докторши, подошедшей к кровати в голубом берете и пальто, накинутом на белый халат, были испуганные глаза, и Маша поняла, что все пропало, что докторша робела не от огромных книжных шкафов, рояля, мраморной головы Данте, не от недоверия мамы, не от того, что у папы, высокого и знаменитого, срывается голос... Докторша оробела от одной лишь Маши, и Маша, маленькое существо, все устремленное к жизни, пронзительно чуждое понятию и ощущению смерти, подобно тому как чуждо апрельское растеньице ночному бурану, вдруг сердцем и мозгом поняла, что смерть вошла в нее, ужасает папу, маму, докторшу.

А потом Машу завернули в одеяло и понесли вниз по лестнице – горящий керосин хлынул из ее живота в мозг, и она взвизгнула тихо, жалобно, как собачка, которую убивают.

И сразу, словно снег упал на землю, не стало ни плача мамы, ни папиного страха, ни неподвижного экскаватора над черной ямой, а одна лишь тишина.

А когда она открыла глаза, готовая к неизбежному ужасу, она увидела яркую, большую лампу над собой, белый светлый потолок, большое мужское лицо, невероятно чистый поварской колпак. В этой всеобщей белизне, почти ослепляющей, была жестокая, но спасительная сила спокойствия. И спокойней снежной, яркой тишины было лицо пожилого человека, узкоглазого и курносого, русского и татарина, лицо человека, приступившего к работе, которую, раз сделав, нельзя ни изменить, ни исправить.

Маша замерла, даже боль в ее животе замерла, девочка покосилась на свой живот, но он был закрыт от нее занавеской-простышкой.

И вдруг она увидела, что вся комната с двумя белыми столиками у белых стен, и белыми табуретками, и с ней самой, Машей, лежащей на спине на узком белом столе, отражается в полированном абажуре лампы.

Она увидела в абажуре, как в телевизоре, трех женщин в белых халатах, увидела синий огонь спирта, пар над белыми плоскими кастрюлями, марлю, много ваты, а потом она увидела и узнала свой голый живот, со следами крымского загара, и руки над ним.

Маша знала, что сейчас произойдет, но она не боялась хирурга, и, главное, он не боялся ее, а кивнул и улыбнулся ей. Она увидела на абажурном стекле, как доктор красит ей живот йодом, и сказала:

– Вы красите мой живот, как пасхальное яйцо.

– Пасхальные яйца красят луком, а не йодом.

Действительно так. И Маша не стала спорить.

Она видела в абажуре все, что готовились сделать с ней: и сверкание стали, и тампоны, и вату, и иглы – все это было не так страшно, как отчаяние и беспомощность папы и мамы.

Когда доктор взялся за сталь, и Маша на мгновение перестала дышать, и живущий в каждом человеке заяц похолодел в ней и затрясся, она услышала проникновенный, взволнованный женский голос:

– Польты дамские привезли в магазин.

Доктор спросил:

– А зеленые есть?

И этот разговор помог Маше сохранить покой и надежду и в тот миг, когда на абажуре выступила и потекла Машина кровь и доктор нахмурился и уж не улыбался ей.

Должно быть, счастье выздоровления вмешалось во все, что происходило с Машей, во все важное и пустое, чем был наполнен день. А может быть, это было совсем другое счастье.

В палате лежала тучная и властная ткачиха Петровна и колхозная седая карга Варвара Семеновна. А рядом с Машей лежала Клава, опальная продавщица, отбывшая два года лагеря, а у окна лежала порезанная и побитая неизвестно за какое дело Анастасия Ивановна из укрупненного колхоза «Заря». А у другого окна лежала елейная Тихоновна, когда-то служившая в домашних работницах.

Суп давали в жестяных мисочках, ложки были легкие, словно соломенные. Подушки тоже были очень легкие, скрипучие, все это занимало Машу... Кровати были железные, Маша никогда не видела железных кроватей.

И суп не был похож на тот суп, что Маша ела дома, хотя он тоже был протертый и овощной. И простыни были другие, и маленькие вафельные полотенца с большими черными печатями никак не походили на те, что висели дома в ванной.

Петровна задыхалась в одышке, а голос имела сильный, генеральский. Ее и звали генеральшей.

Когда Машу принесли в палату, после изолятора, Петровна сказала:

– Славная девочка, нос картошкой, деревенская.

А Варвара Семеновна протяжно проговорила:

– Господи, а ножки-то тонкие, длинные, как у журавля.

Потом, когда Маша пришла в себя, ее расспросили и про гнойный аппендицит, и про операцию, и как началось, и про все, что полагается.

Тихоновна задавала неприятные вопросы. Маша стеснялась ей отвечать. Она промолчала, когда Тихоновна спросила – большая ли у них комната. Тихоновна переспросила, но Маша молчала. Тогда Варвара Семеновна объяснила:

– Со счету девочка сбилась, комнатей у них много.

А когда Тихоновна спросила про папу – «кем он будет»,

Маша угрюмо сказала:

– Мама у меня учительница.

Ответ заинтересовал палату.

Петровна сказала:

– Мама, значит, учительница, а папа, выходит, ученик.

Варвара Семеновна:

– Инвалид, наверное.

Клава проговорила:

– А может быть, сидит... – и негромко пропела сипловатым голосом:

Ах, скучно мне, все товарищи в тюрьме,

Не дождусь я того дня, как попутают меня...

Обмотанная бинтами Анастасия Ивановна сказала:

– Ушел он, верно, от нее.

Тогда Клава сказала:

– Что ж, ушел так ушел. Значит, постыла ему прежняя жизнь... – и мечтательно добавила: – Вот, к примеру, нам, работникам торговли, что фордзон, что Керзон – все равно. Одно у нас удовольствие – любовь.

Это было утро. Солнце, отдохнув за ночь, ясно светило на больничных стенах, на мисочках с манной кашей, на белых кружках с чаем, на судах, глядящих из-под кроватей. Утро было в беспричинной легкости, в тревожном сердцебиении, в ожидании долгой жизни, охватившем Машу.

Потом был обход. Доктор подошел к Маше, и девочка почувствовала покой и счастье, когда его теплая большая рука погладила ее волосы. Он был одновременно седой и лысый, русский и татарин, угрюмый и добрый, бедный, в худых башмаках, и важный, очень важный.

– Пусть папа с мамой придут ко мне, – попросила Маша.

Доктор сказал:

– Это никак не получается, у нас карантин по случаю вирусного гриппа.

Когда доктор ушел, старуха Варвара Семеновна сказала:

– Ох, и нравится мне доктор.

– Что ж ты ему не призналась? – спросила Петровна.

– Народу много, постыдилась.

– Эх, Варвара, чего любви стыдиться, – сказала Петровна и раздула широкие ноздри широкого носа.

И так это было удивительно Маше, что две семидесятилетние старухи говорили про любовь, то ли смеясь, то ли всерьез.

Потом женщины говорили про заработную плату, и в разговор вошли санитарки, готовившие больных к обеду, стали сильно жаловаться. А потом одна из санитарок, Лиза, самая старшая и некрасивая, поставила поднос с мисочками супа на подоконник и показала, как в молодости танцевала.

И все развеселились.

А когда стало темнеть, на Машу напала тоска. В палате было тихо, бабушка Варвара похрапывала, порезанная Анастасия во сне чавкала. Видимо, этот слюнявый звук раздражал Петровну, она сказала:

– Эй, ты там, чего плямкаешь губами, блины, что ли, ешь?

Лицо у Петровны было бровастое, суровое и, несмотря на то что она долго лежала в больнице, казалось загорелым.

Анастасия Ивановна не отзывалась, продолжала спать.

Вкрадчиво, негромко заговорила Тихоновна. Она, видимо, побаивалась Петровны и старалась понравиться ей, заинтересовать ее своими рассказами. Тихоновна, Маша в первые же часы заметила это, с каждым по-своему говорила: по-особому с санитаркой, по-особому с Петровной, а с дежурной сестрой уж пела, пела. Когда она рассказывала о своей жизни в работницах Клаве или порезанной Анастасии, она все украшала:

– Рыбки красивые в аварии плавают, а шубу он ей справил из нутры, чистая нутра, восемь тысяч отдал. А цветов этих, цветов...

Разговаривая со старухой ткачихой, она рисовала совсем по-другому:

– А что у них за жизнь, придет домой, уключнется в книгу, а на нее и не посмотрит... К богатым отложка и днем и ночью, без отказа едет... А болезнь у них одна: напупенятся так, что дышать не могут. В машину садиться идет – распузанится, как гусь. Вот и мой хозяин последний – пришел со службы, нажрался и сразу за сердце. Хозяйка к телефону кинулась – отложка, конечно, сразу тут, а он уж готов... И ясли есть такие, и закрытые садики, куда только знаменитых детей берут.

А Петровна со всеми говорила одинаково – снисходительно, грубовато, поучающе, то посмеиваясь, то сердясь – и с дежурной сестрой, и даже с самим доктором.

Ее сильный, как сияющая медная труба, генеральский голос был одинаково насмешливо снисходителен, когда она говорила про внуков своих, и про то, как зять ее хотел выгнать, и про хозяина, миллионщика Прохорова, и про то, как Гитлер захотел завоевать всю Россию, и про то, что она проработала пятьдесят лет у ткацкого станка.

Теперь, в сумерках, Тихоновна стала вполголоса рассказывать ей историю, от которой Маша

то холодела, то, сдерживая смех, так напрягалась, что боялась, как бы швы не разошлись.

История была об убитой грабителями девушке-студентке и о том, что произошло после ее похорон.

– Туфта! – вдруг произнесла Клава. Оказывается, Клава не спала.

Но Тихоновна уверяла, что все случилось точно, как она рассказывает.

– Было это в Малоярославце, а бабушка одна в Загорском самовидица всему... Видит она, на могилке сидит Иисус Христос и пальчиком манит, манит: иди сюда, иди... А холмик тихо сам собой раскрылся, и выходит убиенная красавица, вся в лендах белых.

В палате не спали, все слушали рассказ Тихоновны.

– Да ну, туфта, – снова сказала Клава, – и не тяни ты резину, ужин скоро.

Петровна сказала:

– Бывает. На рождество села я обедать, положила себе на блюдечко поросенка жареного, только стала его ножом резать, к-эк он хрюкнет.

И впервые в голосе ее была одна лишь серьезность, без насмешки.

Машу затрясло от смеха.

А бабушка Варвара проговорила:

– Смерть она вот, а старухи все мелят, мелят. Где ты поросенка этого видела, во сне только.

И правда, Петровна призналась, что ни разу не ела молочного поросенка.

И удивительная Тихоновна вдруг отказалась от своего рассказа, стала со всеми смеяться, и Анастасия сказала:

– Вот ты и бога отдала, а все крестишься, я думала – баптистка, от бога не отступится.

Но Петровна защитила Тихоновну:

– Она верует, а легко отступает оттого, что всю жизнь чужой хлеб ела.

– Вот это ты в цвет сказала, – подтвердила Клава и спросила: – Верно, Машка?

Маша согласилась, хотя не совсем поняла ее слова. Клава большей частью говорила непонятно.

Особенно непонятно было, когда Клава стала рассказывать про лагерную любовь. Петровна, которая с утра свободно материлась, не дала Клаве закончить рассказ, сказала:

– Ладно, хватит при ребенке-то.

Варвара Семеновна поддержала ее, сказала:

– У нас в деревне такого и старые не захотят слушать.

Но один Клавин нелагерный рассказ очень понравился

Маше. Рассказ был о том, как в родильном доме рядом с Клавой лежала офицерская жена. Красавица офицерша отказалась кормить своего ребенка – боялась испортить фигуру, она,

видишь ли, выступала в самодеятельности. Тогда новорожденного взялась кормить одна молодая уборщица – мать-одиночка, чей младенец умер сразу же после рождения. Уборщица эта была некрасивая и необычайно бедная. И вот нянечки обо всем рассказали офицеру. «Ах так», – сказал офицер и тут же заявил нянечкам, что он официально женится на уборщице. И вот нянечки пришли и рассказали ему, какой номер обуви у уборщицы-одиночки и какие размеры у ней платьев. А когда ее выписали из родильного, то ее с новым сыном встретил в приемном покое офицер, держа в руках новые туфли, новое платье и демисезонное пальто.

Вся палата жутко материла офицершу-красавицу, даже Варвара Семеновна, которая говорила, что деревенская старуха себе не позволит таких слов, как городская, пустила по поводу офицерши несколько матерков.

Вообще о чем бы Варвара Семеновна ни говорила, она начинала со слов: «У нас в деревне».

«У нас в деревне девка ведро молока в день выпивала... И девка была: лошадинище».

Утром она сказала: «У нас в деревне предмета такая, холод в маю месяце – к урожаю».

А когда убиравшая после обеда посуду санитарка рассказала, что докторский сын уже кончил институт, а все не женится, она проговорила: «У нас в деревне Митька Овсянников не женился через матью».

А перед ужином, как это часто бывает, стали говорить о питании. О питании как-то особенно серьезно говорила Варвара Семеновна, должно быть, потому, что питалась она хуже других. Она напоминала Машиного папу – разговор начинался о самых разных делах, а Варвара Семеновна его незаметно сводила на деревню и деревенских. Вот Петровна сказала:

– Во хлоте ребята пять лет служат.

А Варвара Семеновна сказала:

– Вот, вот, наши деревенские попадут в солдаты в Москву, становятся гладкие, чистые, белый хлеб каждый день лупят.

И снова, когда Клава заговорила, как в палатках устанавливается сортность на фрукты, почему что после этого стоит, она сказала:

– У нас в деревне черешник слаще вишни, мяса в нем больше.

Заговорили о детях, и Варвара Семеновна сказала:

– Приезжала ко мне три года назад в деревню дочка из Ленинграда, она штукатуром на стройке работает. Стала она спать укладываться, я ей говорю: «Ох, доченька, какие у тебя ножки чистые, белее, чем лицо у твоей мамы деревенской».

Клава спросила, почему в воскресенье не приносили Анастасии Ивановне передачи, и та ответила:

– Мне племянница из Подольска передачи возила, а в среду она улетела в Уфу в командировку.

– Вот там она уши поест, – мечтательно сказала Варвара Семеновна.

– Да не в уху, в Уфу, ох ты, деревенская Варвара.

Бабушка Варвара неожиданно очень обиделась на эти

слова, сказала:

– А мне одинаково, что уха, что упа, и племянница твоя мне без интереса.

И именно в этот момент посмотрела в сторону Маши.

– Ты чего, учительша, оскалешься? – спросила она.

Весь вечер Варвара Семеновна молчала, и Маша мучилась оттого, что обидела ее, и оттого, что у старухи было грустное лицо и никто не смотрел на нее и не замечал ее обиды, только Маша смотрела и замечала, но Маша, конечно, не решалась заговорить с ней.

Потом Маше стало казаться, что Варвара Семеновна смотрит на нее угрюмо, злобно, очень ненавидит ее. Потом ей стало казаться, что ночью, когда в палате все заснут, а дежурная потушит свет в коридоре, старуха со свисающими седыми патлами, костистая, злая, подойдет к ней, приблизится к ее глазам своими водяными глазами и спросит:

– Ты чего на меня оскалешься? А?

И страх все силился – она была слабая, больная, разрезанная и зашитая и совсем одна. Папу и маму не пускали к ней из-за вирусного гриппа.

Весь день она со страстным любопытством смотрела на необычных новых людей, вслушивалась в новый для нее строй речи.

И сейчас ей показалось, что внезапно кто-то снял пластинку с проигрывателя, и наступила тишина, и все то, что занимало ее, исчезло, и осталось чужое, враждебное, чего она не замечала, увлеченная пластинкой. Конечно, это было так интересно: странное, впервые услышанное слово, и вдруг она разгадывала его, как приветливую вспышку света – круглая, смешная, сверкающая ртуть.

Это была игра, и она весело и нетерпеливо ждала неожиданного слова палатных собеседниц. Это была игра, и вот игра кончилась.

Она уже не прислушивалась к тому, что говорили старухи во время ужина, и к тому, что говорили они, когда санитарки убирали мисочки и кружки; потушили электричество, и остался лишь слабенький свет от лампочки над больничным крыльцом.

Она не слышала, как Петровна сказала:

– Двух сыновей на фронте убили, сорок восемь лет у станка простояла. А дочки меня знать не хотят, если в больнице не сдохну, одна путь – в инвалидный дом.

Маша не слышала слов Варвары:

– Шутка, в инвалидный дом! Там, знаешь, питание больничное три раза в день, сахар два кило в месяц, постель с матрацами, одеяло полушерстяное. Ты, как герой труда, сразу определишься, у тебя из пенсии вычитать будут, еще на лимонные конфетки останется. А мне откуда взять? Работала, а куда деваться? Мужик в тридцатом году пропал в Сибири, сын в плену без вести, зять меня в родную избу дальше сеней не пускает. А ты, генеральша, жалуешься, я вот не жалуясь, чего мне жаловаться?

Никто в палате не слушал разговора старух, не только Маша, да и что слушать было – старухи пели старую песню.

Женщины спали, Маша все не спала и плакала в темноте, ее маленькое сердце тревожно билось. Вот, казалось ей, когда все уснули, Варвара Семеновна сорвет на ней свою злость, она-то не спит.

Но и Варвара Семеновна спала. Старым людям горе не мешает заниматься делом, спать, улыбаться, посмеиваться – таким привычным становится оно за долгую жизнь. Чем оно тяжелее, тем привычнее оно, и уж кажется, согнутая спина только для того и согнута, чтобы удобнее нести тяжелую поклажу. Да оно уж и не груз, оно и есть жизнь, и горе кажется старухе естественным, как дыхание, как май и апрель.

А Маша не привыкла к горю, ей так хотелось домой, ей так невыносимо было в эту ночь без папы и мамы, среди бормотания, вскрикиваний и похрапываний, среди дурных запахов.

Она мышцами, костями своими ощутила, что смерть отогнали от нее и у папы и мамы не будет больше жалкого взгляда, так напугавшего ее.

И едва ее существо уверилось в этом, больничная палата стала ей невыносима, а папа с мамой необходимы, и каждая минута, проведенная без них, ошеломляла своей бессмысленностью.

Но она все же заснула и во сне вскрикивала жалобно, отчаянно, как выпавшая из теплого гнезда на холодную лесную землю неразумная и неоперившаяся птица. А привычная к горю Варвара Семеновна проснулась среди ночи и стала раздумывать о том, как ее будут хоронить: наверное, не обмоют, не обрядят, да и кому провожать... а профсоюзным собес двести рублей на похороны дает. Вот Петровну похоронят, ну и правильно, Петровна всю жизнь на фабрике работала; а ее не похоронят – свезут... Ну ладно, свезут ведь, не сволокут, и эта все же утешительная мысль была ей приятна, как приятны людям апрель, май, как утешительна была ей надежда на скорую небесную встречу с пропавшим в Сибири мужем, ему бы семьдесят четвертый год пошел...

Маша жалобно вскрикивала, и Варвара Семеновна встревожилась – вот девочка не спит, мучается.

– Не плачь, – сказала старуха, – я тебе про добрую лапшевницу сказку расскажу.

Маша не отозвалась, и Варвара Семеновна была рада, – значит, девочка не мучилась, а спала, да и никакой сказки про волшебницу старуха не знала, – только казалось, что лапшевное имя это возникло оттого, что добрая женщина из сказки сыплет бесплатно белую лапшу всем, кто ни попросит.

Маша снова дома. Слегка пошатываясь, бледная, серьезная, она вышла из палаты в полутемную больничную прихожую навстречу папе и маме и заплакала от счастья.

Ее везли домой в просторной машине Станислава Ивановича, она, не поджимая ног, лежала на заднем сиденье. Она лежала, прикрытая своим любимым одеялом, – оно поехало за ней в больницу, чтобы передать ей привет от десятков привычных, славных вещей, вещиц, предметов, что радовались ее возвращению и ждали ее. Оно пахло тем милым домашним запахом, который Маша всегда сразу же ощущала, входя с улицы в родной дом.

Дома Машу раздели, уложили в постель.

Ей казалось, что она сразу же забудет о палате, о скрипучих подушках, о жестяных мисочках. Но оказалось – не так. Только о палате она и говорила. Привычные ей ложечки, чашки, картины, книги смущенно молчали, а Маша рассказывала.

Она в лицах показала историю об убиенной студентке, как Петровна сообщила о воскресшем поросенке.

– Что за слова, прелесть, краски, какая разительная точность! – говорил папа. – Все запишу, право же!

И выпуклые глаза его блестели радостно, возбужденно, так, как блестели они, когда он слушал музыку.

Потом пришел Владимир Иванович Барабанов с женой навестить Машу, и папа попросил ее снова спеть Клавину песню, рассказать об угрюмой Варваре, крикнувшей Маше: «Ты чего оскоряешься?»

Маша рассказывала, то басыла, то говорила умильно, как Тихоновна, и все смеялись и восхищались: «Поразительная сочность, богатство речи, слова какие меткие, как живая вода, ваша электронная машина, Володя, таких слов никогда не придумает».

А Маше нравилось, что все восхищаются ее рассказами о больничной палате... Ее не радовало одобрение лишь одного человека – папы. Ей хотелось, чтобы именно папе было неприятно, стыдно, что она передразнивает палатных больных, а он восхищался и смеялся ее рассказам и все просил их повторить.

Потом все пили чай возле ее кровати и разговаривали: наконец утверждено строительство нового района, и на месте поля, огородов и деревушки возникнут красивые многоэтажные строения.

И снова Маша посмотрела на папу.

А когда гости ушли, папа поставил на проигрыватель пластинку, восьмую скрипичную сонату Бетховена, и сказал:

– Для тебя, моя милая, только для тебя на этот раз, не для меня. В ознаменование твоего возвращения к прежней твоей жизни.

И из неторопливого, важного и плавного движения электрического диска рождалось сотни раз слышанное и одновременно другое – внезапное, пронзительно-новое – боль, горе, разлука, бесприютные седины, смятение, одиночество...

Музыка играла, а Маша вдруг громко заплакала.

– Да что с тобой, – проговорил папа, – ведь это такое совершенство, наслаждение, радость, чего же ты...

Но что же делать... как исправить...

За дни Машиного отсутствия все дома стало не хуже, а даже лучше – милей, красивей, любимей, и все же все стало другим – и знакомые люди, и ложечки, и картины, и книги, и музыка, и папа, и мама.

1963

ФОСФОР

1

Тридцать лет тому назад, окончив университет, я уехал работать в Донбасс.

Я получил назначение химика в газоаналитическую лабораторию на самой глубокой и жаркой шахте Донбасса – Смолянка-11.

Глубина ствола Смолянки была 832 метра, а продольные на восточном уклоне лежали на глубине больше километра. Смолянка пользовалась плохой известностью – на ней происходили внезапные выделения рудничного газа и пыли, нечто вроде подземных цунами. При внезапных выделениях сотни тонн штыба и угольной пыли засыпали подземные выработки.

Романтика захватила меня – самая глубокая, самая опасная, самая газовая шахта в СССР. Меня покорила поэзия Донбасса – потоки лампочек, прочерчивающие пунктиром ночные степные дорожки, протяжный вой сирен среди тумана, черные терриконы, угрюмое зарево над металлургическим заводом.

Но две великие силы – романтика и поэзия – не смогли заглушить моей глупой «мальчуковой» тоски по Москве, по московским друзьям, которых я очень любил.

Мне отвели двухкомнатную квартиру в шахтерском поселке, в инженерском не было свободных коттеджей.

Квартира была справная – просторные комнаты, большая кухня, сарай для угля, две кладовки с дощатыми полами. В такой квартире хорошо жить

с семьей, обзавестись хозяйством. А я завез в квартиру пружинный матрац, чайник, стакан, ложку и нож. Матрац без козел я установил посередине комнаты, под лампочкой. Если я сидел на матраце и пил чай, чемодан, поставленный на попу, служил столом. Ел я тогда мало, больше курил. У меня в ту пору болели зубы, и я иногда до утра ходил по комнате и курил. А если боль несколько успокаивалась, я ложился на матрац, читал и курил. К утру комната была полна дыма, а консервная банка, служившая пепельницей, не вмещала окурков.

Я очень тосковал по вечерам. За долгие месяцы никто не пришел ко мне в гости. Я был застенчив, знакомства с сослуживцами у меня не завязались. В шахте я восхищался забойщиками и проходчиками, а на поверхности они надо мной посмеивались, жены забойщиков и запальщиков, моих соседей, заглядывали в окна моей пустой квартиры и считали меня малахольным. Их сместило отсутствие мебели в комнатах и посуды на кухне. По утрам я не завтракал, есть не хотелось после десятков ночных папирос. В столовой кормили скверно – был суровый тридцатый год, год сплошной коллективизации, начало первой пятилетки.

Совершались большие дела, а люди вокруг меня, начальники участков, штейгеры, сам заведующий шахтой поражали меня мещанской ограниченностью. Разговоры, где что достать, что привезла жена из Ростова, а теща из Мариуполя, огромная бессмысленная водка, грубые, сальные и необычайно глупые анекдоты, пересуды о начальстве, разговоры, кто кого подсидел, и непонятно, удивительно слитая с этим всем, полная поэзии и романтики, тяжелая опасная работа на самой глубокой шахте в Союзе ССР – угрюмой Смолянке-11.

Днем я работал, а вечером сидел один в пустом семейном балагане – так в Донбассе называют квартиры. Я был один, и зубная боль, она меня не оставляла. Я ходил часами по комнатам, держась рукой за щеку, и дымил, дымил. Иногда я протяжно мычал...

Потом я ложился на матрац и глотал подряд несколько таблеток аспирина, боль затихала, и я засыпал на два-три часа, пока действовал аспирин.

Я тосковал, я ревновал жену, которая редко мне писала, – она оканчивала институт, была очень занята.

Я тосковал по Москве – по асфальтовым тротуарам, по вечерним московским улицам, я вспоминал Страстную бульвар, кино «Аре», где шли кинокартины «Тайна доктора Мобузо», «Песнь о Нибелунгах», «Индийская гробница». Я вспоминал зелено-желтую приветливость пивной на Бронной, где пела цыганка Морозова. Но больше всего я тосковал по своим друзьям. У меня были замечательные друзья – умные, горячие головы, веселые, интересующиеся всем на свете: политикой, Эйнштейном, поэзией, живописью, песнями Буша и Доливо, водкой и симфонической музыкой. Мы спорили, много читали, пили пиво и водку, бродили ночами по бульварам, купались в Москве-реке под Воробьевыми горами. Иногда мы пели хором, дурачились, однажды затеяли драку на Патриарших прудах с большой компанией подвыпивших парней. В этом сражении я не был на высоте, – выйдя из боя, превратился в наблюдателя; друзья долго меня корили за это.

Собирались мы по субботам либо у математика Женьки Думарского, либо у химика Кругляка. Думарский жил в семье, но наша шумная плебейская компания, приходя по субботам, хорошо, свободно чувствовала себя в его доме. Родители обожали милого многоодаренного сына, и домашний культ Женькиной личности распространялся и на друзей его.

Иногда мы большой компанией оставались у него ночевать, нам стелили на полу одеяла, мобилизовывали подушки с постелей и диванов.

У Думарских имелся рояль, Женя любил музыку. Часто на субботники он приглашал молодого пианиста Тедика. Думарский считался выдающимся студентом, действительно, он стал известным профессором, автором многих математических исследований. Но он не был узким специалистом. Его увлекали политическая экономия и марксистская философия. Чтобы поглубже понять философию пролетариата, Женька поступил рабочим на завод. Он обладал хорошей физической подготовкой, много занимался спортом. Учась и работая на заводе, он успевал ходить на концерты, вел с девушками сложные и простые романы и был столпом наших суббот. В драке на Патриарших прудах кулак Жени Думарского во многом решил исход сражения.

Когда наши субботы происходили в холостой комнатухе Кругляка, мы вели себя очень шумно – громовыми голосами пели, спорили, и хотя предметы споров были интеллигентны: специальная и общая относительность, поэзия не старше Блока, индустриализация и сверхиндустриализация, – мы обзывали друг друга самыми крепкими словами, крепче русский язык не знал.

Компания наша подобралась, казалось, очень пестро: математик Думарский, студент Высшего технического училища Ванька Медоров, Тедик – музыкант, Мишка Семенов, совмещавший коня и лань – геологию и живопись. Я был химиком, но химия не тешила мою душу. Входил в нашу компанию Абраша-Абрамео, большелицый, бледный, со стоячей копной спутанных волос, с невероятной биографией – он пятнадцати с половиной лет командовал полком, в семнадцать был старшим следователем губчека, потом секретарем губкома комсомола. Ходил он в ту пору в сандалиях на босу ногу, зимой и летом без шапки, заросший до глаз курчавой бородой. У него была партийная кличка Христос. Мы же его звали Абрам Гутанг. Став студентом МГУ, он оказался веселым, чуждым фанатизма и совершенно инфантильным человеком, любившим кроссворды, викторины, страстным игроком в военно-морскую игру, в крестики и нолики. Отличался Абраша могучим женолюбием, считалось, что он способен уговорить любую студентку.

Оба наших женолюбца – Абрамео и Думарский – к водке были равнодушны, главными питухами нашими считались Ваня Медоров и Мишка Семенов.

Медоров, впоследствии ставший ментором отечественного машиностроения, говорил басом, был институтским общественником, носил всегда кожаную куртку, казалось, он ее и ночью не снимал, лицо имел хмурое, широколобое и очень почитал Есенина. Успехом он у девиц не

пользовался, хотя был собой плечист, крепко скроен. У него было длинное и безрадостное прозвище: «Шашнадцать лет не спамши с бабой».

Мишка Семенов во хмелю бывал буен, обладал большой физической силой, ради выпивки и душевного разговора мог пренебречь любым делом, в компании нашей числился неизменным запевалой. Люди были разные – и характером, и специальностью, и судьбой, и надеждами. Но имелось нечто, объединяющее всех – фосфор, соль!

Действительно, все эти забубённые, веселые студенты, спорщики, матерщинники, выпивохи, стали впоследствии знаменитыми людьми: наш Женька Думарский читал почетный курс лекций в Сорбонне, и труды его изучались на американских математических кафедрах; когда наш пианист давал концерты, люди за квартал от консерватории спрашивали: «Нет ли лишнего билетика?», а когда Тедька, ставший сорокапятилетним Теодором, дебютировал в Нью-Йорке, зал Карнеги-Холл стоя приветствовал его. Иван «шашнадцать лет не спамши с бабой» стал главным конструктором в гигантском станкостроительном объединении. Сотни молодых инженеров разрабатывали его идеи. Он был награжден многими орденами, стал многократным лауреатом Сталинской, а впоследствии и Ленинской премий, два-три раза в год он летал специальными самолетами на европейские и заокеанские конгрессы и конференции. Я уверен, что Абрамео тоже стал бы выдающимся человеком, знаменитым деятелем, но жизнь его прервалась, он погиб в 1937 году. Вот и Миша Семенов, наш запевала, оглушавший всех песней: «Ах, зачем ты меня целовала, жар безумный в груди затая...», – теперь уже академик, а Дом ученых недавно устроил выставку его картин, и профессионалы-художники высоко оценили Мишины степные пейзажи.

Стал в конце концов известен и я, не как химик, к сожалению.

Единственный человек в нашей компании, не имевший фосфора и соли, не блиставший в университетских аудиториях, был Давид Абрамович Кругляк.

Он и я учились на химфаке, вместе отработывали количественный и качественный анализ, вместе ходили в студенческие столовые. У Кругляка имелась комната на Садово-Самотечной. Когда-то в начале нашего знакомства я зашел к нему за книгой – комнатка была чистенькая, уютная, с ковриком, с книжной полочкой. Мне ужасно понравилось у Кругляка. Он, видимо, обрадовался тому, что я зашел к нему. Я сидел на диванчике, а Кругляк пододвинул ко мне ломберный столик и угощал меня чаем, спрашивал, не дует ли от окна, предлагал сварить яйцо всмятку.

Я стал бывать у него, мы вместе готовились к экзаменам. Иногда я оставался у него ночевать, и утром, когда я мылся на обледеневшей кухне, Кругляк уже успевал подмести пол, выветрить табачный и прочий дух, принести из магазина свежий чурек, заварить чай.

Как– то я рассказал о Кругляке своим друзьям и предложил устроить у него очередную субботу, и мои насмешливые, умные и привередливые друзья хорошо отнеслись к моему сокурснику. Он им понравился. А ведь многочисленные попытки ввести в нашу компанию новых людей обычно кончались неудачно -мы осмеивали и дружно забраковывали новых кандидатов. Но, конечно, мы понимали, что Кругляк человек без искры божьей. У Рабиндраната Тагора есть такие строки: «О, великая даль, о, пронзительный зов твоей флейты». Нам было ясно, что флейта не зовет Кругляка в великую даль.

Интегралы ему не давались. Выводы законов термодинамики он заучивал механически, а излагая проштудированные страницы, обычно говорил: «Не сбивай меня вопросами».

Но мы нравились ему вовсе не потому, что были белыми воронами. Он был гостеприимным хозяином вовсе не потому, что ему импонировали аристократы студенческого духа. Он был не дурак выпить. У него имелось много знакомых девиц, но это не были студентки.

Он любил часто произносить слова «прекрасно», «прекрасное». Об участниках наших суббот он говорил: «Какие прекрасные люди». И о колбасе в университетском буфете он сказал, блестя карими яркими глазами: «Прекрасная».

Он происходил из очень бедной еврейской семьи, отец его был лесником в Полесье, брат пекарем, сестры портнихами. Все они плохо говорили по-русски, картавили и пели, и мне нравилось спокойное достоинство Кругляка, когда он знакомил с москвичами и ленинградцами своих родных. Ему не приходило в голову стесняться их местечковой простоты.

Хотя я его знал лишь по совместным занятиям в университете и хотя, казалось, он был из малознакомой, как говорится, не моей среды, я, не колеблясь, в час денежной прорухи обратился прежде всего к нему. А как-то ночью, опоздав на электричку (я жил в то время за городом – в Вешняках), я вдруг оказался без ночлега и, стоя на Манежной площади, решал – к кому пойти ночевать; решал недолго – пошел к Кругляку.

Однажды, в воскресный день, я и Абрамео устроили розыгрыш, невероятно глупый и хулиганский. Абрамео обзвонил всех наших друзей и сообщил, что на меня напали бандиты, раздели меня, избили и что я пришел к нему на службу, в редакцию газеты, в нижнем белье, босой, с окровавленной головой. В редакции Абрамео не занимал должности редактора, а состоял ночным сторожем, и, естественно, мое положение было плохое – отлучиться Абрамео не мог ни на минуту, а через считанные часы в редакцию начнут приходиться сотрудики. «Ребята, выручайте», – говорил Абрамео и вешал трубку.

Пришли все; первым с большим узлом пришел Кругляк.

К его приходу я лег на диван, Абрамео закрыл меня газетами, а на моем лбу в виде повязки была закреплена полоса белой бумаги, картинно забрызганная красными чернилами. На этой бумаге была сделана крайне непристойная оскорбительная надпись. Кругляк, увидя меня, бросил на пол узел и подбежал к дивану, наклонился надо мной. Естественно, он прочел надпись, она была адресована ему.

Я и Абрамео катались по полу. Затем мы стали разбирать принесенное Кругляком барахло. И снова мы катались по полу – зимнее рваное пальто кругляковского папаши, подшитые черные валенки, меховая потертая шапка, новый костюм Кругляка; костюм был хороший, но летний, однако. Все нас необычайно смешило. Каждому вновь пришедшему мы показывали принесенное Кругляком барахло, и все снова начинали хохотать.

Но я, конечно, заметил, что Кругляк пришел первым и что, кроме него, никто не принес одежды для пострадавшего.

– Ты чего так поздно? – ревниво спрашивал я.

Объяснения были веские: Мишка Семенов в этот день показывал свои картины художнику Фальку, естественно, от волнения, после демонстрации картин, он забегал в пивную и выпил пива. Тедька по воскресеньям обедал у дедушки – знаменитого медика, – эту традицию нельзя было нарушить. Мой друг Женька Думарский подготавливал в Ленинской библиотеке материалы к предстоящему докладу на математическом кружке. Позже всех явился Иван «шашнадцать лет не спамши с бабой» – Ваня выпивал с пригласившим его к себе заводским мастером и не мог обидеть простого человека, – распив пол-литра, надо и поговорить.

Естественно, что и вещей никто не привез для пострадавшего, – как известно, из Ленинской библиотеки валенок не прихватишь.

В общем, мы вдоволь посмеялись над Кругляком. Смешным было и окончание этой истории – все пошли в пивную слушать Морозову, а разыгранный Кругляк потащился со своим узлом

домой.

Он обругал нас матерными словами, но чувствовалось, что он не очень рассержен.

– Я об одном жалею, – сказал он, – у Эсфири был такой прекрасный бульон, и я его не кушал.

Но вот и кончились годы ученья, и ушли в прошлое университетские лаборатории, ночные прогулки, студенческие споры, веселые и умные субботы, огни вечерней Москвы и та хмельная и светлая легкость, которая вдруг, неожиданно, то темным осенним утром, то холодной январской ночью заполнит тебя всего ощущением самого высшего счастья – бессмысленного и беспричинного.

Друзья мои остались в Москве, а я жил в шахтерском поселке, месил ногами липучую грязь, шел мимо черных гор глея по недоброй земле; а осеннее небо было таким тяжелым, холодным, что, поднявшись в клетки после долгих часов, проведенных в шахте, я не радовался воздуху поверхности.

Я очень, очень тосковал. У меня не только болели зубы, и не только мучило меня одиночество. В душе моей стояла смута. Юношей я решил освободить внутриатомную энергию, а еще раньше, мальчишкой, мне хотелось создать в реторте живой белок. Не сбылось.

Ночью, в бессонницу, мучаясь от зубной боли, я думал о Москве. Да было ли все это! Были ли разговоры Думарского об энтропии и его остроты, которые хотелось записывать, стихи Киплинга: «...пыль, пыль, пыль от шагающих сапог...» Ванька, читавший угрюмым басом: «Черный человек... черный человек...», пальцы молодого пианиста, бегущие по клавишам, и слезы на глазах от чудной музыки, громовое пение Мишки Семенова: «Ах, зачем ты меня целовала» и его отчаянные, как у Митеньки Карамазова, поступки – однажды он приставил к виску револьвер: «В мире, обреченном тепловой смерти, жить не желаю»; Думарский толкнул его руку в тот момент, когда он спускал курок, и пуля, окровавив буйную голову Мишки, ударила в потолок.

А майские светлые ночи, вестницы петербургских белых ночей!

Было, было все это, конечно, было. Та, московская, жизнь продолжалась. Но я вылетел из нее.

Видимо, я заболел. По ночам, когда, на время помилованный зубной болью, я засыпал, голова моя делалась мокрой от пота, волосы слипались, и капли пота текли по лбу; я просыпался не от зубной боли, а от того, что холодные струйки щекотали мое лицо, шею, грудь. Я стал желтеть, зеленеть, температурить, кашлять. С утра я чувствовал себя утомленным, вялым. В шахтерской больнице меня взяли «на лучи» и оглушили диагнозом: «Оба легких сплошь покрыты свежими туберкулезными бугорками».

Туберкулез, чахотка, бугорчатка...

Я сидел ночью на своем матрасе, курил, кривился от зубной боли и перечитывал написанный докторскими каракулями приговор. А жена все не ехала ко мне и уже третью неделю не отвечала на мою телеграмму.

Мне в эти дни стало совершенно невыносимо тяжело, и я решил написать Думарскому – ведь мы с ним учились вместе с младшего приготовительного класса. Писал письмо я долго, несколько вечеров, написал обо всем – и о своей тоске, и о болезни. Письмо было таким печальным, что я плакал над ним, но все же мне стало легче.

Так хорошо было смотреть на конверт с надписанным адресом: «Москва, Петровка, 10...»

Конечно, я поступил правильно, написав именно Думарскому, матери я не смел написать о своем отчаянии, она бы заболела с горя, прочтя письмо. Следовало написать другу, мужчине, товарищу детства. И я так сделал.

Я стал ждать ответа, рассчитал дни, накинул пять льготных дней, потом еще пять, у меня был опыт в этих делах при переписке с женой, но ответ не пришел. Я огорчился, почувствовал себя оскорбленным, потом я решил, что письмо мое затерялось, потом я решил, что затерялся ответ Думарского, и в конце концов успокоился, забыв обо всем этом.

Как– то в конце лета я сидел после работы на крыльце, покуривал, смотрел на закат. В дымном воздухе Донбасса закаты бывают удивительно красивые, а зубы у меня не болели, и я мог любоваться тихим вечером, небесным заревом, вставшим над пустынной улицей шахтерского поселка.

Вдруг я увидел совершенно необычную для нашего поселка фигуру – человек в клетчатом пальто, с желтым чемоданом в руке шел на фоне наших заборов и сортирчиков с устремленными в небо деревянными трубами, над ними в высоте стояли полные багрового света облака. Человек вглядывался в номера домов. Это был Кругляк.

Господи боже мой, до чего же я был рад ему.

Странно, но именно его я почти не вспоминал в свои бессонные ночи.

2

Прошло тридцать лет. Я уже давно живу в Москве, не занимаюсь химией, а внутриатомную энергию без моего участия поставили на службу людскому горю и людскому счастью.

Молодой фосфор не подкачал, друзья моей юности много поработали за эти тридцать лет. Конечно, мы не встречались так часто, как прежде, – работа, семья, дети, да что дети – внуки!

И все же мы виделись не только по праздникам, не только в дни рождений. Иногда Думарский внезапно звонил мне, как в молодые времена: «Послушай, есть два билета на концерт Бостонской филармонии, пошли?» А после концерта мы по старинке переглядывались: «В ресторанчик?» А после мы гуляли по ночному Тверскому бульвару и разговаривали. Говорили о семейных делах, о политике, часто говорили о наших друзьях.

Как– то, еще до войны, я вспомнил про письмо, написанное мной Думарскому из Донбасса:

– Получил ли ты его?

Он кивнул – да.

– Как же ты не ответил!

– Видишь, пороху, что ли, не хватило, прости уж.

Я простил. Конечно, случилось, что это происшествие припоминалось мне, но я простил.

Не вышла жизнь у одного лишь Кругляка, он не стал ни знаменитым конструктором, ни известным всему миру пианистом, ни академиком, не строил ледоколов.

Он стал цеховым химиком, да и работа цехового химика у него не ладилась. Всем нам казалось, что он человек покладистый, мягкий, а он постоянно вылетал со службы, не уживался с начальством. Незадолго до войны его снова уволили с завода, и он никак не мог устроиться, но в конце концов получил какое-то совсем уж захудалое место.

Когда его спрашивали: «Где ты все же работаешь?» – Кругляк, усмехаясь, отвечал: «Э, артель „Напрасный труд“, – и махал рукой.

Началась война, и все мы приняли в ней участие. Думарский руководил в институте механики разработкой сложных математических вопросов, играющих большую роль при расчетах прочности скоростных самолетов. Иван «шашнадцать лет не спамши с бабой» в звании полковника выполнял особые задания Комитета обороны, связанные с танкостроением; к началу войны он, несмотря на свое прозвище, был отцом четверых детей; я стал штабным работником, носил погоны подполковника; даже наш Теодор в майорской форме давал концерты в армейских госпиталях. Единственный из нас провоевал рядовым, в расчете зенитного артиллерийского орудия, Кругляк – лишь к самому концу войны он получил сержантские лычки и был демобилизован после ранения. Закончил он службу без большой славы – не получил даже медали «За боевые заслуги».

Нас это смешило, а в душе смущало, особенно когда он рассказал о жуткой по трудности солдатской службе. Все мы, и не нюхавшие подобного, получили немало военных орденов.

Но меня особенно тронула одна совершенная, в общем, мелочь. Наши семьи в 1941 году уехали в эвакуацию. В моей опустевшей квартире осталась старушка няня, Женни Генриховна, эстонка с острова Эзель. Это было доброе и никчемное существо, в черном длинном платье с белым воротничком, с маленьким румянцем на маленьких старушечьих щеках.

На второй год войны Женни Генриховна стала опухать и отекать от голода, честность ей мешала продавать хозяйское барахло. Она попробовала обратиться за помощью к моим друзьям – кое-кто из них был в Москве, кое-что ей обещали, но в военной суете и горячке, видимо, забыли, а она по робости не решилась вторично о себе напомнить. В это время зенитная батарея, в которой служил Кругляк, охраняла какой-то военный объект под Москвой. Однажды он пришел к нам на квартиру узнать, есть ли новости обо мне. Старуха ему не сказала о своем бедственном положении, ей казалось невозможным обращаться за помощью к солдату в кирзовых сапогах.

Но через неделю Кругляк вдруг появился у нее – принес ей несколько картофелин, пшена, кусочек масла. Потом он еще раз или два привозил ей свои дары.

Мне представляется фигура солдата, у которого все огромно – шинель, рукавицы, сапоги, шапка, сам же солдат маленький, и в руке у маленького солдата маленькая сеточка-авоська, в ней лежит несколько картофелин и кулек крупы. Маленький солдат шагает по огромной Москве, мимо тысяч удрученных военной заботой людей, он отпросился у командира батареи, входящей в состав огромной советской артиллерии, у него важное дело, он несет никчемной старухе вот эту самую сеточку с картошкой.

После войны в мире было немало разных событий. Мао Цзэдун возглавил новый Китай. Индия стала независима. Возникла Организация Объединенных Наций. В Советском Союзе развернулась огромная программа восстановления городов, заводов, сельского хозяйства. Создавалась по обе стороны океана водородная бомба.

Жизнь моих друзей после войны шла по-разному – у одних с неприятностями, трудновато, у

других, как у Тедика и Медорова, она ракетой пошла вверх – со встречами с руководителями правительства, с полетами на воздушных лайнерах в Нью-Йорк и Вашингтон, с портретами в газетах.

Но, в общем, и у тех, кто не взлетел ракетой, жизнь шла, – Думарский опубликовал несколько новых математических работ, был поставлен вопрос о его выдвижении в академики; на Семенове начала, видимо, сказываться бурная жизнь, водочка – у него появилась стенокардия, но он не зачислял себя в больные – возглавил комплексную экспедицию в область вечной мерзлоты, и открытия, совершенные палеонтологами, возглавляемыми Мишкой, удивили многих людей и у нас, и за границей. И выпивал он, как конь, по-прежнему, и курил полным ходом.

А у Кругляка после войны жизнь сложилась совсем плохо. У него тоже ухудшилось здоровье, появились боли в желудке, врачи определили у него язву. Диеты он не соблюдал, так как был холостяком – продолжал жить в комнатке, где когда-то собирались наши оглушительные субботы. Работал он в каком-то промкомбинате, производившем анилиновые детские краски, работал не только химиком, но и администратором – добывал дефицитное сырье, нужное для производства химикалий.

Как– то перед Новым годом ко мне неожиданно пришел старший брат Кругляка – большеглазый семидесятилетний и черноволосый белорусский Чарли Чаплин. Он рассказал мне, что в связи с какими-то нарушениями и незаконными действиями ОБХС – отдел борьбы с хищениями и спекуляцией – арестовал нескольких человек, руководивших промкомбинатом, среди арестованных был и Кругляк.

Новость оказалась во всех смыслах неприятной, стало жалко Кругляка, и зло на него брало, и нехорошо было, что дело какое-то ничтожное, торговое.

Как помочь Давиду? Я сказал его брату, что подумаю, может быть, удастся помочь Кругляку, – старик ушел, полный благодарности, извиняясь, что отнял мое драгоценное время, уповая на величие и всемогущество друзей своего брата.

Из рассказа старика нельзя было понять, в чем вина нашего друга и какова степень ее, – действительно ли он пошел на какие-то противозаконные дела, то ли не замечал чьих-то махинаций, а когда уж заметил, не нашел в себе силы и смелости разоблачить их.

Я рассказал ребятам о Кругляке – все были огорчены, все высказали надежду, что дело кончится благополучно, все согласились на том, что надо бы помочь, но всем, в том числе и мне, было неприятно ввязываться в дело, связанное с происшествиями в промысловой артели.

Но дело не кончилось благополучно. Кругляка приговорили к десяти годам заключения.

Мы снова собрались, и оказалось на этот раз, что двое из участников суббот не выразили сочувствия Кругляку. Иван Медоров сказал, что всю жизнь презирает снабженческие мухлевки, блат, жульничество и не способен сочувствовать причастному к подобному делу человеку, будь этот человек ему отцом, братом, другом детства. Теодор сказал, что эстетическое чувство – самое сильное из доступных ему чувств и что он, понимая, насколько это нехорошо, не может преодолеть возникшую в нем неприязнь к Кругляку.

Мы спорили, шумели, но дело от этого не менялось, да и спор этот был в общем теоретический – бросаться в бой, писать письма, ходатайствовать о Кругляке не хотелось, по правде сказать, никому из нас, в том числе и мне. Я нашел успокоение для своей совести в том, что был очень сердечен с братом Кругляка, когда раза два-три в год он приезжал ко мне. Я усаживал его в кресло, поил чаем, расспрашивал о здоровье Давида, предлагал ему денежную помощь. Я вздыхал, говорил:

– Ах, как бы мне хотелось помочь ему, все мы переживаем вместе с вами его беду.

Я сказал старику, что напишу Давиду, но он замахал на меня руками:

– Что вы, при свидании Давид предупредил, чтобы вы ему не писали, это может вам повредить.

Меня это тронуло, и я сказал:

– Во всяком случае, в каждом письме передавайте ему мой горячий привет.

Но я заметил, что просьба не писать Кругляку меня не только тронула, но и обрадовала.

А когда мы встречались с друзьями, вспоминали студенческие времена, кто-нибудь обычно говорил:

– Давайте, ребята, выпьем за здоровье Кругляка.

Тост этот принимали дружно, и лишь однажды Медоров

сердито сказал:

– Что-то не хочется мне сегодня за Кругляка пить.

Я озлился, но Иван тоже набычился, стал кричать:

– Если черт его разок попутал, как ты сам говоришь, то я вовсе не обязан пить за тех, кого черт попутал. Пусть черт за него и пьет.

Кругляк жил в лагере сравнительно неплохо. Конечно, лагерь – это прежде всего лагерь, но все же Кругляка использовали по специальности – он читал лекции на технических курсах, жил не в общем бараке, а в комнатке при лаборатории, начальство разрешило ему завести огородик, заняться кролиководством.

Как– то брат его, приехав ко мне, сказал, что Кругляк просит прислать ему несколько технических книг и какие-то таблицы, кажется, общесоюзные стандарты.

Я взялся добыть все это, позвонил Думарскому – он к технике имел более близкое отношение, чем я. Думарский обещал достать книги и материалы.

Я раза два напоминал ему, он ахал: «Как это я забыл», – но в конце концов и я забыл об этом деле.

Как– то я встретил старшего Кругляка на улице и, внезапно вспомнив о своем невыполненном обещании, стал перед ним извиняться, но он успокоил меня -и книги, и таблицы он уже давно послал брату.

Время шло, и мы привыкли к тому, что Кругляк в лагере. Иногда, вспоминая о Кругляке, мы говорили: «Надо бы съездить к брату Давида, как неудобно, когда у человека нет телефона». Жил кругляковский брат далеко, ехать к нему надо было на метро, потом на трамвае. Я так и не собрался к нему. Когда я вспоминал о Кругляке, мне становилось неприятно: время все идет, месяцы складываются в годы, а я все не могу поехать к его брату.

А жизнь шла – работа, деловые, товарищеские встречи, поездки, семейные волнения, дома отдыха санаторного типа, строительство дач. Да, много всего было.

Как– то мы собрались в предпраздничный день на квартире у Думарского. Случилось, что за столом не было ни жен, ни детей, и с какой-то особенной ясностью мы увидели себя такими,

какими мы были когда-то, и одновременно такими, какими мы стали сейчас.

Седые люди сидели за столом. Нам стало грустно и в то же время радостно. Жизнь мы прожили недаром – победители мы.

Сколько тяжелой работы было за нашими плечами, немало сделано! Вот они, исхоженные тысячи километров тайги и тундры, сколько реализовано рудных богатств, вот они, вот они, самолеты и ледоколы, в которых гнездится мысль моих друзей, удивительные машины, станочные автоматические линии, неопровержимые уравнения, чья логика определила прочность воздушных винтов и мощь турбореактивных двигателей, вот они, руки нашего милого пианиста, сколько наслаждения принесла людям его музыка в концертных залах Москвы и Ленинграда, Берлина и Нью-Йорка. Сколько работы, сколько книг, сколько мыслей.

Странно, в этот вечер мы чувствовали одинаково, думали одинаково, радовались и грустили одинаково и в то же время мы не говорили вслух о том, что радовало и печалило нас.

Да, головы наши седы, но мы победили, и все же грустно, вот она, старость.

Вот в этот вечер мы не вспоминали о Кругляке, может быть, так нужно было, в этот вечер за столом сидели люди, недаром прошедшие жизнь, победители.

Кругляк не был победителем, ведь не случись с ним та беда, что случилась, он бы все равно не был среди победителей.

– Давайте, ребята, споем, – предложил Думарский. И мы разом грянули:

Ах, зачем ты меня целовала,

Жар безумный в груди затая...

Пели мы оглушительно громко, так громко мы пели, когда нам было двадцать лет. Стекла звенели от нашего оглушительного пения. Меня всегда занимало, что наш пианист очень любит петь в этом нашем хоре, орал до хрипоты. Ведь пели мы без слуха, без голоса, а Теодору, мучительно страдавшему от малейшего ассонанса, этот хор доставлял наслаждение. Видимо, сила этого пения была не в музыкальной гармонии, не в мелодии. Пели люди седые, недаром прожившие жизнь, победители.

3

В начале пятидесятих годов в моей жизни наступило трудное время. Мне не хочется говорить, как и почему случилось это. Но вот случилось.

Мог ли я себе представить, живя в Донбассе, в пустом семейном балагане на шахте Смолянка-11, что тоска и одиночество, еще более сильные, чем в пору моей донбасской жизни, могут охватить меня здесь, в Москве, в кругу семьи, окруженного друзьями, среди любимых книг, занятого своей работой.

Я был одинок, подавлен. Мне часто вспоминалось, как в молодости, на Смолянке, мучаясь от зубной боли, куря папиросу за папиросой, я ходил до утра по пустой комнате. Тогда, в молодости, я тосковал по Москве, по своим друзьям, по жене, она жила далеко от меня и не спешила ко мне приехать, потому что не любила меня.

А тут жена была рядом со мной, я жил в Москве, мне стоило снять телефонную трубку, и я

услышал бы голос своих друзей. И именно сейчас я был одинок и несчастен, как никогда. К тому же голова моя поседела – многое исполнилось, а жить мне было тяжело.

Телефон стоял на моем столе и молчал. Обо мне в эту пору плохо писали в газетах, обвиняли меня во многих грехах.

Я считал, что обвиняют меня несправедливо, конечно, все обвиняемые считают, что их обвиняют несправедливо. Но возможно, что обвиненные и обвиняемые не всегда кругом виноваты.

А обо мне писали только плохое, и на собраниях обо мне говорили только плохое.

А телефон на моем столе молчал.

Думарский не позвонил мне... Я вспомнил, что когда-то он не ответил на мое письмо из Донбасса. Теперь мне не надо было писать ему о своей беде – он знал о ней из газет. Но время шло, и Думарский молчал. Молчали мои друзья. Никто не приехал ко мне, ни Медоров, ни Мишка Семенов, ни Тедик. Но больше всего меня мучило молчание Думарского. Ведь мы были с ним друзья детства. Мы сидели в младшем приготовительном классе на предпоследних партах – я в первом ряду парт, он в среднем ряду парт.

Мне не хватило ни душевного величия, ни душевной пустоты, чтоб простить ему молчание.

Как– то в эти невеселые времена ко мне пришел брат Кругляка. Он стал совсем старым, но голова его по-прежнему была черной. Оказывается, он на днях видел Кругляка, ездил к нему на свидание в лагерь. Новости из лагеря, как всегда, были хорошие, я давно заметил, что новости из лагеря всегда хорошие, плохих не бывает. Кругляк был здоров, язва его не тревожила, лагерная администрация относилась к нему хорошо, ему зачитывали день заключения за три -он добросовестно работал, он надеялся скоро выйти на волю. При свидании он передал брату записку для меня. В лагерь приходили газеты, и Кругляк знал о моих делах.

Он написал в своей записке несколько утешительных для меня слов, жалел, что не может посидеть со мной вечером, поговорить о том о сем.

Проходит все. Прошло трудное для меня время, а мое новое трудное время еще не пришло. И снова зазвонил на столе телефон.

И вновь я не так уж часто вспоминал маленького человека, неудачливого цехового химика, у которого собирались в дни молодости мои блестящие, талантливые друзья.

1958 – 1962

ЖИЛИЦА

Старушка Анна Борисовна, получившая жилую площадь по ордеру Дзержинского райсовета, насмешила жильцов квартиры тем, что у нее при въезде не оказалось ни мебели, ни кухонной посуды, ни платяев, ни даже постельного белья. Прожила она в своей комнате недолго. На восьмой день после получения ордера, идя по коридору, она вдруг вскрикнула, упала на пол.

Соседка вызвала по телефону «неотложку». Докторша сделала старухе укол, сказала, что все

будет в порядке и уехала. Но Анке Борисовне к ночи стало совсем плохо, и соседи, посоветовавшись, позвонили в «Скорую помощь». Машина из института Склифосовского приехала быстро, через шесть минут после вызова, но старая женщина к ее приезду уже умерла. Врач посмотрел зрачки у новой покойницы, вздохнул для приличия и уехал.

За те несколько дней, что Анна Борисовна Ломова прожила на Московском Юго-Западе в своей комнате, жильцы кое-что узнали о ней. Молодой женщиной она, видимо, участвовала в гражданской войне, была будто бы комиссаром бронепоезда, потом она жила в Персии, в Тегеране, потом в Москве на какой-то ответственной работе, чуть ли не в Кремле; в разговоре со школьницей Светланой Колотыркиной, о преподавании русской советской литературы, она сказала: «Я когда-то дружила с Фурмановым и с Маяковским». А матери Светланы, контролеру ОТК на автомобильном заводе малолитражных машин, она рассказала, что в 1936 году ее арестовали и она провела 19 лет в тюрьмах и лагерях. Совсем недавно Верховный суд ее реабилитировал, признал совершенно невинной. Ее прописали в Москве и дали площадь.

Видимо, во время лагерных скитаний она растеряла родственников и друзей, не успела в Москве связаться с каким-либо коллективом – никто не пришел в крематорий, когда сжигали ее тело. Сразу же после смерти Ломовой комнату ее занял водитель троллейбуса Жучков, очень нервный человек, с женой и ребенком.

Все жильцы удивительно быстро забыли о том, что несколько дней в их квартире жила реабилитированная старуха.

Как-то в воскресенье утром, когда обитатели квартиры, попив чаю и позавтракав, коллективно играли на кухне в подкидного дурака, почтальонша принесла воскресную почту: газеты «Московская правда», «Советская Россия», «Ленинский путь», журналы «Советская женщина» и «Здоровье», программу радио и телевидения, и письмо, адресованное гражданке Ломовой Анне Борисовне.

– Нет у нас такой, – на разные голоса сказали жильцы и жилицы.

А водитель Жучков, тесня к двери почтальоншу, сказал:

– Нет такой и не было.

И тогда Светлана Колотыркина неожиданно сказала ему:

– Как же ее не было, когда вы в ее комнате живете.

И все вдруг вспомнили Анну Борисовну Ломову и удивились, как начисто забыли о ней.

Посоветовавшись, жильцы вскрыли конверт и прочли вслух отпечатанную на пишущей машинке бумагу.

«В связи со вновь открывшимися обстоятельствами решением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 8/5 1960 года Ваш муж Ардашелия Терентий Георгиевич, умерший в заключении 6/7 1937 года, посмертно реабилитирован, а приговор, вынесенный Военной коллегией Верховного Суда от 3/9 1937 года, отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено».

Вероятно, имелся в виду 1936 год, описка автора.

(Прим. составителя.)

– Куда теперь эту бумагу?

– А куда ее, никуда. Обрато отослать.

– Я считаю, мы обязаы ее в домоуправление сдать, поскольку эта женщина имела здесь постоянную прописку.

– Вот это правильно. Но сегодня у них в домоуправлении выходной.

– А куда особенно спешить.

– Давайте ее мне. Я зайду насчет неисправности кранов и заодно ее сдам.

Потом все некоторое время молчали, а затем мужской голос произнес:

– Чего же это мы сидим. Кому сдавать?

– Кто остался, тому и сдавать.

1960

СИКСТИНСКАЯ МАДОННА

1

Победоносные войска Советской Армия, разбив и уничтожив армию фашистской Германии, вывезли в Москву картины Дрезденской галереи. В Москве картины хранились взаперти около десяти лет.

Весной 1955 года Советское правительство решило вернуть картины в Дрезден. Перед тем как отправить картины обратно в Германию, было решено открыть девятистодневный доступ к ним.

И вот холодным утром 30 мая 1955 года, пройдя по Волхонке мимо кордонов московской милиции, регулировавшей движение тысячных народных толп, желавших видеть картины великих художников, я вошел в Музей имени Пушкина, поднялся на второй этаж и подошел к Сикстинской Мадонне.

При первом взгляде на картину сразу, и прежде всего, становится очевидно – она бессмертна.

Я понял, что до того, как увидел Сикстинскую Мадонну, легкомысленно пользовался ужасным по мощи словом – бессмертие – смешивал могучую жизнь некоторых особо великих произведений человека с бессмертием. И полный преклонения перед Рембрандтом, Бетховеном, Толстым, я понял, что из всего созданного кистью, резцом, пером и поразившего мое сердце и ум – одна лишь эта картина Рафаэля не умрет до тех пор, пока живы люди. Но может быть, если умрут люди, иные существа, которые останутся вместо них на земле – волки, крысы и медведи, ласточки – будут приходить и прилетать и смотреть на Мадонну...

На эту картину глядели двенадцать человеческих поколений – пятая часть людского рода, прошедшего по земле от начала летоисчисления до наших дней.

На нее глядели нищие старухи, императоры Европы и студенты, заокеанские миллиардеры, папы и русские князья, на нее глядели чистые девственницы и проститутки, полковники генерального штаба, воры, гении, ткачи, пилоты бомбардировочной авиации, школьные учителя, на нее глядели злые и добрые.

За время существования этой картины создавались и рушились европейские и колониальные империи, возник американский народ, заводы Питсбурга и Детройта, происходили революции, менялся мировой общественный уклад... За это время человечество оставило за спиной суеверия алхимиков, ручные прялки, парусные суда и почтовые тарантасы, мушкеты и алебарды, шагнуло в век генераторов, электромоторов и турбин, шагнуло в век атомных реакторов и термоядерных реакций. За это время, формируя познание Вселенной, Галилей написал свой «Диалог», Ньютон «Начала», Эйнштейн «К электродинамике движущихся тел». За это время углубили душу и украсили жизнь: Рембрандт, Гете, Бетховен, Достоевский и Толстой.

Я увидел молодую мать, держащую на руках ребенка.

Как передать прелесть тоненькой, худенькой яблони, родившей первое тяжелое, белолицее яблоко; молодой птицы, выведшей первых птенцов; молодой матери косули... Материнство и беспомощность девочки, почти ребенка.

Эту прелесть после Сикстинской Мадонны нельзя назвать непередаваемой, таинственной.

Рафаэль в своей Мадонне разгласил тайну материнской красоты. Но не в этом неиссякаемая жизнь картины Рафаэля. Она в том, что тело и лицо молодой женщины есть ее душа, – потому так прекрасна Мадонна. В этом зрительном изображении материнской души кое-что недоступно сознанию человека.

Мы знаем о термоядерных реакциях, при которых материя обращается в могучее количество энергии, но мы сегодня не можем еще представить себе иного, обратного процесса – материализации энергии, а здесь духовная сила, материнство, кристаллизуется, обращено в кроткую Мадонну.

Красота Мадонны прочно связана с земной жизнью. Она демократична, человечна; она присуща массам людей – желтолицым, косоглазым, горбуньям с длинными бледными носами, чернолицым, с курчавыми волосами и толстыми губами, она всечеловечна. Она душа и зеркало человеческое, и все, кто глядят на Мадонну, видят в ней человеческое, – она образ материнской души, и потому красота ее навечно сплетена, слита с той красотой, что таится, неистребимо и глубоко, всюду, где рождается и существует жизнь, – в подвалах, на чердаках, в дворцах, в ямах.

Мне кажется, что эта Мадонна самое атеистическое выражение жизни, человеческого без участия божества.

Мне мгновеньями казалось, что Мадонна выразила не только человеческое, но и то, что существует в самых широких кругах земной жизни, в мире животных, всюду, где в карих глазах кормящей лошади, коровы, собаки можно угадать, увидеть дивную тень Мадонны.

Еще более земным представляется мне ребенок у нее на руках. Лицо его кажется взрослее, чем лицо матери.

Таким печальным и серьезным взором, устремленным одновременно и вперед и внутрь себя, можно познавать, видеть судьбу.

Их лица тихи и печальны. Может быть, они видят Голгофский холм, и пыльную, каменистую дорогу к нему, и безобразный, короткий, тяжелый, неотесанный крест, который ляжет на это

плечико, ощущающее сейчас тепло материнской груди...

А сердце сжимается не тревогой, не болью. Какое-то новое, никогда не испытанное чувство – оно человечно, и оно ново, точно вынырнуло из соленой и горькой морской глубины, пришло, и сердце забилося от его необычности и новизны.

И в этом еще одна особенность картины.

Она рождает новое, словно к семи цветам спектра прибавляется неизвестный глазу восьмой цвет.

Почему нет страха в лице матери и пальцы ее не сплелись вокруг тела сына с такой силой, чтобы смерть не смогла разжать их, почему она не хочет отнять сына у судьбы?

Она протягивает ребенка навстречу судьбе, не прячет свое дитя.

И мальчик не прячет лица на груди у матери. Вот, вот он сойдет с ее рук и пойдет навстречу судьбе своими босыми ножками.

Как объяснить это, как понять?

Они одно, и они порознь. Вместе видят они, чувствуют и думают, слиты, но все говорит о том, что они отделятся один от другого, – не могут не отделиться, что суть их общности, их слитности в том, что они отделятся один от другого.

Бывают горькие и тяжелые минуты, когда именно дети поражают взрослых разумностью, спокойствием, примиренностью. Проявляли их и крестьянские дети, погибавшие в голодный, неурожайный год, дети еврейских лавочников и ремесленников во время кишиневского погрома, дети шахтеров, когда вой шахтной сирены возвещал обезумевшему поселку о подземном взрыве.

Человеческое в человеке встречает свою судьбу, и для каждой эпохи эта судьба особая, отличная от той, что была в предыдущую эпоху. Общее в этой судьбе то, что она постоянно тяжела...

Но человеческое в человеке продолжало существовать, когда его распинали на крестах и мучили в тюрьмах.

Оно жило в каменоломнях, в пятидесятиградусные морозы на таежных лесозаготовках, в залитых водой окопах под Перемышлем и Верденом. Оно жило в монотонном существовании служащих, в нищете прачек, уборщиц, в их иссушающей и тщетной борьбе с нуждой, в безрадостном труде фабричных работниц.

Мадонна с младенцем на руках – человеческое в человеке – в этом ее бессмертие.

Наша эпоха, глядя на Сикстинскую Мадонну, угадывает в ней свою судьбу. Каждая эпоха вглядывается в эту женщину с ребенком на руках, и нежное, трогательное и горестное братство возникает между людьми разных поколений, народов, рас, веков. Человек осознает себя, свой крест и вдруг понимает дивную связь времен, связь с живущим сегодня, всего, что было и отжило, и всего, что будет.

После уж, когда я шел по улице, пораженный и смущенный мощью внезапного впечатления, я не старался разобраться в смешении своих чувств, мыслей.

Я не сравнивал это смятение чувств ни с теми днями слез и счастья, которые я, пятнадцатилетним мальчиком, переживал, читая «Войну и мир», ни с тем, что я чувствовал, слушая в особо угрюмые, трудные дни моей жизни музыку Бетховена.

И я понял – не с книгой, не с музыкой сблизало меня зрелище молодой матери с ребенком на руках... Треблинка...

«Вот на эти сосны, на этот песок, на этот старый пень смотрели миллионы человеческих глаз из медленно подплывавших к перрону вагонов... Мы входим в лагерь, идем по треблинской земле. Стручки люпина лопаются от малейшего прикосновения, лопаются с легким звоном... Звук падающих горошин, звон раскрывающихся стручков сливается в сплошную печальную и тихую мелодию. Кажется, из самой глубины земли доносится погребальный звон маленьких колоколов, едва слышный, печальный, широкий, спокойный... Вот они – полуистлевшие сорочки убитых, туфли, колесики ручных часов, перочинные ножки, подсвечники, детские туфельки с красными помпонами, кружевное белье, полотенце с украинской вышивкой, горшочки, бидоны, детские чашечки из пластмассы, детские, писанные карандашами письма, книжечки стихов...

Мы идем все дальше по бездонной, колеблющейся треблинской земле и вдруг останавливаемся. Желтые, горящие медью волнистые густые волосы, тонкие, легкие, прелестные волосы девушки, затоптанные в землю, и рядом такие же светлые локоны, и дальше черные, тяжелые косы на светлом песке, а дальше еще и еще...

А стручки люпина звенят и звенят, стучат горошины. Точно и в самом деле из-под земли доносится погребальный звон бесчисленных маленьких колоколов.

И кажется, сердце сейчас остановится, сжатое такой печалью, таким горем, такой тоской, каких не дано перенести человеку...»

Гроссман В. Из очерка «Треблинский ад» // Сб. «Годы войны». ОГИЗ, 1946. С. 445-446.

Воспоминание о Треблинке поднялось в душе, и я сперва не понял этого...

Это она шла своими легкими босыми ножками по колеблющейся треблинской земле от места разгрузки эшелона к газовой камере. Я узнал ее по выражению лица и глаз. Я увидел ее сына и узнал его по недетскому, чудному выражению. Такими были матери и дети, когда на фоне темной зелени сосен видели они белые стены треблинской газовой, такими были их души.

Сколько раз всматривался я сквозь мглу в сошедших с эшелона, но всегда неясно видны были они – то человеческие лица казались искажены безмерным ужасом и все глохло в страшном крике, то физическое и душевное изнеможение, отчаяние застилало лица тупым, упрямым безразличием, то беспечная улыбка безумия застилала лица людей, сошедших с эшелона и идущих в газовню.

И вот я увидел истину этих лиц, их нарисовал Рафаэль четыре века назад – так человек идет навстречу своей судьбе.

Сикстинская капелла... Треблинская газовня...

В наше время родила молодая мать своего ребенка. Страшно носить под сердцем сына и слышать рев народа, приветствующего Адольфа Гитлера. Мать всматривается в лицо новорожденного и слышит звон и хруст разбиваемых стекол, вопли автомобильных сирен, волчий хор затягивает на берлинских улицах марш Хорста Весселя. Вот глухой стук

моабитского топора.

Мать кормит ребенка грудью, а тысячи тысяч складывают стены, тянут колючую проволоку, возводят бараки... А в тихих кабинетах проектируются газовые камеры, автомобили-душегубки, кремационные печи...

Пришло волчье время, время фашизма. В это время люди живут волчьей жизнью, волки живут жизнью людей.

В это время молодая мать родила и растила своего ребенка. И живописец Адольф Гитлер стоял перед ней в здании Дрезденской галереи – он решал ее судьбу. Но владыка Европы не мог встретить ее глаз, он не мог встретить взор ее сына – ведь они были людьми.

Их человеческая сила восторжествовала над его насилием – Мадонна пошла своими легкими босыми ножками в газовню, понесла сына по колеблющейся треблинской земле.

Германский фашизм был сокрушен, – война унесла десятки миллионов людей, огромные города были превращены в развалины.

Весной 1945 года Мадонна увидела северное небо. Она пришла к нам не гостьей, не путешествующей иностранкой, а с солдатами и шоферами по разбитым дорогам войны, она часть нашей жизни, наша современница.

Ей все знакомо – и наш снег, и холодная осенняя грязь, и мятый солдатский котелок с мутной баландой, и вялая луковка с черной хлебной коркой.

Вместе с нами шла она, ехала полтора месяца в скрипящем эшелоне, выбирала вшей из мягких невымытых волос своего сына.

Она современница поры всеобщей коллективизации.

Вот идет она, босая, с своим маленьким сыном, на погрузку в эшелон. Какой далекий путь перед ней, из Обояни, из-под Курска, из воронежских черноземных земель – в тайгу, в зауральские лесные болота, в песок Казахстана.

А где отец твой – в какой авиационной воронке, на какой командировке на таежных лесозаготовках, в каком дизентерийном бараке погиб он?

Ваничка, Ваня, почему так печально лицо твое? Судьба закрестила за тобой и твоей матерью окна родной опустевшей избы. Какой далекий путь перед вами? Дойдете ли вы? Или, измученные, погибнете где-нибудь в дороге, на станции узкоколейки, в лесу, на болотистом берегу зауральской речушки?

Да, ведь это она. Я видел ее в тридцатом году на станции Конотоп, она подошла к вагону скорого поезда, смуглая от страданий, и подняла свои дивные глаза, сказала без голоса, одними губами: «Хлеба...»

Я видел ее сына – уже тридцатилетним, в сношенных солдатских ботинках, тех, что не снимают, за полной негодностью, с ног покойников, в ватнике, порванном на молочно-белом плече, он шагал тропинкой по болоту, туча гнуса висела над ним, но он не мог отогнать миллиардный живой, мерцающий над ним нимб мошкар, его руки придерживали на плече тяжелое, сырое бревно. Вот он поднял склоненную голову, и я увидел его лицо, ровную от уха до уха курчавую светлую бородку, полуоткрытые губы, увидел его глаза и сразу узнал их – это они, его глаза, смотрят с картины Рафаэля.

Мы встречали ее в 1937 году, это она стояла в своей комнате, в последний раз держа на руках сына, прощаясь, всматривалась в его лицо, а потом спускалась по пустынной лестнице

немого многоэтажного дома... На двери ее комнаты положена сургучная печать, внизу ждет ее казенная автомашина... Какая странная настороженная тишина в этот серый, пепельный рассветный час, как немые высокие дома.

А из рассветной полутьмы выплывает ее новое настоящее – эшелон, пересылка, часовые на деревянных лагерных вышках, проволока, ночная работа в мастерских, кипятичех, нары, нары, нары...

Сталин медленной, мягкой походкой, в шевровых сапожках на низком каблуке, подошел к картине, долго, долго всматривался в лица матери и сына, поглаживая свои седые усы.

Узнал ли он ее, он встречал ее в годы своей Восточно-Сибирской, Новоудинской, Туруханской и Курейской ссылки, он встречал ее на этапах, на пересылке... Думал ли он о ней в пору своего величия?

Но мы, люди, узнали ее, узнали ее сына, – она – это мы, их судьба – это мы, они – человеческое в человеке. И если грядущее занесет Мадонну в Китай, в Судан, всюду люди узнают ее так же, как сегодня узнали ее мы.

Чудная, спокойная сила этой картины и в том, что она говорит о радости быть живым существом на земле.

Весь мир – вся огромность Вселенной – это покорное рабство неживой материи, и только жизнь есть чудо свободы.

И эта картина говорит, как драгоценна, как прекрасна должна быть жизнь и что нет в мире силы, которая могла бы заставить жизнь превратиться в нечто такое, что при внешнем сходстве с жизнью уже не было бы жизнью.

Сила жизни, сила человеческого в человеке очень велика, и самое могучее, самое совершенное насилие не может поработить эту силу, оно может только убить ее. Вот почему так спокойны лица матери и ее сына – они непобедимы. В железную эпоху гибель жизни не есть ее поражение.

Мы стоим перед ней, молодые и седые люди, живущие в России. Стоим в тревожное время... Не зажили раны, еще чернеют пожарища, еще не устоялись курганы над братскими могилами миллионов солдат, наших сыновей и братьев. Еще стоят опаленные, мертвые тополи и черешни над сожженными заживо деревьями, растет тоскливый бурьян над сгоревшими в партизанских селах телами дедов, матерей, хлопцев, девчат. Еще заваливается, шевелится земля над рвами, где лежат тела убитых еврейских детей и их матерей. Еще стоит вдовий плач по ночам в несметном числе русских изб, белорусских и украинских хат. Все пережила Мадонна с нами, потому что она – это мы, потому что сын ее – это мы.

И страшно, и стыдно, и больно – почему так ужасна была жизнь, нет ли в этом моей и твоей вины? Почему мы живы? Ужасный, тяжелый вопрос – задать его живым могут лишь мертвые. Но мертвые молчат, не задают вопросов.

А послевоенная тишина нарушается время от времени раскатами взрывов, и радиоактивный туман стелется в небе.

Вот вздрогнула земля, на которой все мы живем, – на смену оружию атомного распада идет термоядерное оружие.

Скоро мы проводим Сикстинскую Мадонну.

С нами прошла она нашу жизнь. Судите нас – всех людей вместе с Мадонной и ее сыном. Мы скоро уйдем из жизни, уж головы наши белы. А она, молодая мать, неся своего сына на руках,

пойдет навстречу своей судьбе и с новым поколением людей увидит в кебе могучий, слепящий свет, – первый взрыв сверхмощной водородной бомбы, оповещающей о начале новой, глобальной войны.

Что можем сказать мы перед судом прошедшего и грядущего, люди эпохи фашизма? Нет нам оправдания.

Мы скажем, не было времени тяжелей нашего, но мы не дали погибнуть человеческому в человеке.

Глядя вслед Сикстинской Мадонне, мы сохраняем веру, что жизнь и свобода едины, что нет ничего выше человеческого в человеке.

Ему жить вечно, победить.

1955

МАМА

1

В детдоме с утра волновались. Заведующий поспорил с врачом, кричал на завхоза; было приказано натереть полы, срочно выдать для отделения грудных новые простынки и пеленки. Няnek нарядили в накрахмаленные докторские халаты. Заведующий вызвал к себе в кабинет врача и старшую медицинскую сестру. Потом втроем они пошли в отделение и осматривали детей.

Вскоре после дневного кормления грудных младенцев в детдом приехал на автомобиле полнотелый пожилой человек в военной форме, в сопровождении двух молодых военных. Пожилой рассеянно оглядел встретившее его детдомовское начальство и прошел в кабинет заведующего, сел, отдышался и спросил у докторши разрешения курить. Она закивала, бросилась искать пепельницу.

Он курил, стряхивал пепел в блюдечко и слушал рассказ о жизни младенцев, чьи родители оказались врагами народа и были репрессированы. Рассказ был о почесухах, о крикунах и сонях, о младенцах обжорах и о младенцах, равнодушных к молочной бутылочке, о предпочтении мальчикам и о предпочтении девочкам. А молодые военные, надев халаты, шагали по коридорам детского дома, заглядывали в дежурки, кладовые, и из-под коротких халатов видны были их синие, диагоналевые брюки. У няnek сердца холодели от глаз этих парней и от их настырных вопросов: «Та дверь куда ведет?», «Где ключ от чердака?»

Молодые люди, сняв халаты, зашли в кабинет заведующего, и один из них сказал:

– Товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга, разрешите доложить?

Начальник кивнул...

Потом, накинув на плечи халат, он пошел в сопровождении заведующего и врача в отделение грудных младенцев.

– Вот эта, – сказал заведующий и указал на кроватку, стоявшую в простенке между окнами.

Докторша заговорила с торопливостью, с какой предлагала пепельницу.

– Да, да, я уверена в этой девочке, совершенно нормальный, правильно развивающийся ребенок. Норма, норма, во всех отношениях норма.

Потом сестры и няньки, прильнув к окнам, видели, как полнотелый комиссар государственной безопасности уехал. Молодые военные остались в детдоме, занялись чтением газет.

А в замоскворецком переулке, где находился детдом, ребята в зимних шапках и галошах-ботиках вразумительно говорили прохожим: «Давайте пройдем по мостовой». Прохожие поспешно сходили с тротуара, прилегающего к детскому дому.

В шесть часов вечера, когда настали ноябрьские сумерки, у детского дома остановился автомобиль. Маленький человек в осеннем пальто и женщина прошли к подъезду. Заведующий сам открыл им дверь.

Маленький человек вдохнул кислородный запах, покашливая, сказал женщине:

– Пожалуй, не стоит тут курить, – и потер озябшие ладони.

Женщина виновато улыбнулась, спрятала папиросы в сумочку. Лицо у нее было милое, с несколько большим носом, усталое и чуть поблекшее.

Заведующий подвел посетителей к кроватке, стоявшей в простенке между окнами, и отошел в сторону. Было тихо, младенцы спали после вечернего кормления. Заведующий жестом приказал няне выйти за дверь.

Маленький человек в москвошвеевском пиджаке и женщина всматривались в лицо спящей девочки. Должно быть, чувствуя их взгляды, девочка улыбнулась, не открывая глаз, потом нахмурила лоб, словно вспомнив что-то печальное.

Ее пятимесячная память не могла удержать на своей поверхности того, как гудели в тумане автомобили, как на платформе лондонского вокзала мама держала ее на руках, а женщина в шляпке грустно говорила: «Кто же нам теперь будет петь на посольских семейных вечерах». Но тайне от нее самой, в ее головке затаился и этот вокзал, и лондонский туман, и плеск волны в Ламанше, и крик чаек, и лица отца и матери в купе мягкого вагона, склонившиеся над ней при приближении скорого поезда к станции Негорелое... А когда-нибудь ей, седой старухе, непонятно представятся рыжие осенние осины, тепло материнских рук, тонкие пальцы, розовые без маникюра ноготки, два серых глаза, широко глядящих на родные поля.

Девочка открыла глаза, поцокала язычком и тут же снова заснула.

Маленький, казавшийся робким человек оглянулся на женщину. Она утерла платочком слезу, сказала:

– Решила, решила... странно, удивительно, знаешь, у нее твои глаза.

Вскоре они вышли из дверей детского дома. Няня несла за ними ребенка в одеяльце. Маленький человек, усаживаясь рядом с шофером, негромко проговорил:

– Домой.

Женщина неумело взяла в руки ребенка, сказала няне:

– Спасибо, товарищ, – и пожаловалась: – Я боюсь не только держать ее, но и смотреть на

нее, все кажется не так.

А через минуту ушел большой черный автомобиль, куда-то исчезли военные, читавшие газеты у внутренних дверей, испарились, растворились ребята в зимних шапках и ботиках, караулившие на улице.

В Спасских воротах затрещали звонки, загорелись сигнальные лампочки, и огромная черная машина генерального комиссара государственной безопасности, верного соратника великого Сталина, Николая Ивановича Ежова, вихрем, не снижая скорости, пронеслась мимо охраны, въехала в Кремль.

А по замоскворецким улочкам пошел слух, что в закрытом детском доме был объявлен карантин – произошла вспышка чумы не то сибирской язвы.

2

Она жила в просторной и светлой комнате. Если у нее расстраивался желудок или болело горло, в помощь к няне, Марфе Дементьевне, приезжала дежурить сестра из кремлевки, а врач приходил дважды в день.

А когда она простудилась, ее выслушивал дедушка с теплыми, добрыми, дрожащими руками и две докторши.

Маму она видела ежедневно, но мама подолгу не оставалась около нее: когда Наде давали утреннюю кашу, мама говорила:

– Кушай, кушай, деточка, а я поеду в редакцию.

По вечерам к маме приезжали подруги. Иногда бывали папины гости. Тогда няня надевала накрахмаленную косынку, из столовой слышались голоса, стук вилок, медленный папин голос: «Ну что ж, придется выпить».

Случалось, кто-нибудь из гостей заходил посмотреть на нее. Иногда она, лежа в кроватке, притворялась спящей, но мама знала, что Надюша не спит, смеющимся голосом говорила: «Тише». А папин гость смотрел на Надюшу, и она ощущала запах вина. Мама говорила: «Спи, доченька, спи», целовала ее в лоб, и девочка снова ощущала легкий запах вина.

Марфа Дементьевна была выше ростом всех папиных гостей. Папа рядом с ней казался совсем маленьким. Ее все боялись, и гости, и папа, и мама, особенно папа; он поэтому старался пореже бывать дома.

Надя не боялась няни. Иногда Марфа Дементьевна брала Надю на руки, нараспев говорила:

– Бедная ты моя, девочка, несчастная ты моя.

Если бы Надя и знала значение этих слов, она бы все равно не поняла, почему няня считает ее несчастной и бедной, – у нее было много игрушек, она жила в солнечной комнате, мама ее возила кататься, люди в красивых красно-синих фуражках выскакивали из будок, распахивали перед их автомобилем дачные ворота.

Но от тихого, ласкового голоса няни у девочки щемило сердце, хотелось плакать сладко, сладко, хотелось спрятаться мышкой в больших няниных руках.

Она знала главных маминых подруг и главных папиных гостей; знала, что когда приезжали папины гости, никогда не бывало маминых подруг.

Была рыжая, она называлась – подруга детства, с ней мама сидела возле Надиной кровати и говорила: «Безумие, безумие». Был лысый, в очках, с улыбкой, от которой Надя всегда улыбалась, и Надя не знала, кто он, – подруга или гость. Похож он был на гостя, но приезжал он к маме и ее подругам. Когда он входил, мама улыбалась его улыбке, говорила: «Бабель к нам приехал».

Как– то Надя коснулась ладошкой его лысого, лобастого черепа. Он был теплый, добрый, как нянина или мамина щека.

Были папины гости – посмеивающийся, с нюхающим носом и гортанным голосом, был дышащий вином, плечистый и громкоголосый, был худенький, черноглазый, приезжавший с портфелем обычно до ужина и уезжавший до ужина, был черный с брюшком, с красными влажными губами, он как-то взял Надю на руки и спел ей маленькую песенку.

Раз она видела сидящего, румяного гостя, одетого в военную форму. Он выпил вина и пел. Раз она видела гостя, перед которым робела мама, с маленькими стеклышками на глазах, большелобого, с заикающимся голосом. Он не был ни в френче, ни в кителе, ни в гимнастерке, а носил пиджак и галстук. Он ласково сказал Наде, что и у него есть маленькая дочка.

Марфа Дементьевна путала, кто Бетал Калмыков, кто Берия, кто приезжавший докладывать худенький Маленков... Кагановича, Молотова, Ворошилова она знала по портретам.

Надя никого из гостей не знала по имени. Но она знала слова: «Мама, няня, папа».

Но вот как-то пришел новый гость. Надя отличила его не потому, что все волновались перед его приходом, и не потому, что няня перекрестилась, когда сам папа пошел открывать ему дверь, и не потому, что гость шел так бесшумно, как никто из людей не умел ходить, только зеленоглазый черный кот на даче, и не потому, что у него было рябое, умное лицо, темные, с проседью, усы и мягкие, плавные движения...

Люди, которых знала Надя, имели схожее выражение глаз. Это выражение было общим и для маминых карих глаз, и для серо-зеленых папиных глаз, и для желтых глаз кухарки, и для глаз всех папиных гостей, и для глаз тех, кто открывал ворота на даче, и для глаз старого доктора.

А новые глаза, несколько секунд без любопытства, медленно смотревшие на Надю, были совсем спокойными, в них не было безумия, тревоги, напряжения, одно только медленное спокойствие.

У одной лишь Марфы Дементьевны были спокойные глаза в доме Ежова.

Многое она видела и многое замечала.

Вот уже не шумит в доме Николая Ивановича широкоплечий, веселый Бетал Калмыков. Хозяйка ходит ночами по комнатам, постоит над спящей Надей, пошепчет, зазвенит в темноте лекарственными скляночками, зажжет весь хрустальный свет, снова подойдет к Наде, шепчет, шепчет. То ли она молится, то ли стихи читает. Утром приезжает серый, осунувшийся Николай Иванович. Снимая пальто, он тут же в передней закуривает, раздраженно говорит: «Не буду завтракать и чаю не хочу». Хозяйка спрашивает Николая Ивановича о чем-то и вдруг испуганно вскрикивает – и уж не приходит больше рыжая подруга детства, и уж не звонит ей хозяйка по телефону.

Однажды Николай Иванович подошел к Наде и улыбнулся, а она посмотрела ему в глаза и закричала.

– Нездорова? – спросил он.

– Испугалась, – сказала Марфа Дементьевна.

– Чего?

– Мало ли чего, дитя ведь.

Когда няня с Надюшей возвращалась с прогулки, охранник вглядывался в нее, в Надино личико, и Марфа Дементьевна старалась, чтобы девочка не видела этого взгляда, острого, как окровавленный, грязный коготь коршуна.

Возможно, что во всем свете она одна жалела Николая Ивановича, даже жена теперь боялась его. Марфа Дементьевна замечала ее страх, когда слышался шум машины и Николай Иванович, серолицый и бледный, в сопровождении двух-трех серолицых и бледных людей, проходил к себе в кабинет.

А Марфа Дементьевна вспоминала главного хозяина, спокойного рябого товарища Сталина, и жалела Николая Ивановича, глаза его казались ей жалобными, растерянными.

Она словно не знала, что взор Ежова заморозил ужасом всю великую Россию.

День и ночь шли допросы во Внутренней, Лефортовской, в Бутырской тюрьмах, шли день и ночь эшелоны в Коми, на Колыму, в Норильск, в Магадан, в бухту Нагаево. На рассвете крытые грузовики вывозили тела расстрелянных в тюремных подвалах.

Догадывалась ли Марфа Дементьевна, что страшная судьба молодого референта из лондонского посольства и его милостивой жены, так и не докормившей грудью своей маленькой дочери, так и не закончившей консерватории по классу пения, была решена подписью, что сделал на длинном списке фамилий ее хозяин, питерский рабочий Николай Иванович. А он все подписывал, десятками, эти огромные списки врагов народа, и черный дым пер из труб московского крематория.

3

Однажды Марфа Дементьевна слышала, как кухарка, закуривая папироску, шепотом сказала вслед хозяйке:

– Вот и ты отцарствовала.

Видимо, кухарка уже знала о том, чего не знала няня.

В эти последние дни Марфе Дементьевне запомнилась пришедшая в дом тишина. Не звонил телефон. Не приезжали гости. Не вызывал утром хозяин своих заместителей, секретарей, помощников, адъютантов, порученцев. Хозяйка не ездила на работу, лежала в халате на диване, читала, зевая, книгу, задумывалась, усмеялась, ходила в ночных бесшумных туфлях по комнатам.

Одна Надюша была слышна в доме: плакала, смеялась, гремела игрушками.

Однажды утром к хозяйке приехала гостья – старушка. В комнате было тихо, словно хозяйка и

гостя сидели молча.

Кухарка подошла к двери и прислушалась.

Потом хозяйка со старушкой зашли к Наде. Старушка была штопаная-перештопаная и уж такая робкая, что, казалось, не только говорить, но и смотреть боялась.

– Марфа Дементьевна, познакомьтесь, моя мама, – сказала хозяйка.

А через три дня хозяйка сказала Марфе Дементьевне, что ложится на операцию в Кремлевскую больницу. Говорила она быстро, громко, каким-то фанерным голосом. Надюшу она, прощаясь, оглядела рассеянно, поцеловала коротким поцелуем. В дверях она посмотрела в сторону кухни, обняла Марфу Дементьевну и шепнула ей на ухо:

– Нянечка, помните, если со мной что случится, вы одна у нее, никого, никого на всем свете у нее нет.

Девочка, точно понимая, что речь идет о ней, сидела на стульчике тихо, смотрела серыми глазами.

В больницу хозяйку муж не провожал, приехали за ней порученец – полнотелый генерал с букетом красных роз и личный охранник Николая Ивановича.

А Николай Иванович вернулся с работы домой лишь утром, не зашел к Наде, писал, курил в кабинете, вызвал машину и снова уехал.

После этого дня событий, потрясших, а затем разрушивших жизнь дома, стало очень много и они спутались в памяти Марфы Дементьевны.

Скоропостижно умерла в больнице Надюшина мама, супруга Николая Ивановича Ежова. Она была неплохая женщина, не злая, и девочку жалела, но все же она была странная.

Николай Иванович в этот день приехал домой очень рано.

Он попросил Марфу Дементьевну привести в кабинет к нему Надю. Отец с дочерью поили чаем пластмассового поросенка, укладывали спать куклу и медведя. Потом до утра Ежов ходил по кабинету.

А вскоре не вернулся домой маленький человек с серо-зелеными глазами, Николай Иванович Ежов.

Кухарка сидела на постели покойной хозяйки, потом долго разговаривала по телефону из кабинета хозяина, курила его папиросы.

Приехали гражданские люди и люди в форме, ходили по комнатам в шинелях и пальто, грязными сапогами и галошами ступали по коврам, по светлой дорожке, ведущей к сиротской Надиной комнатке.

Ночью Марфа Дементьевна сидела возле спящей девочки, неотступно смотрела на нее. Она решила увезти Надю в деревню и все представляла себе, как от Ельца они будут добираться на попутной подводе домой, как встретит их брат и как Надя будет вскрикивать, радоваться, когда увидит гусят, телят, петуха.

– Прокормлю, выучу, – подумала Марфа Дементьевна, и материнское чувство наполняло светом ее девичью душу.

Всю ночь шумели военные люди, вытаскивали из шкафов книги, белье, посуду – шел обыск.

И у новых пришельцев глаза были напряженные, сумасшедшие, к каким привыкла Марфа Дементьевна за последнее время.

Лишь Надюша, проснувшись и справив малые дела, умиротворенно позевывала, да Сталин без всякого любопытства, спокойно прищурясь, глядел с портрета на то, что должно было совершиться и совершалось.

А с утра приехал краснолицый и толстый, как кубарь, которого кухарка называла «майор». Он прошел прямо в детскую, где Надя в накрахмаленном фартучке с вышитым красным петухом важно и неторопливо ела овсяную кашу, и приказал:

– Оденьте девочку потеплей, соберите ее вещи.

Марфа Дементьевна, преодолевая волнение, медленно

спросила:

– Это же куда, зачем?

– Ребенка поместим в детдом. А вы приготовьтесь, получите причитающуюся вам зарплату, билет и отправитесь к себе на родину, в деревню.

– А где моя мама? – вдруг спросила Надя и перестала есть, отодвинула тарелочку с синей каемочкой.

Но ей никто не ответил, ни Марфа Дементьевна, ни майор.

4

В общежитии работниц государственного радиозавода, в комнатах, в местах общего пользования соблюдалась образцовая чистота, постели девушек были застелены накрахмаленными одеялами, на подушках лежали накидки, а на окнах висели кружевные, в складчину купленные, занавески.

У многих кроватей на тумбочках стояли вазочки с красивыми искусственными цветами – розами, тюльпанами и маками.

По вечерам работницы читали журналы и книжки в красном уголке, участвовали в танцевальных и хоровых кружках, во дворце культуры смотрели кинокартины и самодеятельные спектакли. Некоторые девушки занимались на вечерних курсах кройки и шитья, либо на курсах подготовки в вуз, некоторые учились на вечернем отделении электромеханического техникума.

Очередной профотпуск работницы редко проводили в городе – завком давал отличившимся в работе бесплатные путевки в профсоюзные дома отдыха, многие на время отпуска уезжали в деревню к родным.

Говорили, что в домах отдыха некоторые девушки позволяют себе лишнее, гуляют по ночам, теряют в весе, а в мужских комнатах народ пьянствует, не соблюдает мертвый час, режется в карты.

Рассказывали, что отдыхающие ребята с механического завода ночью забрались в ларек и вытащили ящик пива, шесть поллитров и все это распили в музыкальной комнате, покрыли

матом главврача, прибежавшего на шум. Всех их выписали досрочно из дома отдыха, сообщили о них в заводской партком. А на троих отдыхающих, по чьей-то инициативе был обворован ларек, милиция завела дело, и они потом отработывали два месяца принудилровку по месту работы.

Никогда ничего подобного не происходило в общежитии радиозавода.

Комендант общежития, Ульяна Петровна, отличалась строгостью. Как-то одна девочка привела к себе в комнату знакомого и с согласия остальных жилищ оставила его ночевать.

Ульяна Петровна осрамила эту девчонку, в двадцать четыре часа выселила ее из общежития.

Но Ульяна Петровна была не только суровой, она умела проявлять теплоту. С ней советовались, как с близкой, родной – она была общественницей, проверенным человеком, не раз избиралась депутатом районного Совета. При ней в общежитии не было ни пьянства, ни разврата, ни ночной гармошки.

Работнице-сборщице Наде Ежовой очень нравилось образцовое общежитие после грубых, жестоких нравов детдома.

Годы, проведенные в детских домах, были самыми тяжелыми в ее жизни. Особенно трудно жилось ей во время войны в пензенском детдоме: даже неизбалованные детдомовские ребята неохотно ели суп из тухлой кукурузной муки, который давался на обед и к ужину. Постельное и нательное белье менялось редко – его не хватало, а часто стирать белье нельзя было из-за нехватки дров и мыла. В бане по решению горсовета детдомовских детей полагалось мыть два раза в месяц, но решение это нарушалось, так как в двух городских банях всегда мылись военные из запасных частей, а у старенькой бани, расположенной за вокзалом, с рассвета стояли молчаливые и злые очереди. Да и радости от этого мытья было немного – в бане гулял холодный ветерок, сырые дрова рождали больше дыма, чем тепла, вода была чуть теплая.

Наде в Пензе все время было холодно – и ночью в спальном комнате, и в классе, где шили рубахи для фронта и велись школьные занятия, и даже на кухне, где она иногда помогала кухарке выбирать червей из кукурузной муки. И так же тяжелы, как холод и голод, были грубость воспитателей, злоба детей, воровство, царившее в спальнях. Стоило на миг задуматься – и исчезали хлебные пайки, карандаши, трусы, косынки. Одна девочка получила посылку, заперла ее в тумбочку и пошла на занятия, а когда вернулась, замочек висел как бы нетронутый, а посылка из тумбочки исчезла.

Некоторые мальчики занимались карманными кражами в продмагах и на автобусных остановках, а один паренек, Женя Панкратов, даже участвовал в вооруженном нападении на инкассатора.

Конечно, после войны жизнь в детдоме стала легче, но когда Надя кончила семилетку и комиссия направила ее на завод, ей показалось, что она попала в рай.

Надя сама теперь удивлялась, как это она вместо того, чтобы радоваться, проплакала всю ночь, узнав, что комиссия ее направила на завод. Расстроилась она из-за учительницы пения. «С твоим голосом ты и в консерваторию, и в театр попадешь», – говорила ей учительница. Комиссия по распределению сперва, действительно, собиралась направить Надю в музыкальный техникум, но неожиданно пришло какое-то разъяснение из центра, и после этого Наде дали путевку на завод.

Когда Надя плакала в свою последнюю детдомовскую ночь, она считала себя самой несчастной из девочек-воспитанниц. Ни разу не была она в московском или ленинградском

детдоме – из приемника ее всегда направляли в самые глухие места. Многие девочки получали посылки, письма от родственников. А Надя за всю свою жизнь не получила ни одного письма, ни разу в жизни никто не прислал ей яблок и коржиков.

Должно быть, поэтому она и стала угрюмой и детдомовские ребята ее прозвали немой.

Живя в образцовом общежитии, она стала понимать, что не такая уж она невезучая.

Работа у нее была хорошая, чистая, сравнительно не тяжелая, и оплачивалась она по высокой ставке; комитет комсомола обещал ее послать на курсы мастеров. У нее было хорошее зимнее пальто, несколько красивых платьев, а одно платье из крепсадена она сшила по заказу в ателье мод, ордер на пошивку ей дала Ульяна Петровна. Девочки в цеху и в общежитии ее уважали, считали самостоятельной. Вместе с девочками из общежития ходила она в кино и на танцы в клуб. Ей нравился один парень – Миша – она охотно танцевала с ним. Он был такой же молчаливый, как и она, и когда он провожал ее после танцев, они обычно шли молча до самого общежития. Жил он далеко за товарной станцией, работал вагонным мастером в депо.

А о том, что было когда-то, она уж почти не помнила, и ей казалось, что сверкающий, черный автомобиль, роскошные дачные цветники, прогулки с няней по кремлевскому холму, ласковое и рассеянное лицо мамы, смех и голоса папиных гостей – не жили в памяти сами по себе, а были воспоминанием о каком-то еще более давнем воспоминании, – словно многократное эхо, замирающее в тумане.

Нынешний год оказался особенно хорошим для Нади Ежовой.

Она поступила в вечерний электромеханический техникум, ее премировали за перевыполнение плана полуторамесячным окладом. Начальник вагонной службы обещал Мише выделить площадь в строящемся доме Министерства путей сообщения, и они решили пожениться. Наде очень хотелось иметь ребенка, и она радовалась, что станет матерью.

Однажды за несколько дней до отпуска и поездки в дом отдыха Надя увидела сон – какая-то женщина, но не мама, а совсем другая, держит на руках ребенка, не то Надю, то ли не Надю, старается укрыть его от ветра, а кругом шум, плеск, солнце сверкает на волнах и тут же гаснет в быстрых, низких тучах, а вкривь и вкось носятся белые птицы, кричат пронзительными, кошачьими голосами.

Весь день, и в цеху, и на фабрике-кухне, и оформляя путевку в завкоме, Надя вспоминала милое и жалкое лицо женщины, прижимавшей к груди ребенка, и вдруг поняла, почему ей приснился такой сон.

Когда– то, в пензенском детдоме, руководительница водила ребят на кинокартину, где показывалось какое-то морское путешествие молодой мамы, и вот эта полузабытая Надей картина взяла да и приснилась ей, именно в то время, когда она много думала о предстоящем ей материнстве.

1960

НА ВЕЧНОМ ПОКОЕ

1

Рядом с Ваганьковским кладбищем подъездные пути белорусской дороги, из-за стволов кладбищенских кленов видно, как проносятся на Варшаву и Берлин поезда, сверкают стекла вагонов-ресторанов, стремятся синие экспрессы Москва-Минск, то и дело шипят электрички; дрожит земля от тяжелых товарных составов.

Рядом с кладбищем Звенигородское шоссе – бегут легковушки, грузовые такси с дачным скарбом. Рядом с кладбищем Ваганьковский рынок. В небе треск вертолетов, в кладбищенском воздухе разносится четкий голос диспетчера, командующего составлением поездов.

А на кладбище вечный покой, вечный мир.

В воскресные, весенние дни трудно сесть на автобусы, идущие

в сторону Ваганьковского кладбища; пешие толпы движутся от Пресненской заставы по улице 1905 года мимо новостроек и деревянных развалюшек, мимо радиотехникума и рундуков Ваганьковского рынка. Идут люди с лопатами, лейками, пилами, с ведерками краски, с малярными кистями, с авоськами, полными снеди, – начался период весеннего ремонта, окраски оград, устройства могильных цветников.

А у кладбищенских ворот людские реки сливаются; живой Вавилон мешает новоселам въезжать на похоронных машинах в кладбищенскую ограду. Как много весеннего солнца, свежей зелени, как много оживленных лиц, житейских разговоров и как мало здесь печали. Так, по крайней мере, кажется.

Пахнет краской, стучат молотки, скрипят тачки и тележки, везущие песок, дерн, цемент, – кладбище работает.

Люди в сатиновых нарукавниках трудятся старательно и упоенно, – некоторые негромко напевают, некоторые перекликаются с соседями.

Мама красит папину оградку, а маленькая дочка прыгает на одной ножке, старается обскакать могилку, не коснувшись второй ногой земли.

– Ну, что за девочка, весь рукав в краске!

А там уж пошабашили: ограда и памятник раскрашены дурацким золотом, на скамеечке скатерка, люди закусывают, и, видимо, не только закусывают: голоса уж очень оживленные, незамысловатые лица налились краской, вдруг раздается дружный хохот. Оглянулись ли, спохватившись, на могилу? Нет, не оглянулись. Покойник не обидится: доволен малярной работой.

Хорошо потрудиться на свежем воздухе, посадить цветы, выдернуть побеги ненужных растений, пронзивших могильную землю.

Куда пойти в воскресенье? В зоопарк, в Сокольники? На кладбище приятней – неторопливо поработаешь, подышишь свежим воздухом.

Жизнь могуча, и она вторглась в кладбищенскую ограду, и кладбище подчинилось, стало частью жизни.

Житейских волнений, страстей здесь не многим меньше, чем на службе, в коммунальной квартире или на расположенном рядом рынке.

– Конечно, наше Ваганьковское не Новодевичье, но здесь тоже не последние люди лежат –

художник Суриков, составитель словаря Даль, профессор Тимирязев, Есенин... Есть и генералы, и старые большевики, Бауман, шутите, у нас похоронен, ведь целый район столицы носит его имя... герой гражданской войны легендарный начдив Киквидзе тоже у нас. А при царизме здесь не только купцов, случалось, и архиреев хоронили.

Трудно получить место на Ваганьковском кладбище, не легче, чем, приехав из провинции, прописаться на постоянно в Москве.

И доводы, которые приводят мужчине с темно-красным лицом, в кубанке и сапогах, в кожанке на молнии, родственники покойников такие же, какие выслушивают ежедневно работники паспортного отдела московской милиции.

– Товарищ заведующий, ведь тут его старуха мать, старший брат, ну как же, ну куда же ему в Востряково.

И заведующий отвечает так же, как отвечают в столичном паспортном отделе:

– Не могу. Имею специальное указание Московского Совета, понимаете – лимит исчерпан, не всем же на Ваганьковском, кому-то надо и в Востряково ехать.

Особенно строго было на Ваганьковском перед Всемирным фестивалем молодежи в 1957 году. Прошел слух, что верующие участники фестиваля побывают на Ваганьковском, – работники кладбища с ног сбились, наводили порядок, готовились к молодежному фестивалю.

Досталось особенно крепко в эти дни нищим, – поющим, согнутым, шепчущим, трясущимся, инвалидам Великой Отечественной войны, слепцам, глупеньким... Их прямо с Ваганькова милиция вывозила машинами. Имелось спецуказание.

В кладбищенской конторе в эти дни посетителям говорили:

– Отбудем фестиваль, тогда приходите.

Но миновал фестиваль, и жизнь принарядившегося кладбища вошла в обычную колею.

И снова у заведующего и его ближайших помощников просят:

– Местечко бы...

Но что поделаешь – места на Ваганьковском мало, а покойники «все прибуют да прибуют». И никто не хочет в Востряково.

Люди убеждают, грозят, плачут.

Одни приносят справки, ходатайства от учреждений, от общественных организаций – покойник незаменимый специалист, прекрасный общественник, персональный пенсионер республиканского значения, имеет военные заслуги, дореволюционный партстаж.

Другие норовят блатовать, мухлюют, и контора их разоблачает:

– Вы указали, что хотите ее захоронить рядом с мужем, а, оказывается, это ее самый первый муж, она два раза после него замужем была. Все же надо совесть иметь.

Третьи ищут, кого бы задобрить взяткой, богатой выпивкой. Одни хотят сунуть начальству, другие стремятся подмазать простых людей с лопатами.

Четвертые норовят захоронить человека с нахрапа, нахально, вот так же въезжают без ордера в комнату, а потом долго, нудно добиваются жировки.

Имеется указание – заброшенные могилы ликвидировать и на их месте производить новые захоронения. Вот вокруг такого дела много страстей, ничуть не меньше, чем вокруг жилой площади, на которой никак не угаснет одинокая старушечья жизнь.

Но, наконец, разрешение на заброшенную могилу получено, – и бывает так, что гроб становится на гроб, а под вторым оказывается третий. Вот и лежат: потерявший имя купец, беспощадный к буржуазии романтик-коммунар с красным полуистлевшим бантом – тоже всеми забытый, кадровичка – зав. секретной частью. Кто-то будет четвертым?

Почему же любят многие люди ходить на кладбище?

Конечно, дело тут не только в кладбищенской зелени и не в том, что приятно сажать цветы, строгать и красить.

Это причины боковые – поверхность, – а главная причина, как и большинство главных причин, скрыта, она в глубине лежит.

...Измученные горем, бессонными ночами, часто невыносимыми угрызениями, люди приезжают на кладбище, хлопочут о месте для захоронения.

Хлопоты эти тяжелы, унизительны. Минутами возникает нехорошее чувство к умершему – ему-то все равно, а я, мы так страдали, не спали ночами, когда он умирал. Сколько раз бегали ночью в аптеку за подушками с кислородом, а вызовы «неотложки», лекарства, фрукты. И не видно конца, человек умер, а мучения продолжаются.

А на кладбище умные люди говорят:

– Не расстраивайтесь, все устроится, какие ни есть бюрократы, все равно похоронят, еще не было такого случая, чтобы не похоронили.

И правда, похоронили.

И вот в воспаленные горестные сердца, вместе со стуком земли о гробовую крышку, входит светленьким лучиком чувство покоя и облегчения. Схоронили...

Маленькое, тоненькое чувство облегчения и есть тот зародыш, из которого развиваются новые отношения – отношения между живыми и мертвыми. Вот из этого тоненького лучика и рождаются оживленные толпы, идущие в ворота кладбища, радостный труд по украшению, озеленению могил.

Как же развивается этот зародыш?

Чтобы проследить за его развитием, понять, как раздирающая вечная разлука с близким человеком обращается в милые кладбищенские радости, надо на время уйти с кладбища в город.

Отношения близких людей редко бывают гласны, явны, как бы одноэтажны, линейны.

Это здания с толстыми стенами, с глубокими подвалами, с темными жаркими спальнями, с надстройками и пристройками.

Что только не происходит в этих комнатухах, подвалах, коридорчиках и чердаках. Чего только не видели, не слышали бестелесные стены скрытых в сердцах строений. И свет, и беспощадные упреки, и вечную жажду, и тошное пресыщение, и правду, и бешеное желание избавиться, и многолетнюю мелочную волынку, и счет на копейки, и страшную тайную ненависть, и драки, кровь, кротость.

Иногда вдруг все содрогаются, услышав о сыне и невестке, убивших мать, чтобы расширить свое жизненное пространство. Две дочери с целью грабежа повалили мать на кушетку, стали заливать ей в рот крутой кипяток. Рабочий выиграл по займу двадцать пять тысяч рублей, побежал сообщить жене о великой радости, а когда оба вбежали в дом, увидели – их трехлетняя девчонка сожгла, обратила в пепел выигравшую облигацию; отец, с потемневшим от бешеного отчаяния умом, схватил топор, отрубил ребенку кисти рук. Это страшные и редкие уродства, но ведь и уродства рождены жизнью.

А иногда кажется, что тихие омуты жизни еще страшней.

Десятилетиями живут в одной комнате муж и жена, и десятилетиями он уходит то днем, то вечером, то в выходной, то на ночь – у него вторая семья. Жена молчит, и муж молчит, но так тяжел ее молчаливый укор, ее жалкая улыбка, ее попытки обманывать детей, знакомых, ее покорная забота о нем. Иногда ужас охватывает его, но что он может сделать со своим сердцем, а там, где его любовь, – тоже жалкая, виноватая и беспомощная улыбка, укор, счет на копейки.

У свекрови с невесткой хорошие отношения, спокойные, ровные. Спокойствие основано на том, что старуха отдала молодым свою комнату, перебралась в проходную, потом отдала свою кровать, спит на раскладушке, вытащила свои вещи из шкафа и положила их в фанерный ящик в коридоре, а шкаф отдала невестке; невестка не любит цветов, от них тяжелый воздух, и старуха рассталась со своими многолетними агавами и фикусами; невестке сказали, что от кошки у Светочки могут быть глисты, и пришлось старухе расстаться со старым котом, таким старым, что Светочкин папа сам еще был маленьким Андрюшей, когда в доме появился этот кот. Бабушка его завернула в чистую косынку и отвезла на пункт. Старуху особо мучительно терзало, что кот, полный доверия к ней, спокойно дремал у нее на руках во время своего последнего путешествия. Старуха молчит, и сын молчит. Она видит, что он боится остаться с ней наедине, он видит ее беззащитность, а она понимает жалкое бессилие своего сына и, примиренно кивая дрожащей белой головой, часами слушает его торопливо угодливое, обращенное к жене: «Милочка, Милочка, Милочка...»

А вот старик всю жизнь тянул семью, работал сверхурочно, брал за отпуск денежную компенсацию, поддежуривал в праздники и в выходные дни за двойную оплату, даже под Новый год, отказывался погулять с товарищами, выпить кружку пива. «Тебе, видно, нужно больше всех», – говорили ему товарищи. «Семья», – виновато отвечал он. И действительно, семья была большая, но все были сыты, обуты, кончили институты, вышли в люди. Теперь старика разбил паралич. Куда только не писали сыновья и дочери, ничего не помогло, не взяли в больницу парализованного хроника. Вот дети кормят его с ложки, убирают постель, выносят подкладное судно. Он неподвижен, лишился речи, но слух и зрение сохранил, он видит лица и слышит разговоры своих детей. Внук спросил у своего отца – старикова сына: «Почему у бабушки все время текут слезки из глаз?» – «Глаза у него больные». Старик беззвучно молит о смерти, а смерть не идет.

В семье у рабочего единственный сынок – слабоумный. Ему шестнадцать лет, а он еще не умеет сам одеться, с трудом, невнятно произносит самые простые слова и улыбается весь день кроткой, тихой улыбкой. Как страшно родителям, а вдруг их безумное дитя переживет их. Куда он денется, их никому не нужный Сашенька? Но тут же они ужасаются от мысли, что от них навек уйдет это слабое, жалкое создание, которое они любят особой, горькой и нежной любовью. И в то же время они хотят его смерти – боятся оставить его на этом свете одного. И в то же время они ужасаются этому желанию.

А тут врачи сказали: рак желудка, метастазы. Боже мой, боже, как страшно она умирала, день и ночь она выла, металась, проклинала свою старшую сестру, не отходившую от ее постели.

Все это боль жизни, гроза. А ведь в жизни не только гроза.

Но иногда кажется, что обычная будничная морока жизни, идущая в труде, любви, дружбе, так же тяжела, как и гроза жизни.

Семья живет в спокойном довольстве, но сколько в жизни безысходного, сложного, запутанного. Отца оскорбляет практицизм детей – самодовольные успехи сына, его связи и знакомства с нужными и знатными людьми, его безразличие к книге, природе, его рассуждения о житейских выгодах и невыгодах; сколько унижающего в разумном, рассчитанном замужестве дочери, в добропорядочном мире советской аристократии, в который она вошла; как по-животному проста, как банальна оказалась дочь в своей новой семье, в своих квартирных, дачных, автомобильных делишках; а он-то называл ее в детстве Аленушкой, угадывал в ней неистовую совесть Софьи Перовской. И вот жена восхищена успехами сына, дочери. «Ты жизнь мне отравлял своим вздором, а теперь я вижу – наши дети живут, как все нормальные настоящие люди». И он все видит, все понимает, и его жизнь зашла в тупик, и жить не хочется.

Какая славная пара, оба работают в науке, водят машину, занимаются альпинизмом, дружно, интересно живут.

Она доктор наук, он кандидат, в приглашении на кремлевский прием сказано – «с супругом». Они смеялись, и друзья смеялись. Президент академии поздравил ее телеграммой с днем рождения, всюду, где они вместе, люди проявляют интерес к ней, к нему интерес через нее. В конце концов ее самоуверенность стала его раздражать, она, видимо, убеждена, что он счастлив, живя с ней. Он почувствовал себя оскорбленным, но, конечно, не поэтому он затеял роман с милой девушкой, аспиранткой. Он действительно увлекся! Жена ничего не замечала, была уверена в его преданности. Но, боже мой, что с ней творилось, когда она прочла записку, забытую им. Как она плакала, хотела отравиться люминалом. И он плакал, просил прощения, а она тут стала говорить: «Поняла, поняла, я дура, я не стою твоего мизинца, ты важнее для меня всего в жизни». Ну, конечно, она и теперь считала, что он не мог полюбить другую, что он мстил ей за свое унижение. Ее, видимо, больше всего мучила мысль, как это он, ничем не замечательный, мог изменить такой женщине, как такая, как она, и так его любила! В начале он растерялся, каялся, а потом в ее страдании оказалось что-то дурное, оскорбительное для него. Не видно хорошего впереди, впереди та же безнадежная путаница.

У нее второй муж, первый убит на войне. Растет дочь от первого мужа. Отчим к девочке враждебен. При ней он молчит. Идут годы, девочка стала взрослой, вышла замуж, у нее ребенок. Отчим запрещает жене видеться с дочерью, внуком, подозревает, что внука любят потому, что он похож на убитого деда; уезжая, он не говорит, когда вернется, чтобы застать жену врасплох – вдруг она позвала к себе ночевать дочку с внуком. Он ревнует, мучится, мучит других. А сил все меньше, головы седые, и все так безысходно сложно.

Но снова можно сказать: не всегда же сложны, противоречивы отношения. Да, конечно. Но, боже мой, какая безжалостная скука иногда гложет душу в спокойной и ясной семейной простоте.

Вот хозяин, муж, отец. Он подходит к дому, и вот зашарпанная лестница, отбитая ступенька, полутьма коридора, пыльный запах старья и запах жаренной на подсолнечном масле трески, обмылочек на умывальнике, влажное, не успевающее просохнуть полотенчишко на гвоздике. Они обедают, программа обеда неизменна, да все неизменно – и клеенка на столе, и тарелка со стертой голубоватой каемой, и вилка со сходящимися зубцами. Они никогда не ссорятся с женой, не лгут друг другу, согласно и одинаково смотрят на жизнь. Но, боже, боже, как им скучно. Они часами молчат, говорить не хочется, да и о чем говорить. Им скучно думать друг о друге, когда они разлучены, а когда они выходят гулять, цветы на бульваре и облака на закате – все становится невыносимо скучным оттого, что они идут рядом. И ночью скучно, проснувшись, слышать рядом сонное бормотанье, посапывание.

«Что ты ел перед сном, ты ночью очень испортил воздух».

«Да ничего такого не ел».

«Вот и я говорю, что ничего особенного».

А может быть, вторжение вечной смерти все же легче, чем вечная скука?

И вот могильный холм, женщина сажает кустики незабудок на могиле мужа. Теперь-то он не уйдет к разлучнице. Все так спокойно. Ее волнует – не лучше ли посадить анютины глазки? Она простила, и это прощение возвышает ее.

Рядом молодые супруги любовно красят оградку. Они переговариваются со вдовой, она уже знает и про то, что покойная старушка любила кошек и фикусы и ничего не жалела для сына и его милой жены. Покой, простота, синее небо, над могилой чистым голосом чирикает молодой воробей, его горлышко еще не глотало морозного январского воздуха. И нет больше безумных, горестных старушечьих глаз.

И нет плачущих глаз застывшего в параличе старика.

И так спокоен холмик над умершим сумасшедшим мальчиком, кончилось мучительное смятение его родителей, их страх. Анютины глазки, ромашки, незабудки.

«Как она мучилась, бедная», – говорит о своей сестре пожилая женщина.

Она оглядывает могилу, солнце проходит через молодую листву деревьев, светло ложится на землю. Так тихо, и легки, и спокойны отношения с умершими.

«А немного попозже я посажу настурции, они хорошо принимаются».

И вот уже не стоит стена между любящими супругами, их любви не мешает ревность, страх, неприязнь к ребенку от первого мужа, внуку, которого отчаянно любит бабушка. «Спи спокойно, незабвенный друг».

Хорошо на кладбище. Все, что было запутано, мучительно, – стало легко.

Близкий человек живет здесь особой, хорошей, ясной жизнью, и так милы стали отношения с ним.

Муж, со скукой и томлением возвращавшийся со службы домой, теперь полюбил общество жены, его радость – ходить в выходной день на кладбище. Как хороша природа, сколько милых нетрудных хлопот, сколько приятных людей, постоянных посетителей соседних могил. Он рассказывает о жене, он думает о ней. Вспоминать ее, думать о ней не скучно. Их отношения обновились.

Кем сказано, что нет ничего прекрасней жизни, кто это уверил людей, что смерть ужасна?

Вот идут с лопатами, пилами, с молотками, с малярными кистями толпы строителей лучшей, новой жизни. Их глаза устремлены вперед. Как тяжел, труден город, как светло кладбище.

Был ли исход, можно ли было уничтожить пропасть, что легла между отцом и его ничтожными преуспевающими детьми? И вот уже нет этой пропасти. «Спи спокойно, наш дорогой учитель, отец, друг...»

Дети, работая на могиле, разговаривают о своих делах, поездках, знакомых. Он, отец, рядом, и так хорошо, спокойно с ним, и он уже не посмотрит тоскливо, жалобно, стыдясь, как, бывало, смотрел.

Живые толпы входят в ворота кладбища, город толкает их в спину. И когда люди, полные отчаяния, изнеможения, видят спокойную зелень могил, в которых спят их мужья, матери, отцы, жены, дети, в сердца входит надежда. Люди строят новые, лучшие отношения со своими близкими, строят новую, лучшую жизнь, чем та, что истерзала их сердца.

2

На многих памятниках выгравированы сведения о покойном, об его ученом либо воинском звании, должности, о партийном стаже.

До 1917 года писалось о том, что усопший был купцом первой или второй гильдии, действительным статским советником.

Есть и иная категория надписей, эти надписи говорят о тех чувствах, что испытывают к усопшему близкие люди. Эти надписи иногда крайне пространны – в стихах и в прозе. Надписи эти иногда невероятно смешны, глупы, пошлы и чудовищно безграмотны, но это обстоятельство не имеет отношения к сути дела.

Суть в том, что надписи, обращенные к должности покойника, к его званию, и надписи, говорящие о любви к нему близких, служат лишь цели информации посторонних людей, надписи эти не имеют отношения к тому, что живет в глубинах сердец.

Эти надписи – житейские декларации, такие же, какие делаются при поступлении на службу, при сватовстве, при оформлении награды.

В этих надписях никогда не говорится о простых профессиях: «Здесь покоится парикмахер, плотник, полотер, кондуктор...»

Если указывается занятие покойника, то это обычно профессор, артист, писатель, летчик-истребитель, медицинский доктор, художник.

Если говорится о звании, то обычно указывается высокое звание – полковник, адмирал, советник юстиции первого ранга. Младших лаборантов и лейтенантов на памятниках обычно не аттестуют.

Государственное и общественное следует за человеком на кладбище. Человеческое и здесь робеет.

Надписи второго рода – о любви, вечном горе, горячих слезах, независимо от того трогательны они либо, наоборот, вульгарны, в прекрасных либо, наоборот, в безграмотных и смешных стихах составлены они, служат тем же внешним суетным целям, тщеславно информируют.

В самом деле – надпись обращена не к мертвому, ясно, что он не может ее прочесть. В самом деле – для себя такие надписи не делаются, человек и без надписей знает, что творится в его сердце.

Надпись сделана, чтобы ее читали. Информация обращена к прохожим.

А над кладбищем разносится причитание, плач – жена плачет о муже. Почему так громко кричит она? Ведь покойник не слышит. Ведь душевная тоска не нуждается в том, чтобы о ней выкрикивали с той же силой, с какой певец поет со сцены театра. Вдова знает, почему она кричит, – ее должны слышать прохожие, она декларирует и информирует.

Те, кто регулярно ходят на кладбище, надевают траурную одежду и с постными лицами сидят на скамеечках у могил – тоже декларируют и информируют.

Они не похожи на тех, что приходят на кладбища строить новую жизнь, наново переделывать свои отношения на более счастливые и разумные.

Декларирующие считают главным в жизни доказать свое превосходство, превосходство своих чувств, своей сердечной глубины.

Да разное, разное ходят люди на кладбище.

Работник Наркомвнудела, помешавшийся в страшный 1937 год, ходит среди могил, кричит, грозит кулаком, могилы молчат, и это приводит в отчаяние безумного следователя – нет способа заставить говорить покойников, а дела-то не закончены.

Разно, разно ходят на кладбище люди.

На кладбище назначают свидания влюбленные. На кладбище гуляют, ищут прохлады.

3

Кладбище живет напряженной, полной страстей жизнью.

Каменотесы, маляры, слесари, могильщики, уборщицы могил, водители грузовых машин, доставляющих дерн и песок, работники, обслуживающие склады, где выдаются напрокат лопаты, лейки, продавцы цветов и рассады – это те, кто определяют материальную жизнь кладбища.

Почти каждая из этих профессий имеет свои аналоги в мире частного подполья. Это как бы бытие в двух пространствах современной физики.

В частном подполье свои неписанные преискурнты, трудовые нормы; частник берет дороже государства, но у него качественней материалы, богаче ассортимент.

Кладбище – часть государства, и оно управляется той же иерархией, что и государство.

Управление кладбища централизованно, власть сконцентрирована в руках заведующего, и система централизации, как обычно это бывает, давит и на начальство, – оно не разрабатывает директив, а выполняет директивы.

Церковь отделена от государства.

У церкви свои кадры – высшие и низшие, хор, продажа свечей и просвир. К богу обращаются не только при захоронении стариков; случается, и партийцы перебираются на кладбище со священником. Молодой человек с профессией самой современной, то ли он атомщик, то ли ракетчик, то ли в телевизионном ателье работал, – и вот умер, и в похоронах его, случается, участвует церковь.

Среди священства тоже раздвоение – рядом с официальным патриаршим священством десятки частных, отделенных и от церкви, и от государства. Ходят они в гражданской одежде, но по длинным волосам, по мятым добрым лицам, по красным славным носам можно определить в них священников-частников.

Официальная церковь очень не любит их, они кощунственно неряшливы в обрядах, да и,

кроме того, оплату берут любую, большей частью равную или кратную стоимости стаграммов.

Однажды милиция, к удовольствию ваганьковского протоиерея, устроила облаву на частных священнослужителей. Издали казалось очень смешным, когда под милицейские свистки длинноволосые мчались среди могил, ползли по-пластунски, сигали через ограду.

Но вблизи эти старые люди, их слезящиеся глаза, тяжелое мученическое дыхание, выражение страха и стыда на лицах не были смешными.

4

У кладбища одна жизнь со страной, народом, государством.

Летом 1941 года особенно сильным немецким бомбежкам подвергались подъездные пути Белорусской железной дороги. Тяжелые бомбы падали на ваганьковскую землю, непосредственно близкую к рельсовым путям. Бомбы крушили деревья, разбрасывали веером комья земли, сокрушенный гранит, расщепленные кресты. Иногда в воздух взлетали, исторгнутые силой взрыва, гробы, тела покойников.

В голодные годы гражданской войны на кладбище собирали щавель, липовый лист. На кладбище ломали ветку на кормежку коз. И преступления, совершенные на кладбище, прочно связаны со временем, обстоятельствами народной жизни.

В первое время после революции рассказывали о кладбищенском стороже, торговавшем свининой, – он откармливал свиней человеческим мясом, раскапывая ночью могилы. Агенты розыска были потрясены видом этих свиней – огромные, дикие, злобные.

Рассказывали об артели, которая во время нэпа снабжала частные лавочки острой, прочесоченной домашней колбасой, оказалось, что колбасу эту делали из трупного мяса.

В годы, когда жить стало лучше, жить стало веселее, гробокопатели стали интересоваться драгоценностями, золотыми зубами, костюмами покойников.

После Великой Отечественной войны возрос приток иностранных вещей, и гробокопатели начали охоту на заграничные костюмы, обувь.

Полковник, служивший в оккупационных войсках в Германии, привез своей маленькой дочери говорящую куклу. Дочь полковника вскоре умерла, и, так как кукла ей полюбилась, родители положили в гробик ребенка эту куклу. А спустя некоторое время мать увидела женщину, продававшую эту куклу. Мать упала в обморок.

Но случаи эти чрезвычайные, особые.

Ныне кладбищенская уголовщина измельчала и связана главным образом с разграблением цветочных клумб, похищением рамок для портретов, вазочек, металлических оград.

5

Перефразируя Клаузевица, можно сказать, что кладбище есть продолжение жизни. Могилы

выражают характеры людей и характер времени.

Конечно, есть немало безликих могил. Но ведь немало есть бесцветных, безликих людей.

Бездна легла между дореволюционными памятниками тайных советников, купцов и нынешними захоронениями.

Но поучительна не одна эта бездна. Поразительно сходство народных могил прошлого с народными могилами века ракет, атомных реакторов.

Какая сила устойчивости! Деревянный крест, холмик земли, бумажный веночек... А если оглядеть тысячи сельских могил – там-то еще ясней, предметней видно все это.

«Все течет, все изменяется», – сказал грек.

Не видно этого по холмику с серым крестом. Если и меняется, то очень уж незаметно.

И здесь вывод идет дальше – не только в устойчивости похоронной традиции дело, дело в устойчивости, неизменности духа жизни, стержня жизни.

Какое упорство! Ведь все сказочно изменилось, стало банальностью перечислять бесчисленные изменения, рожденные новым порядком, электрической, химической, атомной энергией.

А этот серый крестик, так похожий на серый крест, поставленный 150 лет тому назад, оказался символом тщеты великих революций, научных и технических переворотов, не способных изменить глубин жизни. Но чем неизменной жизненной глубиной, тем резче перемены на поверхности океана.

И видно: бури приходят и уходят, морская глубина остается.

Вот следы революционной бури – странные, необычные памятники среди высокой кладбищенской травы. Черная глыба, на ней наковальня. Чугунная мачта, увенчанная серпом и молотом. Тяжелый грубый слиток металла. Неотесанный, шершавый гранитный земной шар под пятиконечной звездой, звезда легла на океаны и континенты. Вот это ново!

Полустертые надписи революции прочесть трудней, чем надписи, сделанные на полированных гранитах купцов, князей, заводчиков.

Но каким раскаленным пафосом веет от каждого полустертого слова, написанного революцией. Какая вера, какое пламя, какая страстная сила!

И как малочисленны памятники верующих в мировую коммуну. Долго приходится искать их среди могучего леса крестов и гранитов, среди чугунных оград и мраморных плит, среди бурьяна и травы.

О жертвы мысли безрассудной,

Вы уповали, может быть,

Что станет вашей крови скудной,

Чтоб вечный полюс растопить,

Едва, дымясь, она сверкнула

На вековой громаде льдов,

Зима железная дохнула -

И не осталось и следов.

Когда-то Сталин сказал о советской культуре: социалистическая по содержанию, национальная по форме. Оказалось обратное.

Ваганьково Немецкое, Армянское, отражая жизненную глубину, плохо отразили жизненную поверхность, советскую жизнь между Октябрем и 1934 годом, годом убийства Кирова. В этот период национальное не перешло еще полностью из формы советской жизни в содержание советской жизни, социалистическое не ушло окончательно в форму. Это был период, когда в партии доминировала революционная интеллигенция, рабочие с подпольным стажем.

Этот период отражен на кладбище при московском крематории. Сколько смешанных браков! Какое чудное национальное равенство! Какое множество немецких, итальянских, французских, английских фамилий. На некоторых памятниках надписи на иностранных языках. А сколько латышей, евреев, армян, какие боевые лозунги на памятниках!

Кажется, здесь, на этом кладбище, окруженном красной стеной, горит пламя молодого большевизма, еще не огосударствленного, еще несущего в себе молодой пафос, дух Интернационала, сладкий бред Коммуны, хмельные песни революций.

6

Самое прекрасное, что есть в мире, это живое сердце человека. Его способность любить, верить, прощать, жертвовать всем ради любви прекрасна. Но живые сердца спят вечным сном в кладбищенской земле.

Душу умершего человека, его любовь и горе нельзя увидеть, нельзя подсмотреть в надгробиях, в надписях на памятниках, в цветах на могильном холме. Ее тайну бессильны передать камень, музыка, поминальный плач, молитва.

Перед святостью этой безмолвной тайны презренны все барабаны и медные трубы государства, мудрость истории, камень монументов, вопль слов и поминальных молитв. Вот тут-то она смерть.

1957 – 1960